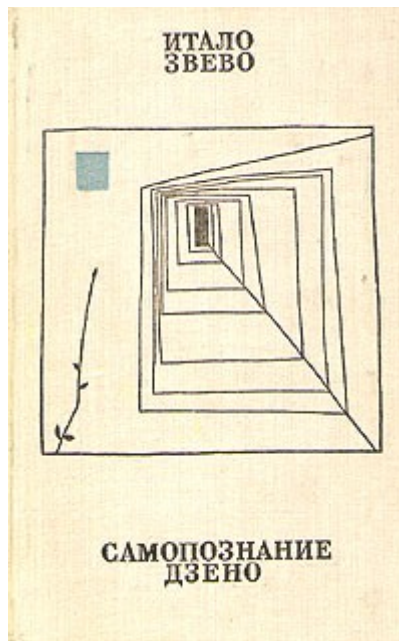


**Итало Звево  
Самопознание Дзено**



**Italo Svevo  
La coscienza di Zeno  
1923**

**Итало Звево  
Самопознание Дзено  
Роман**

**Самопознание Этторе Шмица**

*Жизнь, которая хотя и не кажется прекрасной, была украшена столь многими счастливыми чувствами, что я согласился бы прожить ее снова.*

**Итало Звево – Бенжамену Кремье, сентябрь  
1927 г.**

**I**

Так написал о себе за год до смерти триестинский фабрикант Этторе Шмиц, выпустивший под псевдонимом Итало Звево три романа. Действительно, жизнь его была внешне благополучна, но отмечена внутренними противоречиями, странными до парадоксальности. Романист, до шестидесяти четырех лет известный лишь как преуспевающий и безупречно честный промышленник; человек, в молодые годы участвовавший в движении за воссоединение с Италией родного Триеста, остававшегося под властью Австрии, – и избравший себе псевдоним, означающий «итальянский шваб»;

итальянский писатель, впервые увидевший Флоренцию и Рим лишь под старость, упрекаемый критикой в плохом знании языка, на котором он писал... Таковы внешние проявления этой странной и по-своему трагической судьбы, отразившейся и в книгах Итало Звево.

В письме, из которого взят наш эпиграф, Звево так рассказывает о своей жизни: «Родился в 1861 году в Триесте. Мой дед был немец, государственный служащий в Тревизо; бабка и мать – итальянки. В двенадцать лет был отправлен в коммерческое училище в Германию, где заучивал даже меньше того, что мне преподносили. Однако именно в эти годы я страстно увлекался немецкой литературой. Семнадцати лет я поступил в Высшее коммерческое училище Револьтелла в Триесте, где вновь обрел свою итальянскую сущность. С девятнадцати лет в банке; и та часть «Жизни», которая посвящена банку и публичной библиотеке, действительно автобиографична. В тридцать шесть лет<sup>1</sup> имел счастье войти в дело, участником которого остаюсь по сей день. До самого начала войны я много работал на этом предприятии... В тридцать лет я опубликовал «Жизнь», в тридцать семь – «Старость». Потом решил отказаться от литературы, которая подтачивала мои способности коммерсанта, и немногие свободные часы посвящал скрипке, чтобы не позволять себе даже мечтать о литературе. Война оторвала меня от дел, и, может быть, долгий досуг был причиной того, что я в 1919 году принялся писать «Самопознание Дзено», которое и опубликовал в 1923 году».

Чем же вызван чудовищный двадцатипятилетний разрыв между вторым и третьим романом? Не поняв этого, нельзя понять и творчества Итало Звево. Один из восемнадцати детей коммерсанта Франческо Шмица, писатель принадлежал от рождения к миру австро-итальянской буржуазии Триеста, столь ярко изображенной в «Самопознании Дзено». Он воспринимался именно как мир, а не мирок; его горизонты казались чрезвычайно широкими благодаря широте торговых связей международного порта; в нем чтились традиции деловой предприимчивости, коммерческой добропорядочности, солидности... Это был тот самый мир, который Стефан Цвейг назвал в своих воспоминаниях «миром надежности», мир, где идеалом был «солидный – любимое слово тех времен – предприниматель с независимым капиталом», «ни разу не видевший своего имени на векселе или долговом обязательстве» и в гроссбухах своего банка всегда «ставивший его только в графе „приход“», что и составляло «гордость всей его жизни».

Даже после того, как Франческо Шмиц разорился, его сын склонен был обвинять во всем биржевую игру – занятие, недостойное солидного негоцианта. И, вынужденный бросить училище и поступить в триестинскую контору венского Уньон-банка, Этторе Шмиц, ведущий деловую переписку на английском и немецком языках, за девятнадцать лет службы становится столь образцовым «коммерческим корреспондентом», что его приглашают даже в училище Револьтелла обучать студентов правилам этого специфического искусства.

---

<sup>1</sup> Эта датировка неточна.

А между тем он тяготился службой, тем более что все его мысли были заняты литературой и театром. Этторе Шмиц много читает, отдавая предпочтение русской и французской литературе. Он пишет несколько пьес (не очень высоко оцениваемых исследователями его творчества), но добиться их постановки ему не удастся. Кроме того, Этторе Шмиц под псевдонимами регулярно выступает с критическими статьями в одной из триестинских газет; из этих статей явствует, что его симпатии всецело принадлежат французским натуралистам, прежде всего Золя. Не без их влияния написан его первый роман – «Жизнь», начатый в 1889 г.

С изданием этого романа, предпринятым в 1892 г. на собственные средства, Зевево связывал главную свою надежду – стать профессиональным литератором. Дело для него было не только и не столько в коммерческом успехе издания: больше всего Зевево нуждался в признании, в подтверждении своих прав быть писателем и только писателем. Однако продавался роман плохо; полного признания тоже не было. Правда, появились положительные рецензии в двух триестинских газетах и отзыв влиятельного критика Доменико Оливы в широко читаемом миланском «Коррьере делла сера». Олива признавал Зевево «не случайным человеком в литературе», но упрекал роман во многих недостатках, главным образом стилистических. Одним словом, санкции на то, чтобы стать профессиональным литератором, Зевево не получил, но все же, по его словам, похвала авторитетного критика дала ему «мужество опубликовать второй роман».

В 1896 г. Зевево женился на своей дальней родственнице Ливии Венециани, которая была на тринадцать лет младше его, и вошел в семью ее отца, владельца фабрики красок для подводной части корабля. С точки зрения «мира надежности», тридцатипятилетний супруг взял на себя серьезную ответственность. Он и сам чувствовал это. И тем не менее не спешил занять более выгодное и почетное место на предприятии тестя, но, оставаясь в банке, писал роман. Теперь нужно было доказать свое право на писательство не только самому себе, но и семейству Венециани – доказать самым осязаемым образом. «В семействе (я не говорю о моей жене) для того, чтобы поверить в литературу, должны были видеть деньги», – писал Зевево в одном из писем 1925 г.

Новый роман «Старость» был закончен и напечатан в 1898 г. Ни денег, ни признания он не принес. Много позже Зевево вспоминал: «Этот роман не заслужил ни единого слова хвалы или хулы от нашей критики... Я смирился со столь единодушным суждением (ибо не существует более полного единодушия, чем единодушное молчание) и двадцать пять лет воздерживался от сочинения книг»<sup>2</sup>.

Перелом произошел. Писатель Итало Зевево исчез, а его место занял Этторе Шмиц, образцовый предприниматель и администратор триестинской фабрики подводных красок и ее двух филиалов – в Венеции и в Лондоне. Но неужели все

---

<sup>2</sup> В действительности, как показали разыскания современного триестинского исследователя Бруно Майера, вскоре после выхода «Старости» было напечатано шесть рецензий на нее, в том числе в газетах Милана и Флоренции. Однако Зевево не знал об этом.

дело было в преданности семье и необходимости обеспечить ей «достойное существование»? Не было ли тут более глубоких психологических причин, нежели верность сызмальства усвоенным моральным нормам «мира надежности»?

В конце 1895-начале 1896 г. Зевево пишет так называемый «Дневник для невесты» – серию заметок в тетради, подаренной Ливией при помолвке. Всегда склонный к рефлексии, Зевево стремится теперь до конца определить – для себя и для невесты – свою сущность, давая и нам возможность глубже понять психологические предпосылки наступившего вскоре перелома.

Окружающий Зевево мир (он получает уже здесь достаточно нелестное определение «подлый буржуазный мир») отнюдь не кажется Зевево столь надежным. Счастье в нем возможно лишь в дилемме: «счастье много любить или счастье победоносно сражаться за жизнь... Поэтому среди человеческих характеров мне кажутся счастливыми те, что либо могут отказаться от любви, либо устраниются от борьбы...» Итак, способность «устраниться от борьбы» представляется Зевево счастьем, – тем большим, что основу его характера, по его собственному мнению, составляет равнодушие к жизни. «Мое равнодушие к жизни существует по-прежнему. Даже когда я радуюсь жизни рядом с тобой, в моей душе остается нечто такое, что не радуется вместе со мною и предупреждает меня: смотри, все совсем иное, нежели тебе кажется, все остается комедией, потому что рано или поздно занавес упадет. Больше того: равнодушие к жизни – это сущность моей интеллектуальной жизни. А так как оно – мой дух и моя сила, каждое мое слово пропитано иронией, и я боюсь, что в тот день, когда тебе удастся заставить меня поверить в жизнь (что, впрочем, невозможно), я лишусь чего-то очень важного».

Но восприятие жизни как тягостной обязанности бороться, равнодушие к ней, никогда не прекращающаяся рефлексия и победоносная уверенность в себе несовместимы. Отсюда – потребность в утверждении извне, ожидание внешнего успеха как санкции, необходимой для того, чтобы поступить соответственно внутренней потребности... А когда этой санкций нет – необходимость найти компенсацию «эмоциональной неполноценности» в семье, в людях, ради которых стоит «стать здоровым и сильным».

Санкцию извне так и не удалось получить, и решение было принято. Этторе Шмиц устремился к тому выходу, который услужливо распахнула перед ним его среда; он старается если не *быть*, то *казаться* «здоровым и сильным», ища себе оправдания в «выполнении долга».

Впрочем, долгое молчание Зевево не было столь уж абсолютным: все время пишет он разного рода заметки, путевые дневники, сочиняет даже новеллу «Благородное вино». В годы войны он, один из немногих европейцев, сохранивших пацифистские убеждения, составляет проект всеобщего мира. Наконец, в годы застоя в делах он берется за роман.

Однако гораздо большую роль, нежели вынужденный досуг, сыграло здесь другое обстоятельство. В 1904 г. Этторе Шмиц решил усовершенствовать свои знания английского языка и стал брать уроки у проживавшего в Триесте ирландца. Знакомство перешло в дружбу, продолжавшуюся до самого отъезда

учителя из Триеста в начале войны. Почвой для сближения оказалась литература, имя ирландца было Джеймс Джойс. Оба познакомили друг друга со своими произведениями, – и Звево приобрел в лице Джойса верного почитателя, высоко оценившего «Старость».

Новый, начатый в 1919 г. роман «Самопознание Дзено» Звево выпустил в 1923 г. опять на собственные средства. Снова началось напряженное ожидание откликов. Первым отозвался старый триестинский литератор Сильвио Бенко, много лет назад приветствовавший выход в свет «Жизни». Появляется несколько маленьких рецензий в провинциальных газетах, «Коррьере делла сера» печатает заметку, какую, по словам Звево, «мог бы написать и десятилетний» – и снова наступает молчание. Молчат и литераторы, которым была разослана книга, в их числе Пиранделло. Звево пишет Бенко письмо, в котором благодарит его за поддержку «в том горе, каким была для меня эта публикация». Так минует год. Но летом 1924 г. случается нечто неожиданное.

Один из экземпляров «Дзено» был послан в Париж Джойсу. Тот дал прочесть его своему другу, поэту и эссеисту Валери Ларбо, который не только высоко оценил роман, но и по просьбе Джойса написал Звево письмо, где говорил о возможности перевода книги во Франции. Звево не решается отвечать Ларбо, опасаясь, что тот, по обыкновению всех литераторов, не откликнется, и благодарит его через Джойса. Лишь после второго письма Ларбо завязывается переписка. Ларбо выдвигает план посвятить Звево номер издаваемого им журнала «Коммерс»; в этом ему должен помочь другой знаток итальянской литературы – Бенжамен Кремье, которого Ларбо также заинтересовал творчеством Звево. Сделать это в «Коммерс» не удастся, номер откладывается, но признание новых друзей, с которыми Звево встречается в Париже, действует на него как живая вода. Он снова принимается писать – на сей раз «длинную новеллу» «Короткое сентиментальное путешествие», вновь набрасывается на книги.

А когда он узнает, что ему все-таки будет посвящен номер журнала «Навир д'аржан», воскресает старая надежда: стать профессиональным литератором, зарабатывать своим пером.

В феврале 1926 г. появился долгожданный номер с отрывками из книг Звево и статьями о нем. В своих статьях Ларбо и Кремье именовали Звево «величайшим итальянским писателем двадцатого века», открывателем новых горизонтов.

В те же дни произошло событие, знаменательное не только для Звево, но и для всей итальянской литературы. За день до выхода февральского номера «Навир д'аржан» в миланском журнале «Квиндичинале» была напечатана статья тридцатилетнего поэта Эудженио Монтале «Дань уважения Итало Звево». Дело было не только в том, что в суждениях Ларбо и Кремье, при всей их восторженности, было немало субъективного и неточного, между тем как статья Монтале принадлежит к самым глубоким и точным из всех, написанных о Звево вплоть до наших дней. И не только в том, что Звево, скоро встретившийся с Монтале (чей отец, но странной иронии случая, долгие годы поставлял сырье его фабрике), приобрел верного друга, а затем и страстного

пропагандиста своего творчества, написавшего о нем – вплоть до 1965 г. – более десятка статей. Дело в том, что Звево признала и без толчка из-за рубежа та итальянская литература, которой принадлежало будущее.

Между тем «Навир д'аржан» вызвал дискуссию в итальянской прессе. Хвала и хула полились потоком. Многие литераторы отказывались видеть в Звево большого писателя, ставя ему в вину несовершенство стиля, языковые неправильности, отсутствие якобы искони присущих итальянской прозе «гармонии и соразмерности». Но были и другие статьи, свидетельствовавшие о признании, о нужности его творчества.

Наконец-то Звево может ощутить себя писателем прежде всего. И поэтому с особой проникновенностью звучат написанные им в 1927 г. слова признательности Джеймсу Джойсу, который «по отношению ко мне... сумел повторить чудо воскрешения Лазаря» и в котором «столько великодушия, что оно объясняет неслыханный успех, выпавший ему: ведь каждое его слово... есть выражение того же благородства его души».

Правда, Звево не меняет образа жизни, по-прежнему ведет дела фирмы, – и, однако, все изменилось. Он завершает две большие новеллы, подготавливает и читает доклад о Джойсе, пишет продолжение «Самопознания Дзено» (он успел написать лишь несколько разрозненных кусков). Контакты с литературным миром становятся постоянными; дружба с Монтале и встречи с его флорентийскими друзьями, группирующимися вокруг журнала «Соляриа», и с парижским кругом Джойса приносят Звево искреннюю радость. Впрочем, есть на его пути и тернии. Никак не удается найти издателя для «Старости», и Звево приходится переиздавать ее на свой счет. Огорчают купюры, которые пришлось сделать во французском переводе «Дзено». Трудно пристроить в журнал дорогую его сердцу новеллу «Удачная шутка» – о писателе, который отказался от творчества, огорченный молчанием критики, и живет на свой заработок банковского служащего... Но все же столь долго ожидаемое признание пришло, и Звево ежечасно его ощущает.

А 13 сентября 1928 г. газеты сообщили о смерти известного писателя Итало Звево, погибшего в автомобильной катастрофе.

## II

*Быть может, не останется незамеченным, что всю свою жизнь я писал один роман.*

**Итало Звево – Энрико Рокке, май 1927 г.**

Среди немногих высказываний Звево о собственном творчестве эта мысль повторяется не раз. В марте 1925 г. он писал о том же Валери Ларбо: «Джеймс Джойс всегда говорил, что в чернильнице у человека есть только один-единственный роман... а когда их написано несколько, это все-таки тот же самый роман, более или менее измененный. Будь это так, мой единственный роман – „Жизнь“». И действительно, в первой же книге писатель уже нашел главную тему своего творчества.

«Жизнь» еще очень тесно связана с традициями романа XIX в., прежде всего – французского романа. В ней тщательно выписана среда, окружающая героя, – его сослуживцы в банке, семейство его квартирохозяина – полунищего маклера-неудачника, жители его родной деревни. Этим страницам нельзя отказать в пластической яркости и в остроте социальной критики. На таком скрупулезно выписанном фоне герой книги Альфонсо Нитти, выросший в деревне, ныне ведущий деловую переписку в триестинском банке Маллера, также представляется – особенно в первых главах – вполне традиционным персонажем: отчасти деревенским жителем, не приспособленным к городской жизни и ненавидящим ее, отчасти – «маленьким человеком» в традиционном обличье мелкого служащего. Но постепенно герой предстает в ином свете. Альфонсо не справляется с работой в банке, она кажется ему скучной; он компенсирует свою ущемленность честолюбивыми мечтами о литературе, – но и тут дело ограничивается лишь усердным чтением в публичной библиотеке да разрозненными набросками; кончаются ничем и его попытки завязать знакомство с женщинами – единственный раз, когда это удалось, Альфонсо сам не пришел на свидание. Так вместо очередной вариации образа «маленького человека» вырисовывается герой иного склада – безвольный, слабый, не приспособленный к жизни (недаром первоначально Звево хотел назвать свою книгу «Никчемный»). Окончательно этот характер определяется в одной из ключевых сцен романа: расположенный к Нитти адвокат. Макарио приглашает героя на прогулку по морю. При виде чаек он пускается в рассуждения: «Нарочно созданы, чтобы хватать рыбу и жрать... Когда хватаешь рыбу, при чем тут мозг? А вы все учитесь чему-то, проводите целые часы за столом, чтобы заполнить бесполезное существование. Нужны крылья, а у кого их нет от рождения, у того они и не вырастут. Кто не умеет в нужный момент упасть на добычу, тот никогда этому не научится». Альфонсо, который «почувствовал себя очень несчастным», спрашивает: «А у меня есть крылья?» – «Только для поэтических взлетов», – отвечает Макарио.

Но однажды Альфонсо представилась возможность «схватить добычу». Введенный Макарио в дом Маллера, он знакомится с дочерью своего принципала Аннетой, холодной кокеткой, эгоистичной и амбициозной. Аннета заставляет полувлюбленного Альфонсо писать вместе с нею роман. Это нелепое сотрудничество сближает их, и Альфонсо, несмотря на его безволие и нерешительность, удается соблазнить Аннету – не без подстрекательства со стороны ее компаньонки Франчески, преследующей свои корыстные цели. Теперь нужно «закрепить успех» – и Альфонсо превратится из мелкого служащего Маллера в его зятя... Он должен только еще раз послушаться Франчески и, вопреки требованию Аннеты, не уезжать из Триеста. Но Альфонсо не желает этого. «Некоторое время назад Макарио сказал, что считает его не способным бороться и хватать добычу, и он кичился этим упреком как похвалой... Теперь все эти борющиеся, которых он презирал, привлекли его в свою среду, и он без сопротивления проникся их желаниями, пустил в ход их оружие». Альфонсо воспринимает завоевание Аннеты как моральное падение – и отказывается от него. Он уезжает в деревню, где застаёт свою мать

умирающей, задерживается там на два месяца, а по возвращении находит Аннету помолвленной с Макарио. Роман кончается самоубийством героя, сожалеющего об упущенной возможности, пониженного в должности, оскорбленного подозрениями Маллера, который опасается шантажа со стороны Альфонсо.

Начальные главы «Жизни», по собственному признанию Звево, автобиографичны. Но это не все: без сомнения, автобиографичен и характер героя. «Никчемность» Альфонсо Нитти – это объективация «равнодушия к жизни», которое подавлял в себе Этторе Шмиц. «Жизнь» – это ступень самопознания автора, чрезвычайно важная потому, что в романе он, по существу, утверждает моральную правоту «никчемности». Ведь в решающий момент проявилась не столько неприспособленность Альфонсо к жизни, сколько сознательное неприятие ее.

Та жизнь, которой не приемлет Альфонсо, имеет достаточно четкую социальную характеристику: это жизнь в мире Маллера, Франчески, Макарио, – в том «мире надежности», из которого Этторе Шмиц не решился уйти, несмотря на то, что Итало Звево достаточно рано понял моральное превосходство «никчемности» над житейскими правилами этого мира.

Впоследствии Звево считал развязку своего романа неорганичной и объяснял ее влиянием Шопенгауэра (безволие героя приравнено к утрате «воли к жизни»). Действительно, психологически более убедительной развязкой было бы то состояние отрешенности от жизни и резиньяции, которое Звево изображает как один из этапов, следовавших за возвращением героя в Триест: «Он был счастлив и пребывал в равновесии, как старик... Сейчас он позабыл все мечты о величии и богатстве и мог грезить, не опасаясь, что среди его видений покажется хоть одно женское лицо». Так в творчестве Звево возникает новый аспект темы «никчемности». Несмотря на то, что добровольно устранившийся из борьбы за жизнь морально более прав, нежели «хватающие добычу», «счастье» самоустранения оборачивается апатией, отсутствием желаний и стремлений, одним словом – преждевременной старостью.

Однако такому последовательному и беспощадному аналитику, как Звево, мало констатировать это. Он должен до глубины исследовать психологический феномен раннего душевного одряхления. Так возникает второй роман писателя – «Старость».

Старость в нем – не возраст, но душевное состояние, в котором живет тридцатипятилетний Эмилио Brentани, «невысокого ранга служащий страхового общества, где он зарабатывал ровно столько, чтобы хватало на нужды маленькой семьи... Много лет назад он напечатал роман, расхваленный местными газетами, но с тех пор не сделал ничего – больше по лености, чем от неуверенности в себе». Роман «пожелтел на складе книгопродавца». Сам Эмилио, хоть и сознает «ничтожность своего произведения», все еще обманывает себя верой в «нечто такое, что должно прийти извне, – в удачу, в успех», а между тем «идет через жизнь с опаской, уклоняясь от всякого риска, но также и от наслаждений, от счастья». С ним вместе живет сестра Амалия, «маленькая и бледная, на несколько лет младше него, но еще более старая по



душевному складу, а может быть, и по судьбе».

На первой же странице романа мы видим Эмилио гуляющим с Анджиолиной Царри. Эта «блондинка с большими голубыми глазами, высокая и сильная, но вместе с тем стройная и гибкая, с лицом, озаренным жизнью, смуглым, как амбра, и рдевшим румянцем здоровья» предстает как воплощение самой жизни, цветущей и неодоухотворенной. В столкновении с этой жизнью Зевево и испытывает своего героя. Ущербного и апатичного Эмилио влечет к Анджиолине то же, чем привлекает Амалию друг их семьи скульптор Балли: «Она... любила в нем спокойствие и силу – первые и величайшие блага, данные ему судьбой». Этих четырех героев для Зевево вполне достаточно, чтобы поставить свой психологический эксперимент; прочие персонажи играют в повествовании служебную роль.

Результаты эксперимента однозначны. Пусть Эмилио скрывает от себя характер своего влечения, пусть он пытается поставить на место реальной Анджиолины выдуманную идеальную Анж – ангела, – его жизненные устои не выдерживают испытания. Когда на ужине у Балли проявляется вся вульгарность его возлюбленной, когда Brentани узнает, что она известна в городе своей доступностью, и даже пытается выследить ее со своим предполагаемым соперником – «торговцем зонтиками», он, зная правду об Анджиолине, не только оказывается не в силах порвать с ней, но становится ее любовником, и чем более развязной, лживой, наивно-циничной делается она, тем больше он увязает в этой грязи.

Лишь страшное потрясение заставляет Brentани опомниться и покончить с Анджиолиной. Это гибель сестры. Из того, что Амалия бормочет во сне, Эмилио узнает: его сестра влюблена в Балли. Brentани удаляет друга из дому, – и сестра чахнет в тоске, пока воспаление легких не сводит ее в могилу. Но еще до ее смерти брат делает страшное открытие: Амалия глушила свою тоску эфиром, который и разрушил окончательно ее организм.

Итак, «старость» как жизненная позиция оказывается несостоятельной. Между двумя моментами выбора пути Зевево как бы прикидывает: что было бы, если бы Этторе Шмиц, оставшись непризнанным писателем, все же «устранился бы от борьбы за жизнь» и не пытался подавить в себе задатки пассивности и апатии. И на этой ступени художественного самопознания Зевево развенчивает «старость».

Но в конце книги возникает еще одна тема. «Несколько лет спустя Эмилио уже с восторгом и удивлением оглядывается на этот период своей жизни, самый важный, самый светлый. Он жил им, как старик – воспоминаниями юности. В его душе праздного литератора Анджиолина претерпела странную метаморфозу: она сохранила в неприкосновенности свою красоту, но приобрела все качества Амалии». Так наметился мотив преобразующей работы памяти, разрыва между реальностью и ее преломлением в психике человека – мотив, ведущий к «Самопознанию Дзено».

Выпущенный спустя четверть века, роман отличается прежде всего тем, что теперь герой сам ведет повествование, выбирает события, нередко нарушая их временной порядок. Но Дзено не просто вспоминает – он исследует свою

жизнь, старается познать самого себя. Более того – в своем самопознании Дзено следует рецептам психоанализа, его цель – «вскрыть свои комплексы» и излечиться от болезни, его рукопись предназначена для врача-психоаналитика, который через события, преломленные *сознанием Дзено* (ведь так тоже можно перевести название книги), должен получить доступ в его *подсознание*. И на первый взгляд может показаться, что для Звево главное – передать эту отбирающую и преобразующую работу контролируемой сознанием памяти. Так неужели сложная, многоплановая книга может быть исчерпана определением «фрейдистский роман»?

В годы, предшествовавшие написанию «Дзено», Звево пережил увлечение психоанализом. Впоследствии он с иронией вспоминал о нем: «Великий человек наш Фрейд, но только больше для романистов, чем для больных. Один мой родственник после длившегося несколько лет лечения вышел совершенным калекой. Ради него я несколько лет назад познакомился с произведениями Фрейда. Познакомился я и с несколькими врачами из его окружения... Узнав его работы, я в одиночку, без врача провел курс лечения. Результатом этого опыта, пусть и единственным, был роман» (из письма к Валери Жайе, 10 декабря 1927 г.). В другом письме к нему же (1 февраля 1928 г.) Звево, также категорически отрицая целебность психоанализа, уточняет, что он видит заслугу Фрейда в том, что тот «придает должное значение всему нашему поведению». Действительно, в романе о Дзено именно внешне незначительные, как бы случайные поступки, мельчайшие черточки поведения героя наиболее знаменательны, ибо разоблачают истинные его чувства и побуждения. Преображающая работа памяти (то, что Фрейд назвал «цензурой сверх-я») лишает непосредственности исповедь Дзено; остаются случайные поступки, случайные оговорки и проговорки, позволяющие заглянуть в глубины истинного «я» героя.

Но о чем свидетельствуют эти невольные признания Дзено? С точки зрения лечащего его доктора С., – конечно, об Эдиповом комплексе. Чем же еще можно объяснить поведение Дзено во время последней болезни отца, непереносимое желание стать зятем Мальфенти, отношение к Гуидо? Но вот это-то ортодоксально-фрейдистское истолкование не устраивает ни Дзено, ни его создателя.

Звево однажды назвал героев своих романов «тремя братьями». И действительно, Дзено, не помышляющий о литературе, праздный богач – родной брат мелких служащих и неудачливых литераторов Нитти и Brentани. Он, как и они, – «никчемный», «безвольный», неспособный к борьбе за жизнь и хотя по рождению и принадлежит к «миру надежности», является по психологическому складу его отщепенцем. Но странным отщепенцем.

По сравнению со «Старостью», Звево вновь расширяет рамки повествования и вводит достаточное количество персонажей, наделенных четкими социальными характеристиками. Все они – и хранящие традиции деловой добропорядочности и солидности отец и сын Оливи, и куда более сочно написанные Джованни Мальфенти или маклер Нилини – не оставляют сомнения в том, что для Звево и в эту пору «мир надежности» представляется

достойным скорее насмешки, нежели восхищения.

И все же Дзено остается верным идеалам этого мира. Подобно своим братьям, он сознает свою никчемность и как будто бы даже хочет от нее избавиться, «стать идеальным сильным человеком». Но именно – *как будто бы* хочет, то есть хочет притворно. А для такого притворства нужно прежде всего закамуфлировать отсутствие деловой энергии, лень, пассивность объективными причинами. И Дзено находит сразу две таких причины: болезнь и курение. Так Дзено становится мнимым больным. И так начинается комедия «последней сигареты». Сотни раз Дзено дает себе зарок бросить курить – и столько же раз нарушает его. А история с бегством из клиники оказывается той «проговоркой», которая выдает истину: Дзено и не собирается избавляться от своей никчемности. Так первая же глава выявляет жизненную позицию Дзено: он не хочет стать «идеальным сильным человеком», не хочет даже казаться таким; он хочет только, чтобы казалось, будто он этого хочет. Тогда можно остаться самим собой, можно следовать своим влечениям и курить сигарету, особенно сладкую потому, что в ней есть вкус запретного плода. Если же таким запретным плодом будет женщина (хотя бы та же Карла), суть дела от этого не меняется.

Главное для Дзено – не быть разоблаченным. Избегать тех докторов, которые могут признать его болезни воображаемыми. И не давать окружающим повода усомниться в своих благих намерениях. По сути, единственный истинный конфликт в психике Дзено – это конфликт между «*быть*» и «*казаться*». Выражение его – страх выдать себя, проговориться, настолько сильный, что даже в минуты полной искренности Дзено опасается: а вдруг он скажет или сделает что-нибудь такое, что скомпрометирует его искренность? Так появляется мотив мнимых «проговорок», еще больше ставящий под сомнение фрейдистские методы анализа психики.

Впервые этот мотив звучит во второй главе. Дзено искренно не желает смерти отца, тем более что с нею исчезает приятная возможность откладывать свое «исправление» все дальше и дальше. Но человеческое, по существу, возражение врачу – а нужно ли приводить умирающего в сознание? – вдруг внушает ему страх: ну, как подумают, что он хочет смерти отца. И пощечина, данная ему умирающим, еще больше закрепляет этот страх.

Зато истинной «проговоркой» оказывается женитьба Дзено. Ведь кроме болезни и благих намерений, есть еще один способ камуфляжа: порекомендовать другому человеку «вдохновлять... на активную, мужественную жизнь, исполненную борьбы и побед». Таким человеком может быть жена, которая, следовательно, должна принадлежать к числу людей противоположного склада. Как бы символом такого рода людей делается для Дзено Мальфенти – «крупный торговец, невежественный и энергичный. Но из его невежества проистекали его спокойствие и сила, и я смотрел на него с завистью и восхищением». «Спокойствие и сила» – буквально те же качества, что привлекли несчастную Амалию к Балли, – Дзено обнаружил потом и в Аде. А когда ему не удалось завоевать Аду, он готов жениться на Альберте и даже на некрасивой Аугусте, лишь бы не отказываться от задуманного приобщения к миру здоровых, спокойных и сильных, или, вернее, от очередного благого намерения,

маскируемого «любовью» к Аде.

Но ведь, кажется, к тому же миру принадлежит и Гуидо, а отношение Дзено к нему особенно неоднозначно. Зависть ли это к счастливому сопернику, которому дано то, в чем отказано Дзено? Так может показаться на первый взгляд, и самому Дзено представляется, что этим вызвано его желание сбросить Гуидо с парашюта. Но вот выясняется, что Гуидо – всего лишь пародия на «спокойных и сильных», что он сочетает деловую никчемность Дзено с самонадеянным легкомыслием, неразумную любовь к риску – с трусостью. Рядом с ним Дзено может чувствовать свое превосходство, возомнить и показать себя почти таким, каким якобы хочет стать, – этим и объясняются упорство, с каким Дзено работает в конторе Гуидо, денежная помощь, предложенная разоряющемуся родственнику, и биржевая операция, с помощью которой он спасает честь умершего. Пусть разочарование в Гуидо лишь укрепило старую антипатию Дзено, пусть только обычным желанием казаться «хорошим» объясняется предложенная Дзено денежная помощь, но Дзено слишком выгодно контрастное соседство Гуидо, чтобы он желал ему смерти. К тому же и начальный повод его неприязни – «ревность» – принадлежит к числу мнимых, камуфлирующих чувств, как и сама «любовь» к Аде. Поэтому история с перепутанными похоронами, которая свидетельствует, как это кажется Аде и психоаналитику, о затаенной ненависти Дзено к Гуидо, – всего лишь еще одна мнимая «проговорка». Память Дзено подчеркнула ее из вечного страха, как бы не показалось, что он хотел смерти Гуидо, как когда-то – смерти отца, а горячечные обвинения Ады сыграли здесь ту же роль, что прежде – отцовская пощечина.

Последний камуфляж Дзено – это попытка с помощью психоанализа излечиться от своей «никчемности», составляющей сущность всех трех героев Звево. В отличие от «Жизни», в «Самопознании Дзено» как будто бы не дается моральной оценки этого свойства, – во всяком случае, сам Дзено не слишком высоко оценивает его, не вступая в спор с окружающими. Больше того – равнодушие Дзено к жизни нередко оборачивается равнодушием к людям, отъединенность – эгоизмом. И все-таки Дзено симпатичнее автору, нежели Мальфенти или Гуидо. Почему – Звево четко объяснил спустя четыре года после выхода романа: «Зачем желать излечения от нашей болезни? Должны ли мы на самом деле отнимать у человечества лучшее, что у него есть? Я твердо верю, что мой истинный успех, давший мне мир, состоял в том, что я пришел к этому убеждению. Мы живой протест против смехотворной концепции сверхчеловека, какой она была нам навязана (и особенно нам, итальянцам)». Вспомним, что «смехотворная концепция сверхчеловека» в ее опошленном варианте, провозглашенном д'Аннунцио и иже с ним, была официально принята как доктрина итальянского фашизма. Моральная позиция «самоустранения из борьбы» в свете нового опыта – опыта войны, ненавистной Звево, и фашистского переворота, – вновь представляется ему более высокой и правой, даже если это самоустранение Дзено.

Дзено словно бы каждую минуту хочет изменить этой позиции. На самом же деле он отстаивает ее с паразитической цепкостью, избрав весьма

действенное оружие – благие намерения. Мнимый конформизм Дзено по отношению к морали и жизненной практике «хватаящих добычу» – такое же оборонительное средство, как и мнимые болезни. Дзено никогда не будет таким, как Мальфенти и Нилини или даже как Гуидо; поэтому столь иронически-парадоксально представлено его «выздоровление»: он становится деятельным и деловитым в тот миг, когда всякая деловая деятельность прекращается.

В феврале 1926 г. Звево писал Монтале, что «Самопознание Дзено» – «автобиография, но не моя». Это утверждение правдиво, но лишь отчасти. Дело не только в том, что Звево, по собственному признанию, «знал лично» всех персонажей, кроме доктора, что сам он давал несчетное количество зарокос насчет «последней сигареты». Дело в том, что когда-то Звево сам пытался преодолеть свое «равнодушие к жизни» (хотя и знал, что «оно – моя сила!»), пойти на компромисс, но в конце концов так и не отрекся от себя. Анализируя душу Дзено, Звево снова познавал себя – Этторе Шмица – в третьем из своих перевоплощений. Правда, в жизни Дзено нет литературы, которая в конце концов подняла Этторе Шмица над «миром надежности» и позволила ему стать Итало Звево. Но, лишив свою историю патетического конфликта «долга» с призванием художника, писатель получил право на иронию по отношению к герою и к себе, право «расстаться со своим прошлым, смеясь».

### III

*Способны ли заинтересовать слабые характеры?*  
**Гюстав Флобер – Жорж Санд, 1 ноября 1867 г.**

Когда в Италии началась дискуссия о творчестве Звево, больше всего мучил критиков вопрос о том, куда, собственно, поместить триестинского романиста? С кем его сравнить? И поныне пишущие о нем приводят такое множество аналогий, что, по остроумному замечанию одного из критиков, само это множество свидетельствует об их неубедительности.

Авторы статей в «Навир д'аржан» приветствовали Звево как «итальянского Пруста». Глубина и пристальность анализа, свойственные Звево, некоторые психологические ситуации в его романах (например, любовь Brentани к Анджолине, напоминающая любовь Свана к Одетте) и, главное, изображение мира через воспоминания героя, связанное со смещением временных планов, – все это давало некоторые основания для такого сближения. И все же оно основывалось на внешних признаках, и поверхностность его лучше всех чувствовал сам Звево: «Не думайте, будто мне больно видеть, как меня отдаляют от Пруста. Наши судьбы были столь различны!.. Никак не может быть, чтобы я, человек грубый, был похож на такой совершенный продукт столь тонкой цивилизации» (из письма к Валерио Жайе от 2 декабря 1927 г.). Вообще Звево решительно отрицал влияние современной литературы на его последний роман: «По-моему, причину различия между «Самопознанием» и двумя предшествующими романами не следует искать во влиянии новейшей

литературы. Я был весьма невежествен в этой литературе, когда написал его... Я прочитал много итальянских и французских романов крупнейших писателей моего времени. Английский я знаю не настолько, чтобы легко прочитать «Улисса», которого читаю сейчас медленно и с помощью одного приятеля. Что до Пруста, то я поспешил познакомиться с ним в... прошлом году, когда Ларбо сказал мне, что, читая «Старость»... нельзя не думать об этом писателе» (из письма к Монтале от 17 февраля 1926 г.).

Действительно, при всей современности психологических и формальных исканий Звево, истоки его творчества уходят в XIX век. В статье в «Навир д'аржан» Кремье вспомнил о Флобере, назвав Альфонсо Нитти «господином Бовари». Но скорее герои Звево связаны с другим флоберовским героем – Фредериком Моро. Он принадлежит к тому же племени безвольных, «никчемных» – и в то же время утверждающих моральную правоту своей «никчемности» по сравнению с буржуазной жизненной активностью. Отказ Фредерика от женитьбы на госпоже Дамбрёз играет ту же роль, что отказ Альфонсо от женитьбы на Аннете.

На десять лет раньше выхода «Воспитания чувств» духовный предшественник героев Звево появился в русской литературе. Это Илья Ильич Обломов. Обломовщина как жизненная позиция есть не только продукт крепостнических отношений: она есть сознательная попытка уклониться от участия в «нормальной жизни», ибо это, по словам Обломова, «не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку». В споре со Штольцем (IV глава второй части) – ключевой сцене романа – Илья Ильич ясно говорит, в чем причина этого искажения: это «деятельность» петербургского общества, которая и не деятельность даже, а «вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности», в которой «человек разменялся на всякую мелочь». И не случайно этой гневной тираде Штольц может противопоставить только ироническое, но, в сущности, бессодержательное «Да ты философ, Илья!»

Безвольный Фредерик Моро, противостоящий миру парижской буржуазии, разоблачившей себя после 1848 г.; ленивый Обломов, противостоящий своекорыстному миру Штольца, слабые герои Звево, противостоящие миру «хватаящих добычу» или бездумно наслаждающихся жизнью. Так возникает некий тип антитезы, развитие которого нетрудно проследить в последующей литературе. Ограничимся немногими примерами.

Одним из первых продолжил эту антитезу Томас Манн в «Будденброках» (1901). Пусть бюргерский мир, мир Будденброков, не тождествен миру буржуазного хищничества, миру Хагенштремов, но не черты ли «слабости», подавляемые неслыханной самодисциплиной, ставят так высоко консула Будденброка? Не принадлежит ли к числу «никчемных» с точки зрения «жизненной хватки» тот, кого избрало Искусство, – маленький Ганно? И не воплотились ли в Христиане Будденброке – шуте и мнимом больном – черты будущего Дзено?

Новые литературные поколения дали несколько иное освещение этой антитезе. Пассивность, отщепенство, дезинтеграция героев их книг перестали

быть признаками слабости, превратились в форму сопротивления жизненной практике буржуазного общества. Поэтому путь от героев Зево лежит и к трем товарищам Ремарка, и к некоторым героям раннего Хемингуэя, и еще дальше – к убегающему Кролику Апдайк, к Симми Гласу Сэлинджера или клоуну Бёлля.

Но сам Зево не мыслил себя вне итальянской литературы. Великой радостью было для него появление статьи, где его «целиком приняли в число итальянских писателей» (из письма к Монтале от 15 марта 1926 г.). Для того чтобы это произошло, понадобились годы. Неудача первых романов Зево у итальянской критики и публики был предопределен заранее. Несмотря на достаточно явную связь с эстетикой натурализма, они не укладывались в рамки веризма с его «областничеством», упрощенным пониманием психологии и нередкими мелодраматическими эффектами. Вместе с тем своей суровой правдивостью, аскетичностью стиля, отсутствием патетики они противостояли набиравшим в те годы силу декадентским течениям, прежде всего – манерной экзальтации Фогаццаро и риторике д'Аннунцио и его подражателей. Об этом ясно сказал Монтале в первой же своей статье о Зево: «Атмосфера д'аннунцианской диктатуры, в которой родились первые две книги Зево, определила их провал... Отодвинутый в тень присными повелителя, Зево не мог ждать признания и с другого берега, населенного запоздалыми пуристами, неудачливыми подражателями Мандзони, лишенными вкуса спиритуалистами и разными прочими образчиками рода человеческого».

Те же «образчики рода человеческого» пытались отлучить Зево от итальянской литературы и в двадцатых годах. Блюстители «высокого стиля» и чистоты классических традиций отказывали ему в знании итальянского языка. Официозная критика падкого до риторики режима прямо противопоставляла «холод» Зево «романтизму» очередной книги д'Аннунцио и очередной биография дуче. Но уже раздались голоса тех, кто увидел в беспощадной правдивости и стилистическом аскетизме Зево знамя новой литературы. Это были Монтале, Сольми, Дебенедетти – все, кто вскоре сгруппировался вокруг флорентийского журнала «Солярии», пытавшегося противостоять официальной литературе фашизма. Зево познакомился с руководителями «Солярии», они напечатали его последнюю новеллу, после его смерти посвятили ему особый номер, где приняли участие и итальянцы, и почитатели из других стран: Витторини, Джойс, Ларбо, Илья Эренбург.

Для писателей с реалистическими устремлениями основная ценность творчества Зево заключалась в том, что в среде литераторов, «руководствующихся изменчивой и растяжимой, как гармошка, шкалой ценностей, неподдельность и чувство долга, свойственные Шмицу, казались неуместными и оскорбительными, как приметы прошедших времен», что он мог «преподать урок тем более серьезный и бередящий, чем меньше сам он умел и хотел на протяжении долгих лет приспособливаться к приемам и ухищрениям наших риторик» (Монтале в некрологе Зево). Иначе говоря, те, кто создал реалистическую литературу последнего полувека в Италии, видели в книгах Зево и в его жизненной позиции то этическое содержание, за обязательность которого в литературе боролись они сами. И не случайно в пору

расцвета неореализма, в 1946 г., тот же Монтале мог отметить: «Сегодня у нас нет ни одного молодого автора новелл или романов – неоверириста или неонатуралиста, который бы не признавался, что многим обязан Звево... Звево и с ним более молодые неореалисты создали школу».

Такова оказалась почетная судьба наследия Итало Звево – непризнанного сверстниками романиста, провинциала, изобразителя неинтересных, слабохарактерных людей, открывшего новые горизонты для литературы Европы, и прежде всего для литературы той страны, которая так долго не желала принять его в число своих писателей.

*С. Ошеров*

## **Самопознание Дзено**

### **I. Предупреждение**

*Я врач, о котором в этом повествовании отзываются порой не самым лестным образом. Тот, кто понимает в психоанализе, знает, чем объяснить антипатию, которую обнаруживает ко мне пациент.*

*Но о психоанализе я говорить больше не буду: о нем достаточно много говорится дальше. Я должен только принести извинения за то, что принудил больного составить свое жизнеописание: это нововведение, видимо, заставит недовольно поморщиться всех психоаналитиков. Но мой пациент был стар, и я надеялся, что, по мере того как он будет предаваться воспоминаниям, для него будет оживать его прошлое и, таким образом, его работа над собственным жизнеописанием послужит прекрасным вступлением к психоанализу. Мне и сейчас эта мысль кажется удачной, ибо она привела к результатам, которых я даже не ожидал и которые были бы еще значительнее, если бы больной не бросил лечения в самом разгаре, предательски похитив у меня плоды долгого и терпеливого анализа его воспоминаний.*

*Я публикую его записки из мести и надеюсь, что это будет ему неприятно. Однако пусть он знает, что я готов разделить с ним баснословный гонорар, который принесет мне эта публикация, но только с одним условием: он должен возобновить лечение! Казалось, его так интересовала собственная персона! Если б он знал, сколько неожиданного обнаружит он в моих комментариях ко всей правде и лжи, которые он здесь нагромоздил!*

*Доктор С.*

### **II. Вступление**

Попытаться воскресить свое детство? Между мною и той давней порой пролегло более пяти десятков лет, но мои дальнорюбкие глаза, может быть, и сумели что-нибудь там разглядеть, если бы свет, который оттуда еще пробивается, не заслоняли, словно высокие горы, прожитые мною годы, а



главное, некоторые особенно памятные мне часы.

Доктор сказал, чтобы я не старался заглядывать слишком далеко. Для них, врачей, важны и недавние события и прежде всего сны, которые снились нам накануне. Но все-таки должен же быть и здесь какой-то порядок! И вот, чтобы, иметь возможность начать *ab ovo*<sup>3</sup> и облегчить тем самым доктору его задачу, я, выйдя от доктора, который надолго покидает Триест, тут же купил и прочел трактат по психоанализу. Читать его было нетрудно, но очень скучно.

Пообедав, я удобно растянулся в глубоком кожаном кресле, держа в руках карандаш и лист бумаги. Лоб мой гладок, потому что я тщательно избегаю всякого умственного усилия. Моя мысль кажется мне существующей совершенно отдельно от меня. Я ее вижу. Вот она поднимается, вот опускается, но это все, что она делает! Чтобы напомнить ей о том, что она все-таки мысль и что ей следует как-то себя обнаружить, я сжимаю в пальцах карандаш. И тут же мой лоб собирается в морщины, потому что каждое слово состоит из множества букв, и настоящее властно вступает в свои права, затемняя прошедшее.

Вчера я попытался совершенно отвлечься от окружающего. Эксперимент завершился глубоким сном, и единственным его результатом было то, что проснулся я освеженным и отдохнувшим, и у меня осталось странное ощущение, будто я видел во сне что-то очень важное. Но что – забыто, потеряно навсегда.

Благодаря карандашу, который я держу в руке, сегодня я не засыпаю. Я вижу – то смутно, то ясно – какие-то странные картины, которые не могут иметь никакого отношения к моему прошлому. Вот паровоз, который пыхтит на подъеме, таща за собой вереницу вагонов; кто знает, откуда он едет, и куда, и как оказался здесь!

В полудреме я вспомнил, что в прочитанном мною трактате по психоанализу говорится, что с помощью этой системы можно вспомнить даже самое раннее – еще младенческое – детство. И я тут же вижу младенца в пеленках – но почему этот младенец обязательно я? Он совсем на меня не похож, и, я думаю, это не я, а ребенок моей свояченицы, который родился несколько недель назад и который кажется нам настоящим чудом – такие у него крохотные ручки и такие большие глаза! Бедное дитя! Где уж мне вспомнить свое детство! Я даже не в силах предупредить тебя, переживающего сейчас свое, о том, как важно для твоего здоровья и умственного развития его запомнить! Когда еще доведется тебе узнать, что для тебя было бы очень полезно удержать в памяти всю твою жизнь, даже ту огромную ее часть, которая тебе самому будет противна! А покуда ты, еще лишенный сознания, устремляешь свой крохотный организм на поиски приятных ощущений; твои сладостные открытия приведут тебя на путь страданий и болезни, и на тот же путь толкнут тебя и те люди, которые меньше всего желают тебе зла. Что делать! Защитить твою колыбель невозможно! В твоём теле – о детеныш! – все время происходят таинственные реакции. С каждой новой минутой в него заносится новый реагент, а так как не все твои минуты чисты – сколько

---

<sup>3</sup> От яйца, то есть с самого начала (*лат.* )

возможностей заболеть! И потом – о детеныш! – в тебе течет кровь людей, которых я знаю. Минуты, которые проходят сейчас, может быть, и чисты, но такими, конечно, не были века, которые подготовили твое рождение.

Но я опять оказался слишком далеко от образов, которые предшествуют сну. Попытаюсь еще раз завтра.

### III. Курение

Доктор, которому я рассказал о своих попытках, посоветовал мне начать с исторического анализа моей страсти к курению.

– Напишите-ка, напишите! И вы ясно увидите всего себя!

Думаю, что о курении я могу писать прямо за столом, не отправляясь дремать в кресло. Я не знаю, с чего начать, и призываю на помощь сигареты, которые все, в сущности, похожи на ту, что я держу сейчас в руке.

И тут мне сразу же открывается одна вещь, о которой я давно позабыл. Первых моих сигарет, сигарет, с которых я начал, теперь уже нет. Были такие в семидесятых годах в Австрии. Они продавались в картонных коробках с фирменным знаком, изображавшим двуглавого орла. И вот пожалуйста, рядом с этой коробкой в моей памяти сразу же возникают какие-то лица, и в каждом из них есть какая-то черточка, которой достаточно, чтобы я угадал имя, но недостаточно, чтобы эта неожиданная встреча меня взволновала. Я пытаюсь добиться большего и иду к креслу; лица сразу же начинают таять и расплываться, и на их месте появляются какие-то ухмыляющиеся шутовские рожи. Разочарованный, я возвращаюсь к столу.

Один из тех, кого я сейчас видел, тот, у кого немного хриплый голос, – это Джузеппе, друг моего детства, мой сверстник, а другой – мой брат, который был на год меня моложе и умер много лет назад. Если не ошибаюсь, именно Джузеппе, получив однажды от отца много денег, подарил нам эти сигареты. Но я был убежден, что брату он дал больше, чем мне. Отсюда – необходимость раздобыть себе еще. Так получилось, что я начал красть. Летом отец имел обыкновение оставлять в столовой на стуле свой жилет, в кармашке которого всегда была мелочь. Так я раздобывал десять сольдо, необходимые для приобретения драгоценной коробки, и одну за другой выкуривал все десять сигарет, составляющих ее содержимое, чтобы не хранить слишком долго компрометирующую меня добычу.

Все это лежало в моей памяти на самой поверхности – только протяни руку – и оживает лишь сейчас просто потому, что раньше я не придавал этому никакого значения. Но вот я обнаружил начало своей дурной привычки, и, кто знает, быть может, я от нее уже избавился? Чтобы проверить, я в последний раз зажигаю сигарету: вдруг я тут же с отвращением ее отшвырну?

Помню еще, что как-то раз отец застал меня в ту минуту, когда я шарил в карманах его жилета. С наглостью, на которую сейчас я уже не способен и которая сейчас приводит меня в ужас (кто знает, может быть, этот ужас очень важен для моего излечения?), я сказал ему, что мне захотелось сосчитать, сколько на жилете пуговиц. Отец посмеялся над моей склонностью то ли к

математике, то ли к портновскому ремеслу и не заметил, что пальцы мои находились в кармашке его жилета. К моей чести я должен добавить, что достаточно было этого смеха над моей – на деле уже не существовавшей – наивностью, чтобы я раз и навсегда покончил с воровством. То есть я крал и потом, но уже не сознавая, что это воровство. У отца была привычка оставлять на краях столов и шкафов наполовину выкуренные виргинские сигары. Я думал, что таков его способ их выбрасывать, и мне даже казалось, будто я видел, как наша старая служанка Катина их убирала. Их-то я и докуривал потихоньку. Уже в тот момент, когда они оказывались у меня в руках, меня пронизывала дрожь при мысли о том, как мне будет плохо! Потом я курил до тех пор, пока лоб не покрывался холодным потом и желудок не начинало выворачивать. Да, никто не посмеет сказать, что в детстве мне не хватало силы воли!

Я прекрасно помню, как отец отучил меня и от этой привычки. Однажды летом я вернулся с какой-то школьной экскурсии усталый и потный. Мать помогла мне раздеться и, завернув в свой пеньюар, уложила спать на диване, на котором сама сидела с шитьем. Я уже почти совсем спал, но в глазах у меня все еще стояло солнце, и я не мог забыться окончательно. Я ощущаю как нечто совершенно отдельное от себя то сладостное чувство, которое в детстве всегда неотделимо от отдыха после сильной усталости, и это ощущение так живо, словно я сейчас лежу подле родного мне тела, которого давно уже нет на свете.

Я хорошо помню большую прохладную комнату, где мы в детстве любили играть и которая сейчас, в наше жадное до пространства время, разделена на две. В сцене, которую я вспоминаю, мой брат не показывается, и это меня несколько удивляет, потому что он ведь тоже должен был участвовать в этой экскурсии, а потом отдыхать вместе со мною. Может, он спал на другом конце большого дивана? Я смотрю туда, но мне кажется, что там пусто. Я вижу только себя, свой сладостный отдых, мать и потом отца: его голос внезапно раздается в комнате. Войдя, он поначалу меня не заметил и громко позвал:

– Мария!

Мама с еле слышным «тсс» указала ему на меня, спавшего, по ее мнению, глубоким сном, но на самом деле бодрствовавшего. Мне так понравилось, что отец должен был считаться с моим сном, что я не шевельнулся.

Отец шепотом пожаловался:

– Мне кажется, я схожу с ума. Я почти уверен, что полчаса назад оставил в той комнате на шкафу половину сигары, и вот ее нет! Со мной творится что-то неладное: вещи исчезают у меня из-под носа!

Тоже шепотом, но в котором ясно сквозила насмешливость, сдерживаемая лишь боязнью меня разбудить, мать ответила:

– И все-таки после обеда в ту комнату никто не входил.

Отец пробормотал:

– Да я и сам это знаю, и именно потому мне и кажется, что я схожу с ума.

Он повернулся и вышел.

Я приоткрыл глаза и посмотрел на мать. Она снова взялась за шитье, но продолжала улыбаться. Разумеется, она не верила в то, что отец сходит с ума,

раз могла смеяться над его страхами. Эта ее улыбка так запала мне в память, что я сразу же ее узнал, когда однажды увидел на губах своей жены.

Свободно предаваться пороку курения мне мешала не столько нехватка денег, сколько запрещения, но они лишь еще больше подогревали мою страсть.

Помню, что курил я, прячась по углам, ужасно много. Меня и сейчас еще тошнит, когда я вспоминаю о том, как однажды полчаса просидел в каком-то подвале в обществе двух других мальчиков, от которых в памяти у меня не осталось ничего, кроме их детских одежек: две пары штанишек, которые стоят в воздухе сами по себе, потому что тела, которые были в них заключены, стерло время. Мы принесли с собой много сигарет и хотели узнать, кто из нас выкурит больше за наименьший срок. Победил я и героически скрыл дурноту, вызванную этим странным состязанием. Потом мы вышли на солнце и свежий воздух, и мне пришлось закрыть глаза, чтобы не упасть. Придя в себя, я начал хвастаться своей победой. И тогда один из двух маленьких человечков сказал:

– А мне неважно, что я проиграл. Я всегда курю ровно столько, сколько мне хочется.

Я хорошо помню эту исполненную здравого смысла фразу, но совсем не помню то, по всей видимости, здоровое личико, которое должно было быть обращено ко мне в эту минуту.

Но тогда я еще не знал, любил ли я или ненавидел сигарету – ее запах и то состояние, в которое она меня приводила. Хуже было, когда я узнал, что все это я ненавижу. Узнал я это, когда мне было уже около двадцати. Несколько недель у меня страшно болело горло и держалась высокая температура. Доктор прописал мне постельный режим и абсолютное воздержание от курения. Я хорошо помню это слово: абсолютное. Оно болезненно поразило меня, а лихорадка придала ему еще особую окраску: огромный вакуум, и невозможно противиться огромному давлению, которое всегда возникает вокруг вакуума. Когда доктор ушел, отец (матери к тому времени уже не было в живых) еще некоторое время посидел со мной, не выпуская изо рта огромной сигары. Уходя, он ласково провел рукой по моему пылающему лицу и сказал:

– Не кури, а?

Меня охватило глубокое беспокойство. Я думал: раз мне это вредно, больше я курить не буду, но сначала я должен сделать это в последний раз. Я зажег сигарету и сразу же почувствовал, что беспокойства моего как не бывало, хотя температура поднялась еще выше и при каждой затяжке я чувствовал такое жжение в миндалинах, будто к ним прикасались раскаленной головешкой. Я докурил сигарету до конца с прилежанием человека, выполняющего обет, и с теми же ужасными мучениями выкурил за время той болезни еще множество других. Отец, который приходил и уходил, не выпуская изо рта сигары, восклицал:

– Молодчина! Еще несколько дней воздержания, и ты здоров!

Достаточно было одной этой фразы, чтобы мне захотелось поскорее остаться одному и получить возможность закурить. Я даже притворялся, что сплю, чтобы заставить его уйти пораньше.

Так за время этой болезни я обзавелся еще одной слабостью, помимо своей

страсти к курению: желанием победить эту страсть. С той поры мои дни заполнились курением и обещаниями бросить курить. Чтобы сразу все стало ясно, я должен сказать, что порой дело обстоит так и сейчас. Длинная вереница последних сигарет, образовавшаяся в течение двадцати лет, продолжает пополняться. Правда, решимость моя с годами несколько поостыла, и мое старое сердце относится к этому пороку гораздо снисходительнее, чем раньше. В старости люди вообще склонны снисходительно посмеиваться над жизнью и над тем, что составляет ее содержание. И я могу даже сказать, что с некоторых пор выкурил множество сигарет, которые... не были последними!

На титульном листе одного словаря я нахожу следующую запись, выполненную красивым почерком с завитушками:

«Сегодня, 2 февраля 1886 года, я перехожу от изучения юриспруденции к изучению химии. Последняя сигарета!»

Это была очень важная последняя сигарета. Помню надежды, которые были с ней связаны. Я взбунтовался против канонического права, которое казалось мне слишком далеким от жизни, и устремился в науку, которая была самой жизнью, правда, замкнутой стеклянными стенками колбы. Эта последняя сигарета означала жажду деятельности – причем деятельности даже чисто физической – и ясного мышления, трезвого и основательного.

Затем, желая вырваться из цепей углеродных соединений, в которые я так и не смог поверить, я снова вернулся к праву. Увы! То была ошибка, и она тоже была отмечена последней сигаретой, дату которой я обнаруживаю в одной книге. Эта сигарета тоже была очень важной, ибо в тот день я смиренно и с самыми лучшими намерениями возвратился ко всяческим осложнениям с «моим», «твоим» и «его», разорвав наконец углеродные цепи. К химии я оказался малопригодным, в частности, потому, что у меня были недостаточно ловкие руки. Да и как они могли быть ловкими, если я продолжал дымить как турок!

Сейчас, когда я анализирую свои поступки, во мне рождается подозрение: а не потому ли я так любил сигареты, что мог возложить на них ответственность за свою никчемность? Кто знает, сумел бы я стать, если б бросил курить, тем идеальным, сильным человеком, которым я надеялся стать? Может быть, именно сомнение в этом и привязало меня к моему пороку: ведь, в сущности, это очень удобный способ жить – веря, что ты незауряден, только незаурядность твоя покуда не проявляется. Я выдвигаю эту гипотезу для того, чтобы объяснить свою юношескую слабость, но без особого убеждения. Сейчас, когда я стар и никто от меня ничего не требует, я все равно от сигареты перехожу к решению бросить курить и от этого решения – снова к сигарете. Теперь-то какой смысл во всех этих решениях? Уж не похож ли я на того, описанного Гольдони, старого гигиениста, который всю жизнь прожил больным, но умереть непременно желал здоровым?

Однажды, когда я студентом съезжал с квартиры, мне пришлось за свой счет переклеивать в комнате обои, потому что они все были исписаны датами. Может, я и съехать-то решил оттого, что комната превратилась в кладбище моих добрых намерений и я считал немислимым возобновлять их тут же?

Мне кажется, что у сигареты куда более острый вкус, когда она последняя. У других тоже есть свой вкус, но менее острый. Особый вкус последней сигарете придает чувство победы над самим собой и надежда на то, что в самом ближайшем будущем мы обретем здоровье и силу. Достоинство же других сигарет состоит в том, что, закуривая их, мы как бы утверждаем свою независимость, в то время как здоровье и сила остаются за нами, только немного отодвигаются в будущее.

Стены той комнаты были все исписаны датами: надписи были самых разных цветов, а некоторые даже исполнены масляной краской. Твердое решение, очередной раз вызванное к жизни самой искренней верой, находило соответствующее выражение в интенсивности цвета, призванного затмить предыдущую запись. Некоторые даты были избраны мною из-за гармонии цифр. Помню одну дату из прошлого века, словно созданную для того, чтобы навсегда опечатать гроб, в котором я желал похоронить свой порок: «Девятый день девятого месяца 1899 года». Выразительно, не правда ли? Новый век принес мне даты, по-своему музыкальные. «Первый день первого месяца 1901 года». Мне до сих пор кажется, что если б эта дата могла повториться, я сумел бы начать жизнь сначала.

Но календарь полон дат, и, при некотором усилии воображения, каждая из них годится для принятия очередного решения. Помню, например, – может быть, оттого, что мне казалось, будто в ней заключен какой-то в высшей степени категорический императив, – следующую дату: «Третий день шестого месяца 1912 года, 24 часа». Она звучит так, словно каждая цифра удваивает здесь предыдущую.

1913 год принес мне минуту замешательства: не хватало тринадцатого месяца, чтобы согласовать его с годом. Но не нужно думать, будто дате, призванной особо подчеркнуть день последней сигареты, обязательно нужны какие-то внутренние согласования. Многие из дат, которые я нахожу на любимых картинах и книгах, режут глаз своей уродливостью. Например: «Третий день второго месяца 1905 года, шесть часов». В ней есть свой ритм, если приглядеться, потому что каждая цифра отрицает здесь предыдущую. Множество событий, а точнее, все события, от смерти Пия IX до рождения моего сына, я счел заслуживающими того, чтобы отметить их обычным железным решением. Домашние поражаются моей памяти на радостные и печальные годовщины в нашей семье и считают, что я очень добрый и внимательный человек.

Для того чтобы эта моя болезнь «последней сигареты» выглядела все-таки не так глупо, я попытался придать ей даже некоторый философский смысл. «Последняя, больше никогда!» – восклицает человек с благородным видом. Но как быть с благородным видом, когда обещание выполнено? Принять благородный вид можно лишь тогда, когда возобновляешь решение! И потом, время для меня это вовсе не та невероятная вещь, которую невозможно остановить. Ко мне, и только ко мне оно возвращается.

Болезнь – это убеждение, и я родился с этим убеждением. О той болезни,

которой я переболел в двадцать лет, я бы мало что теперь помнил, если б тогда же не описал ее врачу. Странно, насколько лучше запоминаются слова, нежели чувства, которые не были высказаны вслух.

Я пошел к тому врачу, потому что мне сказали, будто он вылечивает нервные болезни электричеством. Я думал почерпнуть в электричестве силу, которая была мне необходима для того, чтобы бросить курение.

У доктора был большой живот и астматическое дыхание, которое вторило потрескиванию электрической машины, запущенной с первого же сеанса. Сеанс этот меня разочаровал, потому что я надеялся, что при осмотре врач обнаружит яд, отравляющий мою кровь. Он же вместо этого заявил, что находит мою конституцию здоровой, а после того, как я пожаловался ему на плохое пищеварение и дурной сон, высказал предположение, что у меня пониженная кислотность и вялая перистальтика. Последнее слово он произнес столько раз, что я запомнил его на всю жизнь. И он прописал мне кислоту, которая нанесла серьезный ущерб моему здоровью, потому что с тех пор я страдаю повышенной кислотностью.

Когда я понял, что сам он никогда не откроет присутствия никотина в моей крови, я решил ему помочь и высказал предположение, что мое недомогание, возможно, следует приписать курению. Он с усилием пожал толстыми плечами:

– Перистальтика... Кислотность... Никотин не имеет к этому никакого отношения...

Я проделал семьдесят электрических процедур, и, может быть, они продолжались бы до сих пор, если бы я сам не решил, что с меня достаточно. Я не столько ждал от них чуда, сколько надеялся, что результат убедит доктора запретить мне курение. Кто знает, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, если б тогда я был укреплен в своем решении еще и запрещением врача!

Вот как я описал доктору свою болезнь. «У меня нет сил заниматься, и в тех редких случаях, когда я ложусь спать вовремя, я не могу заснуть до первых колоколов. По этой же причине я разрываюсь между химией и юриспруденцией: обе эти науки требуют, чтобы работа начиналась в строго определенных часы, а я никогда не знаю накануне, во сколько поднимусь завтра».

– Электричество излечивает любую бессонницу! – изрек эскулап, глаза которого смотрели не столько на пациента, сколько на циферблат.

В конце концов я заговорил с ним так, словно ему был известен психоанализ, – рождение которого я, таким образом, робко предвосхитил. Я рассказал ему о своих неприятностях с женщинами. Мне мало было одной, и нескольких мне тоже было мало. Я желал всех! Когда я шел по улице, возбуждение мое переходило всякие границы: все проходившие мимо женщины были моими. Я разглядывал их с наглостью, оттого что мне необходимо было почувствовать себя животной-грубым. Мысленно я раздевал их, оставляя им только туфельки, заключал их в объятия и отпускал не раньше, чем убеждался, что для меня в них не осталось ничего неизведанного.

Попусту потраченная речь и совершенно напрасная откровенность! Доктор пропыхтел:

– Ну, знаете, я надеюсь, что электропроцедуры не излечат вас от этой

болезни! Еще чего не хватало! Да я бы не прикоснулся к Румкорфу, если бы от него можно было ждать подобных эффектов!

И он рассказал мне анекдот, который считал очень остроумным. Один больной, страдавший той же болезнью, что и я, пришел к знаменитому врачу с просьбой его вылечить, и врач, которому это прекрасно удалось, вынужден был уехать из города, потому что пациент хотел спустить с него шкуру.

– Но мое возбуждение нездорово! – воскликнул я. – Оно вызвано ядом, из-за которого у меня воспалены вены.

Доктор пробормотал с удрученным видом:

– Нет на свете людей, довольных своей участью!

И, собственно, только для того, чтобы его убедить, я сделал то, чего не пожелал сделать он: я сам изучил свою болезнь, собрав все ее симптомы. Взять, скажем, мою рассеянность. Она тоже не давала мне заниматься. Когда я готовился в Граце к первому государственному экзамену, у меня был тщательно составленный список книг, которые должны были мне понадобиться в течение всего курса обучения, вплоть до последнего экзамена. И кончилось тем, что накануне первого экзамена я увидел, что выучил разделы, которые должны были мне понадобиться несколько лет спустя. Поэтому экзамен мне пришлось отложить. Правда, и эти-то разделы я изучал не очень прилежно из-за живущей по соседству девушки, которая удостаивала меня всего лишь кокетством, правда, довольно откровенным. Когда девушка показывалась в своем окне, я не мог больше прочесть ни единой строчки. Ну, не дурак ли тот, кто ведет себя подобным образом? Помню маленькое беленькое личико в окошке: овальное, обрамленное воздушными рыжеватыми локонами. Я глядел на него, мечтая утопить эту белизну и это красноватое золото в своей подушке.

Эскулап пробормотал:

– В любовной игре тоже есть своя прелесть. Доживите до моих лет, так уж не полубезничаете.

Теперь-то я точно знаю, что о любовной игре он не имел ни малейшего понятия. Мне пятьдесят семь лет, но я уверен, что если я не брошу курить и меня не вылечит психоанализ, то в последнем взгляде, брошенном мною с моего смертного ложа, будет сквозить желание, которое я, несомненно, почувствую к своей сиделке – если только это будет не моя жена и если моя жена позволит, чтобы она была красива.

Я был с ним откровенен, как на исповеди: женщины нравились мне не целиком, а... частями! У всех у них мне нравились ножки, если только на них были хорошенькие туфельки, у многих шея, хрупкая или, напротив, полная, у некоторых грудь – если только она была маленькая. И я продолжал перечислять части женского тела, куда доктор меня не прервал:

– Но все эти части составляют целую женщину! Тогда я произнес очень важную фразу:

– Здоровая любовь – это такая любовь, когда любишь женщину целиком, с ее характером и ее душой.

До той поры я не знал такой любви, а когда узнал, то она тоже не принесла мне выздоровления, но мне важно вспомнить, что я напал на след болезни там,



где доктор видел одно лишь здоровье, и что мой диагноз впоследствии полностью подтвердился.

В лице одного моего приятеля, не врача, я нашел человека, который гораздо лучше понял меня и мою болезнь. Большого проку от этого, правда, не было, но в моей жизни прозвучала новая нота, эхо которой отдается до сих пор.

Мой друг был богатым человеком, который скрашивал свой досуг учеными занятиями и литературной работой. Но говорил он намного лучше, чем писал, а потому мир так и не узнал, каким он был прекрасным литератором. Он был крупный и очень толстый и как раз в ту пору, когда я с ним познакомился, с большим рвением занимался лечением, в результате которого должен был похудеть. За несколько дней он добился таких замечательных результатов, что на улице все норовили к нему подойти, чтобы рядом с ним, таким изможденным, лучше почувствовать собственное здоровье. Я завидовал его умению добиваться всего, чего ему хотелось, и, пока длился курс лечения, был с ним неразлучен. Он позволял мне трогать свой живот, который с каждым днем уменьшался в объеме, и я, сделавшийся из зависти недоброжелательным, говорил ему, желая ослабить его решимость:

– Но когда лечение закончится, что вы будете делать со всей этой кожей?

И он с абсолютным спокойствием, выглядевшим несколько комическим на его изможденном лице, отвечал:

– Через два дня я начинаю массаж.

Его лечение было продумано во всех деталях, и можно было не сомневаться, что все будет происходить точно по расписанию.

Все это внушило мне такое доверие, что я рассказал ему о своей болезни. Этот рассказ я тоже помню. Я сказал ему, что мне легче не есть три раза в день, чем отказаться от бесчисленного количества сигарет, и что в результате мне то и дело приходится брать на себя одно и то же крайне изнуряющее меня обязательство. Взяв такое обязательство, нечего и думать заняться чем-нибудь другим, потому что только Юлий Цезарь умел делать несколько дел зараз. Хорошо еще, что я могу не работать, покуда жив мой управляющий Оливи. Но вообще куда это годится, чтобы человек, подобный мне, только и умел, что предаваться мечтам да пикировать на скрипке, к которой у меня, кстати, нет никаких способностей.

Похудевший толстяк ответил мне не сразу. Он был человек методический, и сначала надолго задумался. Потом с назидательным видом, на который он имел право, если принять во внимание его превосходство надо мной в данном вопросе, он объяснил, что настоящей моей болезнью были не сигареты, а принимаемые мною решения и что я должен покончить со своим пороком, не принимая никаких решений. По его мнению, за эти годы во мне как бы образовались два разных человека: один был хозяином, а другой рабом, который, однако, так любил свободу, что при малейшем ослаблении бдительности восставал против своего хозяина. Поэтому я должен предоставить рабу полную свободу и в то же время взглянуть своему пороку прямо в лицо, так, словно вижу его впервые. Мне следует не бороться со своим пороком, а как бы не замечать его, постараться забыть, что я ему привержен: в общем,

небрежно повернуться к нему спиной, как поворачиваемся мы спиной к человеку, общаться с которым считаем ниже своего достоинства. Просто, не правда ли?

И в самом деле, мне показалось все это чрезвычайно простым. Мне и вправду удалось не курить в течение нескольких часов после того, как я с огромным трудом изгнал из своей головы все помыслы об обязательствах; но когда мой рот очистился и в нем появился тот невинный вкус, который должен ощущать новорожденный младенец, мне захотелось закурить; а когда я закурил, я почувствовал угрызения совести, заставившие меня снова принять решение, которого я так хотел избежать. Это был более длинный путь, но приводил он к тому же самому результату.

Негодяй Оливи подал мне как-то мысль подкрепить мое решение пари.

Мне кажется, что Оливи всегда был таким, каким я вижу его сейчас. Сколько я его помню, он всегда был немного сутулым, но крепким, и всегда казался мне таким же старым, как и сейчас, когда ему восемьдесят. Он всю жизнь работал на меня и продолжает работать до сих пор, но я его не люблю: мне кажется, что работу, которую он выполняет, он отнял у меня.

Мы заключили пари. Тот из нас, кто закурит первым, должен заплатить штраф, а затем мы оба вновь обретаем свободу. Таким образом, управляющий, приставленный ко мне для того, чтобы я не разбазарил отцовское наследство, покушался на материнское, которым я распоряжался самостоятельно!

Пари оказалось самым кабальным, какое только можно себе представить. Если раньше я бывал поочередно то рабом, то хозяином, то теперь я стал только рабом, причем рабом Оливи, которого так не любил. Я закурил сразу же. Потом подумал, что мог бы его обмануть, продолжая курить тайком. Но в таком случае к чему было заключать пари? Тогда я бросился на розыски даты, которая гармонировала бы с датой пари; я хотел, чтобы день, в который я выкурю последнюю сигарету, был, таким образом, зафиксирован не только мною, но и Оливи. Но бунт раба продолжался, и из-за курения у меня даже появилась одышка. Желая сбросить с себя эту тяжесть, я пошел к Оливи и во всем ему признался.

Старик, улыбаясь, взял у меня деньги и, вытащив из кармана толстую сигару, сразу же жадно закурил. И я ни на мгновение не усомнился в том, что он честно соблюдал условия пари. Для меня само собой разумеется, что другие люди устроены совсем иначе, чем я.

Моему сыну едва исполнилось три года, когда у моей жены появилась прекрасная идея. Она посоветовала мне посидеть взаперти в какой-нибудь клинике и таким образом избавиться от своего порока. Я тут же согласился. Во-первых, мне хотелось, чтобы мой сын, достигнув возраста, когда он сможет обо мне судить, нашел бы меня здоровым и уравновешенным, а во-вторых, по причине, не терпящей никаких отлагательств: дело в том, что здоровье Оливи сильно пошатнулось и он в любой момент мог от меня уйти; в таком случае мне пришлось бы занять его место, а я чувствовал, что с таким количеством никотина в крови я вряд ли справлюсь с серьезной работой.

Сначала мы решили поехать в Швейцарию – классическую страну

всяческих клиник, но потом узнали, что в Триесте живет некий доктор Мули, который открыл как раз подходящую клинику. Я поручил жене переговорить с ним, и он сказал, что готов запереть меня в палате, которую будут сторожить сиделка и другие приданные ей в помощь лица. Рассказывая мне об этом предложении, жена то улыбалась, то громко смеялась. Ее веселила мысль, что меня запрут, и я от души веселился вместе с ней. Это был первый случай, когда жена поддержала меня в моих попытках излечиться. До тех пор она никогда не принимала мою болезнь всерьез и говорила, что курение – это просто один из способов – немного странный, но не самый скучный – жить на свете. Я думаю, что выйдя за меня замуж, она была приятно удивлена тем, что я никогда не оплакивал утрату свободы, занятый оплакиванием других утрат.

Я отправился в клинику в тот день, когда Оливи сказал мне, что проработает у меня еще не больше месяца. Собрав чемодан с бельем, мы в тот же вечер отправились к доктору Мули.

Доктор Мули встретил нас у входа. В ту пору он был красивым молодым человеком. Был разгар лета, и он – весь в белом, подвижный, миниатюрный, с маленьким личиком и живыми черными глазами, казавшимися на фоне летнего загара еще ярче, – являл собой воплощение элегантности. Он вызвал у меня чувство восхищения, так же, по-видимому, как и я у него.

Несколько растерявшись, ибо прекрасно понимал причину его восхищения, я сказал:

– Что ж, я вижу, вы не верите ни в необходимость лечения, ни в серьезность, с которой я к нему приступаю.

С легкой улыбкой, которая, однако, меня задела, доктор ответил:

– Отчего же? Может, для вас курение и в самом деле опаснее, чем считаем мы, врачи. Только я не понимаю, почему вы решили покончить с курением *ex abrupto*<sup>4</sup>, в то время как можно просто уменьшить количество сигарет. Курить можно, не нужно только злоупотреблять курением!

В самом деле: стремясь совсем покончить с курением, я и не подумал о возможности просто курить поменьше! Но, преподанный в такой момент, этот совет мог только ослабить мою решимость. И я категорически заявил:

– Раз уж я решил, позвольте мне попробовать.

– Попробовать? – И доктор засмеялся с видом превосходства. – Раз уж вы решились, лечение обязательно даст результаты. Если вы не захотите применить к бедной Джованне физическую силу, вы отсюда не выйдете. А формальности, связанные с вашей выпиской, затянутся настолько, что за это время вы и думать забудете о своем пороке.

Поднявшись на третий этаж и после этого спустившись на первый, мы очутились в предназначенной для меня комнате.

– Видите эту дверь? Она заперта, и, таким образом, вы не можете попасть в другие комнаты первого этажа, из которых есть выход на улицу. Даже у Джованны нет ключей от этой двери. Для того чтобы выйти, она должна подняться на третий этаж, и ключ, которым открывается дверь на площадку

---

<sup>4</sup> Внезапно, без подготовки (*лат.* ).

третьего этажа, есть только у нее. К тому же на третьем этаже очень строгий надзор. Правда, неплохо, если учесть, что клиника предназначена для детей и рожениц?

И он засмеялся, довольный тем, что запер меня среди детей!

Потом он позвал Джованну и представил ее мне. Это была маленькая женщина неопределенного возраста, границы которого колебались где-то между сорока и пятьюдесятью. У нее были крохотные, очень блестящие глазки и совсем седые волосы. Доктор сказал:

– Вот тот синьор, с которым вы должны быть готовы драться.

Внимательно оглядев меня, Джованна вдруг покраснела и визгливо закричала:

– Свой долг я выполнять буду, но драться с ним я не могу. Если больной будет угрожать, я позову санитаров – он мужчина сильный, а если санитар не придет, пусть убирается на все четыре стороны. Я не желаю рисковать своей шкурой.

Потом я узнал, что доктор, возлагая на нее эту обязанность, посулил ей весьма крупное вознаграждение, и уже это ее напугало. Но тогда ее слова вывели меня из себя. В какое дурацкое положение попал я по собственной воле!

– Да какая там шкура! – воскликнул я. – Кому нужна ваша шкура! – И затем обратился к доктору: – Предупредите, пожалуйста, эту женщину, чтобы она мне не докучала. Я взял с собой несколько книг и желаю, чтобы меня оставили в покое.

Доктор сделал Джованне краткое внушение. Желая оправдаться, она снова обратилась ко мне:

– У меня две дочки, совсем маленькие, я должна жить ради них.

– Стану я об вас руки марать! – ответил я тоном, который, конечно, не мог успокоить бедняжку.

Доктор отослал ее с каким-то поручением на самый верх, и, стараясь меня задобрить, предложил заменить ее кем-нибудь другим. Но при этом добавил:

– Она неплохая женщина. Я попрошу ее быть немного сдержаннее, и у вас не будет поводов для жалоб.

Желая показать, что мне совершенно безразлично, кто ко мне будет приставлен, я заявил, что согласен ее терпеть. Потом почувствовал, что мне необходимо успокоиться, и, вытащив из кармана предпоследнюю сигарету, жадно закурил. Доктору я объяснил, что сигарет у меня только две и что я собираюсь бросить курить ровно в полночь.

Жена попрощалась со мной вместе с доктором. Она сказала улыбаясь:

– Ну держись, раз уж решил!

В ее улыбке, которую я так любил, мне почудилась насмешка, и в ту же минуту в моей душе родилось чувство, которому суждено было обречь на самый жалкий провал столь серьезно предпринятую попытку. Мне сразу стало как-то не по себе, но что именно вызвало это неприятное ощущение, я понял лишь тогда, когда остался один. Ревность, дикая, мучительная ревность к молодому доктору! Он был красив, он был свободен! Его называли Венерой Медицинской. Почему бы моей жене в него не влюбиться? Когда они уходили,

он шел за ней и не сводил глаз с ее ног, обутых в элегантные туфельки. Впервые с тех пор, как я женился, меня охватила ревность. Боже, что за тоска! Ревность, разумеется, была следствием нового для меня отвратительного положения узника. И я попробовал с ней бороться. Улыбка жены была ее обычной улыбкой, а вовсе не насмешкой по поводу того, что меня сумели удалить из дома. Да, это она заперла меня здесь, хоть и не придавала никакого значения моему пороку – но она сделала это, конечно, только ради моего же блага. А потом, кому, как не мне, знать, что влюбиться в мою жену не так-то просто? Если доктор смотрел на ее ноги, то, конечно, просто для того, чтобы запомнить, какие туфельки он должен купить своей любовнице. Однако последнюю сигарету я выкурил тут же, а было не двенадцать, а всего одиннадцать – час, невозможный для последней сигареты!

Я раскрыл книгу и попытался читать, но не мог понять ни одного слова. У меня началось что-то вроде галлюцинаций. На странице, на которую я устремил свой пристальный взгляд, вдруг появился портрет доктора Мули во всем блеске его красоты и элегантности. Мне стало невмоготу. Я позвал Джованну. Может, за разговором я немного успокоюсь.

Войдя, Джованна бросила на меня недоверчивый взгляд, и сразу же визгливо закричала:

– Не вздумайте отговаривать меня от выполнения моего долга!

Желая успокоить ее, я соврал, что и не помышлял об этом, и сказал, что мне просто надоело читать и захотелось немного поболтать. Я усадил ее напротив. Ужас, до чего она мне не нравилась – с этим ее старческим обликом и живыми, молодыми глазами, как это бывает у всех слабых животных. Мне стало жаль самого себя, вынужденного терпеть такое общество. Правда, я и на свободе не умел выбирать себе подходящую компанию, потому что обычно не я выбираю, а меня выбирают, как это сделала, например, моя жена.

Я попросил Джованну как-нибудь меня развлечь, и так как она заявила, что не знает ничего, заслуживающего моего внимания, попросил ее рассказать о своей семье, заметив, что почти все на этом свете имеют по крайней мере одну семью.

Она повиновалась и первым делом поведала мне, что вынуждена была отдать обеих своих дочерей в приют. Такое начало меня заинтересовало: мне показался забавным подобный итог восемнадцати месяцев беременности! Но в Джованне был слишком силен полемический дух, а потому я уже с трудом слушал ее, когда она принялась доказывать, что не могла поступить иначе, учитывая ничтожность ее заработка, и что доктор, заявивший недавно, будто двух крон в день ей вполне достаточно, раз всю ее семью содержит приют, был совершенно неправ.

– А остальное-то как же! – кричала Джованна. – Ведь дать им одежду и пищу – это еще не все!

И тут она пошла перечислять одно за другим все, что она должна была предоставить своим дочерям, но что именно, я не помню, ибо, желая оградить свой слух от ее визгливого голоса, я мысленно обратился к другим предметам. Однако этот голос все-таки резал мне ухо, а потому я решил, что имею право на

некоторую компенсацию:

– Нельзя ли раздобыть где-нибудь сигарету? Хоть одну? Я заплачу вам за нее десять крон. Но только завтра, потому что с собой у меня нет ни одного сольдо.

Джованна была безумно напугана моей просьбой. Сначала она принялась кричать, потом вскочила со стула, чтобы бежать за санитаром.

Желая заставить ее замолчать, я тут же взял свою просьбу обратно и просто для того, чтобы что-нибудь сказать и вернуть себе утраченное достоинство, спросил:

– Ну, а выпивку какую-нибудь можно раздобыть в вашей тюрьме?

– Конечно, можно, – мгновенно ответила Джованна и, к моему удивлению, самым спокойным тоном, без всякого крика. – Уходя, доктор оставил для вас бутылку коньяка. Гляньте, вот она, совсем полная, еще закупоренная.

Я находился в таком положении, что выход мне виделся только один: напиться. Вот до чего довело меня доверие к жене!

В тот момент мне казалось, что порок курения не стоил тех усилий, которые я приложил, чтобы от него избавиться. Я уже полчаса не курил и даже не думал об этом, занятый мыслями насчет жены и доктора Мули. Следовательно, я излечивался, но как непоправимо я был смешон!

Я откупорил бутылку и налил в рюмку желтую жидкость. Джованна жадно смотрела мне в рот, но я поколебался, прежде чем налить и ей.

– А смогу я получить другую бутылку после того, как допью эту?

Все тем же любезным и обходительным тоном Джованна успокоила меня:

– Сколько понадобится, столько и получите! Чтобы угодить вам, синьора, ведающая буфетом, обязана подняться даже в полночь.

Я никогда не страдал скупостью, и Джованна тут же получила полную до краев рюмку. Она осушила ее, не успев даже договорить до конца «спасибо», и сразу же вновь обратила свои живые глаза к бутылке. Так что она сама подала мне мысль ее напоить. Но это оказалось совсем нелегко!

Я не могу с точностью повторить все, что она поведала мне на своем чистом триестинском диалекте после нескольких рюмок, но у меня создалось впечатление, будто рядом со мной человек, слушать которого мне было бы даже приятно, если бы меня не отвлекали мои собственные заботы.

Прежде всего Джованна призналась, что именно так она и любит работать. Надо, чтобы каждый имел право часика два в день проводить в таком же удобном кресле, за бутылкой хорошего вина, из тех, что не приносят вреда.

Я сделал попытку поддержать беседу. Я спросил, была ли ее работа организована таким же образом при жизни мужа.

Она засмеялась. Когда был жив муж, он больше колотил ее, чем целовал, и по сравнению с тем, сколько ей приходилось работать на него, теперешняя жизнь кажется ей отдыхом даже после того, как сюда прибыл я со всеми своими болезнями.

Потом Джованна сделалась задумчивой и спросила – как я думаю, видят ли мертвые то, что делают живые. Я кивнул. Тогда она пожелала выяснить, могут ли мертвые, очутившись на небесах, узнать о том, что происходило в ту пору,

когда они еще были живы.

Этот вопрос меня заинтересовал. Джованна задала его гораздо тише, чем предыдущий, – наверное, для того, чтобы ее не услышали мертвые.

– Ага, – сказал я, – так, значит, вы изменяли своему мужу!

Она попросила меня не кричать так громко, а потом призналась, что да, изменяла, по только в самые первые месяцы после свадьбы. Потом она привыкла к колотушкам и полюбила своего мужа.

Боясь, как бы разговор не иссяк, я спросил:

– Так, значит, ваша старшая дочь обязана своим появлением на свет не мужу, а кому-то другому?

Все так же шепотом Джованна призналась, что ей и самой это уже приходило в голову в связи с кое-каким внешним сходством. И ей очень больно, что она обманула мужа. Но говоря это, она все время смеялась, потому что есть вещи, которые смешны, даже если причиняют боль. Правда, больно ей стало только после его смерти, потому что раньше, когда он ничего не знал, это просто не имело значения.

Движимый какой-то братской симпатией, я попытался облегчить ее боль и сказал ей, что, по моему мнению, мертвые знают все, но на некоторые вещи им просто наплевать.

– Только живые из-за них страдают! – воскликнул я, стукнув кулаком по столу.

При этом я ушиб руку, а ничто так не способствует рождению новых мыслей, как физическая боль. Мне вдруг представилось весьма вероятным, что, покуда я терзаюсь мыслями о том, что моя жена воспользуется моим отсутствием и изменит мне с доктором, доктор, быть может, до сих пор находится в клинике, и, удостоверюсь в этом, я мог бы вернуть себе спокойствие. Я попросил Джованну пойти посмотреть, здесь ли он, объяснив, что мне нужно ему что-то сказать, и пообещал ей за это в награду целую бутылку. Она заявила, что не любит пить так много, однако повиновалась, и я услышал, как она, цепляясь за стенку, карабкается на третий этаж, чтобы выбраться из нашей тюрьмы. Потом она спустилась обратно, но по дороге поскользнулась и упала, наделав много шума.

– Чтоб тебя черт побрал! – пожелал я ей от всей души. Если б она сломала себе шею, мое положение стало бы много проще.

Однако она предстала передо мной, улыбаясь, потому что была в том состоянии, когда боль не причиняет слишком больших страданий. Она сказала, что говорила с санитаром, который уже ложился спать, но тем не менее готов был прийти ей на помощь в случае, если я начну плохо себя вести. Говоря это, она подняла руку и погрозила мне пальцем, смягчив свой жест улыбкой. Потом, уже более сухо, она добавила, что доктор как ушел с моей женой, так с тех пор и не возвращался. С тех самых пор! Некоторое время санитар еще надеялся, что он вернется, потому что были больные, которые нуждались в его помощи, но теперь он уже и не надеется.

Я взглянул на нее, раздумывая, была ли улыбка, которая морщила ее губы, самой обыкновенной, или она объяснялась тем фактом, что доктор находился

при моей жене, а не при мне, хотя его пациентом был я. Меня охватил вдруг такой гнев, что даже закружилась голова. Должен признаться, что, как всегда, в моей душе боролись два человека, один из которых, более рассудительный, говорил мне: «Безумец! С чего ты взял, что жена тебе изменяет? Для того чтобы получить такую возможность, ей вовсе не нужно было запирать тебя здесь!» А другой, конечно тот самый, который хотел курить, тоже называл меня безумцем, но при этом восклицал: «Ты что, забыл, какие удобства создает отсутствие в доме мужа? И подумать только: с тем самым доктором, которому ты платишь из собственного кармана!»

Джованна, продолжая пить, заметила:

– Я забыла запереть дверь на третий этаж, но мне не хочется больше карабкаться по лестнице! Там, наверху, всегда есть народ, и хороши бы вы были, если бы попытались бежать!

Да что вы! – произнес я с тем минимумом лицемерия, который был необходим, чтобы обмануть бедняжку. Затем я тоже опрокинул рюмку коньяка и заявил, что при таком количестве спиртного сигареты мне вообще ни к чему. Джованна нисколько не усомнилась в моей искренности. И тогда я еще поведал ей, что это вовсе не я хотел бросить курить: этого хотела моя жена. Дело в том, что, выкурив десяток сигарет, я становлюсь ужасен. Всякая женщина, которая оказывалась со мною рядом, находилась в опасности. Джованна громко захохотала, откидываясь на спинку стула.

– И ваша жена не дает вам выкурить необходимое для этого количество сигарет?

– Именно так. По крайней мере она мне это запрещает.

Она оказалась совсем не глупа, эта Джованна, после того как вдоволь налилась коньяком. Ее охватил такой приступ смеха, что она едва не падала со стула, а когда ей удавалось перевести дух, она бессвязными словами пыталась нарисовать восхитительную картину моей болезни:

– Десяток сигарет... Полчаса... Хоть заводи будильник... И потом...

Я поправил ее:

– На десяток уйдет примерно час... Потом, чтобы добиться полного эффекта, нужно подождать еще полчаса... Ну, может, и не полчаса, а минут сорок или, наоборот, двадцать.

Внезапно Джованна сделалась серьезной и без особого труда поднялась со стула. Она сказала, что пойдет спать, потому что у нее немного болит голова. Я предложил ей прихватить с собой бутылку, потому что с меня достаточно. Продолжая лицемерить, я добавил, что прошу ее достать мне завтра бутылку хорошего вина.

Но Джованна думала не о вине. Прежде чем уйти, она бросила на меня такой взгляд, что я испугался.

Она оставила дверь открытой, и через несколько минут на пол посреди комнаты упал пакетик, который я тут же подобрал: в нем оказалось одиннадцать сигарет. Чтобы быть вполне уверенной, бедная Джованна решила добавить одну лишнюю. Сигареты были самые заурядные, венгерские. Но первая показалась мне восхитительной. Я сразу почувствовал огромное облегчение. Сначала я



подумал о том, как приятно надуть это заведение, которое, может быть, и годится на то, чтобы удержать в нем детей, но уж никак не меня. Потом я сообразил, что надул также и жену и что, следовательно, оплатил ей той же монетой. Ведь, в самом деле, если бы это было не так, разве могла бы моя ревность столь быстро превратиться во вполне терпимое любопытство? Я спокойно сидел себе на своем стуле, покуривая тошнотворную сигарету.

Примерно спустя полчаса я вспомнил, что должен бежать, так как Джованна ожидала причитавшееся ей вознаграждение. Дверь в ее комнату была приотворена и, судя по громкому и ровному дыханию, которое оттуда доносилось, она спала. Со всей осторожностью, на которую я был способен, я поднялся на третий этаж и перед самой дверью, которая была предметом особой гордости доктора Мули, надел башмаки; затем вышел на площадку и начал спускаться по лестнице – медленно и спокойно, чтобы не вызвать подозрений.

Я уже был на площадке второго этажа, когда меня догнала девушка, одетая с элегантностью сестры милосердия, и вежливо осведомилась:

– Вы кого-нибудь ищете?

Девушка была хорошенькая, и я был бы не прочь докурить свою десятую сигарету именно подле нее. Я улыбнулся ей несколько агрессивно.

– А что, доктора Мули разве нет?

Она широко раскрыла глаза.

– В этот час его никогда не бывает в клинике.

– А вы не могли бы сказать, где я могу найти его сейчас? Я должен пригласить его к больному.

Она любезно сообщила мне адрес доктора, и я повторил его вслух несколько раз, чтобы она подумала, будто я хочу его запомнить. Я не торопился уходить, и она не без раздражения повернулась ко мне спиной. Меня прямо-таки вышвыривали из моей тюрьмы!

Внизу какая-то женщина с готовностью распахнула передо мной двери. У меня не было с собой ни гроша, и я пробормотал:

– На чай я вам дам в другой раз.

Кто знает, что ожидает нас в будущем! У меня, например, все в жизни повторяется: не исключено, что и здесь я окажусь снова.

Ночь была ясная и теплая. Я снял шляпу, чтобы меня овеял ветер свободы. Я смотрел на звезды с таким восхищением, будто они только что стали моей собственностью. Завтра, вдали от клиники, я брошу курить. А пока в кафе, которое было еще открыто, я раздобыл хороших сигарет. Не мог же я кончить свою карьеру курильщика на сигаретах бедной Джованны! Официант, у которого я их достал, знал меня и поверил мне в долг.

Подойдя к своей вилле, я с яростью дернул колокольчик. Сначала выглянула в окно служанка, а потом, не слишком быстро, жена. Ожидая ее появления, я думал с ледяным равнодушием: «Похоже, что там доктор Мули». Но, узнав меня, жена огласила пустынную улицу таким искренним смехом, который должен был рассеять все мои подозрения.

Войдя в комнату, я несколько помедлил, занятый кое-какими

наблюдениями. Жена, уверенная в том, что и так прекрасно знает все приключения, которые я обещал рассказать ей завтра, спросила:

– Почему ты не ложишься?

Желая как-то объяснить свое поведение, я заметил:

– Мне кажется, ты воспользовалась моим отсутствием, чтобы переставить вот этот шкаф.

Мне и правда всегда кажется, что вещи в моем доме то и дело передвигаются с места на место, да жена и в самом деле часто их переставляет, но сейчас-то я заглядывал в каждый уголок только для того, чтобы проверить, не прячется ли там маленькая элегантная фигурка доктора Мули.

От жены я узнал приятные новости. Возвращаясь из клиники, она встретила сына Оливи, который сказал ей, что старику стало гораздо лучше после лекарства, которое прописал новый доктор.

Засыпая, я думал о том, что поступил совершенно правильно, покинув клинику. Теперь у меня есть время, и я могу лечиться без всякой спешки. Да и сын мой, который спит в соседней комнате, еще очень не скоро войдет в возраст, когда сможет осуждать меня или подражать мне. Так что совершенно не к чему было торопиться.

#### **IV. Смерть отца**

Доктор уехал, и я просто даже и не знаю – писать мне биографию отца или не надо. Если бы я подробно описал отца, то, наверное, оказалось бы, что для того, чтобы вылечить меня, нужно сначала подвергнуть психоанализу его, и, таким образом, пришлось бы отказаться от всей этой затеи. Но, пожалуй, я рискну продолжать, потому что знаю: если бы отцу и понадобилось подобное лечение, то лечился бы он от совсем другой болезни. В общем, для того, чтобы не задерживаться на этом слишком долго, я расскажу об отце только то, что поможет мне оживить воспоминания о себе самом.

«15.4.1890. 4 часа 30 минут. Умер отец. П. С.» Тому, кто не понял, я должен объяснить, что последние две буквы означают не «пост скрипту», а «последняя сигарета». Эту запись я нахожу в освальдовской философии позитивизма, над которой, не теряя надежды в ней разобраться, я провел множество часов, но так ничего и не понял. Никто мне, наверное, не поверит, но, несмотря на такую странную форму, эта запись зафиксировала самое важное событие в моей жизни.

Моя мать умерла, когда мне не было еще и пятнадцати лет. Я посвятил ее памяти несколько стихотворений – а это, как известно, совсем не то, что плакать, – и к боли утраты у меня все время примешивалось ощущение, что с этого момента для меня начнется серьезная трудовая жизнь. Сама боль, которую я испытывал, уже свидетельствовала о какой-то более яркой и наполненной жизни. Кроме того, мое страдание смягчалось и сглаживалось еще живым в ту пору религиозным чувством. Мать продолжала жить, хотя и вдали от меня, и даже могла радоваться моим будущим успехам, к которым я покуда старательно готовился. Весьма удобное представление! Я очень ясно помню мое тогдашнее

душевное состояние. В результате оздоравливающего воздействия, которое оказала на меня смерть матери, все во мне должно было измениться к лучшему.

И наоборот: смерть отца была для меня подлинной катастрофой. Во-первых, я больше не верил в рай, а во-вторых, в мои тридцать лет я был уже конченным человеком. Да, да, вместе с отцом кончился и я. Мне тогда в первый раз стало ясно, что самый важный и решающий отрезок моей жизни безвозвратно остался в прошлом. Мое страдание отнюдь не было насквозь эгоистическим, как может показаться из этих строк. Вовсе нет! Я оплакивал и отца и себя, но себя только потому, что умер он. До сих пор я переходил от сигареты к сигарете и с одного факультета на другой с неистребимой верой в собственные способности. И я думаю, что эта вера, которая делала мою жизнь столь приятной, жила бы во мне и до сих пор, если бы отец не умер. Его смерть отняла у меня все те «завтра», на которые я привык откладывать осуществление своих добрых намерений.

Всякий раз, когда я об этом думаю, меня поражает одна странность, то есть то, что я отчаялся в себе и в своем будущем только после смерти отца, а не раньше. В общем, все эти события совсем недавние, и, чтобы вспомнить нестерпимую боль, которую я тогда испытывал, и каждую подробность этой трагедии, мне не к чему дремать в кресле, как рекомендуют господа психоаналитики. Я помню все, только вот понять ничего не могу. Вплоть до самой смерти отца в моей жизни не находилось для него места. Я не делал ни малейшего усилия, чтобы как-то к нему приблизиться, и избегал этого даже тогда, когда можно было это сделать, никак его не задевая. В университете его знали под именем, которое дал ему я: Старый Сильва Пришли Деньжат. Ему нужно было заболеть, чтобы я к нему привязался, а болезнь его была равнозначна смерти, потому что была очень короткой, и врач сразу же сказал, что дни его сочтены. Когда я бывал в Триесте, мы виделись с ним не более часа в день. Никогда мы не были так долго и так тесно вместе, как в ту пору, когда я его уже оплакивал. Если б по крайней мере я поменьше плакал и побольше за ним ухаживал! Может быть, мне было бы легче! Нам было трудно вдвоем, потому что между ним и мною духовно не было ничего общего. Глядя друг на друга, мы улыбались одинаковой сочувственной улыбкой, только в его улыбке преобладала горечь, порожденная живой отцовской тревогой за мое будущее, а моя – наполнилась снисходительностью, ибо я был уверен, что слабости его, которые я приписывал в значительной мере возрасту, уже не могут привести ни к каким серьезным последствиям. Отец был первым, кто усомнился в моей энергичности, и, как мне кажется, сделал это слишком рано. Я подозревал, что это сомнение, для которого не было никаких серьезных оснований, возникло у него только потому, что я был его сыном, а это, в свою очередь, уже с полным основанием укрепляло мои сомнения относительно него самого.

Отец пользовался репутацией умелого коммерсанта, но я-то знал, что всеми его делами уже много лет управляет Оливи. В этом неумении вести коммерческие дела между нами было некоторое сходство, но больше решительно ни в чем; я даже могу сказать, что из нас двоих я олицетворял собой силу, а он слабость. Уже все рассказанное мною выше свидетельствует о

том, что во мне всегда жил – и это, может быть, было самым большим моим несчастьем – неодолимый порыв к совершенствованию. Никак иначе нельзя истолковать мое стремление стать человеком энергичным и уравновешенным. Отец не знал ничего подобного. Он жил, совершенно довольный тем, какой он есть, и, должен признаться, не предпринимал никаких попыток сделаться лучше. Он курил целыми днями напролет, а после смерти мамы, когда не мог заснуть, то и ночью. Пил он не много, так, как пьют истые джентльмены: за ужином, вечером, и лишь для того, чтобы заснуть сразу же, как только голова коснется подушки. И табак и алкоголь были, по его мнению, хорошим лекарством.

Что касается женщин, то от родственников я узнал, что мать имела основания для ревности. И, кажется, при всей ее кротости она вынуждена была иной раз предпринимать весьма энергичные меры, чтобы держать мужа в узде. Отец во всем подчинялся жене, которую любил и уважал, но ей ни разу не удалось заставить его признаться в измене, и умерла она, уверенная в том, что ошибалась в своих подозрениях. Однако добрые родственнички рассказывают, что однажды она застала мужа почти *in flagranti*<sup>5</sup> с ее же портнихой. Он объяснил случившееся своей крайней рассеянностью и стоял на этом объяснении до тех пор, пока она не поверила. И единственным следствием всего происшествия было то, что мать порвала все отношения с этой портнихой, как, впрочем, и отец. Думаю, что, будучи на его месте, я все-таки признался бы, но уж потом вряд ли бросил бы портниху, так как пускаю корни всюду, где мне стоит хоть на миг задержаться.

Отец умел защитить свое спокойствие как истый *pater familias*<sup>6</sup>. Мир и покой царили в его доме и в его душе. Книги он читал только самые пошлые и нравоучительные, и вовсе не из лицемерия, а по искреннему убеждению. Я думаю, что он живо ощущал справедливость содержащихся в них моральных прописей, и совесть его всегда была спокойна из-за его искренней приверженности добродетели. Сейчас, когда я старею и сам становлюсь патриархом, я тоже, как и он, считаю, что проповедь аморализма должна наказываться строже, чем аморальный поступок. К убийству приводит любовь или ненависть, к пропаганде убийства – преступный склад души.

У нас было так мало общего, что однажды он мне признался, что я принадлежу к числу тех людей, которые внушают ему наибольшую тревогу. Мое стремление стать здоровым побудило меня изучать человеческое тело. Отец же, наоборот, сумел изгнать из своих мыслей всякое напоминание об этом чудовищном механизме. Для него, например, сердце не билось, и чтобы объяснить, как функционирует его организм, ему не к чему было вспоминать о всяких там клапанах, венах и обмене веществ. Никакого движения! Потому что опыт ему подсказывал, что все, что движется, когда-нибудь остановится. Земля – и та была для него неподвижной, прочно закрепленной на полюсах.

---

5 На месте преступления (*лат.* ).

6 Отец семейства (*лат.* ).

Конечно, он никогда не произносил этого вслух, но страдал, когда при нем говорили что-нибудь противоречившее этой концепции. Когда однажды я начал рассказывать ему об антиподах, он с отвращением меня прервал. Его просто мутило при мысли о людях, которые ходят вверх ногами.

И еще две вещи ставил он мне в вину: мою рассеянность и мою страсть смеяться над серьезными вещами. В отношении рассеянности он отличался от меня лишь тем, что всегда имел при себе записную книжку, в которую заносил все, что следовало запомнить, и в которую заглядывал по многу раз в день. Он полагал, что таким образом победил эту свою слабость и она уже ему никак не мешает. Он заставил завести такую же книжечку и меня, но я записывал в нее лишь дату очередной «последней сигареты».

Что касается моего презрения к серьезным вещам, то, на мой взгляд, у отца была слабость слишком многое воспринимать серьезно. Вот вам пример: когда я перешел от юриспруденции к химии, а от химии, с его разрешения, снова к юриспруденции, он добродушно сказал: «Ну что ж, по крайней мере теперь ясно, что ты у нас сумасшедший».

Я нисколько не обиделся, и так как был очень благодарен ему за снисходительность, решил в награду его немного посмешить. Я пошел к доктору Канестрини и потребовал, чтобы он освидетельствовал меня и выдал заключение. Это оказалось не так-то просто, потому что мне пришлось подвергнуться длительным и подробным исследованиям. Получив заключение, я с торжеством вручил его отцу, но это его нисколько не рассмешило. Глубоко опечаленный, со слезами на глазах он воскликнул: «Нет, ты действительно сумасшедший!»

Такова была награда за невинную и стоившую мне стольких трудов комедию. Он никогда мне ее не простил и никогда над нею не смеялся. Пойти к врачу просто так, ради шутки? Ради шутки выхлопотать свидетельство, сплошь уставленное печатями? Ну, не сумасшедшая ли затея?

В общем, рядом с отцом я выглядел олицетворением силы, и порой мне кажется, что его смерть я ощутил как огромную потерю именно потому, что рядом со мной не было больше этой слабости, столь меня возвышавшей.

Помню, как проявилась эта слабость, когда негодяй Оливи стал принуждать его написать завещание. Оливи был очень заинтересован в завещании, по которому все мои дела после смерти отца отходили под его опеку, и ему, должно быть, пришлось немало потрудиться, чтобы заставить старика выполнить печальную обязанность. Наконец отец решился, но с той поры его круглое простодушное лицо омрачилось. Он теперь постоянно думал о смерти, словно, совершив это действие, вступил с нею в какой-то контакт.

Однажды вечером он меня спросил:

– Как ты считаешь, со смертью все исчезает?

Я сам все время размышляю о таинстве смерти, но в ту пору я еще был не в состоянии сообщить ему интересующие его сведения и, чтобы доставить ему удовольствие, тут же сочинил приятнейшую картину нашего будущего существования:

– Я думаю, что после смерти нам останется только наслаждение, потому

что страдание перестанет быть необходимым. Разложение, по-видимому, будет похоже на сексуальное наслаждение. Оно обязательно должно сопровождаться ощущением радости и покоя, поскольку созидание и рост были так мучительно трудны. Разложение дается нам в награду за жизнь!

Мое выступление потерпело полный провал. Мы сидели тогда за столом, только что отужинав. Ничего не ответив на мою тираду, отец допил свой стакан и сказал:

– Не время мне сейчас философствовать, а уж в особенности с тобой.

И ушел. Сожалея о сказанном, я отправился было следом, собираясь побыть с ним и отвлечь его от грустных мыслей. Но он отослал меня, сказав, что я напоминаю ему о смерти и связанных с нею «удовольствиях».

Он не мог выкинуть из головы свое завещание до тех пор, пока не сообщил мне о нем. Он вспоминал о нем всякий раз, когда меня видел. И однажды вечером не выдержал:

– Должен тебе сказать, что я написал завещание.

Стараясь отвлечь его от мрачных мыслей, я скрыл удивление, вызванное этим сообщением, и сказал:

– А вот мне, наверное, не придется об этом беспокоиться: я надеюсь, что мои наследники перемерут раньше.

Отца огорчило и взволновало то, что я смеюсь над столь серьезными вещами, и в нем сразу же проснулось его обычное желание меня наказать. И поэтому ему уже было совсем легко рассказать мне о том, какую он сыграл со мной злую шутку, учредив надо мной опеку Оливи.

Должен сказать, что я показал себя хорошим сыном, ибо не возразил ему ни единым словом; мне хотелось, чтобы он скорее отвлекся от мрачных мыслей. Я сказал, что какова бы ни была его последняя воля, я готов ей повиноваться.

– А может быть, – добавил я, – я сумею в дальнейшем вести себя так, что ты сочтешь возможным изменить свою последнюю волю.

Это ему понравилось; в моих словах он увидел доказательство того, что я верю в его долгую, очень долгую жизнь. Тем не менее он заставил меня поклясться, что в случае, если его воля останется неизменной, я никогда не попытаюсь ограничить полномочия Оливи. И я поклялся, ибо одного честного слова ему было мало. Я вел себя так кротко и так послушно, что теперь, когда меня начинают мучить угрызения совести по поводу того, что я недостаточно любил отца при жизни, я всегда воскрешаю в памяти эту сцену. Но чтобы быть правдивым до конца, я должен признаться, что повиноваться его воле мне было довольно легко, потому что в ту пору мне даже нравилось думать, что мне не придется работать.

Примерно за год до его смерти я сумел проявить и активную заботу о его здоровье. Он признался мне, что плохо себя чувствует, и я заставил его пойти к врачу и даже сам его туда проводил. Врач прописал ему какие-то лекарства и велел зайти через неделю. Но отец не пошел, сказав, что ненавидит врачей так же, как могильщиков, и даже лекарств пить не стал, потому что они тоже напоминали ему о могильщиках и врачах. Правда, несколько часов он воздерживался от курения и один раз за столом не пил. А когда совсем

покончил с лечением, то почувствовал себя так хорошо, что я, видя его довольным, тоже махнул рукой на всех врачей.

Правда, иногда я замечал, что он грустен. Но было бы удивительно, если бы он был весел, будучи таким старым и одиноким.

Как-то вечером в конце марта я вернулся домой позже обычного. Не подумайте чего плохого: просто я попался в лапы одному своему приятелю, который пожелал поделиться со мной мыслями о происхождении христианства. Впервые в жизни от меня потребовали, чтобы я задумался над происхождением христианства, и все же, не желая огорчить приятеля, я покорно выслушал всю длинную лекцию. Моросил дождь, и было холодно. Все казалось мне отталкивающим и мрачным, включая эллинов и иудеев, о которых повествовал мой друг, но все же я терпеливо вынес эту двухчасовую пытку. Обычная моя слабость! Я и сейчас совершенно не умею сопротивляться и держу пари, что любой, кто серьезно этого захочет, может заставить меня заняться чем угодно – вплоть до астрономии.

Я вошел в сад, окружавший нашу виллу. К дому вела коротенькая аллея, предназначенная для экипажей. Мария, наша служанка, поджидала меня у окна и, услышав шаги, крикнула в темноту:

– Это вы, синьор Дзено?

Мария была из тех служанок, каких нынче уже нет. Она жила у нас добрых пятнадцать лет. Каждый месяц она относила в сберегательную кассу часть своего жалованья – «на старость», но воспользоваться этими деньгами ей не пришлось, потому что она так и умерла у нас в доме за работой, немного времени спустя после моей женитьбы.

Мария сказала, что отец уже несколько часов, как вернулся, но не ужинал, потому что хотел дожидаться меня. А когда она стала настаивать, чтобы он пока хотя бы перекусил, он довольно грубо ее отослал. Потом, с тревогой и беспокойством, он несколько раз спрашивался, не вернулся ли я. Мария дала мне понять, что, на ее взгляд, с отцом неладно. Она усмотрела у него прерывистое дыхание и затрудненную речь. Правда, ей уже не первый раз казалось, что отец болен, – должно быть, потому, что она ни с кем, кроме него, не общалась. Бедняга мало что видела, сидя целыми днями одна в пустом доме, а уж после того, как у нее на глазах умерла моя мать, ей стало казаться, что все должны умереть раньше нее.

Я поспешил в столовую с некоторым любопытством, но ничуть не встревоженный. Отец тут же поднялся с дивана, на котором лежал, и поздоровался со мной с нескрываемой радостью, которая, впрочем, меня не растрогала, так как я усмотрел в ней прежде всего упрек. Тем не менее это окончательно меня успокоило, потому что радость казалась мне свидетельством здоровья. Я не заметил ни прерывистого дыхания, ни затрудненной речи, о которых говорила Мария. Вместо того чтобы упрекнуть меня, он попросил прощения за настойчивость, с которой меня ждал.

– Что поделаешь! – сказал он добродушно. – Нас ведь только двое на свете, и мне хотелось увидеть тебя, прежде чем я лягу.

Мне бы тут быть попроще и обнять моего бедного отца, которого болезнь сделала таким кротким и ласковым. Я же вместо этого принялся хладнокровно ставить диагноз: с чего бы это старый Сильва так подобрел? Может, он болен? Я подозрительно на него посмотрел и не нашел ничего лучшего, как упрекнуть его:

– Но почему ты до сих пор не ужинал? Мог бы поужинать, а уж потом ждать.

Он рассмеялся совсем молодым смехом.

– Вдвоем ужинать веселее.

Эта веселость могла быть свидетельством хорошего аппетита, и, успокоившись, я принялся за еду. Шаркая шлепанцами, он неверными шагами подошел к столу и занял свое обычное место. Потом принялся смотреть, как я ем, а сам, проглотив несколько ложек, ни к чему больше не притрагивался и даже отставил блюдо, которое, по-видимому, вызывало у него отвращение. С его старого лица не сходила улыбка. Только помню – помню так, как будто это было вчера, – что несколько раз, когда наши глаза встречались, он отводил свой взгляд в сторону. Принято считать, что это признак фальшивой души, но теперь-то я знаю, что это признак болезни. Больное животное никогда не дает заглянуть себе в глаза, потому что не хочет, чтобы заметили его болезнь и слабость.

Он непременно хотел услышать, как я провел все это время, покуда он меня ждал. Видя, что ему действительно очень этого хочется, я оторвался на минутку от еды и весьма сухо сообщил, что был занят беседой о происхождении христианства. Он взглянул на меня растерянно и недоверчиво.

– А, так, значит, и ты тоже думаешь теперь о религии?

Совершенно очевидно, что для него было бы большим утешением, если бы я согласился поразмыслить над ней вместе с ним. Но тот воинственный дух, который был свойствен мне при жизни отца (когда он умер, это прошло), заставил меня ответить ему одной из тех дежурных фраз, которые каждодневно звучат под сводами кафе, расположенных в окрестностях университета:

– Для меня религия – это просто достойный изучения феномен.

– Феномен? – сказал он растерянно. Поискал ответа и уже открыл было рот, желая что-то сказать, однако заколебался. Он взглянул на второе блюдо, которое Мария подала как раз в этот момент, но так к нему и не притронулся. Затем, очевидно, для того, чтобы заткнуть себе рот, он сунул в него окурочек сигары, зажег его, но тот сразу же погас. Все это дало ему возможность выиграть время, чтобы спокойно обдумать услышанное. Наконец, решившись, он взглянул на меня:

– Но ведь ты не собираешься смеяться над религией?

С набитым ртом я ответил ему так, как и положено бездельнику студенту:

– Какое там смеяться! Я ее изучаю!

Он замолчал, устремив долгий взгляд на недокуренную сигару, которую положил на тарелку. Сейчас-то я понимаю, почему он мне это сказал. Сейчас я понимаю все, что творилось в этом уже затуманившемся мозгу, и меня удивляет, как я не понял этого тогда. Думаю, что тогда мне не хватало любви, которая все



помогает понять. Потом мне это стало так легко! Отец не хотел нападать на мой скептицизм напрямую – такая борьба была не по силам ему в ту минуту, но он счел своим долгом робко атаковать его с фланга – так, как только и мог это сделать тяжело больной человек. Помню, что, когда он заговорил, дыхание его прерывалось и речь текла медленнее, чем обычно. Ведь это такой тяжкий труд – подготовиться к борьбе! Но я тогда думал только о том, что он не ляжет, куда всего мне не выскажет, и приготовился к спору, который так и не состоялся.

– Я, – сказал отец, по-прежнему глядя на погасшую сигару, – чувствую, как велики мой жизненный опыт и мое знание жизни. Не зря же человек живет столько лет! Я знаю ужасно много, но, к сожалению, не могу научить всему этому тебя, как бы мне этого ни хотелось! А как бы мне этого хотелось! Теперь я вижу самую суть вещей, я понимаю, что истинно и справедливо, а что нет.

На это возразить было нечего. Продолжая есть, я пробормотал без особого убеждения:

– Да, да, папа, конечно.

Я не хотел его обидеть.

– Жаль, что ты вернулся так поздно. Раньше я чувствовал себя не таким усталым и мог бы еще многое тебе рассказать.

Я подумал, что этими словами он хочет упрекнуть меня за позднее возвращение, и предложил ему отложить наши пререкания на завтра.

– Какие пререкания, – сказал он задумчиво, – речь идет совсем о другом. Речь идет о вещах, о которых и пререкаться-то нечего и которые станут известны и тебе, как только я о них расскажу. Только вот очень трудно о них рассказать.

Здесь в мою душу снова закралось сомнение.

– Ты что, плохо себя чувствуешь?

– Не могу сказать, что плохо, просто я очень устал и сейчас пойду спать.

Он позвонил и одновременно позвал Марию. Когда она пришла, он спросил, все ли приготовлено в его комнате. И сразу же пошел к себе, шаркая туфлями. Дойдя до меня, он наклонился и подставил щеку для ежевечернего поцелуя.

Увидев, как неуверенно он идет, я снова заподозрил, что с ним неладно, и снова спросил, как он себя чувствует. И мы оба еще раз повторили все те же слова, и он снова уверил меня, что не болен, а просто устал. Потом добавил:

– Пойду, обдумаю то, что я скажу тебе завтра. Вот увидишь, ты со мной согласишься.

– Папа, – сказал я взволнованно, – я охотно тебя выслушаю.

Услышав, с какой готовностью я согласился воспринять его жизненный опыт, он помедлил с уходом: следовало воспользоваться таким благоприятным моментом! Он провел рукой по лбу и сел на стул, на который опирался, подставляя мне щеку для поцелуя. Он немного задышался.

– Странно! – сказал он. – Я не в состоянии сказать тебе ничего, ну просто ничего.

Он огляделся, словно ища вокруг то, что тщетно пытался нащупать в памяти.

– И все-таки я знаю так много, можно сказать, я знаю просто все. Должно быть, это результат моего огромного жизненного опыта.

Но, по-видимому, его не очень мучило то, что он не в силах был выразить свою мысль, потому что он улыбался, довольный своим величием и могуществом.

Не знаю, почему я тут же не вызвал врача. Больше того, я должен в этом признаться со стыдом и болью: я счел, что слова отца продиктованы тщеславием, которое уже не раз за ним замечал. Однако я не мог не заметить и его слабости и только потому не стал с ним спорить. Мне нравилось видеть, как счастлив он этим своим иллюзорным могуществом, в то время как на самом деле он был слабее слабого. К тому же я был польщен его любовью, проявившейся в этом его желании сообщить мне все те знания, которыми, как он полагал, он владеет, хотя сам-то я был убежден, что ничему он научить меня не может. И, чтобы сделать ему приятное и в то же время его успокоить, я сказал, что он не должен слишком напрягаться в поисках недостающих слов, потому что в затруднительных случаях, подобных этому, даже великие умы предпочитали откладывать все эти сложности в самые дальние уголки памяти, чтобы они упростились там сами собой. Он ответил:

– Да то, что я хотел бы тебе сказать, не так уж и сложно. Тут нужно найти одно слово, всего одно слово, и я его найду. Но только не сегодня, сегодня я буду спать и ни о чем не думать.

Однако он все не поднимался со своего стула. Бросив на меня испытующий взгляд, он неуверенно сказал:

– Боюсь все-таки, что не сумею тебе рассказать все, что думаю, потому что ты привык над всем смеяться.

Он улыбнулся, словно просил, чтобы я не сердился на него за эти слова, поднялся со стула и еще раз подставил щеку для поцелуя. Я не стал с ним спорить и объяснять, что на свете есть множество вещей, над которыми можно и должно смеяться: я просто крепко обнял его, чтобы немного подбодрить. Но, должно быть, мое объятие было слишком крепким, потому что он высвободился, дыша еще тяжелее, чем раньше. Однако мой порыв был, видимо, им замечен, так как, уходя, он дружески помахал мне рукой.

– Спать, спать! – сказал он весело и ушел вместе с Марией.

Оставшись один, я опять-таки (и это тоже очень странно) не подумал о его состоянии; вместо этого я, взволнованный и исполненный сыновней почтительности, посетовал на то, что ум, устремленный столь высоко, не в силах воспользоваться возможностями, которые предоставляет человеку более высокая культура. Сейчас, когда я это пишу и когда я уже почти достиг тогдашнего возраста отца, я с достоверностью знаю, что у человека может быть ощущение глубочайшего постижения им всего и вся, которое помимо этого необычайно острого ощущения никак больше не проявляется. Скажем так: когда человек, делая глубокий вдох, с восторгом приемлет с этим вздохом всю природу – во всей неизменности, с которой она нам предложена, – он и проявляет ту способность к постижению сущего, коей наделило нас мироздание. Что касается отца, то это ощущение понимания всего и вся,

возникшее у него в последние сознательные минуты его жизни, явилось следствием внезапного религиозного озарения, хотя разговор на религиозную тему начался потому, что я сказал ему о своем интересе к проблемам происхождения христианства. Правда, сейчас я знаю, что это ощущение было также и первым симптомом отека мозга.

Пришла Мария убирать со стола и сказала, что отец, по-видимому, сразу же заснул. Тогда и я отправился спать, уже совершенно успокоившись. За окном бушевал и выл ветер. Я слушал эти завывания, и они казались мне, лежавшему в теплой постели, колыбельной песней, которая становилась все тише и тише по мере того, как я погружался в сон.

Не знаю, сколько времени я проспал. Разбудила меня Мария. По-видимому, она прибежала ко мне в комнату уже несколько раз и, окликнув, тут же убегала снова. Еще во сне я ощутил какое-то смутное беспокойство, а когда, открыв глаза, увидел, как бедная старуха мечется по комнате, понял, в чем дело: она старалась меня разбудить, но когда ей наконец это удавалось, ее уже не было в комнате. От завываний ветра за окном ужасно хотелось спать, и, сказать по правде, направляясь к отцу, я весьма сожалел о том, что меня разбудили. Я знал, что Марии вечно кажется, будто отец при смерти. Ну, и задам же я ей, если и на этот раз там все в порядке.

Комната отца, не очень большая, была вся заставлена мебелью. После смерти матери, стремясь убежать от воспоминаний, он перебрался в другую комнату, меньше прежней, но перетащил с собой всю мебель. Скупое освещение газовым рожком, помещавшимся на низеньком ночном столике, комната была почти полностью погружена в тень. Отец лежал на спине, до пояса свесившись с кровати, и Мария поддерживала его, чтобы он не упал. Газовый рожок бросал розоватые отблески на его покрытое потом лицо. Голова покоилась на груди верной служанки. Он стонал от боли, и изо рта, с отвисшей губы, стекала на подбородок струйка слюны. Он, не отрываясь, смотрел в стену и не обернулся, когда я вошел.

Мария сказала, что прибежала на его стоны и вовремя подхватила, не дав ему упасть. Сначала, объяснила она, он был гораздо спокойнее, это сейчас он немного притих, но все равно она не рискнула бы оставить его одного. Видимо, она хотела оправдаться передо мной – ведь она меня разбудила, но я и так уже понял, что она поступила правильно. Рассказывая все это, Мария плакала, но так как мой черед плакать еще не настал, я даже велел ей замолчать и не усугублять своими слезами весь этот кошмар. Я еще не понял тогда, что произошло. Бедняга постаралась подавить рыдания.

Наклонившись к уху отца, я крикнул:

– Почему ты стонешь, папа? Тебе плохо?

Мне кажется, что он меня услышал: стоны его сделались глуше, и он отвел глаза от стены, как будто желая взглянуть на меня; но обратить взгляд в мою сторону ему не удалось. Я несколько раз прокричал ему в ухо все тот же вопрос, но так ничего и не добился. И вот тогда-то меня покинуло мужество. Отец в этот час был уже ближе к смерти, чем ко мне, и поэтому мой голос не достигал его слуха. Мне стало страшно, и тут же вспомнился наш разговор накануне

вечером. С тех пор прошло всего несколько часов, а он уже был на пути к тому, чтобы узнать кто из нас двоих был прав. Как странно! К боли, которую я испытывал, примешивались угрызения совести, Я спрятал лицо в отцовскую подушку и отчаянно зарыдал, хотя совсем недавно упрекал за то же самое бедную Марию.

Настал ее черед меня успокаивать, но она делала это очень странно. Призывая меня к спокойствию, она не переставала говорить об отце, который тем временем продолжал стонать, глядя в стену слишком широко раскрытыми глазами, какие бывают у мертвецов.

– Бедняга! – причитала она. – Умирает, а волосы еще такие красивые, такие густые! – И она погладила отца по голове. Это была правда: голову отца увенчивали густые белоснежные кудри, в то время как я начал лысеть уже к тридцати годам.

Я совсем забыл о том, что на свете существуют врачи и что будто бы в иных случаях они могут принести избавление от болезни. Я уже видел смерть на этом искаженном болью лице и ни на что не надеялся. О враче заговорила Мария и пошла будить работника, чтобы послать его в город.

Я остался один и минут десять, которые показались мне вечностью, поддерживал тело отца. Помню, что в свои руки, касавшиеся этого измученного тела, я старался вложить всю нежность, которая переполняла мне сердце. Моих слов он не слышал; каким еще путем я мог дать ему понять, как я его люблю?

Когда работник пришел, я отправился к себе, чтобы написать врачу записку, но никак не мог подобрать нужных слов, чтобы объяснить, что именно случилось и какие, следовательно, инструменты и лекарства он должен захватить. Меня не оставляла мысль о неминуемой и близкой кончине отца, и я спрашивал себя: «Что я теперь буду делать, один на всем свете?»

Потом начались долгие часы ожидания. Я помню их очень ясно. Поддерживать тело отца вскоре уже стало не нужно, потому что теперь он спокойно лежал в постели, совсем без сознания. Прекратились и стоны, он ничего не чувствовал. Дышал он часто-часто, и я бессознательно подражал его дыханию. Но так как при этом мне не удавалось глубоко вздохнуть, я время от времени давал себе передышку, почему-то надеясь, что такую же передышку получит в это же время и больной. Но он не давал себе передышки, он, не останавливаясь, спешил вперед. Тщетно пытались мы влить ему в рот ложку чая. Казалось, к нему даже частично возвращалось сознание в те минуты, когда ему приходилось оказывать нам сопротивление. Он решительно стискивал зубы. Даже теперь его не покинуло неукротимое упрямство. Еще задолго до рассвета ритм его дыхания вдруг изменился. Теперь оно делилось на периоды: период спокойного, медленного дыхания, напоминавшего дыхание совершенно здорового человека, сменялся периодом учащенного, который завершался долгой пугающей паузой, казавшейся нам с Марией предвестницей смерти. Но потом все начиналось сызнова и шло почти так же, как было: музыкальный период, которому монотонность сообщала бесконечную печаль. Это дыхание, такое разное по ритму, но неизменно шумное, стало как бы частью этой комнаты. С этого момента оно поселилось в ней надолго.

Бросившись на диван, я провел на нем несколько часов, в то время как Мария сидела у постели больного. На этом диване я выплакал свои первые жгучие слезы. Плача, человек как бы сводит на нет собственную вину и получает возможность безнаказанно свалить все на судьбу. Я плакал оттого, что терял отца, ради которого жил. Неважно, что я мало с ним общался. Разве все мои усилия, направленные на то, чтобы сделаться лучше, были предприняты не ради него, не ради его удовольствия? А успех, к которому я всегда так стремился и которым я, конечно, хотел бы похвалиться перед ним, так мало в меня верившим, разве не был бы и этот успех его утешением? А теперь – все, он больше не может ждать, он уйдет, убежденный в моей неисправимой слабости. Слезы мои были горьки.

Сейчас, когда я это пишу, когда я запечатлеваю на бумаге все эти мучительные воспоминания, я вдруг вспоминаю, что образ, который так поразил меня при моей первой попытке воскресить прошлое – образ паровоза, который тащит в гору вереницу вагонов, – возник у меня в первый раз тогда, когда я слушал с дивана дыхание больного отца. Так же дышат паровозы, которые тащат тяжелый состав: их ровное пыхтение постепенно ускоряется, ускоряется, и вдруг наступает угрожающая пауза, во время которой вам кажется, что и паровоз и вагоны вот-вот рухнут под откос. Так вот в чем дело! Значит, первая же моя попытка вспомнить прошлое привела меня к той ночи и к тем часам, которые оказались самыми важными в моей жизни.

Доктор Копросич в сопровождении санитаря, несущего чемоданчик с инструментами, прибыл к нам еще до рассвета. Ему пришлось идти пешком, потому что из-за бури невозможно было найти экипаж.

Я встретил его весь в слезах, и он обошелся со мной очень ласково и призвал не терять надежды. Однако я должен тут же сказать, что мало есть на свете людей, которые были бы мне так несимпатичны, как доктор Копросич, – и все это после той нашей встречи. Он и сейчас еще жив, совсем старый, но по-прежнему окруженный уважением всех горожан. Когда я встречаю его на улице, такого дряхлого с нетвердой походкой, вышедшего немного поразмяться и подышать свежим воздухом, во мне тут же пробуждается моя старая неприязнь.

Тогда доктору было чуть больше сорока. Он много занимался судебной медициной и хотя был известен своими проитальянскими настроениями, пользовался доверием имперских властей, поручавших ему самые важные экспертизы<sup>7</sup>. Это был худой нервный человек с неприметным лицом. Некоторую значительность придавала ему только лысина, из-за которой его лоб казался выше, чем был на самом деле. И еще один его недостаток придавал его облику нечто значительное: когда он снимал очки – а он делал это всегда в минуту раздумья, – его внезапно ослепленные глаза смотрели мимо или поверх собеседника не то иронически, не то угрожающе и становились похожи на бесцветные глаза статуи. В общем, они делались очень неприятными. Но если

---

<sup>7</sup> Триест, населенный преимущественно итальянцами, в описываемую пору входил в состав Австро-Венгерской империи.

ему надо было сказать хотя бы одно слово, он обязательно водружал на нос очки, и его глаза тут же вновь становились глазами добропорядочного филистера, который, прежде чем вынести о чем-то суждение, желает тщательно все рассмотреть.

Войдя, он сел на стул прямо в прихожей и несколько минут отдыхал. При этом он попросил меня точно и подробно рассказать ему все, что произошло с момента первой тревоги и до его прихода. Он снял очки и уставился своими странными глазами в стену позади меня.

Я старался быть как можно более точным, что было в моем состоянии совсем нелегко. Кроме того, я знал, что доктор Копросич не выносит, когда люди, не сведущие в медицине, употребляют медицинские термины, стараясь в какой-то мере проникнуть в эту область. И когда я дошел в своем рассказе до явления, которое показалось мне удущьем церебрального происхождения, он надел очки только для того, чтобы сказать: «Поосторожнее с терминами. Мы сами потом разберемся, что к чему». Я рассказал ему также о странном поведении отца, о его страстном желании меня видеть, о поспешности, с которой он вдруг отправился спать. Правда, я не стал передавать ему содержание его странных речей, наверное, боялся, что в таком случае буду вынужден рассказать, что я ему отвечал. Но я сказал ему, что отцу не удавалось точно сформулировать свою мысль и было такое впечатление, будто он неустанно думает о чем-то, что прочно засело у него в голове, но что ему никак не удастся выразить словами. Доктор водрузил на нос очки и, торжествуя, воскликнул:

– Ну, я-то знаю, что засело у него в голове!

Я тоже это знал, но не сказал, чтобы не рассердить доктора Копросича: отек мозга.

Мы подошли к постели больного. С помощью санитаря доктор так и этак поворачивал бедное безвольное тело, и мне казалось, что это тянется ужасно долго. Он выслушал больного и осмотрел. При этом он попытался прибегнуть к помощи самого пациента, но тщетно.

– Достаточно, – сказал он наконец. Потом, держа очки в руках, подошел ко мне и, глядя в пол, вздохнул и сказал:

– Мужайтесь. Дело очень плохо.

Мы пошли ко мне, и там он вымыл руки и даже умылся.

Для этого ему пришлось снять очки, и когда он поднял лицо от умывальника, чтобы вытереться, его мокрая голова стала похожа на прилизанную головку какого-то странного божка, выточенного неумелыми руками.

Доктор вспомнил, что мы с отцом приходили к нему несколько месяцев назад, и выразил удивление по поводу того, что мы не зашли к нему еще раз. Он даже решил, что мы обратились к другому врачу: ведь он тогда ясно дал мне понять, что отец нуждается в лечении. Он был без очков и, предъявляя мне эти обвинения, выглядел просто устрашающе. Повысив голос, он требовал объяснений. Глаза его бегали по сторонам, словно в поисках тех же объяснений.

Что и говорить, он был прав, и я, конечно, заслужил все эти упреки. Но я

должен тут же заметить, что ненавижу доктора Копросича вовсе не за эти слова, я в этом совершенно уверен. Я попытался оправдаться, рассказав ему о неприязни, которую отец питал к врачам и лекарствам. Говоря это, я продолжал плакать, и доктор, исполнившись доброты и великодушия, пожелал меня успокоить, сказав, что даже приди мы к нему раньше, его наука все равно не смогла бы предотвратить катастрофу, при которой мы сейчас присутствуем, разве что она немного бы ее отдалила.

Но по мере того как он расспрашивал меня обо всем, что предшествовало болезни, у него появлялись все новые и новые основания для упреков. Он спросил, жаловался ли отец последние месяцы на здоровье, сон, аппетит. Я не смог ему сказать ничего определенного, я даже не знал, много или мало он ел, хотя ежедневно сидел с ним за одним столом. Очевидность моей вины заставила меня совершенно пасть духом, хотя доктор не очень добивался моих ответов. Я сообщил ему также, что Марии всегда казалось, будто отец при смерти, но я над ней только смеялся.

Глядя в потолок, он прочищал уши.

– Часа через два к нему, по всей вероятности, вернется сознание, во всяком случае, хотя бы частично, – сказал он.

– Значит, есть надежда? – воскликнул я.

– Решительно никакой, – сухо ответил он. – Но пиявки в таких случаях никогда не подводят. Он, несомненно, в какой-то мере придет в себя, хотя, может быть, только для того, чтобы после этого совсем лишиться рассудка.

Он пожал плечами и повесил полотенце на место. Пожатие плечами означало, по-видимому, что он сам негодует на те действия, которые пришлось ему предпринять, и это придавало мне мужества. Меня приводила в ужас мысль, что отец очнется от своего забытья только для того, чтобы узнать, что умирает; однако если бы не это пожатие плечами, я не решился бы об этом сказать.

– Доктор, – взмолился я, – а вам не кажется, что приводить его в сознание бесчеловечно? – И я разрыдался. Нервы мои были напряжены, мне уже давно хотелось плакать, но навзрыд, не сдерживаясь, я заплакал только сейчас, так как хотел, чтобы доктор, увидев мои слезы, простил мне суждение, которое я осмелился высказать относительно его распоряжения. Он ласково мне ответил:

– Ну, ну, успокойтесь. Сознание больного не прояснится настолько, чтобы он мог понять свое состояние. Ведь он не врач. Достаточно только не говорить ему, что он при смерти, и он никогда этого не узнает. Может, правда, случиться худшее: есть вероятность, что он лишится рассудка. Но я привез с собой смирительную рубашку, и санитар останется у вас.

Напуганный еще больше, чем раньше, я стал умолять его не ставить отцу пиявки. Тогда он совершенно спокойно объяснил, что, по всей видимости, санитар их уже поставил, потому что он отдал это распоряжение, еще находясь в комнате больного. Тогда я возмутился. Что может быть гнуснее, чем вернуть больному сознание, в то время как нет ни малейшей надежды его спасти, и сделать это только для того, чтобы повергнуть его в отчаяние или надеть на него смирительную рубашку, такую опасную при его одышке. Очень резко, но по-прежнему со слезами, взывавшими к его снисходительности, я заявил, что

считаю неслыханной жестокостью не дать спокойно умереть больному, который все равно обречен.

Я ненавижу этого человека, потому что в ответ на мой слова он разгневался. Вот чего я никогда не мог ему простить. Он пришел в такое волнение, что забыл нацепить очки, и тем не менее очень точно обнаружил место, где находится мое лицо, и уставился на меня своими ужасными глазами. Он сказал, что у него создалось впечатление, будто я хочу обрезать и ту тоненькую нить надежды, которая еще оставалась. Вот так грубо он мне это и сказал.

Назревал конфликт. Я прокричал ему среди рыданий, что он сам несколько минут назад исключил всякую надежду. Это мой дом, и я не желаю, чтобы кого-либо из его обитателей использовали как материал для экспериментов: для них есть другое место.

Очень сурово, со спокойствием, которое делало его речь угрожающей, он ответил:

– Я только объяснил вам состояние медицинской науки на данный момент. Но кто может знать, что произойдет через полчаса или завтра? Оставляя вашего отца в живых, мы оставляем открытыми пути всем возможностям.

Он нацепил очки и, сделавшись снова похожим на педантичного чиновника, принялся длинно объяснять, какую огромную роль в будущем благосостоянии семьи может сыграть своевременное медицинское вмешательство. Лишние полчаса жизни иногда могут решить судьбу наследства.

Я заплакал теперь из жалости к самому себе, вынужденному выслушивать такие вещи в такой момент. И так как у меня уже не было никаких сил спорить, замолчал. Тем более что пиявки были уже поставлены.

Врач, когда он находится у постели больного, представляет собой власть, и я оказывал доктору Копросичу все знаки уважения. Должно быть, это же уважение помешало мне созвать консилиум – и за это я казнил себя долгие годы. Правда, сейчас угрызения совести по этому поводу безвозвратно ушли в прошлое, как ушли в прошлое все те чувства, о которых я рассказываю здесь с таким хладнокровием, словно описываемые события случились не со мной, а с кем-то другим. От тех времен в моем сердце сохранилось только одно чувство – неприязнь к врачу, который и сейчас еще живет как ни в чем не бывало.

Спустя некоторое время мы снова подошли к постели отца. Он спокойно спал, повернувшись на правый бок. Висок ему прикрыли носовым платком, чтобы не было видно ранок, оставленных пиявками. Доктор сразу же пожелал выяснить, вернулось ли к нему сознание, и окликнул его, наклонившись к самому уху. Больной не реагировал.

– Тем лучше, – сказал я мужественно, хотя и со слезами.

– Не может быть, чтобы пиявки не произвели ожидаемого действия, – ответил доктор. – Разве вы не видите, что у него уже изменилось дыхание?

И действительно, его дыхание, все еще учащенное и затрудненное, уже не делилось, как раньше, на несколько четких периодов, которые так меня испугали.

Санитар сказал что-то врачу, и тот кивнул. Они решили примерить



больному смирительную рубашку. Вытащив этот предмет из чемодана, они приподняли и усадили отца на постели. Больной открыл глаза: они были мутные, незрячие. Я снова всхлипнул: я боялся, что сейчас он прозреет и все увидит. Но едва его голова коснулась подушки, как он тут же, словно кукла, снова закрыл глаза.

Доктор торжествовал.

– Вот это совсем другое дело, – пробормотал он.

О да, это было совсем другое дело! Теперь я все время должен был ждать беды. Отчаянно поцеловав отца в лоб, я мысленно пожелал ему: «Спи! Спи, покуда не заснешь вечным сном!»

Таким образом, я пожелал отцу смерти, но доктор этого не понял, и добродушно заметил:

– Ну, вот видите, теперь и вы рады, что он приходит в себя.

Когда доктор уехал, уже рассветало. Заря занималась тусклая и какая-то неуверенная. Еще налетал порывами ветер, но был уже не такой сильный, хотя и вздымал снег, вырывая его из-под ледяной корки.

Я проводил доктора до самого сада и, не желая, чтобы он догадался о моей ненависти, держался с ним преувеличенно любезно. Мое лицо выражало одно только внимание и почтительность. Я позволил себе жест, в котором нашла выход моя ненависть и который принес мне некоторое облегчение, лишь когда увидел, что он удаляется по тропинке, ведущей к воротам. Маленькая черная фигурка на белом снегу продвигалась вперед, пошатываясь, а когда налетал особенно сильный ветер, останавливалась, чтобы не упасть. Но одного только жеста мне было мало. Я так долго сдерживался, что теперь нуждался в каких-то более резких проявлениях чувств. Некоторое время я ходил взад и вперед по аллее с непокрытой, несмотря на холод, головой и яростно топтал ногами глубокий снег. Не знаю, был ли этот детский гнев обращен против доктора или против меня самого. Наверное, прежде всего против меня самого, пожелавшего смерти родному отцу, но не дерзнувшему произнести это вслух. То, что я промолчал, превращало мое пожелание, продиктованное искренними сыновними чувствами, в настоящее преступление, тяжким грузом лежавшее у меня на сердце.

Больной продолжал спать. Он только произнес какие-то два слова, которых я не разобрал, произнес совершенно спокойным тоном, словно с кем-то беседуя, и это прозвучало ужасно странно на фоне его по-прежнему учащенного дыхания, далеко не пришедшего в норму. К чему приближало его неумолимое течение времени? К сознанию или безумию?

Мария теперь дежурила у постели больного вместе с санитаром. Он внушал мне доверие, хотя и раздражал чрезмерной добросовестностью. Так, он не позволил Марии дать больному ложечку бульона, который она считала прекрасным лекарством. Врач не оставил насчет бульона никаких распоряжений, и санитар пожелал отложить решение столь важной проблемы до его возвращения. В общем, все это вовсе не оправдывало повелительной интонации в его голосе. Бедная Мария не стала настаивать, и я тоже. Я только еще раз раздраженно поморщился.

Меня заставили лечь, потому что мне предстояло провести у постели больного в обществе санитаря целую ночь: нас должно было быть двое, чтобы мы могли по очереди отдыхать тут же на диване. Я лег и сразу заснул – как провалился – глубоким и приятным сном, который не был потревожен – это я помню совершенно точно – никакими, даже обрывочными, сновидениями.

Зато прошлой ночью, после того как я провел целый день, мысленно перебирая эти воспоминания, мне приснился один очень живой сон, мощным рывком перенесший меня в те времена. Мне приснилось, что мы с доктором стоим в той самой комнате, в которой спорили с ним о пиявках и смирительной рубашке, только комната эта выглядела совсем иначе, так как теперь это наша с женой спальня. Я объяснял ему, как он должен лечить отца, а он (не старый и дряхлый, как сейчас, а сильный и нервный, как в те времена), с очками в руках и глазами, смотрящими мимо меня, яростно возражал, доказывая, что всего этого делать не следует. Он говорил следующее: «Пиявки вернут его к жизни и страданиям. Не надо ставить ему пиявки!» А я, стуча кулаком по какой-то медицинской книге, орал в ответ: «Пиявок! Я требую пиявок! И смирительную рубашку!»

Должно быть, я кричал во сне, потому что жена меня разбудила. О, эти далекие тени! Чтобы разглядеть их, нам нужна помощь какого-то оптического прибора, а в нем все становится с ног на голову.

Спокойный, без сновидений, сон – это мое последнее воспоминание о том дне. За ним последовали долгие дни, все, как один, похожие друг на друга. Стала лучше погода; считалось, что и состояние отца тоже улучшилось. Он свободно передвигался по комнате, и уже начались его беспокойные перемещения из кресла в постель и обратно в поисках глотка воздуха. Иногда он смотрел в окно на засыпанный снегом, ослепительно сверкавший на солнце сад. Всякий раз, входя в комнату, я бывал готов вступить с ним в спор, чтобы как-то затуманить сознание, возвращения которого ожидал доктор. Но хотя с каждым днем он, по-видимому, все яснее слышал и все больше понимал, сознание к нему не возвращалось.

К моему глубокому сожалению, я должен признаться, что, даже находясь у постели больного, я таил в душе раздражение, которое каким-то непостижимым образом примешивалось к моему страданию и вносило в него что-то фальшивое. Это раздражение относилось прежде всего к Копросичу, и все мои усилия его скрыть только его увеличивали. Но, кроме того, я чувствовал раздражение и против самого себя из-за того, что не осмеливался возобновить с доктором свой давнишний спор и сказать ему четко и ясно, что его науку я не ставлю ни в грош и готов пожелать отцу смерти, лишь бы избавить его от страданий.

В конце концов я почувствовал раздражение и против самого больного. Тот, кому когда-нибудь приходилось неделями дежурить у постели беспокойного больного, будучи при этом совершенно не способным выполнять обязанности санитаря и вынужденным лишь пассивно наблюдать то, что делают другие, тот меня поймет. Мне бы надо было хорошенько отдохнуть, чтобы душа моя очистилась и я смог по-настоящему осмыслить и прочувствовать страдание,

которое я испытывал при мысли об отце и о себе самом. Вместо этого мне приходилось сражаться с отцом, то заставляя его выпить лекарство, то не давая ему выйти из комнаты. А всякая борьба всегда вызывает раздражение.

Однажды вечером Карло – так звали санитаря – позвал меня, чтобы продемонстрировать новое улучшение в состоянии отца. Я тотчас прибежал, и сердце у меня бешено колотилось при мысли, что сейчас он поймет свое состояние и во всем обвинит меня.

Отец стоял посреди комнаты в одном белье и в ночном колпаке из красного шелка. И хотя его по-прежнему мучило сильнейшее удушье, он время от времени произносил отдельные короткие, но осмысленные слова. Когда я вошел, он сказал Карло:

– Открой!

Он хотел, чтобы открыли окно. Карло объяснил, что этого сделать нельзя, так как на улице очень холодно. И отец на некоторое время забыл о своей просьбе. Он подошел к креслу, стоявшему у окна, и постарался в нем поудобнее растянуться. Потом, увидев меня, он улыбнулся и спросил:

– Ты спал?

Не думаю, чтобы он услышал мой ответ. Это было не то сознание, которого я боялся. Когда человек умирает, ему некогда думать о смерти. Весь его организм был занят теперь одним: дыханием. И вместо того чтобы выслушать, что я скажу, он снова крикнул Карло:

– Открой!

Отец не знал ни минуты покоя. Он вставал с кресла, чтобы постоять. Потом с большим трудом, с помощью санитаря укладывался в постель, ложась на левый бок, но потом сразу же поворачивался на правый, на котором мог пролежать всего несколько минут. Потом он снова звал санитаря, чтобы тот помог ему подняться, и опять возвращался в кресло, где оставался на этот раз несколько дольше.

В тот день, идя от кровати к креслу, он остановился перед зеркалом и, взглянув на свое отражение, пробормотал:

– Я похож на мексиканца!

Наверное, для того, чтобы как-то нарушить зловещее однообразие этих своих перемещений с кресла на кровать и обратно, он попытался в тот день закурить. Но, сделав одну затяжку, задохнулся и тут же выпустил дым. Однажды к нему ненадолго вернулось сознание, и Карло тотчас меня позвал.

– Так, значит, я тяжело болен? – спросил он с тревогой.

Однако столь полное осознание им своего положения посетило его один раз и больше не возвращалось. Более того – он начал бредить. Поднявшись с постели, он вообразил, что проснулся в какой-то венской гостинице. Вена ему привиделась, видимо, потому, что он чувствовал сухость во рту и хотел пить, а в памяти у него сохранилось воспоминание о чудесной ледяной воде, которую он пил в этом городе. И он заговорил о том, какой вкусной воды он сейчас напьется в ближайшем фонтане.

В общем-то он был больным хотя и беспокойным, но очень кротким. Но так как меня не оставлял страх перед гневом, который он обрушит на меня, едва

очнется и поймет свое состояние, эта его кротость не уменьшала моего постоянного напряжения, хотя он и был очень послушен и следовал любому нашему совету, так как всюду искал избавления от удушья. Санитар предложил ему выпить стакан молока, и он с искренней радостью согласился. Но с тем же нетерпением, с каким он ждал этого молока, он, едва отхлебнув, стал требовать, чтобы его унесли обратно, а так как его просьба была удовлетворена не сразу, бросил стакан на пол.

Врач ни разу не показал, что он недоволен состоянием больного. Каждый день он отмечал новое улучшение, что не мешало ему предсказывать катастрофу в самом ближайшем будущем. Однажды он прибыл к нам в экипаже; он куда-то очень спешил. Перед отъездом он посоветовал мне как можно дольше удерживать больного в постели, так как горизонтальное положение способствует кровообращению. То же самое он сказал и отцу, который прекрасно его понял и вполне сознательно пообещал ему лечь. Впрочем, говоря это, он продолжал стоять посреди комнаты, а потом сразу же погрузился в свою обычную рассеянность, которая, на мой взгляд, была просто задумчивостью: он размышлял о мучившем его удушье.

В последовавшую за этим ночь я с ужасом увидел, как просыпается в нем сознание, которого я так боялся. Ночь была ясная, и он, усевшись в кресло у окна, стал рассматривать звездное небо. Дыхание его было, как всегда, затруднено, но, по-видимому, он не очень страдал, так как был весь поглощен созерцанием неба.

Должно быть, из-за удушья у него все время дергалась голова, и казалось, что он беспрерывно кому-то кивает. Я со страхом подумал: «Вот наконец настал момент, когда он задумался над вопросами, которых раньше всегда избегал». Я попытался подсмотреть, куда именно устремлен его взгляд. Он сидел в кресле совершенно прямо и смотрел вверх с усилием человека, которому приходится что-то разглядывать сквозь слишком высоко расположенное окошко. Мне показалось, что он смотрит на Плеяды. Может быть, за всю свою жизнь он ни разу не смотрел так далеко и так долго. Внезапно, продолжая держаться все так же прямо, он повернулся ко мне.

– Смотри! Смотри! – сказал он мне со строгой укоризной. Потом снова взглянул на небо и снова обернулся ко мне.

– Видел? Ты видел? – Он хотел опять повернуться так, чтобы увидеть звезды, но не смог и в изнеможении откинулся на спинку кресла. А когда я спросил его, что он хотел мне показать, он не понял; он уже позабыл о том, что он увидел и что ему так хотелось мне показать. Слово, которое он хотел мне поведать и которое так долго искал, ускользнуло от него навсегда.

Ночь была долгой, но, по правде сказать, не слишком утомительной для нас с санитаром. Мы позволили больному делать все, что он хочет, и он расхаживал по комнате в своем странном одеянии, не подозревая о том, что ждет смерти. Один раз, правда, он попытался выйти в коридор, где было очень холодно. Я ему не разрешил, и он тотчас же повиновался. Но потом санитар, слышавший рекомендации врача, попытался помешать ему подняться с постели, и тут отец взбунтовался. Он вышел из своего оцепенения и со слезами и проклятьями

все-таки поднялся. И тогда я потребовал, чтоб санитар не стеснял его в движениях. Отец сразу же успокоился и снова началось это его молчаливое существование и этот его тщетный бег по комнате в поисках облегчения.

Когда пришел врач, он дал себя осмотреть и даже старался глубоко дышать, когда его об этом просили. Потом повернулся ко мне:

– Что он говорит?

Потом отвлекся, но вскоре снова обратился ко мне:

– Когда я смогу выходить?

Доктор, обнадеженный таким послушанием, попросил меня сказать больному, чтобы тот постарался больше лежать в постели. Отец прислушивался только к тем голосам, которые были ему привычны: ко мне, к Марии, к санитару. И хотя я совершенно не верил, что от этого лежания будет какой-то прок, я выполнил просьбу врача и даже постарался придать своему голосу угрожающую интонацию.

– Хорошо, хорошо! – пообещал отец, но в ту же минуту поднялся и направился к креслу.

Врач взглянул на него и, по-видимому, поняв, что ничего с этим не поделаешь, пробормотал:

– Видимо, от перемены положения ему становится легче.

Вскоре я отправился спать, но не мог сомкнуть глаз. Я думал о своем будущем и о том, что мне теперь не для кого и не для чего стараться быть лучше. Я долго плакал, но жалел скорее себя, чем несчастного, который метался из угла в угол в своей комнате.

Когда я поднялся, пошла спать Мария, и у постели отца остались мы с санитаром. Я чувствовал себя усталым и разбитым, а отец был беспокойнее, чем обычно.

Вот тогда-то и произошла та ужасная сцена, о которой я никогда не мог забыть и тень которой простерлась далеко в будущее, омрачив все мои радости и отняв у меня мужество. Понадобились годы, заставившие поблекнуть все мои чувства, чтобы притупилась наконец и эта боль.

Санитар сказал:

– Хорошо, если бы нам удалось удержать его в постели. Доктор придает этому такое значение!

До этого я лежал на диване. Услышав слова санитаря, я поднялся и подошел к постели, где лежал больной, задыхаясь больше, чем обычно. Я решил во что бы то ни стало хотя бы полчаса продержать отца в постели, как рекомендовал это врач. В конце концов, разве не было это моим долгом?

Стараясь высвободиться из моих рук и подняться, отец тут же рванулся к краю постели. Но я удержал его, сильно надавив на плечо, и, резко прикрикнув, велел ему не двигаться. Напуганный, он на некоторое время притих. Потом вдруг воскликнул:

– Умираю!

И приподнялся. Испуганный, в свою очередь, его криком, я ослабил хватку, и ему удалось усесться на постели, прямо передо мной. Наверное, то, что он, пусть ненадолго, оказался скованным в движениях, усилило его гнев, и он,

должно быть, решил, что я не только заслоняю ему свет, стоя перед ним, сидящим, но и отнимаю у него воздух, которого ему так не хватало. Сделав нечеловеческое усилие, он все же встал с постели, поднял руку – высоко-высоко, словно знал, что может рассчитывать только на вес своего тела, и ударил меня по щеке. Потом соскользнул обратно на кровать, а оттуда на пол. Он был мертв.

Тогда я еще не знал, что он умер, но у меня сжалось сердце при мысли о том, что, уже умирая, он захотел меня наказать. С помощью Карло я поднял его и положил на постель. И плача, как плачет наказанный ребенок, прокричал ему прямо в ухо:

– Это не я! Это все проклятый доктор! Это он хотел, чтобы ты оставался в постели!

Это была неправда. И опять-таки как обиженный ребенок, я пообещал ему, что больше не буду.

– Я позволю тебе делать все, что ты хочешь!

Санитар сказал мне:

– Он умер.

Меня увели из комнаты силой. Он умер, и теперь я уже никогда не докажу ему свою невиновность!

Оставшись один, я попытался прийти в себя. Я рассуждал так: не может быть, чтобы отец, находившийся все время без сознания, вдруг решил меня наказать и сумел с такой точностью рассчитать и нанести удар!

Но разве мог я быть уверен, что это мое рассуждение было правильным! Я даже подумал, не обратиться ли мне к доктору Копросичу. Как врач, он мог бы мне объяснить, в какой степени умирающий способен рассуждать и действовать. Может быть, я просто стал невольной жертвой нечаянного жеста – жеста, который был сделан всего лишь для облегчения дыхания! Но я ничего не сказал Копросичу. Разве мог я ему открыть, как попросился со мной отец? Ведь он и так уже обвинял меня в недостатке сыновней любви.

И для меня было последним тяжким ударом, когда вечером я услышал, как Карло рассказывает на кухне Марии:

– И тогда отец поднял руку – высоко-высоко – и ударил сына по щеке. Это было его последнее, предсмертное движение. – Санитар знал об этом, и, следовательно, об этом неминуемо узнает и доктор Копросич.

Когда я вернулся в комнату умершего, я увидел, что труп обрядили. Наверное, санитар причесал его густые белоснежные волосы. Смерть уже заставила окоченеть это тело, и оно покоилось на своем ложе величественно и угрожающе. Руки отца – большие, сильные, красивой формы – посинели, но лежали с такой естественностью, что казалось, вот-вот протянутся ко мне и накажут. Больше я его не видел: не мог и не захотел.

Потом, уже во время похорон, я вспомнил отца таким, каким знал его всегда, со времен детства – слабым и добрым, – и убедил себя, что та пощечина, которую он мне дал, умирая, была невольным, нечаянным жестом. И мне сразу стало хорошо и спокойно, и воспоминание об отце тоже сразу же стало меняться, делаясь все приятнее и приятнее. Это было как прекрасный сон:

наконец-то мы с отцом обрели полное согласие, из нас двоих я стал слабым, а он – сильным.

Потом я надолго вернулся к религиозным представлениям своего детства. Мне казалось, что отец меня слышит и теперь я могу ему сказать, что виноват во всем был не я, а доктор. То, что это была ложь, не имело никакого значения, поскольку теперь он понимал все, как, впрочем, и я. И еще долго продолжалось это мое общение с отцом – приятное, как запретная любовь, и такое же, как она, тайное, поскольку вслух я продолжал смеяться над обрядовой стороной религии, хотя на самом деле – я должен здесь в этом признаться – я каждый день возносил сам не знаю кому страстные молитвы о душе моего отца. Это, собственно, и есть настоящая религия: ее не нужно исповедовать в открытую для того, чтобы получить утешение – то утешение, без которого порой – правда, такие случаи бывают редко – просто невозможно прожить.

## **V. История моей женитьбы**

В представлении юноши из буржуазной семьи понятие человеческой жизни ассоциируется с понятием карьеры, а в ранней молодости карьера – это всегда карьера Наполеона. Причем для этого вовсе не обязательно мечтать сделаться императором: можно походить на Наполеона, и оставаясь гораздо, гораздо ниже. Содержание даже самой кипучей человеческой жизни можно уместить в самом элементарном на свете звуке – звуке набегающей на берег волны, которая, едва родившись, непрерывно меняется, покуда не умирает. Вот и я тоже ждал, что достигну своей высшей точки, а потом рассыплюсь в прах – как волна и Наполеон.

Вся моя жизнь звучала на одной и той же ноте, ноте довольно высокой – многие мне даже завидовали, – но невыносимо нудной. Друзья неизменно питали ко мне глубокое уважение, да и самому мне – с тех пор как я вступил в сознательный возраст – ни разу не пришлось переменить сложившегося у меня о себе представления.

Может быть, и мысль о женитьбе пришла мне в голову оттого, что я устал все время издавать и слышать одну и ту же ноту. Кто не испытал этого на себе, тот склонен придавать браку гораздо большее значение, чем он имеет на самом деле. Подруга, которую мы с вами выбираем, обновляет через детей свою собственную породу, улучшая ее или ухудшая; однако мать-природа, которая только к этому и стремится, но напрямую никогда бы нас к этому не принудила, потому что в ту пору мы меньше всего помышляем о детях, заставляет нас думать, будто от жены впоследствии обновление нам самим – забавное заблуждение, совершенно не подтверждаемое опытом! Люди живут потом бок о бок совершенно такие же, как и были, разве что ощутят неприязнь, если избранник их слишком на них не похож, или зависть, если он в чем-то их превосходит.

Интересно, что мое матримониальное приключение началось со знакомства с моим будущим тестем, которого я одарил своей дружбой и восхищением еще до того, как мне стало известно, что у него есть дочери на

выданье. Из этого следует, что вовсе не сознательное решение направило меня к цели, о которой я еще и сам не подозревал. Совершенно забросив девушку, которая еще недавно казалась мне созданной для меня, я стал неразлучен с моим будущим тестем. Вот и не верь после этого в судьбу!

В моей душе жила неукротимая жажда новизны, и Джованни Мальфенти – столь непохожий на меня и на всех, кого я знал до сих пор и чьего общества и чьей дружбы добивался, – сумел ее утолить. Занятия на двух факультетах и долгий период праздности, который я также считаю очень для себя плодотворным, сделали меня довольно образованным человеком. Мальфенти же был просто крупный торговец, невежественный и энергичный. Но из его невежества проистекали его спокойствие и сила, и я смотрел на него с завистью и восхищением.

Мальфенти было тогда около пятидесяти, он отличался железным здоровьем и был невероятно огромен и толст: больше ста килограммов! Те немногие мысли, которые шевелились в его большой голове, были развиты им до такой ясности, продуманы с такой тщательностью и опробованы в таком количестве дел, что стали как бы частью его тела, его характера. Такого рода мыслями я всегда был очень беден и сблизился с ним, надеясь, что это общение меня обогатит.

В Тержестео<sup>8</sup> я зашел по совету Оливи, который сказал, что посещение биржи будет хорошим началом моей коммерческой деятельности и что, кроме того, я, может быть, разужнаю там какие-нибудь новости, которые ему пригодятся. Я выбрал стол, за которым главенствовал мой будущий тесть, и так никуда больше оттуда и не сдвинулся, ибо понял, что нашел наконец кафедру коммерции, которую так долго искал.

Он быстро заметил мое восхищение и ответил мне дружбой, в которой мне с самого начала почудилось что-то отеческое. Может быть, он сразу сообразил, чем все это кончится? Когда, вдохновленный примером его успешной деятельности я заявил ему как-то вечером, что собираюсь освободиться от опеки Оливи и начать сам вести свои дела, он мне это не только отсоветовал, но показался не на шутку встревоженным. Я мог заниматься коммерцией, но при этом должен был крепко держаться Оливи, которого он прекрасно знал.

Он охотно делился со мной своими знаниями и даже начертал собственной рукой в моей записной книжке три заповеди, которые, по его мнению, обеспечивали процветание всякой фирме: 1) не обязательно уметь работать самому, но тот, кто не умеет заставить работать других, может считать себя погибшим; 2) единственное, о чем стоит сожалеть, – это об упущенной выгоде; 3) теория – это прекрасная и полезная вещь, но применимой она становится лишь тогда, когда дело уже ликвидировано.

Я знаю наизусть эти и множество других подобных правил, но они не пошли мне впрок.

Когда я кем-нибудь восхищаюсь, я тут же начинаю ему подражать. Подражал я и Мальфенти. Я пожелал стать таким же, как он, коварным, и мне

---

<sup>8</sup> Тержестео – название биржи в Триесте.



показалось, что это мне удалось. Однажды я даже подумал было, что превзошел в хитрости его самого. Я решил, что обнаружил ошибку в самом способе, которым он вел свои торговые дела. И я сразу же ему об этом сказал, надеясь завоевать его уважение. Я остановил его, когда в Тержестео в споре со своим собеседником он обозвал его идиотом. Я обратил его внимание на то, что он напрасно, на мой взгляд, так откровенно дает понять, насколько он умнее всех остальных. Тот, кто по-настоящему знает толк в торговле, должен, по-моему мнению, прикидываться простофилей.

Он поднял меня на смех. Иметь репутацию хитреца очень выгодно! Все идут к тебе за указаниями и при этом приносят самые последние новости; а ты за это снабжаешь их рядом прекрасных советов, истинность которых подтверждает опыт нескольких столетий, начиная со средних веков. А иногда, помимо новостей, ты еще получаешь возможность что-нибудь продать. И наконец – найдя довод, который должен был окончательно меня убедить, он принялся орать во все горло, – тот, кто хочет выгодно продать или купить, тот всегда обратится именно к хитрецу. Что возьмешь с простофили? Разве что заставишь его пожертвовать своей выгодой; но все равно его товар всегда будет дороже, чем товар хитреца, потому что простофилю обманули уже в момент покупки.

Из всех сидевших за его столом я представлял для него наибольший интерес. Он доверял мне свои коммерческие секреты, которых я никогда никому не выдал. Он очень выгодно поместил свое доверие – настолько выгодно, что дважды сумел меня обмануть уже в ту пору, когда я был его зятем. Первый раз его предательство стоило мне довольно крупной суммы. Но обманут, собственно, был не я, а Оливи, так что я не очень расстраивался по этому поводу. Оливи послал меня к нему за какой-то информацией и получил эту информацию. А она оказалась такого свойства, что мой управляющий никогда мне этого не простил, и стоило мне впредь только открыть рот, чтобы сообщить ему какие-то сведения, как он тотчас же меня перебивал: «А кто вам это сказал? Ваш тесть?» Чтобы защитить себя от его упреков, мне пришлось защищать и Джованни, и в конце концов я почувствовал себя скорее обманщиком, чем обманутым. Очень приятное ощущение!

Но в другой раз дураком оказался я сам и все-таки не затаил против своего тестя злого чувства. Я просто не знал, то ли смеяться, то ли завидовать! Я воочию увидел, как приложил он ко мне те самые принципы, которые когда-то так хорошо мне объяснил. И сумел это сделать так, что еще и смеялся вместе со мной над моим несчастьем, не желая признать, что сам меня обманул, и уверяя, что смеется только над комической стороной постигшей меня беды.

Лишь однажды он признался, что сыграл тогда со мной злую шутку. Это случилось на свадьбе его дочери Ады (которая выходила не за меня). Он выпил много шампанского, и вино взбаламутило все в его огромном теле, привыкшем утолять жажду чистой водой.

Тогда-то он и рассказал о случившемся, причем орал во все горло, чтобы заглушить смех, мешавший ему говорить.

– И вот, значит, появляется это объявление. Ну, я расстроенный сижу,

подсчитываю, во что мне это обойдется. И как раз в этот момент входит мой зять. Он заявляет, что хочет посвятить себя коммерции. «Вот как раз прекрасный случай», – говорю я ему. И он буквально вырывает у меня из рук бумагу, чтобы успеть подписать ее до того, как ему помешает Оливи. И дело сделано! – Затем Джованни воздал мне хвалу: – Классиков знает наизусть! Знает, кто сказал то, а кто это! Вот только газет читать не умеет!

Это была правда. Если б я увидел это объявление, напечатанное на малозаметном месте в каждой из пяти газет, которые я ежедневно прочитываю, я бы не угодил в расставленную ловушку. Но для этого я должен был еще и вникнуть в его смысл, суметь понять, чем оно мне грозит, – а это было не так уж просто, ибо в нем говорилось об уменьшении процента пошлины, из-за чего товар, о котором шла речь, падал в цене.

На другой день после свадьбы тесть опровергнул сделанное накануне признание. И дело в его изложении вновь приняло тот самый вид, который оно имело до вчерашнего ужина.

– Чего только не наплетешь, выпив лишнего, – сказал он, как ни в чем не бывало, и мы сошлись на том, что объявление, о котором шла речь, появилось два дня спустя после заключения сделки. И ни разу ему не пришло в голову, что даже если б я и увидел это объявление, я мог понять его совершенно не так, как следует. Это было очень лестно, хотя щадил он меня не из вежливости, а просто потому, что полагал, будто, читая газету, каждый из нас помнит прежде всего о своей выгоде. В то время как я, взяв в руки газету, сразу же начинаю ощущать себя общественным мнением, и объявление об уменьшении пошлины приводит мне на память только Кобдена<sup>9</sup> и либеризм<sup>10</sup>. И эта мысль так меня захватывает, что для мыслей о собственном товаре в голове уже просто не остается места.

Только однажды мне удалось завоевать восхищение тестя, причем предметом восхищения был именно я – таков, как я есть, и даже больше того – мои недостатки. Мы с ним владели акциями одного сахарного завода, от которого все ждали чудес. Но чудес все не было, и акции, наоборот, все падали и падали, понемногу, но каждый день, и Джованни, не умевший плыть против течения, быстро избавился от своих и посоветовал мне продать мои. Совершенно с ним согласившись, я решил дать соответствующие распоряжения своему маклеру и, чтобы не забыть, отметил это в записной книжке, которой снова обзавелся в ту пору. Но, как известно, днем в записную книжку заглядываешь редко, и только спустя несколько дней, вечером, ложась спать, я с удивлением обнаружил эту запись, но было уже слишком поздно, чтобы она могла мне сослужить какую-нибудь службу. Я даже вскрикнул от досады и, чтобы не вдаваться в объяснения, сказал жене, что прикусил язык. В следующий раз, пораженный собственной рассеянностью, я прикусил себе руку. «Смотри береги теперь ноги!», – смеясь, сказала жена. Но больше несчастных случаев не было, потому что постепенно я к этому привык. Я только тупо

---

9 Кобден Ричард (1804–1865) – английский экономист, пропагандист идеи свободной торговли.

10 Либеризм – теория свободной торговли.

смотрел на свою записную книжку, слишком тоненькую, чтобы я днем мог заметить ее присутствие в собственном кармане, и снова забывал о ней до следующего вечера.

Однажды внезапный ливень загнал меня в Тержестео. Там я случайно столкнулся со своим маклером, и он сказал мне, что за последние восемь дней стоимость этих акций почти удвоилась.

– А вот теперь я их продам! – воскликнул я торжествуя.

И побежал к тестю, который уже знал о том, что акции поднялись, очень жалел, что продал свои, и несколько меньше – о том, что заставил меня продать мои.

– Ничего, потерпи! – сказал он смеясь. – Ведь это в первый раз ты терпишь убыток с тех пор, как следуешь моим советам!

То, прошлое дело, он мне предложил, а не посоветовал – а это, по его мнению, были совсем разные вещи.

Я от души рассмеялся.

– Да я и не подумал последовать твоему совету! – Мне мало было удачи, я еще хотел поставить ее себе в заслугу! И я сказал, что мои акции будут проданы только завтра, и, приняв важный вид, объяснил, что пренебрег его советом, так как получил кое-какие сведения, о которых ему просто забыл сообщить.

Он помрачнел и, не глядя мне в лицо, сказал оскорбленным тоном:

– Человек с твоей головой не должен заниматься делами! А кроме того, уж коли сделал такую подлость, так по крайней мере молчи. Да, многому тебе еще предстоит научиться.

Меня огорчило, что он так рассердился. Когда убытки причинялись мне, все получалось гораздо забавнее. И я откровенно рассказал ему, как было дело.

– Как видишь, именно с моей головой и следует заниматься делами!

Сразу же смягчившись, он рассмеялся:

– Все равно считай, что это не прибыль, а лишь возмещение убытков. Твоя голова обошлась тебе уже во столько, что простая справедливость требует, чтобы ты хоть что-нибудь себе возвратил.

Сам не знаю, почему я так долго останавливаюсь на наших с ним столкновениях, которых, в сущности, было очень мало. Видимо, я был по-настоящему к нему привязан, раз уж искал его общества несмотря на то, что у него была привычка громко орать, чтобы прояснить для самого себя собственные мысли. Моя барабанная перепонка как-то выдерживала эти вопли. Если б он не так орал, его безнравственные теории выглядели бы куда более возмутительно, а если б он был лучше воспитан, уже не так поражала бы его сила. И хотя я был совсем на него не похож, он, по-моему, отвечал мне взаимностью. Если б не его ранняя смерть, я бы узнал это точнее. Он продолжал терпеливо учить меня своему делу, уже после того как я женился, и частенько сдабривал свои уроки криками и оскорблениями, которые я терпел, так как считал, что полностью их заслужил.

Женился я на его дочери. Меня толкнула на это сама загадочная мать-природа, и вы позднее увидите, какую она проявила при этом настойчивость. Порой я рассматриваю лица своих детей и рядом с маленьким,

свидетельствующим о слабости – моим – подбородком, рядом с мечтательными – моими – глазами пытаюсь отыскать следы жестокой силы того, кого я выбрал им в деда.

Я плакал над гробом своего тестя, хотя его обращенное ко мне последнее прощание не свидетельствовало об особой любви. Уже лежа на смертном одре, он сказал, что просто поражен моим бессовестным везением, позволяющим мне расхаживать на свободе, в то время как он прикован к постели. Ошеломленный, я спросил его, что я ему такого сделал, что он желает мне заболеть. И он ответил мне буквально следующее:

– Если б я мог выкарабкаться, передав тебе свою болезнь, я сто раз готов был бы тебя заразить. У меня ведь нет твоих предрассудков насчет гуманности!

И он вовсе не желал меня обидеть: он просто хотел еще раз повторить трюк, который так удался ему в тот раз, когда он всучил мне упавший в цене товар. Кроме того, я воспринял его слова как неуклюжий комплимент: мне приятно было узнать, что мою слабость он объясняет какими-то гуманными предрассудками.

На его могиле – как, впрочем, и на всех могилах – я оплакивал и ту часть себя, которую хоронил вместе с ним. Какое это было для меня лишение – потерять его, моего второго отца, заурядного, невежественного человека и яростного борца, который оттенял собою мою слабость, мою интеллигентность, мою робость. Да, да; это правда, я действительно очень робок! Но я, наверное, никогда бы об этом не догадался, если б не узнал хорошенько Джованни. И кто знает, чего бы я еще в себе ни обнаружил, оставайся он рядом со мной подольше!

Вскоре я заметил, что за столом в Тержестео, где все, словно забавляясь, выставляли себя точно такими, какие они есть, и даже хуже, Джованни проявлял сдержанность только в одном пункте: он никогда не заговаривал о своей семье, а уже если бывал к этому вынужден, то говорил очень немногословно и тоном несколько более мягким, чем обычно. Он был исполнен уважения к собственному дому и, наверное, думал, что далеко не все сидящие за его столом заслуживают, чтобы он что-нибудь им рассказал. Поэтому я сумел выяснить только одно, а именно, что имена всех его дочерей начинались на А: по его мнению, это было очень удобно, ибо позволяло передавать вещи, на которых была вышита эта буква, от сестры к сестре без всяких переделок. Сестер звали (я сразу же запомнил эти имена) Ада, Аугуста, Альберта и Анна. За тем же столом я услышал, что все они были красивы. Эта начальная буква поразила мое воображение, может быть, больше, чем она заслуживала. Я видел в своих мечтах этих четырех девушек, так прелестно связанных между собой своими именами. Казалось, они составляют букет. Кроме того, эта начальная буква говорила мне и еще кое о чем. Сам я зовусь Дзено, и у меня было чувство, что, женившись на одной из сестер, я возьму себе в жены девушку из дальних мест<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Обыгрываются первые буквы имен: А – первая буква алфавита, в то время как Z, с которой начинается имя Дзено, стоит в итальянском алфавите последней.

Наверное, это было чистой случайностью, что, прежде чем войти в дом Мальфенти, я покончил с одной своей старинной привязанностью. Та женщина, должно быть, заслуживала лучшего к себе отношения. Но случайность эта была из тех, что заставляют задуматься. Решение о разрыве было принято мною по совершенно ничтожному поводу. Бедняжка решила, что лучший способ привязать меня к себе – это возбудить мою ревность. Но получилось наоборот – одного подозрения оказалось достаточно, чтобы я с ней порвал. Она не знала, что я в ту пору был обуян идеей брака, а вступить в брак с ней мне казалось невозможным хотя бы потому, что в таком браке для меня не было бы достаточно новизны. Подозрение, которое она поселила во мне нарочно, лишний раз продемонстрировало мне преимущества супружеской жизни, в которой подобным подозрениям не может быть места. Когда же это подозрение, неосновательность которого я очень скоро почувствовал, рассеялось, я напомнил себе, что она слишком любит сорить деньгами. Правда, сейчас, после двадцати четырех лет, прожитых в законном браке, я несколько изменил свое мнение на этот счет.

Впрочем, для нее наш разрыв был настоящим благодеянием, потому что несколько месяцев спустя она вышла замуж за очень состоятельного человека и таким образом добилась желанных перемен в своей жизни гораздо раньше, чем я. Еще не будучи женатым, я как-то встретился с нею в доме своего будущего тестя: ее муж оказался его приятелем. С тех пор мы часто встречались в течение многих лет, но даже пока были молоды, проявляли всегда величайшую сдержанность и ни разу, не позволили себе ни одного намека на прошлое. И только вчера она вдруг спросила меня, и при этом лицо ее, обрамленное седыми волосами, покраснело, как у девушки:

– Почему вы меня тогда бросили?

Я был откровенен, потому что у меня не было времени сочинить какую-нибудь ложь:

– Сам не знаю. Я много чему в своей жизни не могу подыскать объяснения.

– Мне очень жаль, – сказала она, и я уже было наклонился, чтобы отвесить поклон за комплимент, обещание которого ясно звучало в ее словах. – В старости вы оказались очень забавны.

Я с усилием выпрямился. Благодарить и кланяться тут было не за что.

Однажды я услышал, что семейство Мальфенти возвратилось в город из продолжительной увеселительной поездки, завершавшей их летний отдых. Мне не пришлось хлопотать о том, чтобы получить доступ в их дом, потому что Джованни пригласил меня сам.

Он показал мне письмо одного своего близкого друга, в котором тот спрашивал обо мне. Этот друг оказался моим товарищем по университету, которого я очень любил, покуда верил, что он станет великим химиком. Теперь же он меня совершенно не интересовал, так как сделался крупным торговцем удобрениями, и в этом новом качестве я его совсем не знал. Джованни пригласил меня к себе, потому что я был другом этого его друга, и, наверное, излишне говорить, что ему не пришлось долго меня упрашивать.

Свой первый визит я помню так, словно это было вчера. Был холодный и

темный осенний день, и я помню даже то ощущение, которое испытал, сбросив пальто в тепле их прихожей. Я словно входил наконец в желанную гавань. Меня до сих пор изумляет тогдашняя моя слепота, которая в то время казалась мне прозорливостью. Я мечтал о здоровье и законном браке. Это было, конечно, хорошо, что одной буквой А были обозначены сразу четыре девушки, но трех из них мне следовало сразу же исключить, а что касается четвертой, то ее я собирался подвергнуть придирчивому экзамену. Суровым судьей – вот кем собирался я стать. А сам между тем понятия не имел о том, какими качествами моя избранница должна обладать и какие качества, напротив, внушают мне отвращение.

В просторном и элегантном салоне, разделенном по обычаю того времени на две части и обставленном мебелью двух различных стилей: одна – Людовика XIV, другая – венецианская, богато украшенная золотом, сверкавшим даже на кожаной обивке, я нашел только Аугусту, которая читала, сидя у окна. Она протянула мне руку: ей было известно мое имя, и она сказала, что меня ждут, так как папа предупредил о моем посещении. И она убежала позвать мать.

Итак, из четырех девушек с одинаковыми инициалами одна для меня отпала сразу же. С чего это они взяли, что она красива? Первое, что вы в ней замечали, – это ее косоглазие, причем такое сильное, что, вспоминая ее как-то после того, как мы долго не виделись, я только это косоглазие и смог вспомнить: оно как бы олицетворяло ее всю. Волосы у нее были не очень густые, правда, белокурые, но какие-то тусклые и бесцветные, а фигура, хотя и довольно изящная, была все же для ее возраста излишне полной. И в течение недолгого времени, покуда я оставался в гостиной один, я все время думал: «А что, если и другие на нее похожи?»

Некоторое время спустя число девушек в гостиной увеличилось до двух. Второй, которая вошла вместе с матерью, было всего лишь восемь лет. Она была очень хорошенькая, с длинными блестящими локонами, распущенными по плечам. Нежное пухленькое личико делало ее похожей (пока она не раскрывала рта) на тех задумчивых ангелочков, которых любил рисовать Рафаэль Санцио.

Моя теща... Вот опять! Что-то мне мешает говорить о ней свободно. Уже много лет, как я отношусь к ней с любовью, поскольку теперь она моя мать, но ведь сейчас-то я рассказываю о делах давнишних, в которых она вела себя по отношению ко мне отнюдь не дружески! И тем не менее даже здесь, в этой рукописи, которая никогда не попадетсся ей на глаза, я не скажу о ней ни одного непочтительного слова. Впрочем, ее вмешательство в мои дела было таким кратким, что уж можно было бы о нем и забыть: всего-навсего толчок в точно выбранный момент, толчок не очень даже сильный, но его оказалось достаточно, чтобы заставить меня потерять мое неустойчивое равновесие. Правда, может, я потерял бы его и без ее вмешательства; и потом, кто знает, того ли она хотела, что случилось? Моя теща слишком хорошо воспитана, и, следовательно, я не могу надеяться, что когда-нибудь она, как ее муж, выпьет лишнего и признается, как именно обстояло дело. С ней такого случиться не может, а потому я, в сущности, и сам хорошенько не знаю истории, которую собираюсь рассказать: то есть для меня так и осталось неясным – ее ли

хитростью или моей глупостью следует объяснить то, что женился я не на той ее дочери, на которой хотел жениться.

Пока же скажу, что в пору моего первого визита моя теща и сама еще была красивой, элегантной женщиной, одевавшейся роскошно, но не броско. Все в ней было гармонично и сдержанно.

Мои тесть и теща являли своим супружеством пример того полнейшего слияния, о котором я всегда мечтал. Они были очень счастливы вдвоем: он – такой громогласный, и она – улыбающаяся ему сочувственной и в то же время снисходительной улыбкой. Она любила своего огромного мужа; эту любовь он, должно быть, завоевал и сумел сохранить благодаря своим успехам в делах. Но привязывала ее к нему не корысть, а искреннее восхищение – восхищение, которое я полностью разделял, а потому прекрасно понимал. Страсть, с которой он сражался на своем крохотном поле – можно сказать, просто в клетке, где не было ничего, кроме товара и двух врагов-конкурентов, и где тем не менее все время возникали все новые и новые отношения и все новые и новые ситуации, – эта страсть таинственным образом одушевляла их жизнь. Он рассказывал жене о всех своих делах, а она была так хорошо воспитана, что никогда не давала ему советов, боясь сбить его с толку. Но ее молчаливая поддержка была ему совершенно необходима, и порою он бежал домой, чтобы произнести там очередной монолог, будучи совершенно уверен, что идет туда за советом.

Я не очень удивился, когда узнал, что он изменяет ей, что она это знает и несколько на него не сердится. Я уже с год как был женат, когда однажды ко мне пришел сильно взволнованный Джованни и, объяснив, что потерял очень важное письмо, перерыл все бумаги, которые дал мне накануне, в надежде, что оно там отыщется. Несколько дней спустя, уже совершенно успокоившийся и довольный, он сказал мне, что нашел письмо в собственном портфеле. «Оно было от женщины?» – спросил я, и он утвердительно кивнул головой, гордый своими победами. Потом как-то раз я сам потерял какие-то важные бумаги и, защищаясь от упреков жены и тещи, сказал, что я не такой везучий, как мой тесть, к которому потерянные бумаги сами возвращаются в портфель. И тут моя теща рассмеялась, да так весело, что я утратил и остатки сомнений: то письмо, конечно, подложила в портфель она сама. Видимо, для их отношений это не имело никакого значения. Каждый любит как умеет, и их способ, по-моему, был отнюдь не самым глупым.

Синьора приняла меня очень любезно. Она извинилась, что привела с собой маленькую Анну: то были положенные ей обязательные четверть часа общения с матерью. Девочка принялась внимательно рассматривать меня своими серьезными глазами, а когда вернулась Аугуста и села на маленький диванчик как раз напротив нас, перебралась к ней на колени и продолжала разглядывать меня оттуда с настойчивостью, которая меня даже забавляла, покуда я не узнал, какие мысли бродили при этом в ее маленькой головке.

Разговор сначала был мало занимателен. Как и все хорошо воспитанные люди, синьора при первой встрече показалась мне довольно скучной. Она слишком много расспрашивала меня о том моем приятеле, который якобы ввел меня в их дом, между тем как я даже не помнил толком его имени.

Вошли наконец Ада и Альберта. Я вздохнул с облегчением: обе были красивы, и их появление словно осветило гостиную, где до сих пор было темно. Обе сестры были шатенки, высокие и стройные, но совсем не похожие одна на другую. Выбор для меня оказался делом несложным. Альберте было тогда чуть больше семнадцати. Хотя она была и шатенка, кожа у нее была как у матери – прозрачно-розовая, и это придавало ее облику что-то детское. Напротив, Ада выглядела уже сложившейся женщиной: серьезные глаза на ослепительно белом, даже слегка голубоватом лице, и густые волнистые волосы, уложенные в изящную и строгую прическу.

Мне трудно обнаружить робкие истоки чувства, позднее так меня захватившего, но я уверен, что так называемого *coup de foudre*<sup>12</sup> не было. Вместо любви с первого взгляда у меня просто возникло убеждение, что это именно та женщина, которая мне нужна и с которой я обрету в священном моногамном браке моральное и физическое здоровье. Когда я об этом вспоминаю, меня всегда удивляет, что вместо любви с первого взгляда у меня возникло лишь это убеждение. Как известно, мужчины не ищут в женах тех качеств, которые они обожают и презирают в своих любовницах. Именно поэтому я, наверное, и не разглядел сразу красоту и грацию Ады, а был очарован совсем другими ее чертами – ее энергией и серьезностью, повторявшимися в несколько, разумеется, ослабленном виде те самые черты, которыми я так восхищался в ее отце. Так как потом я окончательно убедился (и убежден в этом до сих пор), что я тогда не ошибся и что этими качествами Ада в девушках, несомненно, обладала, я могу считать, что я очень наблюдателен. Наблюдателен, хотя и слеп! В тот первый раз, глядя на Аду, я желал только одного: поскорее влюбиться, потому что через этот этап необходимо было пройти для того, чтобы жениться. И я принялся за дело с тем же усердием, с каким отдавался заботам о своем здоровье. Не могу с точностью сказать, когда именно я добился желаемого, но, кажется, довольно скоро после моего первого визита.

Должно быть, Джованни много рассказывал обо мне дочерям. Так, например, они знали, что я перешел с юридического факультета на химический, чтобы потом – увы! – вновь вернуться на юридический. Я попытался объяснить им этот поступок: по моему глубокому убеждению, для человека, ограничившего себя одним факультетом, огромная часть знания остается закрытой книгой. И я добавил:

– И если б жизнь не предъявляла мне сейчас своих серьезных требований (я не сказал, что серьезность жизни я почувствовал совсем недавно, с тех пор, как решил жениться), я бы еще раз поступил на какой-нибудь факультет.

Потом, желая рассмешить их, я сказал, что – забавная вещь! – и тот и другой факультет я бросал как раз в пору экзаменов.

– Чистая случайность, разумеется, – пояснил я с улыбкой человека, который не хочет, чтобы ему поверили. На самом деле я переходил с одного факультета на другой в самое разное время.

---

<sup>12</sup> Здесь – любви с первого взгляда (франц. ).



Так приступил я к завоеванию Ады и дальше продолжал в том же духе, то есть все время старался сделать так, чтобы она надо мной смеялась, при мне ли, без меня – все равно. Я словно забыл о том, что предпочел ее всем другим именно за серьезность. Я вообще человек со странностями, а ей, по всей вероятности, показался и совсем ненормальным. Правда, тут уж виноват не только я, если учесть, что отвергнутые мною Альберта и Аугуста составили обо мне совершенно иное мнение. Но Ада, которая в ту пору так серьезно оглядывала всех своими прекрасными глазами, ища мужчину, которому бы она позволила войти в свое гнездо, – эта Ада, конечно, не могла полюбить человека, который ее смешил. Она слишком много смеялась, и от этого в ее глазах становился смешным и тот, кто заставлял ее смеяться. Это, несомненно, был признак какой-то ее неполноценности, которая неминуемо должна была ей же и повредить, но сначала она повредила мне. Если бы я сумел вовремя замолчать, может быть, все пошло бы по-другому. Тогда заговорила бы она, я бы лучше ее узнал и смог бы от многого уберечься.

Все четыре сестры сидели на маленьком диванчике, на котором с трудом помещались, несмотря на то, что Анну Аугуста держала на коленях. Они были очень красивы – вот так, все вместе. Я констатировал это с внутренним удовлетворением, видя, что я на верном пути к восхищению и любви. Очень, очень красивы! Блеклая белокурость Аугусты красиво оттеняла каштановые волосы ее сестер.

Я заговорил об университете, и Альберта, которая училась в предпоследнем классе гимназии, рассказала мне о своих занятиях. Она пожаловалась, что ей с трудом дается латынь. Я сказал, что это меня не удивляет, потому что латынь – это язык не для женщин: я уверен, что даже в Древнем Риме женщины говорили не по-латыни, а по-итальянски. Что же до меня, заметил я, то латынь всегда была моим любимым предметом. Чуть позднее я имел неосторожность процитировать какое-то латинское изречение, и Альберта меня поправила. Вот ведь несчастье! Но я не придавал этому слишком большого значения и сказал Альберте, что, когда за спиной у нее будет десяток университетских семестров, ей тоже придется остерегаться цитировать латинские изречения.

Ада, которая несколько месяцев провела с отцом в Англии, сказала, что в этой стране многие девушки знают латынь. Потом, все тем же серьезным голосом, совершенно лишенным музыкальности и чуть более низким, чем этого можно было ожидать при ее хрупкой фигурке, она заявила, что женщины в Англии совсем не такие, как у нас. Они объединяются в разные союзы, преследующие благотворительные, религиозные, а то даже и экономические цели. Сестры, которые никогда не уставали слушать ее рассказы обо всех этих невероятных вещах, таких диковинных по тем временам для триестинских девушек, попросили Аду продолжать. И, чтобы доставить им удовольствие, Ада стала рассказывать о женщинах-председательницах, женщинах-журналистках, женщинах-секретаршах, женщинах – политических агитаторах, которые поднимались на трибуну и держали речь перед сотнями слушателей, не краснея и не смущаясь, когда их перебивали или опровергали их аргументы. Она

говорила просто, ровным, невыразительным голосом, не стремясь ни поразить, ни рассмешить слушателей.

Мне нравилась ее простая речь – и это мне-то, человеку, который открывал рот лишь для того, чтобы исказить облик людей и событий, потому что иначе, мне казалось, не стоило и говорить! Не будучи оратором, я был болен словом. Для меня слово само по себе было событием и, следовательно, не должно было находиться в зависимости ни от какого другого события.

Но я испытывал совершенно особую ненависть к коварному Альбиону и тут же заявил об этом, не боясь обидеть Аду, которая, впрочем, не выказала к Англии ни любви, ни ненависти. Когда-то я провел там несколько месяцев и за все это время не свел знакомства ни с одним англичанином из хорошего общества, потому что потерял в дороге все рекомендательные письма, которыми снабдили меня деловые друзья отца. Поэтому, будучи в Лондоне, я общался лишь с французскими и итальянскими семьями, и в конце концов мне стало казаться, что все приличные люди в этом городе родом с континента. Мое знание английского было весьма ограниченным, но друзья помогли мне составить некоторое представление о жизни островитян. Прежде всего они информировали меня об антипатии, которую питали англичане ко всем не англичанам.

Я описал девушкам то малоприятное чувство, которое я испытывал, живя среди врагов. Однако, может, я ему и не поддался бы и сумел бы выдержать Англию в течение тех шести месяцев, которыми наказали меня отец с Оливи, желавшие, чтобы я изучил английскую коммерцию (кстати, на след коммерции я там так и не напал, видимо, она вершится в каких-то потаенных местах), если б не одно неприятное происшествие. Как-то раз я зашел в книжную лавку, чтобы купить словарь. Там на прилавке лежал огромных размеров, великолепный ангорский кот, его пушистую шерсть так и хотелось погладить. И что же! Стоило мне до него дотронуться, как он предательски на меня набросился и жестоко исцарапал мне руки. После этого находиться в Англии стало выше моих сил, и уже на следующий день я был в Париже.

Аугуста, Альберта и даже синьора Мальфенти весело рассмеялись. Только Ада была изумлена и даже думала, что неправильно меня поняла. Может быть, меня оскорбил и оцарапал сам продавец? И мне пришлось повторить все сначала, что всегда очень скучно, потому что второй раз рассказываешь обычно хуже.

Ученая Альберта пришла мне на помощь:

– В древние времена тоже было в обычае принимать решения в зависимости от того, как ведут себя животные.

Я отверг ее помощь. Английский кот выступал в данном случае не в роли оракула, а в роли самого рока!

Но Ада, Широко раскрыв глаза, требовала все новых объяснений:

– И что же, кот олицетворил для вас весь английский народ?

Вот ведь незадача! Эта история, хотя и случившаяся со мной на самом деле, казалась мне такой же поучительной и забавной, как если б она была придумана с заранее намеченной целью. Для того чтобы ее понять, достаточно

было только вспомнить о том, что в Италии, где я знаю и люблю столько людей, подобный поступок кота никогда не принял бы в моих глазах таких размеров. Но этого я не сказал, а наоборот, заметил:

– Я уверен, что итальянский кот никогда бы так не поступил.

Ада рассмеялась и смеялась долго, очень долго. Мой успех мне даже показался чрезмерным, и поэтому я поспешил принизить и себя и свое приключение дополнительными объяснениями.

– Даже продавец был поражен поступком кота, который со всеми остальными вел себя безупречно. Это случилось именно со мной – то ли потому, что это был я, то ли потому, что я был итальянец. *It was really disgusting*<sup>13</sup>, и я был вынужден бежать.

И тут произошла одна вещь, в которой мне следовало бы увидеть предостережение и возможность спасения. Маленькая Анна, которая до сих пор сидела не двигаясь и не сводя с меня глаз, вдруг во весь голос сформулировала впечатление, которое сложилось обо мне у Ады. Она воскликнула:

– Правда, он сумасшедший? Настоящий сумасшедший?

Синьора Мальфенти ее одернула:

– А ну-ка помолчи! Как тебе не стыдно вмешиваться в разговоры взрослых!

Но это замечание только ухудшило дело. Анна завопила:

– Он сумасшедший! Он разговаривает с кошками! Его нужно связать – принести веревку и связать!

Аугуста, покраснев от досады, встала и понесла Анну из комнаты, увещевая ее и одновременно прося у меня прощения. Но уже у самых дверей эта маленькая змея взглянула мне прямо в глаза, скорчила гримасу и крикнула:

– Вот увидишь, тебя все равно свяжут!

Я был атакован столь неожиданно, что не сразу сообразил, как защищаться. Меня немного утешало то, что Ада была явно недовольна, услышав собственные впечатления, выраженные в такой форме. Наглость маленькой Анны немного нас сблизила.

Смеясь, я рассказал им, что дома у меня хранится медицинское свидетельство, заверенное всеми необходимыми печатями, которое подтверждает мою полную умственную состоятельность. Так они узнали о шутке, которую я сыграл в свое время с отцом. Я вызвался представить это свидетельство маленькой Аннучче.

Когда я собрался уходить, меня не пустили. Им хотелось, чтобы сначала я позабыл царапины, нанесенные мне другой кошкой. Мне предложили посидеть еще и выпить с ними чашку чая. Я, разумеется, смутно чувствовал, что для того, чтобы понравиться Аде, мне следовало быть немножко не таким, каков я есть. Но я решил, что стать таким, как хочет она, мне будет не очень трудно. Речь зашла о смерти моего отца, и я подумал, что если я расскажу им о горе, которое до сих пор тяжким камнем лежит у меня на сердце, серьезная Ада сумеет разделить его со мной. Но стоило мне сделать над собой усилие и начать под

---

<sup>13</sup> Это было поистине неприятно (англ. ).

нее подделываться, как я утратил естественность, и это – я тут же это заметил – сразу меня от нее отдалило. Я сказал, что, лишившись отца, я испытал такую боль, что если я сам когда-нибудь буду иметь детей, то постараюсь сделать так, чтобы они поменьше меня любили: зато потом им будет легче перенести мою смерть. Я немного растерялся, когда меня спросили, как, собственно, я собираюсь воспитывать детей, чтобы достичь своей цели? Я буду дурно с ними обращаться? Может быть, бить? Альберта, смеясь, сказала:

– Самое верное было бы просто их убить!

Я видел, что Ада старается вести себя так, чтобы меня не обидеть, а поэтому находится в нерешительности. Но все ее старания ни к чему, кроме этой нерешительности, не приводили. Наконец она сказала, что ей понятны добрые чувства, которыми я руководствуюсь, говоря, что хотел бы так воспитывать детей, но ей кажется неправильным превращать жизнь лишь в подготовку к смерти. Но я стоял на своем и заявил даже, что именно смерть организует нашу жизнь. Я вот постоянно думаю о смерти, а потому знаю лишь одно страдание – страдание, которое причиняет мне мысль о неизбежности смерти. И рядом с этой мыслью все прочее становится таким незначительным, что я достаиваю его лишь улыбки или веселого смеха. Присутствие Ады, уже успевшей занять в моей жизни весьма значительное место, заставляло меня говорить то, чего я вовсе не думал. Так, всю вышеприведенную тираду я произнес для того, чтобы она подумала, будто я очень веселый и легкий человек. Эта веселость и эта легкость часто мне помогали, когда я имел дело с женщинами.

Подумав и поколебавшись, она призналась, что ей не нравится такое душевное состояние. Умалая значение жизни, мы делаем ее еще более опасной, чем устроила ее мать-природа. Иными словами, она мне сказала, что я ей не подхожу, но уже то, что этому предшествовали размышления и колебания, казалось мне успехом.

Альберта процитировала какого-то античного философа, у которого была подобная же концепция жизни, а Аугуста сказала, что смех – это прекрасная вещь. Он составляет одно из богатств их отца.

– Поэтому-то он, наверное, и любит выгодные сделки, – смеясь, сказала синьора Мальфенти.

Наконец я решился прервать этот памятный мне визит.

Нет на свете ничего более трудного, чем удачно жениться. Это ясно видно на примере моей истории, в которой решение жениться значительно опередило выбор невесты. Почему бы мне было не постараться узнать побольше девушек, прежде чем выбрать одну? Так нет же, мне словно противно было иметь дело с несколькими, и я не пожелал себя утруждать! Ну хорошо, но уж после того, как выбрал, я мог бы по крайней мере постараться получше ее узнать и убедиться хотя бы в том, что она готова ответить мне взаимностью – как это бывает в романах со счастливым концом? Так нет, выбрав себе девушку с низким голосом и непокорными, однако гладко причесанными волосами, я решил, что раз она так серьезна, она, конечно, не отвергнет человека умного, недурного собой и из хорошей семьи. Уже в первых словах, которыми мы обменялись, я

услышал некий диссонанс, но ведь диссонанс – это путь к унисону! Больше того – должен признаться, что я думал примерно так: «Пусть она остается такая, как есть, она мне нравится. Лучше я постараюсь измениться, если она того пожелает». То есть я был довольно-таки скромнен: ведь известно, что гораздо легче переделать себя, чем кого-либо другого!

Вскоре дом Мальфенти сделался центром моего существования. Каждый вечер я приходил туда вместе с Джованни, который, с тех пор как ввел меня к себе, сделался со мной гораздо проще и радушнее. И радушие его было столь велико, что я стал просто назойливым. Сначала я делал визиты его дамам один раз в неделю, потом чаще, а кончил тем, что стал ходить туда каждый день и просиживать по несколько часов... У меня всегда находился предлог, чтобы заглянуть в этот дом, и думаю, не ошибусь, если скажу, что порой мне эти предлоги подсказывали. Иногда я приносил с собой скрипку и музицировал с Аугустой, которая единственная в семье умела играть на фортепьяно. Конечно, было плохо, что на фортепьяно играла не Ада, плохо было и то, что сам я играл на скрипке очень плохо, и совсем уж плохо было то, что Аугуста отнюдь не была прекрасной музыкантшей. Из каждой сонаты мне приходилось выбрасывать самый трудный кусок, под предлогом – разумеется, вымышленным! – что я давно не брал в руки скрипку. Любитель-пианист всегда превосходит любителя-скрипача, а у Аугусты к тому же и в самом деле была очень недурная техника, однако я, который играл куда хуже ее, был еще недоволен и думал про себя: «Насколько бы лучше ее я играл, если б умел играть так, как она!» Ну, а в то время как я выносил свои суждения об Аугусте, другие выносили суждения обо мне, и, как я узнал позднее, они были для меня неблагоприятными. Аугуста с удовольствием продолжала бы разыгрывать со мной сонаты и дальше, но я заметил, что на Аду они нагоняют скуку, и несколько раз притворился, будто забыл скрипку дома. После этого Аугуста больше о ней не заговаривала.

К сожалению, я проводил с Адой не только те часы, которые просиживал у них в доме. Вскоре она уже не расставалась со мной в течение всего дня. Я выбрал эту женщину среди всех других, и уже поэтому она была моя, и я всячески приукрашивал ее в своих мечтаниях, чтобы эта награда, дарованная мне жизнью, стала еще прекраснее. Я одаривал ее всеми теми чертами, которых так не хватало мне и о которых я так мечтал, потому что ей предстояло стать не только моей подругой, но и моей второй матерью и вдохновлять меня на активную, мужественную жизнь, исполненную борьбы и побед.

Завладев ею в мечтах, я, прежде чем вернуть ее другим, приукрашивал даже ее внешность. Я в своей жизни немало ухаживал за женщинами, и кое над кем мне и в самом деле удалось одержать победу. Но в мечтах я одерживал победы над всеми. Приукрашивая их в своем воображении, я, разумеется, не изменяю их черты: я поступаю так, как поступает один мой приятель, тончайший художник, который, в то время как пишет портрет красивой женщины, неотрывно думает о какой-нибудь другой красивой вещи – о тонком фарфоре, например. Такой вид мечтаний очень опасен, так как сообщает еще большую власть женщине, о которой мы мечтаем: после этого, даже представ

перед нами вживе, она сохраняет в себе что-то от плодов, и цветов, и хрупкого фарфора, в которые мы преображали ее в своих мечтах.

Мне трудно рассказывать историю моего ухаживания за Адой. Потом, позднее я долго старался изгнать из памяти это мое идиотское приключение, за которое мне было так стыдно, что хотелось кричать и громко протестовать: «Нет, не может быть! Неужели тот идиот – это я?» Но если не я, то кто же? Однако от самого протеста мне уже становилось чуточку легче, и я часто прибегал к этому средству. Еще куда бы ни шло, если б я вел себя так лет за десять до того, то есть когда мне было двадцать. Но быть наказанным такой невероятной тупостью только за то, что захотел жениться, – в этом есть какая-то несправедливость. Я, изведавший множество любовных приключений и отличавшийся в этой области предприимчивостью, граничившей с наглостью, вдруг превратился в робкого мальчика, который старается незаметно коснуться рукой своей милой, чтобы потом боготворить эту часть тела, удостоившуюся божественного прикосновения! Самое чистое из всех моих любовных приключений я вспоминаю сейчас как самое грязное; слишком уж оно было не к месту и не ко времени: все равно, как если бы десятилетний мальчик вдруг попросил грудь. Какая гадость!

А как объяснить то, что я так долго колебался, вместо того чтобы просто сказать: «Решай! Подхожу я тебе или нет?» Я приходил в их дом прямо из своих мечтаний, я пересчитывал ступеньки, ведущие во второй этаж, и говорил себе: если цифра будет нечетная, значит, она меня любит, и цифра всегда была нечетная, потому что ступенек было сорок три. Я приходил туда, уже совсем было решившись, но в последний момент заговаривал о другом. Аде еще не представлялся случай выказать мне свое нерасположение, а я молчал. Да я бы и сам на месте Ады прогнал этого тридцатилетнего юнца хорошим пинком в зад!

Должен сказать, что только в одном отношении я не походил на двадцатилетнего влюбленного: тот молчит, потому что ждет, что возлюбленная сама кинется ему на шею. Я же не ждал ничего подобного. Я собирался заговорить первым, но несколько позже. И медлил я только потому, что у меня были еще сомнения на собственный счет. Я хотел стать более знаменитым, более сильным, в общем – более достойным этой божественной девушки. И это могло случиться со дня на день. Почему бы и в самом деле было не подождать?

Стыжусь я и того, что не сумел вовремя заметить близившийся позорный провал. Я имел дело с одной из самых простодушных девушек на свете, и лишь мое воображение превращало ее в прожженную кокетку. И, уж конечно, у меня не было никаких оснований для той глубочайшей обиды, которую я испытал, когда Ада дала мне понять, что и слышать обо мне не хочет. Но в моем представлении реальность так тесно переплелась с мечтами, что потом я долго не мог поверить в то, что она меня так ни разу и не поцеловала.

Это верный признак незрелости, когда мужчина неправильно истолковывает отношение к нему женщины. Раньше я никогда не ошибался в подобных случаях и так промахнулся с Адой, наверное, потому, что с самого начала внес в наши отношения какую-то фальшь. Я явился не для того, чтобы ее покорить, а для того, чтобы на ней жениться: путь для любви необычный,

может быть более простой, более удобный, но приводит он не к цели, а куда-то рядом. В любви, к которой приходишь таким путем, не хватает главного: покорения женщины. Таким образом, мужчина готовится принять свою участь совершенно инертно, и эта инертность может поразить и все его чувства, в том числе и слух и зрение.

Я каждый день приносил всем трем девушкам цветы, изумлял всех трех своими странностями и, главное, проявлял удивительное легкомыслие, каждый день рассказывая им свою биографию.

– Все мы обычно начинаем с особой страстью предаваться воспоминаниям о прошлом, когда в настоящем у нас случается что-то важное. Говорят, умирающие в предсмертном бреду вспоминают всю свою жизнь. Вот так и мое прошлое преследовало меня теперь с властью последнего прости, потому что у меня было чувство, будто отныне оно остается где-то далеко позади. И я без конца рассказывал о нем трем девушкам, воодушевляемый напряженным вниманием Аугусты и Альберты, которые, вероятнее всего, просто хотели компенсировать невнимательность Ады; а впрочем, может, это и не так. Аугусту с ее мягким характером очень легко было растрогать, а у Альберты, когда она слушала мои рассказы о студенческих проделках, горели щеки от страстного желания пережить в будущем точно такие же приключения.

Уже много позже я узнал от Аугусты, что ни одна из них не верила в правдивость моих рассказов. Аугусте они от этого делались только еще дороже, ибо, будучи мною выдуманы, они становились еще более моими, чем если бы мне их просто навязала судьба. Альберта же с удовольствием слушала и ту часть моих рассказов, которой она не верила, ибо черпала оттуда массу превосходных идей. Единственная, у кого мои выдумки вызывали негодование, была серьезная Ада. Таким образом, в результате всех своих стараний я уподобился стрелку, который попал в яблочко, да только не на своей, а на соседней мишени.

А ведь все, что я рассказывал, в значительной мере было правдой! Я только не могу сказать, в какой именно, потому что до сестер Мальфенти я рассказывал свои истории стольким женщинам, что истории эти помимо моей воли слегка видоизменились, став куда более красочными. Но они были правдивы, хотя бы потому, что никак иначе я уже и не мог их рассказывать. Ну, а сейчас мне уже и не к чему доказывать, что я говорил правду. Мне не хотелось бы разочаровывать Аугусту, которой нравится думать, будто я все их сочинил. Что же касается Ады, то, наверное, теперь она переменила мнение и считает, что все, что я тогда рассказывал, было правдой.

То, что у Ады я потерпел полную неудачу, с ясностью выказалось именно в тот момент, который я считал наиболее подходящим, чтобы поговорить с ней начистоту. Явные признаки этой неудачи я воспринял с изумлением и поначалу даже с недоверием. Ведь за все время она не произнесла ни единого слова, в котором бы выразилась ее ко мне неприязнь, а на те мелочи, которые ясно говорили о том, что она не питает ко мне большой симпатии, я закрывал глаза. И потом, я ведь еще и сам не произнес решительного слова, и, следовательно, Ада, которая не знала о моем намерении на ней жениться, вполне могла решить,

что этот странный и далеко не добродетельный студент добивается чего-то совсем иного!

И недоразумение продолжало длиться именно потому, что намерения мои были слишком решительно матримониальны. Правда, теперь я уже желал Аду, внешность которой я продолжал упорно отделять в своем воображении, так что щеки ее становились менее круглыми, руки – менее крупными, а талия – еще более изящной и стройной. Я желал ее как жену и как любовницу. Но ведь главное – это как подойдешь к женщине с самого начала!

Однажды случилось так, что три раза подряд меня принимала не Ада, а ее сестры. Отсутствие Ады первый раз мне объяснили каким-то срочным визитом, второй – нездоровьем, а третий раз не сказали вообще ничего, покуда я, обеспокоенный, сам прямо об этом не спросил. Аугуста, к которой я обратился с этим вопросом просто потому, что она первая попалась мне на глаза, ничего не ответила. За нее ответила Альберта, на которую она взглянула так, словно призывала на помощь. Ада ушла к тетке.

У меня перехватило дыхание. Было ясно, что Ада меня избегает. Накануне я еще как-то перенес ее отсутствие и даже несколько затянул визит, надеясь, что в конце концов она появится. Но в тот день я немного посидел, почти не раскрывая рта, а потом, сославшись на внезапную головную боль, поднялся, чтобы откланяться. Интересно, что, впервые столкнувшись с сопротивлением Ады, я почувствовал прежде всего гнев и возмущение. Я даже подумал, не обратиться ли мне к Джованни, чтобы тот призвал дочь к порядку. Мужчина, который хочет жениться, способен даже на такие действия – точное подобие тех самых действий, которые предпринимали в таких случаях его далекие предки.

Этому третьему отсутствию Ады суждено было стать и самым многозначительным, ибо по чистой случайности я сумел обнаружить, что она в тот день была дома, но только сидела у себя в комнате.

Но сначала я должен сказать, что был в этой семье еще один человек, расположения которого мне так и не удалось добиться. То была маленькая Анна. В присутствии посторонних она уже не смела на меня нападать, ибо получила за это строгий выговор. И порой даже приходила в гостиную вместе с сестрами, чтобы послушать мои рассказы. Но когда я уходил, она догоняла меня уже у самого порога, вежливо просила наклониться, приподнималась на цыпочки и, приблизив губы к самому моему уху, говорила мне шепотом, так, чтобы никто, кроме меня, не мог ее услышать: «Ты сумасшедший! Ты настоящий сумасшедший!»

Самое интересное, что вслух эта лицемерка обращалась ко мне всегда на вы! И если случалась при этом синьора Мальфенти, то девочка сразу же укрывалась в ее объятиях, и мать, нежно ее лаская, говорила:

– Какая она стала вежливая, моя маленькая Анна, не правда ли?

Я ни словом не возражал, и вежливая Анна еще долго продолжала называть меня сумасшедшим. Я выслушивал ее слова с кривой улыбочкой, которая со стороны могла быть истолкована как улыбка благодарности. Я надеялся, что у девочки не хватит смелости рассказать о своих выходках взрослым: мне было бы неприятно, если бы Ада узнала, какое мнение сложилось обо мне у ее



сестрички. В конце концов уже само присутствие Анны стало повергать меня в замешательство. Стоило мне, говоря с другими, встретиться с ней взглядом, как мне приходилось отводить его в сторону, а при этом нелегко сохранить естественность. И я, конечно, краснел. Мне казалось, что это невинное создание может повредить мне, если поделится с кем-нибудь сложившимся у нее обо мне мнением. И я стал приносить ей подарки, но и ими не сумел ее укротить. А она, должно быть, заметила мою слабость и свою надо мной власть и в присутствии других не сводила с меня наглого, испытующего взгляда. Я считаю, что у всех нас на совести, как и на теле, есть особо чувствительные, прикрытые от посторонних взглядов места, о которых мы предпочитаем не думать. Непонятно, что это за места, но они, несомненно, существуют. Вот почему я отводил глаза от этого детского взгляда, который меня словно обшаривал.

Но в тот день, когда я выходил из их дома подавленный и одинокий и она догнала меня и потребовала, чтобы я, по обыкновению, нагнулся и выслушал ее обычный комплимент, – я обратил к ней лицо, столь искаженное страданием, что оно и впрямь могло показаться ей лицом сумасшедшего, а протянутые к ней руки – угрожающе сведенными когтями. И она, завизжав, кинулась от меня прочь.

Тут-то я и узнал, что Ада была дома, потому что она выбежала на ее вопли. Девочка, рыдая, сказала ей, что я пригрозил ей только за то, что она обозвала меня сумасшедшим.

– Но ведь он и в самом деле сумасшедший, и я хочу ему это говорить! Что в этом дурного?

Но я не слушал Анну, изумленный тем, что Ада оказалась дома. Значит, Аугуста с Альбертой мне солгали! Точнее – одна только Альберта, на которую Аугуста возложила эту обязанность, сложив ее, таким образом, с себя. Хоть ненадолго, но я вдруг все понял и все угадал. Я сказал Аде:

– Очень рад вас видеть. Я думал, вы уже три дня как у тетки.

Она не ответила, потому что первым делом склонилась над плачущей сестренкой. Вся кровь бросилась мне в голову, когда я увидел, что она еще медлит с объяснениями, на которые, как мне казалось, у меня было право. Я не находил слов, я шагнул к двери и, если бы Ада не заговорила, ушел бы и никогда сюда не вернулся. В приступе гнева, которым я был тогда обуян, мне казалось, что отказаться от лелеемой столько времени мечты чрезвычайно просто.

Но как раз в этот момент Ада, покраснев, повернулась ко мне и сказала, что только что пришла, не застав тетку дома.

Этого оказалось достаточным, чтобы я успокоился. Как она была мила вот так – матерински склонившись над девочкой, которая продолжала плакать. Ее тело было таким гибким, что, казалось, она даже уменьшилась в росте, чтобы стать ближе к ребенку! Я медлил уходить, любясь ею. Я снова считал ее своей.

Я чувствовал себя таким умиротворенным, что мне хотелось заставить их поскорее забыть о моей недавней вспышке, и постарался быть и с Адой и с Анной как можно любезнее. Я сказал Аде, весело смеясь:

– Она так часто называет меня сумасшедшим, что мне захотелось хоть раз

показать ей лицо и повадки настоящего сумасшедшего. Ради бога, простите! А ты, бедная моя Аннучча, не бойся, я добрый сумасшедший!

Ада тоже была со мной ужасно любезна. Она сделала выговор сестре, которая все еще продолжала всхлипывать, и извинилась за нее передо мной. Если бы, на мое счастье, раздосадованная Анна еще бы и убежала, я бы тут же все и выложил. Я произнес бы фразу, которая включается, наверное, во все учебники иностранных языков, где, законченная и готовая к употреблению, она приходит на помощь тем, кто не знает языка страны, в которой находится: «Могу ли я просить вашей руки у вашего отца?» Я собрался жениться в первый раз в жизни и, следовательно, тоже находился в незнакомой стране! Раньше я совершенно иначе говорил с женщинами, с которыми мне приходилось иметь дело. Прежде всего я пускал в ход руки.

Но я не произнес даже и этих немногих слов. Все-таки они должны были распределиться на большем отрезке времени! И сопровождаться умоляющим выражением лица – что было довольно затруднительно после борьбы, которую я выдержал с Анной, да и с Адой тоже. К тому же из глубины коридора уже спешила к нам синьора Мальфенти, привлеченная криками дочери.

Я протянул Аде руку – она тотчас же дружески протянула мне свою – и сказал:

– До свидания. До завтра. Извинитесь, пожалуйста, за меня перед синьорой Мальфенти.

Я несколько помедлил, прежде чем выпустить ее руку, которая так доверчиво лежала в моей. Я чувствовал, что если я сейчас уйду, я упущу единственный в своем роде случай, когда она изо всех сил старается быть любезной, чтобы загладить грубость сестры. Повинуясь неожиданному вдохновению, я склонился над ее рукой и коснулся ее губами. Потом отворил дверь и вышел – очень быстро, но все же успев заметить, что Ада, которая протянула мне правую руку, в то время как левой обнимала цеплявшуюся за ее юбку Анну, уставилась на свою руку, которой только что коснулись мои губы, с таким изумлением, словно на ней были начертаны какие-то непонятные письмена. Думаю, что синьора Мальфенти ничего не заметила.

На лестнице я на минутку остановился, пораженный своим совершенно неожиданным поступком. Я еще мог вернуться к дверям, которые сам за собой захлопнул, и, позвонив, спросить у Ады, можно ли мне высказать вслух те слова, которые она тщетно пыталась прочесть на своей руке. Но я решил, что лучше не надо. Я утрачу достоинство, проявив чрезмерное нетерпение. А кроме того, дав ей понять, что вернусь завтра, я как бы предупредил ее о предстоящем объяснении. Теперь только от нее зависело, когда она его услышит, потому что это она должна была предоставить мне случай объясниться. Вот я и кончил развлекать сестер своими рассказами и вместо этого поцеловал у одной из них руку!

Но остаток дня прошел не очень хорошо. Я был охвачен тревогой и беспокойством. Я убеждал себя, что эта тревога происходит от нетерпения, с которым я ждал момента, когда все наконец разъяснится. Я воображал, что если Ада мне откажет, я смогу совершенно спокойно отправиться на поиски другой

женщины. Моя привязанность к ней была результатом свободно принятого решения и, следовательно, могла быть аннулирована другим решением, которое ее отменит. Я еще не понимал, что в ту пору для меня не существовало на свете никаких других женщин: мне была нужна именно Ада.

Последовавшая за этим ночь показалась мне ужасно длинной. Я провел ее почти без сна. После смерти отца я расстался со своими привычками полуночника, и теперь, после того как я решил жениться, было бы просто странно к ним возвращаться. Поэтому я лег довольно рано, мечтая поскорее заснуть, чтобы время пролетело незаметно.

Днем я слепо поверил всем объяснениям Ады насчет ее трехдневного отсутствия в гостиной как раз в те часы, когда там бывал я. Эта вера объяснялась моим твердым убеждением в том, что серьезная женщина, которую я избрал себе в жены, не способна лгать. Но ночью эта вера заколебалась. Я подумал: уж не сам ли я подсказал ей, что Альберта, после того как Аугуста отказалась мне отвечать, объяснила мне ее отсутствие визитом к тетке. Я не помнил в точности слов, которые сказал ей в тот момент, когда вся кровь бросилась мне в голову, но был почти уверен, что подсказал ей это объяснение. Досадно! Если бы я этого не сделал, может быть, она, стремясь оправдаться, выдумала бы что-нибудь другое, и я, поймав ее на лжи, сразу бы достиг ясности, к которой так стремился.

Мне следовало бы заметить, какое важное место успела занять в моей жизни Ада, раз уж я успокаивал себя мыслью, что в случае ее отказа вообще никогда не женюсь. Иными словами – ее отказ перевернул бы всю мою жизнь! И я стал рисовать себе картины своего будущего в случае ее отказа, утешаясь мыслью, что, может быть, это будет даже и к лучшему. Я вспомнил слова того греческого философа, который предсказывал, что все будут каяться: и те, кто женился, и те, кто не женился. Одним словом, я не потерял способности смеяться над своим любовным приключением; только одну способность я потерял начисто – способность спать.

Я заснул, когда уже рассветало. А проснулся так поздно, что до того времени, когда мне было позволено явиться к Мальфенти, оставалось всего несколько часов. Таким образом, не было уже никакого смысла гадать о своем будущем и перебирать в памяти всякие мелочи, которые помогли бы мне понять, как относится ко мне Ада. Но трудно запретить себе думать о том, что представляет для нас огромную важность. Человек был бы счастливейшей из земных тварей, если б умел это делать. И, занимаясь своим туалетом с тщательностью, которой требовал тот знаменательный день, я думал только об одном: хорошо ли я сделал, поцеловав Аде руку, или я сделал плохо, не поцеловав ее также и в губы?

И именно в то утро мне пришла в голову мысль, имевшая для меня самые печальные последствия, ибо она лишила меня последних остатков мужской инициативы, которые я еще сохранил в том моем странном юношеском состоянии. Этой мыслью было мучительное сомнение: а что, если Ада выйдет за меня, не любя и даже испытывая ко мне отвращение, только потому, что ее принудят к этому родители? Ибо вся семья – то есть и Джованни, и синьора

Мальфенти, и Аугуста, и Альберта – бесспорно, относилась ко мне хорошо: сомневаться я мог только в самой Аде. Передо мной возник знакомый контур романтической фабулы: девушка, принуждаемая родителями к ненавистному ей браку. Нет, этого я не допущу! Вот еще лишняя причина поговорить с самой Адой, а точнее – с одной только Адой. Достаточно, если я скажу ей заранее подготовленную фразу. Глядя ей прямо в глаза, я спрошу: «Ты меня любишь?» И если она скажет «да», я сожму ее в своих объятиях, чтобы почувствовать, насколько она искренна. Я решил, что таким образом я подготовился ко всему. Но очень скоро мне пришлось убедиться, что, готовясь к этому своеобразному экзамену, я позабыл просмотреть именно те страницы учебника, которые мне выпало отвечать.

Меня приняла сама синьора Мальфенти и, усадив в углу просторного салона, принялась болтать с такой живостью, что я не мог вставить слова даже для того, чтобы спросить, как поживают ее дочери. Поэтому я слушал ее несколько рассеянно, твердя про себя урок, чтобы не забыть его в нужный момент. Внезапно мое внимание было разбужено как бы звуком боевой трубы. Синьора Мальфенти тщательно отделявала вступление. Она уверяла меня в своем дружеском ко мне отношении, в дружбе мужа и теплом отношении ко мне всей семьи, включая малютку Анну. Мы знакомы уже так давно! Уже четыре месяца, как мы видимся ежедневно.

– Пять! – поправил я, так как подсчитал это как раз нынче ночью, вспомнив, что первый визит я нанес им осенью, а сейчас уже была в разгаре весна.

– Совершенно верно, пять! – сказала синьора, немного подумав, словно проверила про себя мои расчеты. И внезапно, с видом упрека:

– Мне кажется, вы компрометируете Аугусту!

– Аугусту? – повторил я, решив, что ослышался.

– Да, – подтвердила синьора. – Вы обольщаете ее и компрометируете.

Я со всей наивностью открыл ей свои чувства:

– Да я ее даже не замечаю!

У нее вырвался жест удивления, причем (или это мне показалось?) горестного удивления.

Я тем временем лихорадочно думал, как поскорее разъяснить ей то, что казалось мне недоразумением, правда, недоразумением, значение которого я уже хорошо понял. Я вспомнил, как я приходил сюда изо дня в день в течение пяти месяцев только для того, чтобы исподтишка взглянуть на Аду. Я действительно музицировал с Аугустой и действительно говорил больше с ней, внимательно меня слушавшей, чем с Адой, но только для того, чтобы потом она передала Аде мои рассказы, сопроводив их своим одобрением. Следовало ли мне говорить с синьорой откровенно и рассказать ей о видах, которые я имел на Аду? Но ведь недавно я решил, что буду говорить с одной только Адой, чтобы лучше понять, что у нее на душе. Если бы я тогда поговорил с синьорой Мальфенти начистоту, может быть все пошло бы по-другому; то есть я все равно не смог бы жениться на Аде, но, с другой стороны, не женился бы и на Аугусте. Однако я руководствовался решением, принятым до того, как увидел

синьору Мальфенти, и, услышав от нее все эти невероятные вещи, промолчал.

Моя мысль работала напряженно, но именно потому несколько сбивчиво. Я хотел все понять, все угадать – и как можно скорее. Но когда таращишься, видишь гораздо хуже. Во всем сказанном я усмотрел только то, что мне, видимо, просто хотят отказать от дома. Но потом решил, что уж это-то я, пожалуй, могу исключить. Я ни в чем не провинился, раз выяснилось, что я не ухаживал за Аугустой, которую они желали от меня защитить. Правда, может быть, они приписывали мне какие-то намерения в отношении Аугусты просто для того, чтобы не компрометировать Аду? Но какой смысл защищать таким образом Аду, которая все-таки была уже не девочка! Я мог поклясться, что если и позволял себе что-нибудь предосудительное по отношению к ней, то только во сне! Наяву я лишь коснулся губами ее руки. Я не хотел, чтобы мне закрыли доступ в этот дом, потому что, прежде чем покинуть его, я хотел еще поговорить с Адой. И поэтому я произнес дрожащим голосом:

– Скажите сами, синьора, что я должен сделать, чтобы все были довольны?

Она заколебалась. Я предпочел бы иметь дело с Джованни, который, размышляя, кричал во весь голос. Потом решительно, но стараясь быть как можно любезнее – это ясно слышалось в ее голосе, – она сказала:

– Вам следует некоторое время приходить к нам не так часто: скажем, не каждый день, а раза два-три в неделю.

Я убежден, что если б она просто приказала мне уйти и больше не показываться, я, побуждаемый желанием выяснить отношения с Адой, стал бы умолять ее потерпеть мое присутствие еще один-два дня. Но, услышав эту просьбу, куда более умеренную, чем я опасался, я так воспрянул духом, что решил показать ей, как я обижен.

– Если хотите, ноги моей больше не будет в вашем доме.

Тут произошло то, на что я и рассчитывал. Она стала протестовать, говорить об уважении, которое питает ко мне вся семья, и умоляла меня не сердиться. И я блеснул великодушием, пообещав ей исполнить все, что она желает; то есть вначале в течение пяти дней вообще воздержаться от посещений, а потом приходить раза два-три в неделю, и, главное, не держать на них обиды.

Дав все эти обещания, я решил показать, что готов приступить к их исполнению прямо сейчас, и поднялся, чтобы откланяться. Синьора, смеясь, запротестовала:

– Ну, уж меня-то вы никак не скомпрометируете! Так что оставайтесь!

Я стал просить, чтобы она позволила мне уйти, ссылаясь при этом на дело, о котором только что вспомнил, хотя, по правде сказать, мне просто хотелось побыть одному, чтобы хорошенько поразмыслить над всем этим необыкновенным происшествием. Но синьора решительно попросила меня остаться, сказав, что это будет доказательством того, что я на нее не сержусь. И я остался и выдержал долгую пытку, слушая ее стрекотно о новых модах, которым она не желала следовать, о театре, о нынешней весне, которая, судя по началу, обещала быть очень сухой.

Правда, спустя некоторое время я уже был доволен, что остался. Я понял, что мне нужны от нее еще кое-какие дополнительные объяснения. Бесцеремонно перебив синьору, которую уже давно не слушал, я спросил:

– А у вас все будут знать о том, что вы попросили меня держаться подальше от вашего дома?

Сначала у нее был такой вид, будто она уже забыла о нашем договоре. Но потом она запротестовала:

– Да почему «подальше»? Поймите меня правильно: речь идет всего о нескольких днях. Я никому не собираюсь об этом говорить, даже мужу, и буду очень признательна, если и вы проявите такую же сдержанность.

Я обещал ей и это и обещал также – в том случае, если меня спросят, почему меня теперь так редко видно, – отговариваться всякими предложениями. На этот раз я поверил словам синьоры, и в моем воображении возникла Ада, пораженная и опечаленная моим отсутствием. То была дивная картина!

Я посидел еще немного, ожидая, что меня осенит еще какая-нибудь идея, синьора же тем временем говорила о том, как сильно вздорожало все съестное.

Но новые мысли ко мне не являлись, зато в гости к синьоре Мальфенти явилась тетя Розина, одна из сестер Джованни, которая была старше его, но много глупее. Правда, кое по каким особенностям характера в ней сразу можно было признать его сестру. Прежде всего – то же самое твердое убеждение в том, что ей принадлежат права, а всем прочим обязанности, убеждение, которое в ней производило комическое впечатление, потому что она была бессильна применить его на практике. Во-вторых, та же привычка чуть что – повышать голос.

Она полагала, что имеет право распоряжаться в доме брата, и – как я узнал позднее – долгое время считала синьору Мальфенти бессовестной втирушей. Тетя Розина была незамужняя, и при ней жила одна-единственная служанка, о которой она всегда говорила как о своем злейшем враге. Перед смертью она попросила мою жену присматривать за домом до тех пор, пока не уйдет эта старая служанка, ухаживавшая за ней во время болезни. В доме Джованни тетю Розину терпели, потому что боялись ее сварливого нрава.

Я все сидел, не уходил. Тетя Розина предпочитала Аду всем прочим племянницам, и потому мне захотелось завоевать ее дружбу. Я стал думать, что бы сказать ей такого приятного. Я смутно помнил, что в тот день, когда видел ее последний раз (точнее – не видел, а едва заметил, потому что тогда мне было не до нее), племянницы после ее ухода сошлись на том, что она неважно выглядит, и кто-то даже сказал:

– Поссорилась, наверное, со служанкой, вот печень и разыгралась.

Итак, я нашел то, что искал. Ласково глядя на морщинистую физиономию старой дамы, я заметил:

– Как вижу, синьора, вы поправились!

Лучше б я этого не говорил. Бросив на меня удивленный взгляд, она возразила:

– Я такая же, как обычно. С каких это пор я поправилась?

Она пожелала узнать, когда я видел ее в последний раз. Я не мог

припомнить точную дату, но напомнил, что тогда мы провели вместе почти целый день – она, я и три синьорины – в этой самой гостиной. Только сидели мы не здесь, а вон там. Я думал всего лишь продемонстрировать ей свое расположение, но объяснения, которых она от меня потребовала, чересчур затянули эту демонстрацию. Фальшивость всего этого угнетала меня настолько, что я испытывал настоящие мучения. Но тут вмешалась, улыбаясь, синьора Мальфенти:

– Но ведь вы не хотели сказать, что тетя Розина пополнела?

Черт побери! Так вот почему она обиделась! Тетя Розина была так же толста, как и ее брат, и все время надеялась похудеть.

– Пополнела? Да что вы! Я просто хотел сказать, что синьора стала лучше выглядеть!

Говоря это, я пытался сохранить на лице все то же ласковое выражение, хотя сам едва сдерживался, чтобы не выругаться.

Но мои слова не удовлетворили тетю Розину. Она ничем не болела последнее время и не понимает, почему она могла кому-то показаться больной. И синьора Мальфенти ее поддержала:

– А вам не кажется, что это вообще характерная черта тети Розины – то, что она всегда одинакова?

Да, мне это казалось. Больше того – это было совершенно очевидно. И я тут же поднялся. С большой сердечностью я протянул тете Розине руку, надеясь ее задобрить, но она дала мне свою, не глядя на меня.

Едва за мной захлопнулась дверь этого дома, как мое душевное состояние резко переменялось. Какое чувство освобождения! Мне не надо было больше разгадывать намерения синьоры Мальфенти, не надо было стараться понравиться тете Розине. Я совершенно уверен, что если бы не тетя Розина с ее грубостью, хитрая синьора Мальфенти добилась бы своего: я ушел бы довольный, убежденный в том, что со мной обошлись очень любезно. Я несся вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Тетя Розина послужила как бы комментарием к синьоре Мальфенти. Синьора Мальфенти просила меня несколько дней держаться подальше от их дома? Вы слишком добры, дорогая синьора! Я выполню ваши пожелания и даже сверх ваших ожиданий: вы никогда меня больше не увидите. Меня мучили все: и вы, и тетя Розина, и даже Ада. А по какому, собственно, праву? Только потому, что я хотел жениться? Так вот: я раздумал! Как прекрасна была свобода!

Примерно с четверть часа я бежал по улицам, обуреваемый такими чувствами. Потом ощутил необходимость почувствовать себя еще более свободным. Следовало как-то отметить мое решение не появляться более в этом доме. Мысль попрощаться с ними письмом я сразу же отверг. Мое исчезновение будет для них гораздо обиднее, если я ничего не скажу о своих намерениях. Я просто позабуду, забуду заходить к ним и к Джованни.

Наконец я сообразил, как мне следует отметить свое решение, чтобы все вышло сдержанно, скромно и в то же время несколько иронично. Я поспешил в цветочную лавку и, выбрав там великолепный букет, приказал отправить его синьоре Мальфенти вместе с моей визитной карточкой. На карточке я не

написал ничего, кроме сегодняшней даты. Этого было достаточно. Я сам никогда не забуду этой даты, и, даст бог, не забудут ее и Ада с матерью: пятое мая, день смерти Наполеона.

Я позаботился о том, чтобы букет отправили поскорее. Было важно, чтобы он был доставлен сегодня же.

Ну, а теперь? Все уже было сделано, решительно все, и делать стало совершенно нечего. Стараниями всей семьи Аду от меня удалили, и теперь я должен был жить, ничего не предпринимая, в ожидании, когда кто-нибудь из них обо мне вспомнит и я получу возможность что-то сказать или сделать.

Я поспешил в свой кабинет, чтобы, запершись там, спокойно обо всем поразмыслить. Если бы я поддался своему болезненному нетерпению, я тут же бросился бы к ним, рискуя даже опередить свой букет. Какой-нибудь предлог всегда можно придумать. В конце концов, я мог забыть там зонтик.

Но я этого не сделал. Послав этот букет, я занял великолепную позицию, и мне следовало сохранить ее подольше. Я должен был ждать, ничего не предпринимая, – следующий шаг был за ними.

Оказавшись в своем кабинете, я наконец смог сосредоточиться, но это не принесло мне желанного облегчения. Сосредоточившись, я только яснее понял причину своего отчаяния, от которого к этому времени уже чуть не плакал. Я любил Аду! Но все-таки я не был до конца уверен, что это именно тот глагол, который в данном случае требовался, а потому продолжил свое исследование. Я хотел, чтобы она стала не просто моей, я хотел, чтобы она стала моей женой. Да, именно она, с ее мраморным лицом, изящной фигурой, с ее серьезностью, мешавшей ей понять мою душу, которую я не только не буду ей объяснять, но дано постараюсь переделать – именно она должна была научить меня жить трудовой, осмысленной жизнью. Я желал ее всю, и все, что я желал, я желал получить от нее. Все это позволило мне прийти к выводу, что глагол был выбран совершенно правильно: я любил Аду.

И тут мне показалось, что я набрел на нечто очень важное, чем мне следует впредь руководствоваться. Прочь все колебания: мне теперь было неважно – любит она меня или не любит. Теперь мне нужно было просто ее добиться, и если ею мог распорядиться Джованни, мне незачем было разговаривать с ней самой. Надо было все выяснить прямо сейчас – и либо оказаться на вершине блаженства, либо постараться обо всем забыть и поскорее залечить свою рану. Чего ради я столько мучился в ожидании? Если даже я узнаю – а это я могу узнать только от Джованни, – что Ада для меня окончательно потеряна, мне по крайней мере не придется больше бороться с временем: оно снова потечет медленно, и я перестану его подгонять. Любое окончательное решение всегда успокаивает, потому что оно как бы выхватывает нас из потока времени.

И я поспешил на поиски Джованни. Для этого мне пришлось сделать два конца. Один – к его конторе, расположенной на улице, которую до сих пор называют улицей Новых домов, как называли ее наши деды. На самом деле это дома старые и такие высокие, что на улице, проложенной почти по берегу моря, всегда темно. В этот закатный час на ней было мало народу, и я прошел ее всю очень быстро. По дороге я думал только о той фразе, с которой собирался



обратиться к Джованни, и старался сделать ее как можно короче. Может быть, достаточно просто сказать, что я решил жениться на его дочери? Мне не придется ни убеждать его, ни уговаривать. Он человек деловой и даст мне ответ сразу же, как только я изложу ему свою просьбу. Меня беспокоил только один вопрос – на языке я должен с ним говорить или на диалекте?<sup>14</sup>

Оказалось, что Джованни уже ушел из конторы в Тержестео. Я направился туда. Но уже не так спешил, потому что знал, что на бирже мне все равно придется подождать, прежде чем я получу возможность остаться с ним с глазу на глаз. Кроме того, на Виа Кавана мне пришлось замедлить шаг из-за толпы, запрудившей эту узкую улочку. И именно тогда, когда я проталкивался сквозь толпу, меня вдруг словно осенило. Я наконец с абсолютной ясностью понял то, что старался понять уже несколько часов. Мальфенти хотели, чтобы я женился на Аугусте, и не хотели, чтобы я женился на Аде, по той простой причине, что Аугуста была влюблена в меня, а Ада нисколько. То есть совершенно нисколько, потому что иначе им и в голову не пришло бы вмешиваться и разлучать нас. Хотя мне и было сказано, что я компрометирую Аугусту, на самом деле это не я, а она себя компрометировала тем, что была в меня влюблена. Я вдруг понял абсолютно все, и так ясно, словно услышал это от кого-то из них. Догадался я и о том, что Ада ничего не имела против того, чтобы меня удалили из дома. Она не любила меня и никогда не полюбит, во всяком случае до тех пор, пока меня любит ее сестра. На запруженной толпой Виа Кавана я соображал гораздо лучше, чем сидя в одиночестве в своем кабинете.

Когда я сейчас мысленно возвращаюсь к тем памятным дням, которые привели меня к женитьбе, меня поражает, что я нисколько не смягчился при мысли о том, что бедная Аугуста меня любит. Теперь, когда меня вышвырнули из дома Мальфенти, я любил Аду прямо-таки с яростью. Почему меня нисколько не утешал тот совершенно очевидный факт, что синьора Мальфенти старалась напрасно и что я все равно останусь в их доме, причем совсем рядом с Адой, то есть в сердце Аугусты? Так нет, больше того: в просьбе синьоры Мальфенти не компрометировать Аугусту, а иными словами – жениться на ней, я усматривал лишь еще одно оскорбление. К этой влюбленной в меня некрасивой девушке я испытывал то самое презрение, которое считал совершенно недопустимым, когда речь шла об отношении ко мне ее красивой сестры, которую я любил.

Я снова ускорил шаг, но вместо того, чтобы идти в Тержестео, повернул и отправился к себе домой. Мне незачем было говорить с Джованни, теперь я и сам знал, как мне следует себя вести. Я понял это вдруг с такой безнадежной ясностью, которая, изымая меня из слишком медленно текущей реки времени, невольно должна была бы внести успокоение в мою душу. Говорить с грубияном Джованни мне было даже опасно. Синьора Мальфенти высказалась

---

<sup>14</sup> В Италии, помимо литературного языка, сложившегося на основе тосканского наречия, существует в силу исторических причин множество диалектов, настолько сильно различающихся между собой, что жители одной области не понимают жителей другой. И далеко не все итальянцы владеют литературным итальянским языком – многие так и обходятся все жизнь местным диалектом.

так, что смысл ее слов дошел до меня только на Виа Кавана. Муж ее мог повести себя совершенно иначе. Он вполне мог сказать прямо, без обиняков: «Послушай, почему тебе так хочется жениться на Аде? Разве не лучше было бы для тебя, если бы ты женился на Аугусте?» Потому что в данном случае он, наверное, руководствовался бы той своей аксиомой, которую я запомнил наизусть: «Старайся как можно лучше объяснить противнику свое дело – только тогда ты сможешь быть в какой-то степени уверен, что понимаешь его лучше, чем он». Ну, а потом? Потом последовал бы полный разрыв. И только с этого момента время наконец получило бы возможность течь так, как ему угодно: у меня не было бы больше причин вмешиваться в его течение – я уже добрался бы до твердой земли.

Потом я вспомнил еще одну аксиому Джованни и решил опереться на нее, так как она вселяла в меня некоторую надежду. И я опирался на нее целых пять дней, все те пять дней, за которые моя страсть превратилась в настоящую болезнь. Джованни всегда говорил, что не следует спешить с ликвидацией дела, если эта ликвидация не несет с собой никакой выгоды: любое дело рано или поздно ликвидируется само собой, о чем свидетельствует весь ход мировой истории, на протяжении которой сумело выжить лишь очень ограниченное число начинаний. До тех пор, пока дело не ликвидировано, у него всегда есть шанс расцвести вновь.

Я не стал вспоминать о других аксиомах Джованни, утверждавших прямо противоположное; я решил опереться на эту. Должен же был я на что-то опереться! Я принял железное решение не предпринимать ничего до тех пор, пока мне не станет известно, что дело обернулось в мою пользу. И это решение нанесло мне такой урон, что, может быть, именно поэтому я уже больше никогда не оставался так долго верен данному себе обещанию.

И едва я принял это решение, как получил записку от синьоры Мальфенти. Я узнал ее почерк еще на конверте и решил сначала не без гордости, что вот, мол, стоило мне только принять свое железное решение, как она уже раскаивается и умоляет меня вернуться. Но когда я обнаружил, что письмо содержало только две буквы «*P.r.*»<sup>15</sup>, означавшие благодарность за посланные цветы, я бросился на постель и прикусил угол подушки – как будто хотел в буквальном смысле пригвоздить себя к месту, чтобы не нарушить данного себе слова. Какой безмятежной иронией дышали эти две буквы! Куда большей, чем та дата, которая была проставлена мною на визитной карточке и которая уже была выражением упрека и сообщением о принятом мною решении. «*Remember!*»<sup>16</sup> – сказал Карл I перед тем, как ему отрубили голову, и, наверное, подумал при этом, какое нынче число. Я тоже призвал свою противницу помнить и остерегаться!

Это были ужасные пять дней и пять ночей. Я наблюдал все рассветы и закаты, отмечавшие их концы и начала и приближавшие час моей свободы – тот

---

15 *Per ringraziamento* – в благодарность (*итал.* ).

16 *Помни!* (*англ.* ).

час, когда я наконец снова смогу вступить в бой за свою любовь.

И я готовился к предстоящему бою. Ведь теперь я знал, каким хочет видеть меня моя избранница! Мне легко вспомнить те обязательства, которые я взял на себя в ту пору, во-первых, потому, что незадолго я уже брал на себя очень похожие, а во-вторых, потому, что я перечислил их на листке бумаги, который храню до сих пор. Я обещал себе сделаться серьезным. В ту пору это означало, что я перестану рассказывать анекдоты, которые смешат слушателей, но бросают тень на меня, – ведь из-за этого меня полюбила некрасивая Аугуста, а избранная мною Ада стала презирать! Кроме того, я обещал себе каждый день к восьми являться в контору, в которую не заглядывал уже очень давно, и не для того, чтобы препираться с Оливи о своих правах, а для того, чтобы работать с ним бок о бок и в конце концов суметь возглавить все дело. Но к этому я должен был приступить не сейчас, а попозже, когда немного успокоюсь, так же как и курить я по плану должен был бросить чуть позже, тогда, когда снова обрету свободу, – потому что чего ради было делать еще тяжелее и без того тяжелое для меня время! Мужу Ады подобало быть полным совершенством. Поэтому среди этих обещаний было обещание заняться серьезным чтением, каждый день проводить по полчаса на спортивной площадке и по крайней мере два раза в неделю ездить верхом. В общем, мне едва хватало двадцати четырех часов!

В течение всех пяти дней этого добровольного заточения меня ни на минуту не покидала жгучая ревность. Конечно, это был героический шаг – решить исправить все свои недостатки, чтобы через несколько недель быть готовым к завоеванию Ады. Ну, а пока-то? Пока я навязываю себе все эти жесткие ограничения, разве не могут другие мужчины нашего города, которые живут себе как ни в чем не бывало, увести у меня мою избранницу? Тем более что среди них найдутся, конечно, и такие, которым не придется проделывать все эти упражнения для того, чтобы понравиться Аде. Я знал, – то есть я считал, что знаю, – что, найдя себе подходящего мужчину, Ада согласится на него сразу же, не теряя времени даже на то, чтобы влюбиться. И поэтому стоило мне в течение тех пяти дней увидеть какого-нибудь хорошо одетого, цветущего и уверенного в себе мужчину, как я сразу же начинал его ненавидеть; мне казалось, что он подходит Аде. И вообще из всего, что заполняло эти пять дней, я лучше всего запомнил ревность, которая, словно туман, опустилась тогда на мою жизнь.

Это мучительное наваждение, боязнь, что Аду уведут у меня из-под носа, было вовсе не смешно: теперь-то ведь известно, чем кончилось дело! И когда я сейчас мысленно возвращаюсь к тем мучительным пяти дням, я неизменно испытываю глубокое восхищение своим пророческим даром.

Несколько раз я прохаживался ночью под их окнами. В доме, судя по всему, продолжали веселиться точно так же, как и в ту пору, когда там бывал я. В полночь или чуть раньше в гостиной гасили огни, и я убегал, боясь, что меня заметят гости, которые должны были вот-вот выйти из дому.

Каждый час в этих пяти днях был к тому же еще отягощен нетерпеливым ожиданием. Почему обо мне никто не спрашивается? Почему не дает о себе знать

Джованни? Разве не должен он был удивиться, заметив, что меня не видно ни в Тержестео, ни у него? Значит, он тоже не возражал против того, чтобы мне отказали от дома? Частенько случалось, что я прерывал свои прогулки – неважно, было ли то днем или ночью – и бежал домой, чтобы удостовериться, что за время моего отсутствия никто не приходил. Я не мог спать, если у меня оставались какие-то сомнения на этот счет, и будил бедную Марию, чтобы учинить ей допрос. В ожидании я долгие часы просиживал дома, то есть в том месте, где при желании меня было легче всего отыскать. Но никто обо мне так и не справился, и я уверен, что, не возьми я дело в свои руки, я бы и до сих пор не был женат.

Как-то раз я отправился играть в клуб. Уже много лет я там не показывался, выполняя обещание, данное отцу. Но теперь я считал, что это обещание утратило силу, так как отец в свое время, конечно, не мог предвидеть, в каких я окажусь печальных обстоятельствах и как необходимо мне будет развлечься. Сначала мне повезло, и я выиграл, но это меня огорчило, потому что я решил, что везение в игре просто компенсирует невезение в любви. Потом я проиграл и снова огорчился, потому что понял, что в игре я такой же неудачник, как и в любви. Скоро мне все это наскучило. Игра была недостойна меня и тем более Ады. Вот каким добродетельным сделала меня любовь!

Помню, что в те дни суровая действительность потеснила даже мои любовные мечтания. Мои мечты сделались теперь совсем другими. Я мечтал не столько о любви, сколько о победе. Однажды мой сон был украшен присутствием Ады. Одета в подвенечный наряд она шла рядом со мной к алтарю. Но когда мы потом остались одни, мы и не подумали предаться любви. Теперь, когда я стал ее мужем, я наконец получил право спросить: «Как ты могла позволить, чтобы со мной обращались подобным образом?» Никакие другие права меня в ту пору не волновали.

В моей шкатулке хранятся наброски писем к Аде, Джованни и синьоре Мальфенти. Все они относятся к той поре. Синьоре Мальфенти я написал очень простое письмо, в котором прощался с ней, прежде чем отправиться в долгое путешествие. Однако я не припомню, чтобы в то время у меня было такое намерение: я не мог уехать из города, не удостоверившись окончательно, что никто ко мне не придет. Какое несчастье, если ко мне придут, а меня не окажется дома! Ни одно из этих писем не было отправлено. Я даже думаю, что и писал-то я их только для того, чтобы излить на бумагу свои чувства.

В течение многих лет я считал себя больным, но от моих болезней страдал не столько я, сколько другие. И только в то время я узнал наконец, что такое болезнь, при которой у тебя действительно что-то болит: множество неприятных физических ощущений, которые делают человека совершенно несчастным.

Началось это так. Как-то раз почти в час ночи, не в силах уснуть, я встал и отправился гулять по тихому ночному городу и гулял до тех пор, пока не забрел в какое-то окраинное кафе, где я никогда не был и где, следовательно, не мог встретить знакомых. Это обстоятельство было для меня особенно важно, потому что в кафе я собирался продолжить свою дискуссию с синьорой

Мальфенти, начатую еще в постели. Я не хотел, чтобы кто-нибудь ее прервал. Синьора Мальфенти выдвинула против меня новое обвинение. Она утверждала, что я хотел совратить ее дочерей, в то время как если бы даже я этого и хотел, то для меня речь могла бы идти только об одной Аде. Я покрывался холодным потом при мысли о том, что, может быть, сейчас в доме Мальфенти против меня выдвигаются подобные обвинения. Отсутствующий всегда неправ, и они могли воспользоваться моим отсутствием, чтобы нанести мне удар объединенными силами. В ярком свете кафе мне было легче защищаться от обвинений. Время от времени я пытался дотронуться своей ногой до ножки Ады, и однажды мне даже показалось, что мне это удалось, причем она нисколько против этого не возражала. Правда, потом оказалось, что я наступил на ножку стола, который, конечно, и не мог возражать.

Потом я притворился перед самим собой, что меня заинтересовала игра на бильярде, и в это время какой-то синьор с костылем подошел и сел рядом со мной. Он заказал сок, и так как официант не уходил в ожидании и моих распоряжений, я тоже заказал лимонный сок, хотя не выношу вкус лимона. В этот момент костыль, прислоненный к дивану, на котором мы сидели, соскользнул на пол, и я инстинктивным движением нагнулся, чтобы его поднять.

– Э, да это Дзено! – воскликнул хромой, узнав меня в тот момент, когда собирался произнести благодарность.

– Туллио! – удивленно воскликнул и я и протянул ему руку. Мы с ним учились в одной школе, а потом я много лет его не видел. Я слышал, что, окончив школу, он поступил в банк, где занимает теперь хорошее место.

Я был так рассеян, что спросил у него прямо в упор, как это случилось, что правая нога сделалась у него настолько короче левой, что ему понадобился костыль.

Нисколько не рассердившись, он рассказал мне, что полгода назад заболел ревматизмом, который в конце концов вот так искалечил ему ногу.

Я поспешил дать ему ряд медицинских советов. Это лучший способ без особых усилий проявить к собеседнику живое участие. Но оказалось, что он уже все испробовал. Тогда я сделал ему замечание:

– А почему ты в такой час еще не в постели? По-моему, при твоей болезни вредно бывать ночью на воздухе.

Туллио добродушно пошутил: он считает, что и мне ночной воздух вряд ли полезен, потому что даже если у человека и нет ревматизма, то до тех пор, пока он жив, он всегда имеет шанс им обзавестись. Право ложиться спать после полуночи было провозглашено даже в австрийской конституции! Ну, а потом, вопреки общераспространенному мнению, ни жара, ни холод с ревматизмом никак не связаны. Он тщательно изучил свою болезнь; больше того – он только тем и занят, что выясняет ее происхождение и способы ее излечения. И длительный отпуск, который позволил бы ему по-настоящему углубиться в это исследование, ему сейчас нужнее любого лекарства. Потом он рассказал мне о том, каким странным способом он лечится. Каждый день он съедает огромное количество лимонов. Сегодня, например, он проглотил тридцать штук и

рассчитывает путем ежедневных упражнений добиться еще более значительных результатов. Он поведал мне, что, по его мнению, лимоны хороши и при других болезнях. С тех пор как он их употребляет, он стал гораздо меньше страдать от чрезмерного курения, которому был подвержен так же, как и я.

Я содрогнулся, представив себе столько кислоты зараз, но потом передо мной вдруг возникла картина вполне приемлемой жизни: я не люблю лимоны, но если бы, употребляя их, я стал бы волен делать то, что хочу и то, что должен, без всякого для себя ущерба и не обрекая себя ни на какие другие лишения, я согласился бы глотать их в таком же количестве. Потому что это и есть полная свобода: иметь возможность делать то, что хочется, с условием делать также и то, что тебе уже менее приятно. Настоящий раб – это тот, кто приговорен к полному воздержанию: Тантал, а не Геракл.

Потом Туллио тоже сделал вид, будто его интересует моя жизнь. Я твердо решил не рассказывать ему о своей несчастной любви, но мне было просто необходимо облегчить душу. И я принялся рисовать перед ним свои недуги в столь преувеличенном виде (перечисляя, я зафиксировал их сам для себя и лишней раз понял, насколько они несерьезны), что у меня на глазах выступили слезы, а Туллио слушал все внимательнее, и ему явно делалось лучше по мере того, как он убеждался, что я болен серьезнее, чем он.

Он спросил, работаю я или нет. Весь город говорил о том, что я бездельничаю, и я боялся, что он мне позавидует, тогда как я в эту минуту настоятельно нуждался в том, чтобы мне посочувствовали. И я солгал. Я сказал ему, что держу контору и работаю не так чтобы очень много – часов по шесть в день, а кроме того, еще шесть часов отнимают у меня запутанные дела, которые достались мне по наследству от родителей...

– Двенадцать часов! – заметил Туллио с довольной улыбкой и одарил меня тем, чего я больше всего желал – своим сочувствием: – Да уж, тебе не позавидуешь!

Этот вывод попал в самую точку, и я с трудом удержался, чтобы не заплакать. Я почувствовал себя несчастнее, чем когда-либо, и в этом размягченном состоянии, в которое меня повергла жалость к самому себе, сделался ужасно уязвимым.

Туллио снова заговорил о своей болезни, которая была, по-видимому, его единственным развлечением. Оказывается, он изучил строение ноги и стопы. Смеясь, он рассказал мне, что когда человек идет быстрым шагом, то время, за которое он делает один шаг, не превышает половины секунды. И за эти полсекунды приходят в движение не более и не менее как пятьдесят четыре мускула! Пораженный, я тут же обратился мыслью к своим ногам, пытаюсь обнаружить там весь этот чудовищный механизм. И мне показалось, что я его обнаружил. Разумеется, не каждый из пятидесяти четырех мускулов в отдельности, а некую сложную совокупность деталей, порядок, который нарушился, едва я обратил на него свое внимание.

Я вышел из кафе хромя и хромал несколько дней. Хождение стало для меня тяжелой работой и даже причиняло мне легкую боль. Казалось, что этот сложный узел, образованный множеством сцеплений, был плохо смазан и

отдельные его части то и дело выходили из строя. Несколько дней спустя я был поражен другой, более серьезной болезнью, о которой я еще расскажу – и эта новая болезнь несколько ослабила первую. Но еще и сейчас, когда я пишу эти строки, стоит кому-нибудь посмотреть на меня в то время, когда я иду, как последовательность пятидесяти четырех движений нарушается, и мне стоит большого труда удержаться на ногах.

И этой болезнью я тоже обязан Аде. Животные часто становятся жертвами охотников или других животных в пору любви. Вот и я тогда стал жертвой болезни, а случись мне узнать о чудовищном механизме в другое время, ничего подобного бы не произошло.

Несколько строчек на листе бумаги, сохранившемся у меня с той поры, напоминают о другом странном происшествии, случившемся в те дни. Рядом с записью о последней сигарете и заметкой, выражающей мою веру в то, что мне удастся излечиться от болезни пятидесяти четырех движений, я нахожу набросок стихотворения о... мухе. Если бы я не знал с достоверностью, что эти вирши сочинил я, то мог бы подумать, что они принадлежат перу какой-нибудь благовоспитанной барышни, обращающейся на ты к воспеваемым ею насекомым. И раз уж даже со мной случилось такое, это означает, что каждого из нас может занести куда угодно.

Вот как родились эти стихи. Я вернулся домой поздно ночью и, вместо того чтобы лечь спать, отправился в кабинет и зажег газовую лампу. На свет прилетела муха и долго мне докучала. Я прихлопнул ее легким ударом, стараясь не запачкать руки, и уже совсем о ней позабыл, но потом вдруг увидел ее посреди стола – она медленно приходила в себя. Оцепеневшая и напряженная, она казалась выше ростом, чем была раньше, потому что одна лапка у нее одеревенела и не гнулась. Двумя задними лапками она старательно разглаживала крылья. Потом попыталась взлететь, но опрокинулась на спину. Перевернувшись, она упрямо и старательно принялась за прежнее. Тогда-то я и написал эти стихи, пораженный тем, что этот крохотный, испытывающий такую боль организм, делая свои сверхъестественные усилия, руководствовался при этом двумя совершенно ошибочными посылками. Во-первых, судя по тому, как упорно муха разглаживала крылья, которые вовсе не были повреждены, она просто не знала, что именно у нее болит. Во-вторых, упорство, с которым она все это проделывала, свидетельствовало о живущей в ее крохотном мозгу непоколебимой вере в то, что здоровье принадлежит нам неотъемлемо и что даже если оно нас покинуло, оно неминуемо к нам вернется. Ошибка, вполне простительная насекомому, которое живет один только сезон и не успевает приобрести опыта.

Но настало наконец воскресенье. Это был пятый день с тех пор, как я последний раз был у Мальфенти. Несмотря на то, что я почти никогда не работал, я всегда очень почитал этот праздник, который делит жизнь на короткие отрезки, делая ее тем самым более сносной. Но тот праздничный день завершал и мою многотрудную неделю, и мне полагалось за это хоть какое-нибудь удовольствие. Я вовсе не хотел переменять что-либо в своих планах, но так как на этот праздничный день они не распространялись, я решил

повидать Аду. Я не собирался нарушить свои обязательства ни единым словом, я просто должен был ее увидеть. Ведь не исключена возможность, что за это время произошло какое-нибудь событие, обернувшее дело в мою пользу, а в таком случае чего ради мне тогда мучиться и дальше?

Поэтому ровно в полдень с той быстротой, на какую были способны мои бедные ноги, я поспешил в город, на ту улицу, по которой должны были пройти, возвращаясь с мессы, синьора Мальфенти и ее дочери. Этот праздничный день был к тому же и солнечным, и в пути я думал о том, что впереди меня, может быть, ожидает желанное известие: Ада меня любит!

Это было не так, но в течение некоторого времени мне удавалось сохранить эту иллюзию. Судьба благоприятствовала мне невероятно. Я столкнулся с Адой лицом к лицу, и она была одна. Я едва устоял на ногах, и у меня перехватило дыхание. Что делать? Принятое мною решение требовало, чтобы я посторонился и, спокойно с ней поздоровавшись, продолжал свой путь. Но в голове у меня царил сумятица, потому что до этого я принимал совсем другие решения, в числе которых – я помнил это совершенно точно – было решение поговорить с Адой абсолютно откровенно и выслушать свой приговор из ее уст. И я не посторонился и не продолжил свой путь, а наоборот, едва она со мной поздоровалась – так, словно мы расстались пять минут назад, – пошел с нею рядом.

Она сказала:

– Здравствуйте, синьор Козини. Я тороплюсь.

А я ответил:

– Вы позволите мне немного вас проводить?

Улыбнувшись, она разрешила. Значит, теперь я должен был приступить к объяснению? Она заметила, что идет прямо домой, и из этого я сделал вывод, что в моем распоряжении всего пять минут, да и те я частично уже потратил, высчитывая, хватит ли этого времени на то, чтобы высказать столь важные вещи. Лучше уж совсем ничего не сказать, чем сказать не все! Смущало меня и то, что в те времена в нашем городе девушка компрометировала себя, даже если просто шла по улице в обществе молодого человека. Но она мне это позволила! Так, может быть, мне следовало этим удовольствоваться? Раздумывая обо всем этом, я смотрел на нее и старался вновь почувствовать во всей полноте свою любовь, замутненную сомнениями и гневом. Вернутся ли ко мне по крайней мере мои прежние мечты? Ада с ее стройной фигурой казалась одновременно и маленькой и высокой. И мечты хлынули лавиной прямо тут, когда она была еще рядом со мной во всей своей реальности. Таков был мой способ ее желать, и я вернулся к нему с живейшей радостью. Из моего сердца изгладились последние следы обиды и гнева. Но тут нас нерешительно окликнули сзади:

– Простите, пожалуйста, синьорина...

Я, негодуя, обернулся. Кто осмелился прервать объяснение, к которому я даже еще не приступил? Какой-то молодой человек, бледный, смуглый, безбородый, смотрел на Аду выжидающим взглядом. Я тоже взглянул на Аду в безумной надежде, что она призовет меня на помощь. Один только ее знак, и я бы накинулся на этого типа, требуя, чтобы он объяснил свой наглый поступок.



А если бы он заупрямился – еще лучше. Все мои болезни как рукой бы сняло, получи я разрядку в грубом физическом насилии.

Но Ада не сделала мне никакого знака. С невольной улыбкой, которая не только изменила линию ее щек и рта, но и осветила все лицо, она протянула ему руку.

– Синьор Гуидо!

Это обращение по имени больно ранило мой слух. Всего несколько минут назад, обращаясь ко мне, она назвала меня по фамилии.

Я взглянул на него повнимательнее, на этого синьора Гуидо. Он был одет с манерной элегантностью, и в правой руке, затянутой в перчатку, держал длиннейшую трость с набалдашником из слоновой кости. Я бы не согласился ходить с такою, даже если бы мне платили за каждый километр! И я несколько не устыдился того, что заподозрил с его стороны угрозу Аде. Есть весьма подозрительные типы, которые одеваются столь же элегантно и даже ходят с такими же тростями.

Улыбка Ады вернула меня в область обычных светских отношений. Ада представила нас друг другу. И я тоже улыбнулся. Улыбка Ады была словно рябь, подергивающая прозрачные воды при дуновении легкого ветерка. Моя тоже напоминала нечто подобное, только в моем случае воды пришли в движение не от ветра, а от брошенного в них камня.

Его звали Гуидо Шпейер. Моя улыбка сразу сделалась более естественной, ибо мне тут же представлялся случай сказать ему нечто неприятное.

– Так вы, значит, немец?

Он любезно ответил, что действительно такое имя может навести на мысль, что он немец. Но из семейных документов явствует, что они итальянцы уже в течение нескольких веков. Он прекрасно говорил по-тоскански, в то время как мы с Адой принуждены были довольствоваться нашим жалким диалектом.

Я смотрел на него, чтобы лучше слышать, что он говорит. Он был очень хорош собой: чуть приоткрытый рот позволял разглядеть великолепные белые зубы, взгляд у него был живой и выразительный, а когда он снял шляпу, стало видно, что его каштановые, слегка вьющиеся волосы покрывают все пространство, отпущенное им матерью-природой, в то время как большую часть моей головы занимал лоб.

Я возненавидел бы его, даже если бы здесь не было Ады, но эта ненависть причиняла мне боль, и я попытался ее унять. Я подумал: «Он слишком молод для Ады». И еще подумал, что, может быть, она с ним так проста и любезна только потому, что это ей приказал отец. Может быть, от него зависит какое-нибудь важное для Мальфенти дело, а у меня сложилось впечатление, что в подобных случаях Джованни призывал на помощь всю семью. Я спросил его:

– Вы живете в Триесте?

Он ответил, что он тут уже месяц и собирается открыть здесь дело. Я вздохнул с облегчением. Кажется, я угадал!

Я шел хромя, но вполне непринужденно, потому что моей хромоты никто не замечал. Я смотрел на Аду и старался забыть обо всем остальном, в том числе и о том, кто шел с нами рядом. В сущности, я принадлежу к людям,

которые живут настоящим и о будущем вспоминают только тогда, когда оно начинает отбрасывать в настоящее слишком уж заметные тени. Ада шла между нами, и на лице ее застыло банально-радостное выражение, почти переходившее в улыбку. Это выражение мне показалось новым. Кому она улыбалась? Может быть, мне, которого она не видела столько времени?

Я прислушался к их разговору. Речь шла о спиритизме, и я понял, что Гуидо ввел в дом Мальфенти вертящийся столик.

Я горел желанием убедиться, что нежная улыбка, бродившая на устах Ады, предназначалась мне, а потому вмешался в разговор, сочинив на ходу историю про духов. Ни один поэт, сочиняющий стихи на заданную рифму, не мог бы со мной соперничать. Не имея никакого понятия о том, чем я кончу, я начал с того, что тоже стал верить в духов, с тех пор как вчера на этой самой улице – нет, не на этой, а на параллельной, мимо которой мы сейчас проходили – со мной произошла одна история. Потом я сказал, что Ада, наверное, знала профессора Бертини, который, выйдя на пенсию, переехал во Флоренцию и недавно там умер. О его смерти было короткое сообщение в местной газете, но я об этом как-то забыл и, думая о профессоре Бертини, всегда считал, что он продолжает прогуливаться по Кашинам, наслаждаясь заслуженным отдыхом. И вот не далее как вчера на улице, параллельной той, по которой мы сейчас шли – и я даже точно указал место – ко мне подошел какой-то господин, который меня знал и которого – я в этом был уверен – я знал тоже. При ходьбе он забавно вилял бедрами: так ходят женщины, когда торопятся.

– Верно! Совсем как Бертини! – смеясь, сказала Ада.

Ее смех принадлежал мне, и, воодушевленный, я продолжал:

– Я точно знал, что знаком с ним, но никак не мог вспомнить, кто он такой. Мы поговорили о политике. Судя по тому, что он наговорил мне кучу глупостей своим характерным блеющим голосом, это был Бертини.

– Да, да, это его голос! – снова засмеялась Ада и взглянула на меня, с нетерпением ожидая, чем все это кончится.

– В том-то и дело! Судя по всему, это должен был быть Бертини, – сказал я и мастерски изобразил ужас, ибо во мне погиб великий актер. – Прощаясь, он пожал мне руку и ушел, все так же виляя бедрами. Я пошел было за ним, пытаюсь все-таки вспомнить, кто это такой, и только когда он исчез из виду, понял, что говорил с Бертини. С Бертини, который уже год как умер!

Через несколько минут Ада остановилась у подъезда своего дома. Пожав Гуидо руку, она сказала, что ждет его нынче вечером. Потом, прощаясь со мной, она добавила, что если я не боюсь соскучиться, я тоже могу прийти к ним сегодня вечером повертеть стол.

Я ничего не ответил и даже не поблагодарил. Мне нужно было обдумать это приглашение, прежде чем его принять. Мне показалось, что оно прозвучало как вынужденная любезность. Вот и кончился мой праздник: конец ему положила эта встреча. Но я решил держаться как можно любезнее, чтобы оставить для себя открытыми все возможности – в том числе и возможность принять это приглашение. Я спросил Аду, где сейчас Джованни: мне нужно было с ним поговорить. Она ответила, что, наверное, я застаю его в конторе,

куда он отправился по какому-то срочному делу.

Мы с Гуидо некоторое время постояли, глядя вслед стройной фигурке, исчезнувшей в темном подъезде. Не знаю, что думал в эту минуту Гуидо. Что касается меня, то я чувствовал себя несчастнейшим человеком: почему она не пригласила сначала меня, а уже потом Гуидо?

Мы вернулись тем же путем, каким шли, на то самое место, где мы встретились с Адой. Гуидо, любезный и непринужденный (именно непринужденности я всего больше завидую в людях), говорил о выдуманной мною истории, которую он принял всерьез. Подлинного же в этой истории было только одно: в Триесте, уже после смерти Бертини, жил один человек, который вечно говорил глупости, имел странный голос, и походка у него была такая, что, казалось, он идет на цыпочках. Как раз на днях я с ним познакомился, и на мгновение он напомнил мне Бертини. Но я вовсе не возражал, чтобы Гуидо хорошенько поломал себе голову, пытаясь разобраться в этой моей выдумке. Хотя было уже решено, что я не должен его ненавидеть, так как для Мальфенти он был только коммерсантом, с которым важно поддерживать знакомство, все равно он раздражал меня этой своей тростью и манерной элегантностью. Причем раздражал настолько, что я просто не чаял, как от него избавиться. Тут до моего слуха дошло, что он уже формулирует выводы:

– Человек, о котором вы рассказали, мог быть куда моложе Бертини, иметь осанку гренадера и мужественный голос, и сходство его с Бертини могло ограничиваться только тем, что он тоже говорил глупости. Но даже этого было достаточно, чтобы ваша мысль сосредоточилась на Бертини. Однако, чтобы принять эту версию, следует предположить, что вы очень рассеяны.

Я не поддержал Гуидо в его попытке объяснить эту историю.

– Кто – я рассеянный? Что за странная мысль! Я человек деловой, и что бы со мной стало, если бы я был рассеянным!

Потом я подумал, что попусту теряю время. Я ведь еще хотел увидеть Джованни. Раз уж я видел дочь, отца-то я мог повидать – это уже не так важно. Мне следовало поторопиться, если я хотел застать его в конторе.

Гуидо тем временем продолжал толковать о том, какую часть чуда следует относить за счет невнимательности того, кто его творит, и какую – за счет того, кто при этом присутствует. Но я уже решил с ним расстаться, причем проделать это с той же непринужденностью, которая отличала его самого. В результате я прервал его рассуждения с поспешностью, которая граничила с грубостью.

– Для меня чудо и существует и не существует. Не нужно все так усложнять. Нужно либо верить, либо не верить – и в том и другом случае все объясняется чрезвычайно просто.

Я вовсе не хотел, чтобы он заметил мою неприязнь, более того – уже этими словами я делал ему уступку, если учесть, что я убежденный позитивист и ни в какие чудеса не верю. Но то была уступка сквозь зубы.

И я ушел, хромя сильнее, чем раньше, и сильно надеясь, что Гуидо не будет смотреть мне вслед.

Теперь уже было просто необходимо поговорить с Джованни. Это помогло бы мне понять, как мне следует себя вести сегодня вечером. Я был приглашен

Адой и по тому, как будет держаться Джованни, должен был догадаться, принять ли мне это приглашение, или, наоборот, вспомнить о том, что оно противоречит ясно выраженной воле синьоры Мальфенти. Мне нужна была ясность в отношениях со всеми ними, и если для того, чтобы ее добиться, мне не хватит воскресенья, я не пожалею и понедельника. Одно за другим я продолжал нарушать данные самому себе обещания и не замечал этого. Больше того – мне казалось, что я строго следую решению, принятому после пятидневных размышлений. Именно этим словом обозначил я то, чем занимался все эти пять дней.

Джованни встретил меня сердечным приветствием, которое он проорал во весь голос и от которого мне сразу стало легче, и указал на кресло, стоявшее у стены, напротив его стола.

– Всего пять минут, и я в вашем распоряжении! – И сразу же вслед за этим: – Вы что, никак хромаете?

Я покраснел! Но сегодня я был в ударе по части импровизаций. Я сказал, что поскользнулся, выходя из кафе, и описал ему то самое кафе, где со мной действительно произошло это несчастье. Но тут же испугался, что он может приписать мое падение действию винных паров, и добавил еще одну деталь: в тот вечер, когда я упал, я находился в обществе человека, который сам хромал, так как страдал ревматизмом.

У стола Джованни стояли в ожидании его распоряжений служащий и двое грузчиков. Видимо, произошла какая-то путаница с накладными, и Джованни пришлось вмешаться в работу своего склада, что он делал чрезвычайно редко. Как он говорил, он хотел, чтобы голова его была свободна для дел, которые кроме него не может сделать никто. Он кричал сегодня громче обычного, как будто желал, чтобы его распоряжения навечно остались звучать в ушах его подчиненных. Речь, кажется, шла о форме, в которой должны были осуществляться отношения между конторой и складом.

– Эту бумагу, – орал Джованни, перекладывая из правой руки в левую листок, который он вырвал из какой-то книги, – должен подписать ты, а служащий, который ее получит, даст тебе взамен такую же, но уже со своей подписью!

Некоторое время он изучал лица своих подчиненных то сквозь очки, то поверх них и наконец снова заорал:

– Поняли или нет?

И он собрался начать все сызнова, но мне показалось, что я теряю слишком много времени. У меня было странное ощущение, что если я потороплюсь, мне будет легче выиграть битву за Аду, хотя некоторое время спустя я с удивлением обнаружил, что никто, собственно, меня не ждет, и я никого не жду и что делать мне совершенно нечего. Я подошел к Джованни и протянул ему руку:

– Сегодня я буду у вас.

Он сразу же повернулся ко мне, а трое подчиненных отошли в сторону.

– А что это вас так долго не было видно? – просто спросил он.

И тут меня вдруг удивила и смутила одна вещь: а ведь именно этого вопроса мне так и не задала Ада, хотя я имел на него полное право! И если б мы

были сейчас одни, я бы прямо здесь рассказал Джованни абсолютно все без утайки, ибо, задав мне этот вопрос, он доказал свою полную непричастность к тому, что я считал направленным против меня заговором. Только он один и был к нему непричастен, а потому заслуживал моего доверия.

Правда, тогда я, наверное, мыслил не с такой отчетливостью, раз уж у меня не хватило терпения дождаться, пока уйдут его служащие. Ну, а кроме того, я желал сначала обдумать: может быть, задать этот вопрос помешало Аде неожиданное появление Гуидо?

Да и сам Джованни не позволил мне сказать и слова, дав понять, что торопится вернуться к делам.

– Ну ладно, увидимся вечером. Вы услышите сегодня такого скрипача, какого вам еще никогда не доводилось слышать. Он выступает как любитель только потому, что у него денег куры не клюют и он считает зазорным делать из скрипки профессию. Вместо этого он собирается заняться торговлей. – И Джованни презрительно пожал плечами. – Вам известно, как я люблю свое дело, но на его месте я все-таки не торговал бы ничем, кроме музыки. Не знаю, знакомы ли вы. Некий Гуидо Шпейер.

– Ах вот как? В самом деле? – сказал я, изо всех сил изображая приятное удивление, то есть покачивая головой, широко раскрывая рот и вообще делая все, что я был в силах заставить себя сделать. Так, значит, этот малый еще и играет на скрипке!

– В самом деле? Такой прекрасный музыкант? – Я еще надеялся, что Джованни пошутил и что этими преувеличенными похвалами он просто хотел сказать, что пиликанье Гуидо никуда не годится. Но Джованни потряс головой все с тем же восхищением.

Я пожал ему руку:

– До свидания!

Хромая, я направился к двери. Уже у порога я остановился, меня охватило сомнение: может, лучше мне все-таки не принимать этого приглашения? В таком случае мне следует предупредить Джованни. И я уже было повернул обратно, но тут заметил, что он пристально смотрит мне вслед и даже подался вперед, чтобы лучше видеть. Этого я не выдержал и тут же ушел.

Так, значит, скрипач! Если он и вправду такой замечательный музыкант, то я мог попросту поставить на себе крест. Если б я хоть не умел играть на этом инструменте или по крайней мере не играл бы на нем в доме Мальфенти! Я приносил к ним скрипку вовсе не для того, чтобы завоевать своей музыкой их сердца: мне просто нужен был какой-то предлог для того, чтобы сидеть там подольше. Какой же я дурак! Как будто нельзя было найти другой предлог, менее компрометирующий!

Никто не может сказать, что я строю насчет себя в этом отношении какие-то иллюзии. Я знаю, что тонко чувствую музыку, и когда выбираю самые трудные произведения, я делаю это вовсе не из манерничанья. Однако именно мое тонкое музыкальное чутье и подсказывает мне – и всегда подсказывало, – что я никогда не буду играть так, чтобы это доставляло удовольствие моим слушателям. И если я продолжаю играть до сих пор, то я делаю это по той же

причине, по которой до сих пор продолжаю лечиться. Я мог бы стать хорошим музыкантом, если бы не болезнь, и когда я стараюсь сохранить равновесие на четырех струнах своей скрипки, я, в сущности, просто добиваюсь здоровья. Весь мой организм поражен каким-то легким параличом, который проявляется особенно ясно – а следовательно, делается наиболее легко излечимым, – когда я играю на скрипке. Даже самое неразвитое создание, если только растолковать ему, что такое триоли, кадриоли и сестоли, сумеет переходить от одних к другим с той же ритмической точностью, с какой его глаз переходит от цвета к цвету. Мне же стоит только исполнить одну из этих фигур, как она словно прилипает к моему смычку и я уже не могу от нее избавиться: она лезет в соседние фигуры, искажая их до неузнаваемости, и, чтобы расставить ноты по своим местам, мне приходится отбивать такт ногами или головой, но тогда – прощай непринужденность, прощай уверенность, прощай музыка. Музыка, рождающаяся под смычком человека уравновешенного, сама задает себе темп, которому она следует.

Когда я сумею играть так, это будет значить, что я выздоровел.

Тут мне впервые пришла в голову мысль покинуть поле боя, то есть бросить Триест, уехать куда-нибудь и постараться все забыть. Надеяться больше было не на что. Аду я потерял – в этом не было никаких сомнений. Ведь я знал, что мужчину, за которого она решит выйти замуж, она будет рассматривать и оценивать с такой же тщательностью, как если бы она присуждала ему академическую степень. Это было немножко смешно, потому что, казалось бы, у людей выбор супруга должен меньше всего зависеть от того, как он играет на скрипке. Но это ничего не меняло. Я понимал, какое значение будет иметь здесь музыка. Именно она и решит все, как это бывает у певчих птиц.

Я укрылся в своем кабинете, в то время как для всех других продолжался праздничный день. Вынув из футляра скрипку, я взглянул на нее в нерешительности, не зная, то ли сыграть что-нибудь, то ли швырнуть ее об пол. Словно прощаясь, я сначала коснулся смычком ее струн, а кончилось тем, что я вновь принялся разучивать неизменного Крейцера. Мой смычок проделал в этой комнатке уже столько километров, что стоило мне замешкаться, как он сам машинально принялся отсчитывать новые.

Всякий, кто жертвовал своим временем этим проклятым четверем струнам, знает, что до тех пор, пока ты слушаешь себя один, ты искренно веришь, что каждое, даже самое маленькое, твое усилие приносит в игру соответствующее улучшение. Иначе кто бы согласился терпеть эту пожизненную каторгу; ну если б ты хоть убил кого-то – тогда еще другое дело. И поэтому очень скоро мне стало казаться, что моя битва с Гуидо еще не совсем проиграна. Кто знает, может быть, моей скрипке еще удастся с триумфом вклиниться между ним и Адой!

И это было не самомнение, а обычный оптимизм, от которого я никогда не мог избавиться. Всякий раз, когда мне грозят несчастья, я сначала падаю духом, а потом совершенно о них забываю – настолько я уверен, что сумею их избежать. К тому же здесь и нужно-то было только чуть-чуть изменить к лучшему мое мнение о себе как о скрипаче! Известно, что в области искусства

прийти к какому-то мнению можно лишь в результате сравнения, а как раз сравнивать я пока и не мог. А кроме того, собственная скрипка звучит так близко, что она легко находит путь к нашему сердцу. В общем, когда я, утомившись, отложил скрипку, я сказал себе:

– Молодец, Дзено! Ты заработал свой хлеб!

И, не колеблясь, отправился к Мальфенти. Поскольку приглашение было мною принято, я теперь просто не мог не явиться. Мне показалось добрым предзнаменованием то, что горничная встретила меня любезной улыбкой и спросила, уж не был ли я болен, что меня так долго не было видно. Я дал ей на чай. Ведь ее устами все семейство, которое она представляла, задавало мне тот же вопрос.

Она ввела меня в гостиную, погруженную в полную тьму. Попад туда сразу после ярко освещенной передней, я на мгновение ослеп и боялся двинуться с места. Потом в глубине комнаты довольно далеко от себя я разглядел несколько фигур, сидевших вокруг стола.

Меня приветствовал голос Ады, которому темнота придавала какой-то чувственный оттенок. Он был такой ласковый, улыбающийся:

– Садитесь прямо там и не мешайте духам!

Если б она и дальше продолжала в том же тоне, я бы, конечно, и не подумал им мешать.

Издали, с другого конца стола, донесся другой голос – не то Аугусты, не то Альберты:

– Если хотите принять участие, то здесь есть свободное местечко.

Я твердо решил, что не позволю отеснить себя в сторону, и решительно направился к тому месту, откуда донесся до меня голос Ады. По дороге я ударился коленом об угол венецианского столика, который весь словно состоял из углов. Меня пронзила острая боль, но я не остановился и, добравшись до места, упал на подставленный кем-то стул. Выяснилось, что я сел между двумя девушками, причем мне казалось, что справа от меня сидит Ада, а слева Аугуста. Чтобы избежать всякого контакта с последней, я сразу же повернулся к Аде. Однако у меня не было уверенности в том, что я не ошибся, и, желая услышать голос своей соседки, я спросил:

– Ну что, сказали уже духи что-нибудь или нет?

Меня перебил Гуидо, сидевший, как мне показалось, как раз напротив меня. Сначала он повелительно воскликнул:

– Тише!

Потом уже более спокойно:

– Сосредоточьтесь и напряженно думайте об усопшем, дух которого вы хотели бы вызвать.

Я не имел ничего против подобных попыток заглянуть в потусторонний мир. Я даже досадовал на себя за то, что это не я ввел в дом Мальфенти вертящийся стол, который, судя по всему, имел у них большой успех. Но я не желал повиноваться приказаниям Гуидо, а потому даже и не подумал сосредоточиться. Кроме того, я так корил себя за то, что ни разу не поговорил с Адой напрямик и позволил событиям принять такой оборот, что теперь,

оказавшись с нею рядом, да еще под благоприятствующим мне покровом темноты, я решил наконец внести в наши отношения ясность. Сейчас меня удерживало только то, что мне было ужасно приятно ощущать ее так близко от себя после того, как я уже думал, что потерял ее навсегда. Я чувствовал мягкость и теплоту тканей, касавшихся моей одежды, и подумал даже, что в такой тесноте моя нога могла бы коснуться ее ножки, которая, как я знал, по вечерам была обута в лаковую туфельку. Это и в самом деле было даже слишком после столь долгих мучений!

Снова раздался голос Гуидо:

– Пожалуйста, сосредоточьтесь. А теперь просите, чтобы заклинаемый вами дух дал о себе знать движением стола.

Меня устраивало, что он продолжает заниматься одним только столиком. К тому же стало очевидно, что Ада безропотно сносила тяжесть моей ноги. Если бы она меня не любила, вряд ли она бы это вытерпела. Наступил решающий момент. Убрав со стола правую руку, я тихонько обнял ее за талию.

– Я люблю вас, Ада, – шепнул я и придвинулся к ней вплотную, чтобы лучше расслышать ответ.

Сначала она ничего не ответила. Потом еле слышно, но так, что я все-таки сообразил, что это Аугуста, она сказала:

– А почему вас так долго не было?

От удивления и досады я чуть не упал со стула. Но тут же понял, что если хочу наконец устранить со своего пути эту неотвязчивую девицу, я должен оказывать ей уважение, которое джентльмен вроде меня оказывает всякой любящей его женщине, пусть даже она будет самым некрасивым созданием на свете. Как она меня любила! Я чувствовал ее любовь даже сквозь свое страдание. Только любовь могла подсказать ей не открывать мне сразу, что она не Ада, а задать вместо этого вопрос, которого я тщетно ждал от Ады и который сама она, конечно, приготовилась задать мне сразу же, едва меня увидела.

Следуя какому-то инстинктивному чувству, я ничего не ответил, и после мгновения нерешительности сказал:

– Хорошо хоть, что я открылся именно вам, Аугуста. Я ведь знаю, как вы добры.

Потом я вновь обрел равновесие на своем треножнике. Пусть я не выяснил отношений с Адой, но зато это мне в полной мере удалось с Аугустой! По крайней мере тут уже не может возникнуть никаких недоразумений.

Гуидо снова сделал нам замечание:

– Если вы не желаете помолчать, то не к чему попусту терять время, сидя в темноте.

Он не знал, что пока мне еще нужна была темнота: она скрывала меня от присутствующих и давала возможность сосредоточиться. После того, как я обнаружил свою ошибку, единственный вид равновесия, который мне удалось обрести, – это равновесие на стуле.

Я еще поговорю с Адой, но тогда, когда зажгут свет. У меня было подозрение, что слева от меня сидит не она, а Альберта. Как бы это уточнить? Это сомнение чуть было не опрокинуло меня влево, и, чтобы удержать



равновесие, я оперся на столик. И тут все закричали: «Он движется! Он движется!» Так благодаря своему нечаянному жесту я получил возможность выяснить желаемое. Откуда доносился голос Ады? Но опять всех заглушил голос Гуидо, требовавшего от нас молчания, к которому я с удовольствием принудил бы его самого. Придав своему голосу умоляющую (о, идиот!) интонацию, он обратился к духу, который, как он полагал, присутствовал среди нас:

– Прошу тебя, скажи нам свое имя, пользуясь при этом буквами нашего алфавита.

Гуидо предусмотрел все: он боялся, как бы дух не заговорил по-гречески.

Я решил продолжать начатую комедию, а сам тем временем вглядывался в темноту, пытаюсь разыскать Аду. Мгновение поколебавшись, я приподнял столик четыре раза, так что получилась буква «г». Эта мысль мне так понравилась, что несмотря на то, что для буквы «у» мне пришлось приподнять столик бесчисленное количество раз, я тем не менее без запинки продиктовал все имя Гуидо. Боюсь, что выбрать это имя заставило меня желание отправить его самого к привидениям.

Когда имя Гуидо сложилось полностью, раздался наконец голос Ады.

– Может быть, это кто-нибудь из ваших предков? – высказала она предположение. Она сидела рядом с ним! Мне захотелось так тряхнуть столик, чтобы он вклинился между ними и отделил их друг от друга.

– Может быть, – сказал Гуидо. Оказывается, он к тому же еще и верил в духов, но теперь он был мне не страшен. Его голос был искажен неподдельным волнением, и я проникся радостью, которую чувствует фехтовальщик, заметив, что противник его не так опасен, как он полагал. Так, значит, все эти опыты он проделывал совершенно серьезно! Так он и в самом деле дурак! Обычно я сочувственно отношусь к людским слабостям, но слабостям Гуидо я сочувствовать не мог.

Он снова обратился к духу:

– Если тебя зовут Шпейер – стукни один раз. Если нет – два раза.

Так как ему непременно хотелось иметь предков, я доставил ему это удовольствие, стукнув один раз.

– Мой дед! – прошептал Гуидо.

Затем беседа с духом потекла совсем гладко. Его спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать. Он ответил, что да, хочет. Касается ли это деловых вопросов или чего-нибудь еще? Деловых вопросов. Этот ответ я предпочел только потому, что для него нужно было стукнуть столом всего один раз. Потом Гуидо спросил, хорошие это новости или плохие. И хотя плохие должны были быть обозначены двумя ударами, на этот раз я без колебаний приподнял стол два раза. Но когда я приподнимал его второй раз, я почувствовал сопротивление: видимо, кто-то из присутствующих желал, чтобы новости были хорошими. Может быть, Ада? Но я налег на стол всем телом и легко одолел своего противника. Новости оказались плохими!

Однако из-за того, что мне пришлось преодолеть сопротивление, второе мое движение оказалось излишне сильным, так что я даже несколько сместил

всех сидевших вокруг стола.

– Странно, – прошептал Гуидо. Потом решительно воскликнул:

– Довольно! Довольно! Я вижу, что кто-то просто решил над нами подшутить.

Этому приказанию повиновались сразу все присутствующие, и гостиную тут же залил свет, зажженный одновременно в разных местах. Мне показалось, что Гуидо был очень бледен. Ада обманывалась насчет этого человека; я обязан был открыть ей глаза!

Кроме трех девушек, в гостиной находились синьора Мальфенти и еще какая-то дама, при виде которой я почувствовал растерянность и досаду, потому что принял ее за тетю Розину. Так что, хотя и по разным причинам, обеих дам я приветствовал одинаково сдержанно.

Самое интересное, что я так и остался сидеть за столом рядом с Аугустой. Это был очередной компромисс с моей стороны, но я просто не мог заставить себя присоединиться к тем, кто толпился сейчас вокруг Гуидо и слушал, как тот с жаром им объясняет, в какой именно момент он понял, что стол приводит в движение не дух, а некий злоумышленник из плоти и крови. Не Ада, а он пытался остановить столик, сделавшийся чересчур разговорчивым!

– Я, – говорил он, – держал его изо всех сил, чтобы не дать ему приподняться второй раз. Чтобы сломить мое сопротивление, кому-то пришлось навалиться на него всем телом.

Нечего сказать, хорош же спиритизм, который не допускает мысли, что дух способен на большое физическое усилие!

Я взглянул на бедную Аугусту: каково ей после того, как она выслушала объяснение в любви, адресованное ее сестре? Она сильно покраснела, но смотрела на меня с благосклонной улыбкой. Только сейчас решилась она дать мне понять, что слышала мое признание.

– Я никому не скажу! – сказала она шепотом.

Это мне очень понравилось.

– Спасибо, – пробормотал я, пожимая ее руку, не очень маленькую, но прекрасной формы. Я решил сделаться ее добрым другом; раньше это было совершенно невозможно, потому что я не умею дружить с некрасивыми людьми. Но теперь – теперь я даже находил приятной эту талию, которая, как я выяснил в момент объятия, оказалась гораздо тоньше, чем я думал. И лицо у нее тоже было вполне приемлемое: его портил только глаз, который смотрел не туда, куда следовало. Но раньше я, безусловно, преувеличивал этот недостаток, распространяя эту неправильность ее лица и на фигуру. Тем временем было приказано принести лимонад для Гуидо. Подходя к нему, я столкнулся с синьорой Мальфенти, которая как раз выбиралась из окружавшей его толпы. Я спросил, весело смеясь:

– Что, понадобилось подкрепляющее?

Синьора Мальфенти презрительно поджала губы.

– А еще мужчина! – громко произнесла она.

И тут я уже совсем поверил, что эта моя победа над Гуидо будет иметь решающее значение. Ведь не могла же Ада думать иначе, чем ее мать! Моя

победа сразу же привела к результату, которого не мог не добиться такой мужчина, как я! Вся моя досада на Гуидо мигом прошла, и мне захотелось избавить его от лишних страданий. Мир был бы куда добрее, если бы все люди были похожи на меня!

Я сел рядом с ним и, не глядя на других, сказал:

– Я должен попросить у вас прощения, синьор Гуидо. Я позволил себе глупую шутку. Это я заставил стол сказать, что им движет дух, носящий ваше имя. Я бы ни за что этого не сделал, если б знал, что так звали вашего деда.

Мгновенно прояснившееся лицо Гуидо ясно сказало о том, как важны для него были эти мои слова. Но он не пожелал в этом признаться и сказал:

– Дамы слишком добры. Я совершенно не нуждаюсь в утешениях. Вся эта история не имеет ни малейшего значения. Я благодарен вам за вашу откровенность, но я и так уже догадался, что под париком моего деда прячется кто-то из присутствующих!

Довольный, он засмеялся и добавил:

– А знаете, вы очень сильны! Мне следовало бы догадаться, что стол двигали вы – единственный, кроме меня, мужчина в этом обществе!

Да, тут я действительно доказал, что я сильнее его, но очень скоро мне пришлось убедиться в том, что на самом деле я был много его слабее. Ада, до сих пор бросавшая на меня враждебные взгляды, вдруг с пылающими щеками перешла в наступление:

– Вам должно быть стыдно, что вы позволили себе подобную шутку.

У меня перехватило дыхание. Запинаясь, я сказал:

– Мне просто хотелось посмеяться! Я был уверен, что никто из нас не принимает всерьез всю эту историю со столиком!

Но было уже поздно нападать на Гуидо, а кроме того, если б у меня был более тонкий слух, я бы понял, что из борьбы с ним мне уже никогда не выйти победителем. Гнев Ады был весьма многозначителен! Как мог я не понять, что она уже полностью принадлежала ему! Но я застрял на мысли, что он ее не стоит, что не такого мужчину искала она своим серьезным взглядом. Разве она не слышала, что сказала синьора Мальфенти?

Все стали на мою сторону, что еще более ухудшило мое положение. У тети Розины заколыхалось от смеха все ее толстое тело, и она в восторге воскликнула:

– Ну, разве не прелесть, а?

Мне было неприятно, что Гуидо держался со мной вполне дружелюбно. Видимо, ему было важно только одно: что дурные новости, о которых сообщил ему столик, исходили не от духа. Он сказал:

– Держу пари, что сначала вы сдвинули стол нечаянно. Первый раз вы качнули его, сами того не желая, и только потом стали делать это со злым умыслом. Так что, несмотря ни на что, во всем этом можно усмотреть некий смысл. Но только до того момента, пока вы не решили использовать свое вдохновение во зло!

Ада обернулась и посмотрела на меня с любопытством. Эта ее готовность простить меня только потому, что меня простил Гуидо, свидетельствовала об ее

исключительной ему преданности. Но я не дал ей меня простить.

– Да ничего подобного! – сказал я решительно. – Просто духи все не появлялись и не появлялись, я устал ждать и решил немного поразвлечься, выступив в их роли.

Ада повернулась ко мне спиной и пожала плечами так, что у меня осталось полное впечатление, будто мне дали пощечину. Даже завитки на ее затылке, казалось, выражали негодование.

Как всегда, вместо того чтобы смотреть и слушать, я был полностью поглощен своими мыслями. Меня удручало то, что Ада так ужасно себя компрометирует. Это терзало меня так же, как если бы я обнаружил, что мне изменяет любимая женщина. Несмотря на все проявления ее любви к Гуидо, она все-таки еще могла стать моей, но я чувствовал, что никогда не прощу ей сегодняшнего ее поведения. Наверное, у меня слишком медленно работает голова и мысли не успевают за событиями, которые развиваются, не дожидаясь, покуда из моей памяти изгладятся впечатления, оставленные ранее случившимися событиями. Так что я вынужден был продолжать идти тем самым путем, который предназначало мне принятое накануне решение. Просто какое-то слепое упрямство! Мало того – я пожелал еще более укрепиться в этом своем решении, заявив о нем еще раз. Я подошел к Аугусте, которая смотрела на меня с беспокойством и подбадривающе улыбалась, и сказал ей серьезно и грустно:

– Возможно, я сегодня у вас последний раз, потому что сейчас я скажу Аде, что люблю ее.

– Вы не должны этого делать, – сказала Аугуста умоляюще. – Неужели вы не видите, что здесь происходит? Мне будет ужасно жаль, если вам придется страдать.

Она продолжала вклиниваться между мной и Адой! И я сказал специально для того, чтобы досадить ей:

– Я поговорю с Адой, потому что должен это сделать. Но мне совершенно безразлично, что она мне ответит.

И я снова заковылял к Гуидо. Став подле него, я закурил сигарету, глядя в какое-то зеркало. В зеркале я показался себе очень бледным, а это для меня всегда лишнее основание, чтобы побледнеть еще больше. Я попытался справиться с дурнотой и принять непринужденный вид. И покуда я делал над собой это двойное усилие, моя рука рассеянно протянулась и взяла стакан, принесенный для Гуидо. Ну, а после того, как он очутился у меня, я уже не мог придумать ничего лучше, как осушить его.

Гуидо засмеялся:

– Теперь вы будете знать все мои мысли – из этого стакана только что пил я.

Я вообще не люблю вкус лимона, но тут мне показалось, что я буквально хватил отравы: во-первых, потому, что я пил из его стакана и тем самым как бы вступил с ним в какой-то омерзительный контакт, а во-вторых, потому, что был поражен выражением гневного нетерпения, в тот же миг появившимся на лице Ады. Она тут же позвала горничную, приказала принести еще стакан и настояла

на своем, несмотря на то, что Гуидо заявил, что больше пить не хочет.

Тут мне стало ее просто жалко. Она компрометировала себя все больше и больше.

– Простите меня, Ада, – сказал я смиренно и глядя на нее так, словно она требовала от меня каких-то объяснений. – Я не хотел вас огорчить.

Потом я испугался, что сейчас заплачу. И, чтобы не быть смешным, воскликнул:

– Мне в глаз брызнул лимон!

Я прикрыл глаза платком. Теперь мне не нужно было больше сдерживать слезы, нужно было только стараться не всхлипнуть.

Я никогда не забуду эту темноту, в которой я очутился, когда закрыл лицо платком. Я скрыл за ним не только свои слезы, но и мгновение безумия. Потому что я вдруг подумал, что скажу ей все, что она меня поймет и полюбит, а я – я никогда ей всего этого не прощу.

Я убрал платок, чтобы все увидели мои слезящиеся глаза, и сделал над собой усилие, чтобы засмеяться и рассмешить других.

– Держу пари, что синьор Джованни делает лимонад из лимонной кислоты.

Как раз в эту минуту появился Джованни, который приветствовал меня с обычной сердечностью. Я почувствовал некоторое облегчение, но ненадолго: он тут же заявил, что пришел пораньше, потому что хотел послушать Гуидо. Тут он прервал себя, чтобы спросить, отчего у меня на глазах слезы. Ему рассказали о моих подозрениях насчет качества его лимонада, и он очень этому смеялся.

Я был настолько малодушен, что с жаром поддержал просьбу сыграть что-нибудь, с которой он обратился к Гуидо. Я вдруг вспомнил, что пришел сюда сегодня именно для того, чтобы послушать, как он играет. Интересно, что, уговаривая Гуидо сыграть, я хотел к тому же задобрить Аду. Я поглядел на нее, надеясь, что наконец-то, в первый раз за весь вечер, действую с ней заодно. Вот ведь странная вещь! Разве не я только что решил, что поговорю с ней, но никогда ее не прощу? Но я увидел лишь ее спину и негодующие завитки на затылке. Ада побежала вынимать скрипку из футляра.

Гуидо попросил, чтобы его оставили в покое еще хотя бы на полчаса. Казалось, он колеблется – играть или не играть. Потом, после долгих лет общения с ним, я узнал, что он всегда колеблется, прежде чем выполнить любую, самую простую просьбу. Он делал лишь то, что ему было приятно, и поэтому, прежде чем согласиться на какую-либо просьбу, долго копался в своей душе, стараясь понять, чего именно ему хочется.

Затем наступили самые счастливые для меня четверть часа в этот памятный вечер. Своей забавной болтовней я сумел развлечь всех, в том числе и Аду. Мне удалось это, наверное, потому, что я был тогда чрезмерно возбужден и, кроме того, изо всех сил старался затмить грозную скрипку, час которой все приближался. И именно поэтому тот коротенький отрезок времени, который благодаря мне показался всем таким веселым, сам я вспоминаю как целиком отданный напряженной борьбе.

Джованни сказал, что, когда он на трамвае возвращался домой, ему пришлось стать свидетелем тягостной сцены. Какая-то женщина выскочила из

вагона прямо на ходу и так неудачно, что упала и сильно разбилась. Несколько сгущая краски, Джованни живописал нам то тревожное чувство, которое он испытал; заметив, что женщина собирается прыгнуть, причем ему заранее было ясно, что она упадет и что ее может переехать трамвай. Это было ужасно – знать, чем все кончится, и не иметь времени вмешаться.

И тут-то меня и осенило. Я сказал, что и сам раньше в подобных случаях страдал от головокружений, но теперь знаю прекрасное средство. Когда я смотрю на гимнаста, выполняющего упражнение на слишком большой высоте, или вижу, как выскакивает на ходу из трамвая слишком пожилой или не слишком ловкий человек, я полностью избавляю себя от всякой тревоги, желая им всяческих несчастий. Я даже облакаю в слова свои пожелания. Это меня настолько успокаивает, что я могу уже совершенно равнодушно смотреть на угрожающую им опасность. Ну, а если мои пожелания не сбываются, что ж, тем лучше!

Guido был в восторге от этой идеи, показавшейся ему психологическим откровением. Он принялся анализировать ее так и эдак, как всегда анализировал всякую ерунду, и загорелся желанием поскорее проверить ее на практике. Правда, он делал одну оговорку: а что, если мои пожелания увеличивают возможность несчастья? Ада смеялась вместе с ним и даже бросила на меня восхищенный взгляд. И я, глупец эдакий, почувствовал огромное удовлетворение: я, видите ли, понял, что ошибался, когда думал, будто не смогу ее простить! И то, что это оказалось не так, было для меня большим утешением.

Все много смеялись и вообще вели себя как добрые старые приятели. На какой-то момент я остался в углу гостиной один на один с тетей Розиной, которая все еще продолжала говорить о столике. Довольно полная, она неподвижно сидела в своем кресле, не глядя в мою сторону. Я дал понять окружающим, что погибаю от скуки в ее обществе. Поглядывая на нас издали, все посмеивались незаметно для тети Розины.

Желая еще больше развеселить всю компанию, я вдруг перебил ее:

– А знаете, вы очень поправились, я нахожу даже, что вы помолодели!

Вот было бы смеху, если б она рассердилась! Но она не только не рассердилась, но явно была очень довольна и сказала, что действительно недавно болела, но теперь совсем поправилась. Я был так поражен этим ответом, что лицо у меня, наверное, сделалось довольно забавным: в результате публику я все-таки развеселил, как и собирался. Несколько позже загадка разъяснилась, оказалось, что это была не тетя Розина, а тетя Мария, сестра синьоры Мальфенти. Таким образом, одной причиной для дурного настроения у меня стало меньше; но, увы, это была не самая главная причина!

Наконец настал момент, когда Guido попросил скрипку. На этот раз он решил обойтись без аккомпанемента, исполнив «Чакону» Баха. Ада протянула ему скрипку с благодарной улыбкой. Но он на нее даже не взглянул: он глядел только на скрипку, словно хотел забыть обо всех и остаться наедине с нею и своим вдохновением. Затем он стал посреди гостиной, повернувшись спиной к доброй половине нашего немногочисленного общества, настроил скрипку, легонько проведя по струнам смычком, и взял несколько арпеджио. Потом,

оторвавшись, он с улыбкой обратился к нам:

– Это, конечно, самонадеянно с моей стороны, если учесть, что я не дотрагивался до инструмента с той поры, когда играл у вас в последний раз.

Ах, шарлатан! Он стоял спиной даже к Аде. Я взглянул на нее с беспокойством: не обиделась ли? Но, судя по всему, нет. Облокотившись о стол и опершись подбородком на руку, она приготовилась слушать.

И вот прямо передо мной вырос великий Бах собственной персоной. Никогда – ни до, ни после этого – не доводилось мне так глубоко прочувствовать всю красоту этой музыки, которая, казалось, так и родилась из этих четырех струн, как микеланджеловский ангел – из одной мраморной глыбы. Для меня было новым мое душевное состояние, заставлявшее восторженно глядеть вверх, словно я видел там что-то небывалое. Правда, я сопротивлялся, стараясь отстранить от себя эту музыку. Я не переставая твердил себе: «Берегись! Скрипка – это сирена! Для того чтобы заставить тебя плакать, тому, кто держит ее в руках, вовсе не обязательно иметь сердце героя». Но музыка все наступала и в конце концов взяла меня в плен. Мне казалось, что она, сострадая, рассказывает о моей боли и моих мучениях, смягчая их ласковой улыбкой. Но ведь это Гуидо говорил ее голосом! И я старался вырваться из-под ее власти. «Для того чтобы так играть, – говорил я себе, – нужно иметь только чувство ритма, твердую руку и способность к подражанию; всего этого у меня нет, но это еще вовсе не признак неполноценности, это просто моя беда».

Я сопротивлялся, но Бах наступал, неумолимый как судьба. Он страстно пел в верхах и вдруг спускался вниз в поисках басса остинато, и, хотя слух и сердце уже предчувствовали этот переход, он поражал, так как совершался как раз там, где надо: мгновением позже и фраза рассеялась бы, резонанс не поспел бы за ней, мгновением раньше и звуки баса противопоставились бы мелодии и заглушили ее. С Гуидо этого случиться не могло: руки у него не дрожали, даже когда он приступал к Баху, и как раз в этом-то и состоит настоящая неполноценность. Сейчас, когда я это пишу, я располагаю уже множеством доказательств его неполноценности. Но меня вовсе не радует то, что я так точно угадал это еще тогда. Тогда я был одержим ненавистью, и даже музыка, в которой я узнавал собственную душу, не могла меня смягчить. Потом пришло будничное, каждодневное существование и упразднило эту ненависть, не встретив с моей стороны ни малейшего сопротивления. Обычная вещь! Будничная жизнь еще и не на то способна! Худо было бы гениям, если б они об этом знали!

Гуидо умело закончил. Никто, кроме Джованни, не заплодировал, и некоторое время все молчали. Желание высказаться возникло, к сожалению, только у меня. Не понимаю, как я мог на это осмелиться в присутствии людей, слышавших и мою игру. Казалось, это не я говорю, касалось, это говорит моя тщетно рвавшаяся к музыке скрипка, хуля другую, которая умела – это приходится признать – превращать музыку в жизнь, в свет и воздух.

– Превосходно, – сказал я. Но прозвучало это не как похвала, а как снисходительная уступка. – Только я не понимаю, почему вы в самом конце

решили сыграть маркато те ноты, которые у Баха соединены лигой?

Я знал в «Чаконе» каждую ноту. Было время, когда я считал, что добиться каких-то успехов можно, только замахиваясь на подобные произведения, и много месяцев провел, разбирая такт за тактом сочинения Баха.

Во всех присутствующих я чувствовал осуждение и насмешку, но продолжал, стараясь победить всеобщую враждебность:

– Бах, – сказал я, – настолько скромно пользуется этими средствами, что никогда не допустил бы такой вольности.

Может, я был и прав, но в то же время ясно сознавал, что, как бы я ни старался, мне бы такая вольность никогда бы не удалась.

Гuido сморозил такую же глупость. Он сказал:

– А может быть, Бах просто не знал этой изобразительной возможности? Я ему ее дарю!

Он поднял руку на Баха, и ни один человек ничего не сказал, а стоило мне поднять руку всего лишь на Гuido, как они дружно меня осмеяли!

Тут произошло одно незначительное происшествие, которому суждено было сыграть в моей жизни решающую роль. Из глубины комнат донесся до нас плач маленькой Анны. Как выяснилось позже, она упала и в кровь разбила губу. Так случилось, что я на несколько минут остался наедине с Адой: все бросились узнавать, что произошло. Гuido, прежде чем последовать за остальными, вручил свой драгоценный инструмент Аде.

– Хотите, я подержу? – спросил я, видя, что она не может решить – бежать ей вместе со всеми или нет. Я даже не заметил, что мне наконец представился случай, о котором я столько мечтал. Она заколебалась, но потом в ней одержало верх какое-то странное недоверие. Она еще крепче прижала скрипку к себе.

– Нет, – ответила она. – Мне там нечего делать. Я уверена, что ничего страшного не случилось. Анна часто плачет из-за пустяков.

Она села, не выпуская скрипки из рук, и я увидел в этом приглашение к разговору. К тому же, не поговорив с ней, я просто уже не мог вернуться домой. Что я тогда буду делать в течение всей долгой ночи? Мне представилось, как я ворочаюсь с боку на бок в своей постели или бегаю по улицам и игорным домам в поисках хоть какого-нибудь развлечения. Нет, я не должен был уходить, прежде чем не выясню все и не успокоюсь.

Я старался говорить как можно короче и проще. Да иначе я бы и не мог – у меня перехватывало дыхание. Я сказал:

– Я люблю вас, Ада, Позвольте мне переговорить с вашим отцом.

Она взглянула на меня с изумлением и ужасом. Я даже испугался, что она сейчас заплачет, как маленькая Анна. Я подозревал, что эти ясные глаза и это лицо с такими четкими чертами не знают, что такое любовь, но столь далекой от любви я ее еще никогда не видел. Она заговорила и произнесла несколько слов, которые должны были, по-видимому, служить вступлением. Но я жаждал ясности – да или нет. Вероятно, меня оскорбляло уже и то, что она колеблется. Чтобы ускорить дело и заставить ее наконец решиться, я подверг сомнению ее право на слишком долгие раздумья:

– Но как вы могли этого не заметить? Не могли же вы думать, что я



ухаживаю за Аугустой?

Я хотел произнести эту фразу патетически, но в спешке растерял всю патетику, и в результате получилось, что я произнес имя бедной Аугусты презрительно, да еще сопровождая его презрительным жестом. Это помогло Аде выйти из замешательства. Во всем сказанном она усмотрела только оскорбление, нанесенное Аугусте.

– А почему вы думаете, что вы лучше Аугусты? Я очень сомневаюсь, что она согласилась бы стать вашей женой.

Потом она все-таки вспомнила, что должна дать мне какой-то ответ:

– Ну, а что касается меня... то меня просто удивляет, что вам могло такое взбрести в голову!

Этой ядовитой фразой она, должно быть, хотела отомстить за Аугусту. При той полной сумятице, которая царила у меня в голове, я не усмотрел в ней никакого другого смысла. Мне кажется, что если бы она даже дала мне пощечину, я стал бы долго раздумывать над тем, что послужило ее причиной. Поэтому я продолжал настаивать:

– Подумайте хорошенько, Ада... Я ведь неплохой человек, к тому же богат... Правда, у меня есть некоторые странности, но я обещаю быстро от них избавиться...

Ада смягчилась, но продолжала говорить об Аугусте:

– Подумайте и вы, Дзено. Аугуста – прекрасная девушка и очень вам подходит. Я не берусь говорить за нее, но думаю, что...

Было огромным наслаждением слышать, как она в первый раз за все время называет меня по имени. Может, тем самым она приглашала меня высказаться яснее? По всей вероятности, она для меня потеряна и, уж во всяком случае, не примет моего предложения сейчас, но нужно было добиться хотя бы того, чтобы она перестала компрометировать себя с Гуидо, на которого я обязан был открыть ей глаза! Однако я был предусмотрителен и сначала сказал ей, что высоко ценю и уважаю Аугусту, но совершенно не хочу на ней жениться. «Совершенно не хочу» я повторил дважды, чтобы все было абсолютно ясно. Теперь я мог надеяться, что задобрил Аду, которая решила было, что я хотел оскорбить Аугусту.

– Аугуста – прекрасная, добрая, милая девушка, но мне она не подходит.

Потом я быстро выложил все остальное, так как в коридоре уже слышались голоса и меня в любую минуту могли прервать.

– Ада! Этот человек не для вас! Он же дурак! Разве вы не заметили, что его всерьез огорчил ответ, полученный от духа? А его трость? Конечно, он хорошо играет на скрипке, но ведь и обезьяну можно научить играть! Да каждое слово выдает в нем дурака!

Сначала она слушала меня с видом человека, который не может понять смысла обращенных к нему слов, потом резко меня оборвала. Она вскочила и, так и не выпустив из рук скрипки и смычка, вылила на меня целый поток оскорблений. Позднее я счел за лучшее их позабыть, и это мне удалось. Помню только, что начала она с того, что громко спросила, какое я вообще имею право говорить о ней и о нем. Я вытаращил от изумления глаза, так как считал, что

говорил только о нем. Все прочие негодующие слова, которые она мне тогда сказала, я позабыл, но не забыл ее лицо – цветущее, красивое, одухотворенное, покрасневшее от гнева и от гнева же сделавшееся еще более твердым, словно мраморным. Его я так и не смог забыть. И когда я сейчас вспоминаю свою любовь и свою молодость, я снова вижу цветущее, красивое, одухотворенное лицо Ады в ту минуту, когда она окончательно закрывала мне доступ в свою жизнь.

Все возвратились в комнату, толпясь вокруг синьоры Мальфенти, которая держала на руках все еще плачущую Анну. Никто не обращал внимания ни на меня, ни на Аду, и я, ни с кем не простившись, вышел из гостиной в переднюю и уже взялся было за шляпу. Странно! Никто не попытался меня задержать. И тогда я решил задержаться сам, вспомнив, что никогда не следует пренебрегать правилами хорошего тона: прежде чем уйти, я должен был учтиво со всеми попрощаться. Но я уверен, что на самом деле не решился сразу покинуть этот дом только потому, что в таком случае для меня слишком рано наступила бы ночь, которая обещала быть еще хуже, чем предшествовавшие ей пять ночей. Я обрел наконец полную ясность, но теперь мне нужно было другое: я жаждал мира, мира со всеми. Если бы мне удалось устранить враждебность из моих отношений с Адой и всеми прочими, мне было бы легче заснуть. И почему действительно должна была оставаться между нами эта неприязнь, если я не мог сердиться даже на Гуидо, который хоть и не заслужил, конечно, чтобы Ада предпочла его мне, но, с другой стороны, не был в этом и виноват!

Одна только Ада заметила, что я выходил в прихожую, и при моем возвращении взглянула на меня с беспокойством. Уж не боялась ли она, что я устрою ей сцену? Я решил сразу же ее успокоить. Проходя мимо, я тихо сказал:

– Простите, если я чем-нибудь вас обидел.

Успокоенная, она взяла мою руку и пожалала ее. Мне сразу стало гораздо легче. Я даже закрыл глаза, чтобы остаться наедине со своей душой и понять, насколько меня утешило это рукопожатие.

Судьбе было угодно, чтобы, покуда все занимались Анной, я очутился подле Альберты. Сначала я ее даже не заметил и понял, что это она, только когда она ко мне обратилась:

– Ничего страшного! Плохо только, что здесь папа. Стоит ей заплакать, как он сразу тащит ей какой-нибудь подарок.

Тем временем я покончил с исследованием своей души, потому что вдруг увидел себя как никогда ясно. Оказывается, если я желал обрести душевный покой, мне следовало добиться того, чтобы двери этой гостиной были для меня всегда открыты. Я взглянул на Альберту. Она была похожа на Аду! Только поменьше ростом, и в ней еще сохранились ясно видимые детские черты: она легко повышала голос, а когда смеялась своим слишком залившимся смехом, личико ее морщилось и краснело. Странная вещь! Как раз в эту минуту мне вспомнился один из советов отца: «Выбирай женщину помоложе – и тебе будет легче переделать ее на свой лад». Это воспоминание решило все. Я еще раз взглянул на Альберту. Мысленно попытался ее раздеть, и мне понравилась нежная, хрупкая фигурка, которая мне при этом представилась.

Я сказал:

– Послушайте, Альберта! У меня есть идея. Вам не приходило в голову, что вы уже достигли возраста, когда можете выйти замуж?

– Я не думаю о замужестве, – сказала она, улыбаясь, и взглянула на меня благосклонно, не краснея и не приходя в замешательство. – Я хочу учиться дальше. И мама тоже хочет.

– Но вы можете продолжать учиться и выйдя замуж!

Тут в голову мне пришла одна мысль, которую я счел остроумной и не преминул высказать:

– Я тоже, после того как женюсь, снова начну учиться.

Она весело засмеялась, но тут я заметил, что попусту трачу время, потому что с помощью подобных глупостей нельзя добиться ни жены, ни душевного покоя. Для этого нужно быть серьезным. И это было тем более легко, что тут я встретил совсем иной прием, чем у Ады.

Я в самом деле сделался серьезным. Моя будущая жена должна была знать все. И я сказал ей взволнованным голосом:

– Только что я сделал Аде то же самое предложение, которое теперь делаю вам. Она с негодованием мне отказала, так что можете себе представить, каково мне сейчас.

Эти слова, сопровождаемые печальным выражением лица, были последним проявлением моей любви к Аде. Но это было слишком уж серьезно, и поэтому я, улыбаясь, добавил:

– Но я думаю, что если вы согласитесь выйти за меня замуж, я буду счастливейшим из смертных и забуду для вас все и вся.

Прежде чем ответить, Альберта тоже напустила на себя серьезный вид:

– Вы не должны на меня обижаться, Дзено, это меня очень бы огорчило. Я питаю к вам огромное уважение. Я знаю, что вы очень славный, а потом – вы даже сами не знаете, сколько вы знаете, в то время как, скажем, мои учителя совершенно точно знают, что они знают. Но я не хочу выходить замуж. Может, потом я и передумаю, но пока у меня одна цель: я хочу стать писательницей. Видите, как я вам доверяю! Я еще никому об этом не говорила и надеюсь, что вы меня не выдадите. Со своей стороны, я обещаю вам, что никому не скажу о вашем предложении.

– Да говорите, пожалуйста, кому хотите, – перебил я ее с досадой. Я чувствовал, что надо мной снова нависла угроза быть изгнанным из этой гостиной, и поспешил принять меры предосторожности. Тем более что это было так же единственным способом не дать Альберте гордиться тем, что она меня отвергла. И едва эта мысль пришла мне в голову, как я с радостью за нее ухватился. Я сказал:

– Сейчас я сделаю это же предложение Аугусте и потом буду всем говорить, что женился на ней, потому что две другие сестры меня отвергли.

И я засмеялся, потому что странное мое поведение привело меня в веселое, даже слишком веселое расположение духа. Остроумие, которым я всегда так гордился, я вкладывал сейчас не в слова, а в поступки.

Я огляделся в поисках Аугусты. Она выходила в коридор, неся поднос, на

котором стоял выпитый наполовину стакан успокоительного питья для Анны. Я побежал следом, окликая ее по имени, и она остановилась, прислонившись к стене. Я подошел к ней вплотную и выпалил:

– Послушайте, Аугуста, хотите, мы поженимся?

Предложение было сформулировано слишком уж грубо. Я должен был жениться на ней, она должна была за меня выйти, и поэтому я даже не спросил, что она об этом думает, и мне не пришло в голову, что у меня могут потребовать объяснений. Достаточно было, что я делал то, чего от меня хотели другие!

Она подняла на меня расширенные от удивления глаза. При этом глаз, который косил, стал еще больше не похож на другой. Ее лицо с белой, бархатистой кожей сначала еще больше побледнело, а потом вспыхнуло. Она придержала правой рукой стакан, который вдруг задрожал на подносе. Потом еле слышно сказала:

– Вы шутите, и это очень дурно.

Я испугался, что она заплачет, и в голову мне пришла странная идея утешить ее рассказом о собственных страданиях.

– Я не шучу, – сказал я серьезно и грустно. – Я просил руки сначала у Ады, которая отказала мне с негодованием, потом у Альберты, которая наговорила мне много красивых слов, но тоже отказала. И все же я не сержусь ни на ту, ни на другую. Я только очень и очень несчастен.

Мое горе заставило ее взять себя в руки, и она взволнованно взглянула на меня, напряженно о чем-то думая. Ее взгляд был похож на ласку, но эта ласка не доставила мне никакого удовольствия.

– Следовательно, я должна знать и всегда помнить о том, что вы меня не любите? – спросила она.

Что могла означать эта загадочная фраза? Уж не предваряла ли она согласие? Ведь она собиралась помнить! Помнить в течение всей жизни, которую она проведет рядом со мной! Я чувствовал себя как человек, который, желая покончить с собой, занял крайне опасную для жизни позицию и спастись ему теперь стоит множества трудов. Может, было бы лучше, если бы Аугуста мне отказала и я целый и невредимый возвратился бы в свой кабинет, где даже сегодня ночью мне было не так уж и плохо? Я сказал:

– Да, я люблю одну только Аду, но готов жениться на вас, так как...

И я чуть было не сказал, что не мог примириться с мыслью, что останусь Аде совсем чужим, и потому решил удовольствоваться ролью ее шурина. Но это было бы слишком: Аугуста снова решила бы, что я хочу над ней посмеяться. Поэтому я ограничился тем, что сказал:

– Я просто не могу больше оставаться один.

Она, как и раньше, стояла, прислонясь к стене, потому что, видно, ей было просто необходимо на что-то опереться, но выглядела она уже гораздо спокойнее и держала поднос одной рукой. Значило ли это, что я спасен, то есть что я должен покинуть эту гостиную, или я мог в ней остаться и, следовательно, был обязан жениться? И я сказал еще несколько слов, просто потому, что не в силах был дождаться, покуда заговорит она.

– Я, в сущности, добрый малый, и, думаю, жить со мной будет легко, даже

и без великой любви.

Это была фраза, которую я за эти пять долгих дней приготовил для Ады, чтобы побудить ее ответить мне согласием даже в том случае, если она меня не любит.

Аугуста все молчала, дыхание ее было прерывистым. Это молчание могло означать и отказ – самый деликатный отказ, который только можно себе представить, и я уже чуть было не бросился за шляпой, чтобы успеть водрузить ее на свою голову, вышедшую из этой переделки целой и невредимой.

Но Аугуста вдруг решила и движением, исполненным достоинства – я никогда его не забуду, – оторвалась от стены и выпрямилась. Коридор был не очень широк, и я стоял прямо перед нею, но она подошла ко мне еще ближе и сказала:

– Вам, Дзено, нужна женщина, которая захотела бы жить для вас и служить вам. Я хочу быть этой женщиной.

Она протянула мне свою пухлую ручку, которую я почти инстинктивно поцеловал. Было очевидно, что уже ничего поделаться было нельзя. К тому же я должен признаться, что в этот момент душа моя наполнилась таким удовлетворением, что я глубоко вздохнул. Мне ничего больше не надо было решать – все уже было решено. Наступила наконец полная ясность.

Вот так я обручился. Все бросились нас поздравлять. Мой успех мог даже соперничать с успехом, который имела скрипка Гуидо, – столько со всех сторон звучало похвал и одобрений. Джованни поцеловал меня и сразу же стал говорить мне «ты». С несколько даже чрезмерной горячностью он сказал:

– Я уже давно чувствую себя твоим отцом – с той поры, как стал давать тебе советы по части коммерции.

Моя будущая теща тоже подставила мне щеку, и я слегка коснулся ее губами. Этого поцелуя я не избежал бы и в том случае, если б женился на Аде.

– Вот видите, как я все угадала! – сказала она мне с такой непринужденностью, что я не поверил своим ушам. Но это сошло ей безнаказанно, потому что у меня не было ни сил, ни желания с ней спорить.

Потом она обняла Аугусту, и сила ее привязанности к дочери обнаружилась в коротком рыдании, которое вдруг прорвалось среди изъявлений радости. Я не выносил синьору Мальфенти, но должен сказать, что это рыдание окрасило мою помолвку хотя бы на один этот вечер в приятные и торжественные тона.

Сияющая Альберта пожала мне руку:

– Я постараюсь быть вам доброй сестрой.

А Ада сказала:

– Молодец, Дзено! – и шепотом: – Знайте же, что ни один мужчина, думавший, что он поступает опрометчиво, не совершал более мудрого поступка.

Гуидо меня удивил:

– Я еще утром понял, что вас интересуется какая-то из сестер Мальфенти, только не мог догадаться, какая именно.

Значит, они были не так уж близки, раз Ада не сказала ему о том, что я за

ней ухаживал. Может быть, я все-таки слишком поторопился?

Впоследствии Ада объяснила:

– Я хотела бы, чтобы вы любили меня как брат. А остальное пусть будет забыто, я никогда не расскажу об этом Гуидо.

В общем-то было даже приятно подарить столько радости этому дому. Только я не мог особенно ею наслаждаться, потому что ужасно устал. И хотел спать. Это, кстати, свидетельствовало о том, что покуда я действовал совершенно правильно. Ночь обещала быть спокойной.

За ужином мы с Аугустой молча слушали обращенные к нам поздравления. Аугуста сочла нужным объяснить, почему она не участвует в общем разговоре:

– Что я могу сказать? Не забывайте, что полчаса назад я еще и понятия не имела о том, что меня ждет.

Она всегда говорила в точности то, что думала. Потом она взглянула на меня не то смеясь, не то плача. Я попытался приласкать ее взглядом, но не знаю, насколько мне это удалось.

За этим же столом и в тот самый вечер я получил еще одну рану. И нанес ее не кто иной, как Гуидо.

Оказалось, что незадолго до моего появления на спиритическом сеансе Гуидо сказал собравшимся, будто сегодня утром я уверял его, что совсем не рассеян. Но ему со множеством примеров в руках сразу же доказали, что я сказал неправду, и вот, желая отомстить мне за обман (а может, просто для того, чтобы показать всем, как он рисует), Гуидо нарисовал на меня две карикатуры. На первой я стоял, задрав кверху голову и опираясь спиной на воткнутый в землю зонтик. На второй – зонтик сломался, и его ручка проткнула мне спину. Посредством этих картинок Гуидо достиг своей цели, ибо всех очень рассмешил его простенький замысел, состоявший в том, что изображенный им человек (на самом деле совсем на меня непохожий, но с отличительным признаком в виде обширной лысины) выглядел совершенно одинаково и на первом и на втором рисунке – то есть был настолько рассеян, что продолжал стоять как ни в чем не бывало, даже когда его проткнули зонтиком.

Все много смеялись, на мой взгляд – даже слишком много. Меня больно задела эта столь хорошо удавшаяся попытка представить меня в смешном виде. И вот тогда-то я и почувствовал в первый раз эту пронизывающую боль. В тот вечер она поразила правое предплечье и бедро. Я ощутил в этих местах сильное жжение, и по ним забегали мурашки, словно у меня вдруг свело нервы. Удивлённый, я потер правой рукой бедро, а левой сжал больное предплечье.

Аугуста спросила:

– Что с тобой?

Я сказал, что у меня вдруг заболело то место, которым я ударился, когда упал в кафе. О моем падении в том кафе тоже много говорили в тот вечер. Я сразу же предпринял энергичную попытку избавиться от этой боли. Мне казалось, что у меня все пройдет, как только я отомщу за нанесенное мне оскорбление. Я попросил лист бумаги и карандаш и попытался изобразить человека, которого придавил обрушившийся на него стол. Рядом с человеком я нарисовал трость, которая вырвалась у него из рук во время этой катастрофы.

Но никто не узнал эту трость, так что моя попытка задеть Гуидо не удалась. И тогда для того, чтобы всем стало ясно, кто это такой и как он очутился в таком положении, я приписал внизу: «Гуидо Шпейер в единоборстве со столиком». Собственно, единственное, что можно было разглядеть у этого несчастного, придавленного столом, это его ноги, и они, может быть, и походили бы на ноги Гуидо, если бы я нарочно их не исковеркал. Таким образом, жажда мщения испортила мой рисунок, и без того по-детски неумелый.

Мучительная боль в предплечье заставляла меня работать в большой спешке. Никогда еще мое бедное естество не горело таким страстным желанием нанести рану, и если бы в руках у меня вместо карандаша, с которым я не умел обращаться, была шпага, я думаю, мне удалось бы полностью излечиться.

Гуидо от души посмеялся над моим рисунком, но потом миролюбиво заметил:

– Только, по-моему, я несколько не пострадал от этого столика.

Он и в самом деле несколько от него не пострадал, и именно в этом и была несправедливость, которая мучила меня всего больше.

Ада взяла оба рисунка Гуидо и сказала, что хочет сохранить их на память. Я взглянул на нее с таким упреком, что она была вынуждена отвести глаза. Я имел право на этот упрек, потому что своим поступком она еще более увеличивала мои страдания.

Защитницу я обрел в лице Аугусты. Она пожелала, чтобы я поставил на своем рисунке дату нашего обручения, потому что тоже собиралась сохранить мою мазню на память. Кровь горячей волной хлынула по моим жилам при этом знаке любви, и я в первый раз понял, какое эта любовь имеет для меня огромное значение. Однако боль не прошла, и я подумал, что если бы этот знак любви исходил от Ады, то он вызвал бы такой прилив крови, что весь шлак, скопившийся в моих нервах, был бы немедленно унесен прочь.

С тех пор эта боль всегда при мне. Сейчас, в старости, я страдаю от нее меньше, потому что отношусь к ней более снисходительно: «А, так ты еще здесь, свидетельство того, что я некогда был молодым». Но в молодости было иначе. Я не хочу сказать, что боль была нестерпимой, хотя порой она и стесняла меня в движениях и не давала мне спать ночи напролет. Но она отнимала у меня добрую часть жизни! Я мечтал от нее избавиться. Почему я всю жизнь должен был носить на своем теле этот стигмат побежденного? Быть, так сказать, движущимся памятником победы, одержанной надо мною Гуидо? Я должен был изгнать эту боль из своего тела!

Так начались мои хождения по врачам. Истинная причина моей болезни, коренившаяся в том взрыве ярости, была очень быстро забыта, и восстановить ее стало трудно. Да иначе и быть не могло: я питал искреннее почтение к лечившим меня врачам и от души верил каждому их слову, приписывали ли они мои боли обмену веществ, или плохому кровообращению, или туберкулезу, или какой-нибудь очередной инфекции, иные из которых были весьма постыдного для меня происхождения. К тому же я должен признать, что от каждого лечения мне на какое-то время становилось легче, так что очередной диагноз всякий раз подтверждался. Правда, рано или поздно оказывалось, что он не так уж точен,

но, с другой стороны, не был он и вовсе ошибочен, ибо мало что в моем организме функционировало нормально.

Только один раз имела место грубая ошибка: это когда я попал в лапы какому-то коновалу, долго терзавшему мой бедренный нерв нарывными пластырями! Кончилось все тем, что моя боль ловко утерла ему нос, внезапно перекинувшись с бедра на затылок, не имеющий к бедренному нерву никакого отношения. Разозленный хирург выставил меня вон. И я ушел – я хорошо это помню – нисколько не обидевшись, а лишь восхищенный тем, что на новом месте моя боль осталась точно такой же, как и раньше. Она была такой же неистойвой и такой же неуловимой, как и та, что терзала мое бедро. Просто удивительно, насколько одинаково умеют болеть все части нашего тела!

Прочие диагнозы – все до одного совершенно точные – продолжают сосуществовать в моем теле, сражаясь между собой за право первенства. Моя жизнь течет то под знаком мочекишечного диатеза, то, когда диатез оказывается устранен, то есть излечен, – под знаком воспаления вен. Я держу дома ящик, полный лекарств, и это единственный ящик, порядок в котором я навожу самолично. Я люблю свои лекарства и, даже бросая какое-нибудь из них, точно знаю, что рано или поздно вернусь к нему снова. Впрочем, я не считаю, что напрасно потратил на них время. Кто знает, от каких болезней и как давно я бы уже скончался, если б моя боль не симулировала их все подряд, заставляя меня принимать меры еще до того, как эти болезни мной завладеют.

Я не могу объяснить внутреннюю природу этого явления, но знаю совершенно точно, в какой момент первый раз почувствовал боль. Она была вызвана рисунком Гуидо, который оказался лучше моего. Это была последняя капля, которая переполнила чашу. Я уверен, что раньше подобной боли никогда не испытывал. Как-то я попытался объяснить происхождение моей болезни одному врачу, но он меня не понял. Кто знает, может быть, психоанализ сумеет пролить свет на потрясение, которое пережил мой организм в течение тех пяти дней, а также нескольких часов, которые последовали за моей помолвкой.

А часов этих было не так уж мало!

Когда, уже совсем поздно, общество начало расходиться, Аугуста весело сказала мне:

– До завтра!

Мне понравилось это приглашение. Оно доказывало, что я добился своей цели, что ничто не было кончено и все должно было начаться сызнова завтра. Аугуста взглянула мне в глаза и прочла в них такую готовность и согласие, что это ее утешило. Я спустился по лестнице, уже не считая ступенек и спрашивая себя: «А может, я ее люблю?»

Это сомнение я пронес через всю свою жизнь и сейчас склонен думать, что любовь, которую сопровождают подобные сомнения, и есть настоящая любовь.

Но после того как я покинул дом Мальфенти, мне не удалось сразу отправиться к себе и лечь в постель, чтобы в глубоком, целительном сне пожать плоды своих дневных трудов. Было жарко, Гуидо захотелось мороженого, и он пригласил меня посидеть с ним в каком-нибудь кафе. Он дружески оперся на мою руку, и я столь же дружески ее ему подставил. Он играл в моей жизни



слишком значительную роль, чтобы я мог в чем-нибудь ему отказать. А усталость, которая должна была в этот час уже уложить меня в постель, делала меня даже уступчивее, чем обычно.

Мы зашли как раз в то кафе, в котором бедняга Туллио заразил меня своею болезнью, и сели за стоявший в стороне от всех столик. Покуда мы шли, боль, которой суждено было стать моим вечным спутником – но тогда я об этом еще не знал, – мучила меня очень сильно, и когда наконец я сел, на некоторое время мне как будто полегчало.

Однако общество Гуидо оказалось поистине ужасным. Прежде всего он с любопытством осведомился насчет моей любовной истории с Аугустой. Уж не подозревал ли он, что я солгал? Я ответил ему, не моргнув глазом, что влюбился в Аугусту с первой же встречи. Боль делала меня болтливым: я как будто хотел ее перекричать. Но я говорил слишком уж много, и если бы Гуидо был внимательнее, он заметил бы, что я не так уж влюблен в Аугусту. Сначала я заговорил о самой интересной черте во внешности Аугусты – о ее косящем глазе, из-за которого создавалось совершенно неверное впечатление, будто и все остальное в ее фигуре не совсем на месте. Потом я пожелал объяснить, почему не предпринимал никаких шагов до сегодняшнего дня. Наверное, его удивило, что я явился в последний момент и так внезапно сделал предложение? Я проорал:

– Синьорины Мальфенти привыкли к роскоши, и я не знал, в силах ли я взвалить на себя такое бремя.

Мне было неприятно, что, говоря это, я говорил в том числе и об Аде, но ничего нельзя было поделаться: мне было трудно отделить ее от Аугусты. И я продолжал, правда, немного тише, чтобы лучше следить за тем, что говорю:

– Следовательно, мне пришлось сделать предварительно кое-какие подсчеты. В результате я обнаружил, что моих денег недостаточно. Тогда я стал думать – нет ли какой-нибудь возможности расширить дело.

Потом я сказал, что все эти подсчеты потребовали времени, и поэтому я в течение пяти дней воздерживался от визитов к Мальфенти. И тут мой язык, предоставленный самому себе, обрел бо льшую искренность. Потирая бедро и чуть не плача от боли, я прошептал:

– Пять дней – это ужасно много!

Гуидо сказал, что он очень рад обнаружить во мне такого предусмотрительного человека.

Я сухо заметил:

– Предусмотрительный человек ничем не лучше рассеянного.

Гуидо засмеялся:

– Однако странно, что предусмотрительный считает нужным защищать рассеянных!

Потом, без всякого перехода, он сухо сообщил мне, что собирается просить руки Ады. Затащил ли он меня в это кафе специально для того, чтобы сделать это признание, или ему просто надоело, что я непрерывно говорю о себе, и захотелось взять реванш?

Я почти уверен, что мне удалось изобразить максимум удивления и

восторга. Однако я тут же сделал попытку его уязвить:

– Теперь я понимаю, почему Аде так понравился ваш искаженный Бах. Сыграли вы хорошо, но ведь есть прекрасные здания, подле которых «останавливаться за нуждой строго воспрещается».

Удар был силен, и Гуидо покраснел от боли. Но ответил он мне довольно миролюбиво, потому что тут ему не хватало поддержки его немногочисленной, но восторженной аудитории.

– О господи! – начал он, стараясь выиграть время. – Бывает же, что, когда играешь, на тебя вдруг находит какой-то каприз. В этой гостиной мало кто знал Баха, потому я и представил его в несколько модернизированном виде.

По-видимому, он остался удовлетворен своим ответом, но я тоже был удовлетворен им не меньше его, потому что почувствовал в нем покорность и просьбу о прощении. Этого было достаточно, чтобы я смягчился, а кроме того, я ни за что на свете не хотел бы ссориться с будущим мужем Ады. И я сказал, что редко слышал, чтобы любитель так прекрасно играл.

Но этого ему было мало: он заметил, что любителем его можно считать лишь постольку, поскольку он не хочет выступать профессионально.

И это все, что ему было нужно? Я тут же заверил его, что он полностью прав. Было совершенно очевидно, что дилетантом его считать нельзя.

И мы снова сделались добрыми друзьями.

Потом вдруг, ни с того ни с сего, он принялся поносить женщин. Я буквально разинул рот. Теперь, когда я узнал его лучше, я знаю, что он способен произносить бесконечные речи на любую тему, если уверен в расположении к нему слушателей. Так как я недавно упомянул о том, что синьорины Мальфенти привыкли к роскоши, начал он именно с этого, а потом перешел на пороки женщин вообще. Я чувствовал себя слишком усталым, чтобы прервать его, и ограничился тем, что утвердительно кивал головой, – и даже это давалось мне с трудом. В другой обстановке я, конечно, стал бы ему возражать. Я считал, что я имею право поносить женщин, которые были представлены для меня Адой, Аугустой и моей будущей тещей. Но для него слабый пол был представлен Адой, которая его любила, и он не имел никаких оснований на него сетовать.

Гуидо оказался весьма образован, и, несмотря на усталость, я слушал его с восхищением. Много времени спустя я обнаружил, что он присвоил себе гениальные теории молодого самоубийцы Вейнингера<sup>17</sup>. Но тогда у меня было такое ощущение, будто на меня обрушился еще один Бах. Я даже заподозрил, что он хочет помочь мне излечиться. С чего бы иначе он стал уверять меня в том, что женщина не может быть ни доброй, ни гениальной? И я подумал, что лечение не удалось только потому, что лечил меня Гуидо. Но я запомнил эту теорию и проникся ею еще глубже после того, как прочел Вейнингера. От любви она не излечивает, но неплохо держать ее в памяти, когда ухаживаешь за женщинами.

Доев мороженое, Гуидо захотел подышать свежим воздухом и уговорил

---

<sup>17</sup> Вейнингер Отто (1880–1903) – австрийский философ, автор знаменитой в свое время книги «Пол и характер» (1902).

меня прогуляться с ним по окраинным улицам.

Помню, что в те дни все в городе мечтали хоть о капле дождя, который смягчил бы преждевременно наступившую жару. Только я не замечал тогда этой жары. В тот вечер на горизонте показались легкие белые облачка, о которых в народе говорят, что они обещают обильный дождь, но в ярко-голубом, совсем еще светлом небе вставала огромная луна, одна из тех толстощеких лун, которые – также по народному поверью – пожирают облака, И в самом деле, было видно, что там, где она на них наплывала, облака таяли и небо становилось чистым.

Чтобы прервать болтовню Гуидо, которая вынуждала меня все время кивать головой – настоящая пытка! – я рассказал ему о лунном поцелуе, открытом поэтом Дзамбони. Как прекрасен казался этот поцелуй, свершавшийся в самом сердце ночи! Он делался еще прекраснее оттого, что, любуясь им, я был принужден слушать оскорбления, которыми Гуидо продолжал осыпать женщин. Заговорив, я вышел из оцепенения, в которое повергло меня непрерывное кивание головой, и мне показалось, что боль чуть-чуть уменьшилась. Это была мне награда за то, что я взбунтовался, и потому я продолжил свой рассказ.

Гуидо пришлось тоже посмотреть наверх и на некоторое время оставить женщин в покое. Но ненадолго! После того как, руководствуясь моими указаниями, он обнаружил на луне смутные очертания женской фигуры, он снова вернулся к своей теме, пошутив и сам засмеявшись своей шутке, так что его громкий смех одиноко разнесся по пустынной улице.

– Чего только она не видела, эта женщина! Жаль все же, что, будучи женщиной, она не в состоянии ничего запомнить!

Это тоже было частью его теории (или теории Вейнингера) – утверждение, что женщина не может быть гениальной, потому что лишена памяти.

Мы стояли теперь под Виа Бельведере. Гуидо сказал, что небольшой подъем в гору нам будет полезен. И я снова с ним согласился. Поднявшись, он сделал резкое движение, которое пристало скорее подростку, и, вспрыгнув, растянулся на невысоком парапете; далеко внизу под ним лежала улица. Ему, наверное, казалось проявлением храбрости подвергать себя риску свалиться с десятиметровой высоты. Сначала я, как обычно, содрогнулся, представив себе угрожающую ему опасность, но потом, желая избавиться от беспокойства, решил прибегнуть к помощи той системы, которую сам в порыве вдохновения изобрел сегодня вечером, и стал изо всех сил желать ему свалиться,

Лежа на парапете, Гуидо продолжал поносить женщин. Теперь он говорил о том, что они, как дети, любят игрушки, но только дорогие игрушки.

Я вспомнил, что Ада как-то говорила, что любит драгоценности. Значит, он имел в виду именно ее? И тогда мне пришла в голову ужасная мысль. А что, если я сам заставлю Гуидо совершить этот прыжок с десятиметровой высоты? Разве это не было бы справедливо – убить человека, который увел у меня Аду и при этом даже ее не любил? В тот момент мне казалось, что, убив Гуидо, я могу тотчас отправиться к Аде за наградой. У меня было такое чувство, будто в эту необычно светлую ночь Ада могла слышать, как клеветает на нее Гуидо.

Должен признаться, что в ту минуту я собирался убить Гуидо совершенно серьезно. Я стоял рядом с ним, растянувшись на низеньком парапете, и совершенно хладнокровно обдумывал, как бы мне поудобнее его обхватить, чтобы обеспечить благополучный исход предприятия. Потом я сообразил, что мне не к чему даже его обхватывать. Он лежал лицом вверх, скрестив под лопатками руки, и достаточно было одного сильного неожиданного толчка, чтобы заставить его непоправимо потерять равновесие.

Потом меня осенила другая мысль, показавшаяся мне такой же значительной, как и луна, которая плыла по небу, очищая его от облаков. Я согласился обручиться с Аугустой только ради того, чтобы быть уверенным, что сегодня ночью я буду хорошо спать. Но разве смогу я спать, если убью Гуидо? Эта мысль спасла и меня и его. Я тут же поспешил переменить позу, потому что, стоя вот так над Гуидо, чувствовал слишком сильное искушение. Я упал на колени и с такой силой откинулся назад, что почти коснулся затылком земли.

– Какая боль! Какая ужасная боль! – завопил я.

Испуганный Гуидо вскочил на ноги, спрашивая, что случилось. Но я не отвечал и продолжал стонать, правда, уже не так громко. Я-то знал, почему я стонал: потому что я только что хотел убить, а может, также и потому, что не смог этого сделать. Но всё извиняли мои стоны и терзающая меня боль. Мне казалось, будто я кричу, что не хотел убивать, и в то же время мне казалось, будто я кричу, что не виноват в том, что не смог это сделать. Во всем были повинны моя болезнь и боль! И я помню совершенно точно, что как раз в этот момент боль вдруг прошла и мои стоны превратились в чистой воды комедию, которой я тщетно пытался придать смысл, призывая боль вернуться и пытаюсь восстановить ее в памяти, чтоб, ощутив ее, снова почувствовать страдание. Но все это были напрасные попытки, потому что боль вернулась лишь тогда, когда сама этого пожелала.

Как и обычно, Гуидо принялся строить гипотезы. Он спросил, между прочим, не то ли самое у меня болит место, которое я ушиб при падении в кафе. Мысль показалась мне удачной, и я подтвердил это предположение.

Он взял меня под руку и бережно помог мне подняться. Потом, все с той же заботливостью продолжая меня поддерживать, помог одолеть небольшой спуск. Когда мы очутились внизу, я заявил, что мне лучше и что, опираясь на его руку, я могу идти даже быстрее. Вот так наконец я отправился на свидание со своей постелью. Кроме того, впервые за весь день я испытал настоящее удовлетворение: Гуидо работал на меня, он меня почти нес. Наконец-то я навязал ему свою волю!

По пути нам попала аптека, которая была еще открыта, и Гуидо решил, что перед сном мне следовало бы принять болеутоляющее. И он тут же сочинил целую теорию насчет боли и нашем преувеличенном ее восприятии: боль становится еще сильнее из-за отчаяния, в которое она нас повергает. Купленный нами пузырек положил начало моей коллекции лекарств, и было совершенно естественно, что его выбрал для меня Гуидо.

Чтобы подвести более прочную базу под свою теорию, Гуидо высказал предположение, что я страдаю от этой боли уже несколько дней. Меня даже

огорчило, что на этот раз я не могу ему угодить. Я заявил, что нынче вечером у Мальфенти я не чувствовал никакой боли. По-видимому, в тот момент, когда осуществлялась моя давнишняя заветная мечта, я просто не мог ощущать боль.

И, чтобы придать своим словам искренность, я и в самом деле захотел сделаться таким, каким я себя ему изображал, и я мысленно повторил несколько раз: «Я люблю Аугусту, я не люблю Аду. Я люблю Аугусту, и сегодня вечером я осуществил свою давнюю мечту».

Так мы шли в сиянии лунной ночи. Наверно, Гуидо устал меня тащить, потому что наконец замолчал. Тем не менее он вызвался уложить меня в постель. Но я отказался и вздохнул с облегчением, как только закрыл за собой дверь собственного дома. По всей вероятности, с таким же облегчением вздохнул и Гуидо.

Я поднялся по лестнице, прыгая через четыре ступеньки, и буквально через десять минут был уже в постели. Я заснул очень быстро, и в те немногие минуты, которые предшествовали сну, вспоминал не Аду, не Аугусту, а Гуидо – такого доброго, заботливого и терпеливого. Я, разумеется, не забыл о том, что совсем недавно хотел его убить, но это не имело никакого значения: то, о чем никто не знает и что не оставило никаких следов, – того просто как бы и не было.

На следующий день я отправился к Мальфенти в некоторой нерешительности. Я не был уверен в том, что все придадут взятым мною вчера обязательствам то значение, которое считал своим долгом придавать им я. Но оказалось, что значение придавалось именно такое. И Аугуста тоже помнила, что она теперь невеста, и даже более твердо, чем я думал.

Период жениховства оказался очень тяжелым. У меня осталось от него такое ощущение, будто за это время я множество раз отменял нашу помолвку, а потом с трудом ее возобновлял, и меня удивляет, что никто ничего не заметил. Ни разу я не был полностью уверен, что в конце этого пути меня ждет брак, хотя вел себя так, как и подобает влюбленному жениху. Я целовал и обнимал сестру Ады каждый раз, когда мне представлялась возможность. Аугуста терпела мои нападения, так как считала, что таков ее долг невесты. И я вел себя относительно прилично только потому, что синьора Мальфенти почти не оставляла нас одних.

Моя невеста оказалась далеко не такой некрасивой, как я полагал, и главное ее очарование я открыл, когда впервые ее поцеловал: ее румянец! В том месте, куда я ее целовал, сразу же вспыхивало в мою честь маленькое пламя, и я целовал ее скорее с любознательностью экспериментатора, чем со страстью влюбленного.

Однако я испытывал к ней и влечение, которое сделало несколько более сносным весь этот тягостный период. Было бы очень плохо, если б Аугуста и ее мать позволили этому влечению вспыхнуть и сгореть за один раз, как мне часто этого хотелось. Чем бы я тогда жил дальше? А так благодаря желанию я чувствовал, поднимаясь по лестнице их дома, то же самое нетерпение, которое испытывал, направляясь на завоевание Ады. Нечетное число ступенек обещало мне, что именно сегодня я покажу Аугусте, что такое помолвка, о которой она

так мечтала. Я мечтал о насилии, которое вернуло бы мне чувство свободы. Только этого я и желал, и очень странно, что Аугуста, поняв, чего я добиваюсь, сочла это проявлением страстной любви.

В моих воспоминаниях этот период делится на два этапа. На первом этапе синьора Мальфенти либо поручала надзирать за нами Альберте, либо загоняла в гостиную, где сидели мы с Аугустой, маленькую Анну с ее гувернанткой. Ада не присоединялась к нам никогда, и я решил, что так оно даже лучше. Но в то же время я смутно помню, что однажды подумал о том, какое бы я почувствовал удовлетворение, если б поцеловал Аугусту в присутствии Ады. Один бог знает, с какой страстью я бы это сделал!

Второй этап начался с того момента, когда Гуидо официально обручился с Адой и синьора Мальфенти, будучи женщиной практичной, стала сводить обе пары в одной гостиной, чтобы они следили друг за другом.

Помню, что на первом этапе Аугуста была мною совершенно довольна. В те минуты, когда я оставлял свои атаки, я делался чрезвычайно разговорчив. Это была неодолимая внутренняя потребность. Желая как-то ее обосновать, я внушил себе мысль, что раз уж я женюсь на Аугусте, я должен заняться ее воспитанием. И я стал учить ее любви, нежности и прежде всего верности. Не помню точно, в какой форме я преподносил ей свои проповеди; некоторые из этих проповедей Аугуста, запомнившая их на всю жизнь, мне потом напомнила. Она слушала меня внимательно и покорно. Однажды в пылу красноречия я заявил, что если ей когда-нибудь станет известно о моей измене, она имеет полное право отплатить мне той же монетой. Она негодуя запротестовала и сказала, что не сможет мне изменить даже с моего разрешения и что факт моей измены не даст ей никакой другой свободы, кроме свободы плакать.

Я думаю, что эти проповеди, которые я произносил лишь для того, чтобы что-нибудь сказать, оказали на мой брак самое благотворное воздействие. Аугуста приняла их совершенно всерьез. Ее верность ни разу не подверглась испытанию, потому что ни об одной моей измене она никогда не узнала, но ее любовь и нежность остались неизменными в течение всех долгих лет нашей совместной жизни, – то есть она вела себя именно так, как я когда-то заставил ее пообещать мне себя вести.

Когда Гуидо обручился с Адой, начался второй этап моего жениховства, ознаменованный очередным твердым решением, которое звучало так: «Вот я и вылечился наконец от моей любви к Аде». До той поры я думал, что для того, чтобы излечиться, будет достаточно одного только румянца Аугусты, но, видимо, совершенно вылечиться просто нельзя. Теперь мысль об этом румянце заставляла меня думать о том, что нечто подобное происходит сейчас и у Ады с Гуидо, и этого было достаточно, чтобы я перестал желать Аугусту.

Желание изнасиловать Аугусту относится к первому этапу. На втором я был возбужден куда меньше. Синьора Мальфенти знала, что делала, когда решила избавиться себя от хлопот, поручив нас надзору друг друга.

Помню, что как-то раз я в шутку принялся целовать Аугусту в присутствии Ады с Гуидо. Но, вместо того чтобы как-то поддержать мою шутку, Гуидо, в свою очередь, принялся целовать Аду. Мне показалось это с его стороны не

очень деликатным, потому что, в отличие от меня, который из уважения к ним целовал Аугусту совершенно целомудренно, он целовал Аду в рот, причем так и впивался в него губами. Я уверен, что к тому времени я уже привык относиться к Аде как к сестре, но не был готов к тому, чтобы видеть подобное с ней обращение. Сомневаюсь также, чтобы подобное обращение с сестрой понравилось бы и настоящему брату.

Поэтому я никогда больше не целовал Аугусту в присутствии Гуидо. Он же как-то попытался еще раз привлечь к себе Аду в моем присутствии, но тут уж запротестовала она сама, и больше он таких попыток не делал.

Я очень смутно помню все эти вечера, которые мы столько раз проводили вместе. Сцена, повторявшаяся бесчисленное множество раз, запечатлелась в моей памяти в таком виде: мы все четверо сидим за изящным венецианским столиком, на котором горит большая керосиновая лампа, затененная зеленым матерчатым экраном. Этот экран погружает в полумрак все, кроме вышивок, над которыми работают обе девушки: Ада – держа шелковый лоскут в руках, Аугуста – натянув его на маленькие круглые пальцы. Я вижу разглагольствующего Гуидо, причем должен сказать, что очень часто один лишь я соглашался с его суждениями. Помню я и головку Ады – с темными, слегка вьющимися волосами, которые в этом желто-зеленом свете приобретали какой-то странный оттенок.

Об этом свете, а также о цвете этих волос у нас однажды зашел спор. Гуидо, который ко всему еще и умел рисовать, стал объяснять нам, как следует анализировать цвет. Я на всю жизнь запомнил преподанный им урок и еще и сейчас, когда хочу понять цвет пейзажа, щурю глаза до тех пор, пока не исчезнут все контуры, а останутся одни лишь сияющие краски, которые потом сгустятся в единый цвет, – это и есть настоящий цвет пейзажа. Но всякий раз, когда я занимаюсь этим анализом, сразу же после реально существующих образов на моей сетчатке – словно в силу какой-то физической реакции – появляется желто-зеленый свет и волосы, на которых я в первый раз научился различать цвета.

Не могу забыть один вечер, который отличался от прочих тем, что Аугуста тогда впервые выказала ревность, а я сразу же после этого позволил себе одну постыдную бестактность. Как-то раз – просто ради шутки – Гуидо и Ада сели далеко от нас, в другом конце гостиной, у столика в стиле Людовика XIV. И вскоре у меня заболела шея: для того, чтобы иметь возможность с ними говорить, мне все время приходилось поворачивать голову. Аугуста сказала:

– Оставь их в покое. Они ведь действительно любят друг друга.

И тогда, повинувшись какой-то инерции мысли, я сказал ей шепотом, что она не должна принимать эту любовь всерьез, потому что на самом деле Гуидо не любит женщин. Мне казалось, что таким образом я оправдал свое вмешательство в разговор влюбленных. Но в сущности-то это было, конечно, грубой нескромностью – рассказать Аугусте о тех разговорах насчет женщин, которые Гуидо вел только со мной и никогда ни с кем из их семьи. Воспоминание об этом поступке терзало меня несколько дней, в то время как мысль о том, что я хотел убить Гуидо, не мучила меня (должен признаться) и

одного часа. Но убить – пусть даже предательски – это более мужественный поступок, чем повредить приятелю, сообщив другим признание, которое он доверил только тебе.

Уже тогда Аугуста была неправа, ревнуя меня к Аде. Не Аду я хотел видеть, когда выкручивал себе шею. Это Гуидо своей болтовней помогал мне коротать долгие вечера. В ту пору я уже любил его и значительную часть дня проводил в его обществе. Меня привязывала к нему также и благодарность за то, что он относился ко мне с уважением и старался внушить это уважение другим. Даже Ада слушала меня теперь с бо льшим вниманием.

Каждый вечер я с некоторым нетерпением ожидал удара гонга, который сзывал нас к ужину, и главное, что осталось у меня в памяти от этих ужинов, – это мое вечное несварение желудка. Я слишком много ел, так как чувствовал себя обязанным проявлять какую-то активность. За этими трапезами я не жалел для Аугусты нежных слов – в той мере, в какой мне позволял это мой набитый рот, и у ее родителей, должно быть, создалось неприятное впечатление, будто моя животная прожорливость несколько ослабляет мою великую любовь. Они очень удивились, когда увидели, что из свадебного путешествия я вернулся уже без этого волчьего аппетита. Он исчез, как только исчезла необходимость разыгрывать страсть, которой я не чувствовал. Не мог же я показать родителям невесты, что я к ней совершенно холоден, – и это тогда, когда я вот-вот должен был отправиться с ней в постель! Аугуста особенно любит вспоминать нежные словечки, которые шептал я ей за столом. Между двумя кусками мне, по-видимому, действительно удавалось сочинить нечто из ряда вон выходящее, и я всегда удивляюсь, когда она напоминает мне мои же слова, – мне просто не верится, что я мог придумать такое!

Даже мой тесть, хитрец Джованни, дал себя провести, и когда он желал привести пример великой страсти, он всегда вспоминал мою великую любовь к его дочери, то есть к Аугусте. И он довольно улыбался, так как был хорошим отцом, но презирал меня за эту страсть еще больше, ибо считал, что тот не мужчина, кто вверяет свою судьбу в руки женщины и к тому же не замечает, что на свете есть множество других женщин, кроме его жены. Из чего следует, что обо мне судили не всегда справедливо.

А вот моя теща, та не поверила в мою любовь даже тогда, когда, исполнившись доверия, успокоилась уже и сама Аугуста.

Долгие годы она сверлила меня недоверчивым взглядом, снедаемая сомнениями относительно участи любимой дочери. Именно это убеждает меня в том, что не кто иной, как она руководила мною в дни, предшествующие моей помолвке. Уж она-то, сумевшая понять мою душу лучше, чем я сам, никак не могла ошибиться!

Настал наконец день моей свадьбы, и вот тогда-то меня в последний раз одолели сомнения. Я должен был быть у невесты в восемь утра, но без четверти восемь я еще лежал в постели, яростно курил и смотрел в окно, за которым смеялось и сияло солнце – первое солнце этой зимы. Я раздумывал над тем, как мне бросить Аугусту. Сейчас, когда я не так уж и нуждался в том, чтобы быть поближе к Аде, бессмысленность моего брака сделалась особенно очевидной.



Ничего бы не случилось страшного, если бы я просто не явился к назначенному часу. И потом, Аугуста очень мила, пока она невеста, но кто знает, как поведет она себя на следующий день после свадьбы! А что, если она сразу же назовет меня дураком за то, что я так глупо попался?

К счастью, за мной зашел Гуидо, и я не только не оказал ему никакого сопротивления, но даже извинился за свое опоздание, сказав, что считал, будто свадьба назначена на другой час. Тут Гуидо принялся говорить о себе и о том, сколько раз и он тоже по рассеянности опаздывал на свидания. Даже в том, что касается рассеянности, он не желал мне уступить, и, чтобы получить наконец возможность выйти из дому, мне пришлось его прервать. Так получилось, что я бежал на свою свадьбу бегом.

Но все равно я прибыл с большим опозданием. Никто не сказал мне ни слова упрека, и все, кроме невесты, удовлетворились объяснениями, которые вместо меня дал Гуидо. Аугуста была так бледна, что у нее даже посинели губы. Я не мог сказать, что любил ее, но уж зля я ей не желал определенно. Поэтому я попытался исправить содеянное и имел глупость объяснить ей свое опоздание сразу тремя причинами. Их было, конечно, слишком много, и это настолько ясно говорило, о чем я думал, лежа в своей постели и глядя на зимнее солнце, что пришлось немного задержать отъезд в церковь, чтобы дать невесте время прийти в себя.

Свое «да» перед алтарем я произнес очень рассеянно, так как, обуреваемый живым сочувствием к Аугусте, придумывал в это время новое, четвертое объяснение, которое казалось мне лучше всех предыдущих.

Но когда мы вышли из церкви, я заметил, что краски вернулись на лицо Аугусты. Это меня немного раздосадовало: ей вовсе не следовало так уж полагаться на мое «да». И я приготовился дать ей суровый отпор в случае, если она оправится настолько, что обзовет меня дураком; за то, что я так глупо попался.

Но вместо этого она, воспользовавшись моментом, когда мы уже у них дома остались одни, сказала мне со слезами:

– Я никогда не забуду, что ты, не любя меня, все-таки на мне женился!

Я не стал возражать, потому что все было настолько очевидно, что дальше просто некуда. Исполненный сострадания, я просто ее поцеловал.

Больше мы никогда к этому не возвращались, потому что брак – вещь куда более простая, чем помолвка. Будучи женатыми, люди перестают говорить о любви, а если и возникает такая потребность, то животная страсть быстро заставляет их умолкнуть. Эта животная страсть может очеловечиться, то есть усложниться и фальсифицироваться, и тогда нам удастся, склонившись над лицом женщины, вызывать усилием воображения на ее волосах те блики, которых там нет. Закрываешь глаза, и женщина превращается в другую, чтобы снова стать прежней, когда все будет кончено. И уже к ней, прежней, обращена твоя благодарность, которая тем больше, чем большим успехом увенчались усилия твоего воображения. И потому, если мне суждено родиться еще раз – мать-природа способна на все! – я снова соглашусь жениться на Аугусте, но уж обручиться с ней – ни за что!

На вокзале Ада подставила мне щеку для братского поцелуя. Только тогда я ее и заметил – до этого меня все время отвлекало множество людей, которые пришли нас проводить, – и, заметив, подумал: «Это все ты, твоих рук дело!» Я приблизил губы к ее бархатистой щеке, тщательно следя за тем, чтобы ее не коснуться. Впервые за целый день я почувствовал удовлетворение, потому что я вдруг понял, какую выгоду принес мне этот брак: я отомстил Аде за все, отказавшись воспользоваться единственным представившимся мне случаем ее поцеловать. Потом, когда поезд уже тронулся и я уселся подле Аугусты, у меня возникло сомнение в том, что я поступил правильно. Мне пришло в голову, что это может поставить под угрозу мою дружбу с Гуидо. Но мне стало еще тяжелее, когда я подумал, что Ада, может, даже и не заметила, что я не поцеловал подставленную мне щеку.

Она заметила, но я узнал об этом много месяцев спустя, когда она, в свою очередь, уезжала с Гуидо с этого же вокзала. Она перецеловала всех. Мне же с большой сердечностью протянула руку. Я холодно ее пожал. Ее месть слишком запоздала: обстоятельства к тому времени совершенно переменились. Со времени моего возвращения из свадебного путешествия между нами установились отношения брата с сестрой, и было совершенно ничем не оправдано то, что она обошла меня своим поцелуем.

## **VI. Жена и любовница**

В моей жизни было несколько периодов, когда я готов был поверить, что ступил наконец на стезю здоровья и счастья. Но никогда эта вера не была столь сильна, как во времена моего свадебного путешествия и в течение нескольких недель после нашего возвращения домой. Началось все с поразившего меня открытия: я любил Аугусту так же, как она любила меня. Сначала я этому не поверил и, наслаждаясь счастливым днем, ждал, что вот наступит завтра и все переменится. Но дни шли за днями и во всем походили друг на друга: одинаково безмятежные, до краев наполненные предупредительностью Аугусты и – что всего удивительнее – моею тоже. Каждое утро я вновь находил в Аугусте все ту же трогательную привязанность, а в себе – все то же благодарное чувство, которое если и не было любовью, то очень на нее походило. Кто бы мог подумать, что все так обернется, в ту пору, когда я ковыляя от Ады к Альберте, чтобы в конце концов остановиться на Аугусте? Теперь я находил, что вел себя вовсе не как слепой дурак, идущий на поводу у чужой воли, наоборот! Я был хитрейший из хитрых! Видя мое удивление, Аугуста говорила:

– Чему ты удивляешься? Разве ты не знал, что так уж устроен брак? Даже я, такая неученая в сравнении с тобой, и то знала!

Трудно сказать, что родилось в моей душе раньше: любовь или страстная надежда стать когда-нибудь похожим на Аугусту, которая являла собой олицетворенное здоровье. В период помолвки я не заметил этого необыкновенного здоровья, так как был с головой погружен, во-первых, в свои переживания, а во-вторых, в наблюдения за Адой и Гуидо. Керосиновой лампе их гостиной никогда не удавалось осветить жидкие волосы Аугусты настолько,

чтобы я их не заметил.

Что там ее румянец! Когда он исчез – так же естественно, как исчезают краски зари под прямыми лучами солнца, – Аугуста уверенно ступила на путь, по которому прошло уже столько ее сестер из тех, для кого главное – закон и порядок, а без них им не нужно ничего. И хотя я знал, что уверенность ее имела под собой весьма шаткое основание, ибо покоилась на мне, я любил, прямо-таки обожал эту ее уверенность! Я чувствовал себя обязанным относиться к ней с той же сдержанностью, с какой я относился к спиритизму. Раз уж могли существовать духи, почему бы не существовать и вере в жизнь!

И тем не менее это меня поражало: из каждого ее слова, каждого поступка вытекало, что в глубине души она верила, что будет жить вечно! И не то чтобы она так прямо это и говорила: она даже удивилась, когда я, всегда раздражавшийся при виде чужих заблуждений и только ее заблуждения полюбивший, счел однажды необходимым напомнить ей о краткости нашего существования. К чему? Она и так знала, что всем нам придется умереть, но это обстоятельство никак не меняло того факта, что теперь, когда мы поженились, мы всегда будем вместе, вместе и вместе! Иными словами, она и думать не желала о том, что люди соединяются на такой короткий, такой ужасно короткий срок, что просто удивительно, как они могут говорить друг другу «ты»: ведь они не знали друг друга целую вечность и вскоре вновь расстанутся на целую вечность. Я понял наконец, что такое абсолютно здоровый человек, когда догадался, что настоящее для Аугусты было реальным до осязаемости: в нем можно было выбрать себе уголок, забиться в него и пригреться. Я добился того, чтобы меня тоже туда допустили, и так в нем и остался, твердо решив не смеяться ни над собой, ни над Аугустой: желание все осмеивать – это тоже болезнь, а я должен был быть как можно осторожнее, чтобы не заразить ту, которая мне доверилась. Из-за того, что я старался уберечь ее, мне и самому некоторое время удавалось выглядеть совершенно здоровым.

Аугуста прекрасно знала о всем том, что повергает нас в отчаяние, но в ее руках все эти факты словно изменяли свою природу. Да, Земля вращается, но это еще не причина для морской болезни. Наоборот! Земля вращается, но ведь все вокруг остается на своих местах! И как раз все эти остающиеся на своих местах вещи и имеют громадное значение: обручальное кольцо, драгоценности, платья – и зеленое, и черное, и визитное, которое по возвращении домой вешалось в шкаф, и вечернее, которое ни в коем случае нельзя было надевать днем, а также тогда, когда я бывал не во фраке. Строго соблюдались часы сна и принятия пищи. Они существовали вне всяких сомнений, эти часы, и тоже всегда оставались на своих местах.

По воскресеньям она ходила к мессе, и я сопровождал ее просто для того, чтобы посмотреть, как она будет переносить зрелище страданий и смерти. Но они для нее просто не существовали! Из церкви она возвращалась исполненная умиротворения, которого ей хватало на целую неделю! Ходила она в церковь и по некоторым праздникам, которые держала в памяти. И это все. В то время как если б я был верующим, я был бы счастлив проводить в церкви целые дни.

Кроме небесных, для Аугусты существовало и множество земных властей,

обеспечивавших ей спокойную жизнь. Таковыми, например, были власти австрийские или итальянские, которые следили за порядком на улицах и в домах, и я считал за лучшее разделить с ней почтение, которое она к ним питала. И врачи тоже были властями: они учились специально для того, чтобы спасти нас, если, не дай бог, к нам пристанет какая-нибудь болезнь. К помощи этих властей я прибегал каждодневно, она же – никогда. Но именно поэтому – поразила меня смертельная болезнь – я сразу понял бы, какая меня ждет участь, а она и тут продолжала бы верить, будто с помощью тех властей, что на небе, а также тех, что на земле, ей еще удастся как-нибудь выкарабкаться.

Бот я пытаюсь анализировать ее здоровье, и из этого ничего не выходит, потому что я замечаю, что этот анализ превращает ее здоровье в болезнь. И во мне даже рождается сомнение: а уж не нуждалось ли это здоровье в лечении или просвещении? Но за все те годы, что я прожил с ней рядом, такое сомнение не возникло у меня ни разу.

А какое значение придавалось мне в этом ее маленьком мирке! Я должен был высказывать свою волю по любому поводу – касалось ли это выбора блюд, одежды, общества или круга чтения. Я принужден был развивать бешеную деятельность, и это меня не раздражало. Вместе с ней я работал над созданием патриархальной семьи и сам становился тем самым патриархом, которых всегда так ненавидел и которые теперь казались мне чуть ли не символом здоровья. Ведь это совсем разные вещи – быть самому патриархом или оказывать почести кому-то другому, претендующему на это почетное звание. Я жаждал обрести здоровье, оставив болезни всем не патриархам, и порой – особенно часто это бывало во время нашего путешествия – даже не без охоты напускал на себя торжественный вид конной статуи.

Во время этого путешествия мне не всегда легко было следовать предложенному мне примеру. Аугуста желала осмотреть все – словно наше путешествие преследовало образовательные цели. Мало того, что мы были в Палаццо Питти, нам надо еще было обойти все его бесчисленные залы и по крайней мере на минутку задержаться перед каждым произведением искусства. Я отказался двинуться дальше первого зала и взял на себя единственный труд: придумать предлог, оправдывающий мою лень. Проведя полдня перед портретами основателей дома Медичи, я открыл, что они были похожи на Карнеги и Вандербильда. Невероятно! А ведь они были моей расы! Аугуста не разделяла моего изумления. Она точно знала, что такое *yankee*<sup>18</sup>, но не совсем точно – что такое я.

Правда, вскоре не выдержало и ее здоровье, и ей пришлось отказаться от музеев. Я рассказал ей, что однажды в Лувре, очутившись среди множества произведений искусства, я пришел в такую ярость, что чуть не разнес на куски Венеру. Аугуста примирительно заметила:

– Ну и тем лучше, что с музеями людям приходится сталкиваться только во время свадебного путешествия и больше уже никогда.

Жизни и в самом деле не хватает монотонности музеев. Бывают дни,

---

18 Янки (англ. ).

достойные того, чтобы их заключили в рамку, но они полны звуков, которые этому мешают, а потом, кроме цвета и линий, в них еще есть настоящий свет, тот, который жжется и никогда не наскучивает.

Здоровье побуждает человека к деятельности и заставляет его взваливать на себя массу хлопот. Когда было покончено с музеями, начались покупки. Аугуста знала нашу виллу – хотя никогда там не жила – куда лучше меня: ей было известно, что в одной комнате не хватает зеркала, в другой – ковра, а в третьей есть место для небольшой статуи. Она накупила мебели на целую гостиную и из каждого города, в котором мы останавливались, была отправлена по крайней мере одна посылка. Мне казалось, что было бы и разумнее и удобнее сделать все эти приобретения в Триесте. Ведь так нам приходилось думать о пересылке, о страховке, о таможенных операциях.

– Разве ты не знаешь, что товары должны путешествовать? Ведь ты же коммерсант! – смеялась Аугуста.

Она была почти права. Но я возразил:

– Товары путешествуют только в тех случаях, когда их хотят продать и заработать. Если же не преследовать этой цели, нечего беспокоить ни себя, ни их.

Но предприимчивость была одним из тех качеств, которые я больше всего в ней любил. Она была прелестна, эта наивная предприимчивость. Наивная, потому что нужно совершенно не знать истории, чтобы на основании одной только покупки прийти к выводу о выгодности всей операции: судить о том, насколько она была выгодна, можно только при продаже.

Мне казалось, что я выздоравливаю. Мои раны уже не так кровоточили. Я был в ту пору неизменно весел. Можно было подумать, что в те незабываемые дни я взял на себя перед Аугустой обязательство быть веселым! Надо сказать, что в таком случае она была единственная, чьего доверия я не обманул – разве лишь на какие-то короткие мгновения, когда жизни удавалось меня пересмеять. Наши отношения как были, так и остались улыбающимися, потому что я всегда посмеивался над ней, считая, что она этого не видит, а она – надо мной, ибо приписывала мне большую ученость и множество заблуждений, которые надеялась постепенно рассеять. Я старался выглядеть веселым даже тогда, когда меня снова скрутила болезнь. Таким веселым, словно то была не боль, а щекотка.

В течение нашего долгого путешествия по Италии я, несмотря на свое вновь обретенное здоровье, не сумел избежать и некоторых неприятностей. Мы уехали, не взяв с собой рекомендательных писем, и у меня часто бывало ощущение, будто среди окружавших нас незнакомцев находится множество врагов. Этот страх был смешон, но я ничего не мог с собой поделать. Любой мог пристать ко мне, оскорбить или – того хуже – оклеветать, и вступить за меня было некому!

Однажды я пережил настоящий приступ этого страха, но его, по счастью, никто, даже Аугуста, не заметил. Я имел обыкновение покупать все газеты, которые предлагали мне на улице. И вот когда я однажды остановился перед газетным прилавком, мне вдруг пришло в голову, что продавец просто по злобе

может арестовать меня как вора, потому что купил я у него только одну газету, а под мышкой держал множество других, купленных в другом месте и даже еще не развернутых. И я ударился в бегство, а за мной побежала Аугуста, которой я никак не объяснил причину такой торопливости.

Я подружился только с извозчиком и гидом, в обществе которых я мог по крайней мере не бояться, что меня обвинят в глупых кражах.

Между мной и извозчиком было даже кое-что общее. Он очень любил вина Кастелли и сказал мне, что из-за этого у него время от времени опухают ноги. В таких случаях он ложился в больницу и, подлечившись, выходил оттуда, напутствуемый советами отказаться от спиртного. И он давал себе обещание не пить, именуя его железным, ибо материализовал его в узле, который завязывал на металлической цепочке своих часов. Но когда я с ним познакомился, цепочка свободно болталась на его жилете, без всяких узлов. Я звал его с собой в Триест. Я описывал ему вкус нашего вина, столь непохожего на местное, чтобы убедить его в том, что жестокий курс лечения будет иметь и там точно такой же исход. Но он и слышать об этом не хотел и отказался, хотя при этом на лице его проступила ясно видимая печать сожаления.

К гиду же я привязался потому, что он показался мне значительно учнее своих коллег. Не трудно знать историю лучше меня, но даже Аугуста с ее дотошностью и с ее бедкером<sup>19</sup> не раз подтверждала точность сообщаемых им сведений. К тому же он был молод и по улицам, уставленным статуями, бегал бегом.

Когда я потерял этих двух друзей, мы уехали из Рима. Извозчик, получив от меня крупную сумму, доказал, что порой вино бросается ему и в голову, и врезался вместе с нами в какое-то весьма прочное древнеримское строение. Гид же в один прекрасный день вздумал уверять нас в том, что древним римлянам было прекрасно известно электричество и они им широко пользовались. И он продекламировал какие-то латинские стихи, которые должны были нас в этом убедить.

Но тут меня одолела еще одна, не очень, правда, серьезная болезнь, от которой мне уже не суждено было излечиться. В общем-то пустяк: просто страх, страх старости и, главное, страх смерти. Я думаю, эта болезнь родилась из особой формы ревности. Я знал, что, пока я жив, Аугуста, конечно, мне не изменит. Но я представлял себе, что едва я умру, и меня похоронят, и позаботятся о том, чтобы могила содержалась в порядке и чтобы в церкви отслужили все необходимые службы, как она тут же оглядится и выберет мне преемника, которого поселит в том же здоровом и размеренном мире, которым сейчас наслаждался я. Ведь не погибать же ее великолепному здоровью только оттого, что умер я! Я был исполнен такой веры в это здоровье, что мне казалось, будто погибнуть оно может только в том случае, если в него на полном ходу врежется целый железнодорожный состав.

Помню как-то вечером в Венеции мы плыли по одному из тех каналов, чье

---

<sup>19</sup> Бедкер – туристический справочник-путеводитель, издававшийся специализировавшейся на такого рода изданиях фирмой «Бедкер».

глубокое безмолвие нарушается время от времени огнями и криками, врывающимися с улиц, которые неожиданно открываются по его сторонам. Аугуста, как всегда, глядела направо и налево и аккуратно фиксировала все, что видела: сад, зеленый и свежий, поднявшийся на грязной земле, оставленной отступившей водой, колокольню, отражающуюся в мутной воде, темную длинную улицу, в конце которой открывалось море людей и огней. Я же под покровом темноты предавался унылым размышлениям о своей судьбе. Я сказал Аугусте, что время идет и скоро она вновь проделает то же самое путешествие, но уже с другим. Я был так в этом уверен, что у меня было ощущение будто я сообщаю об уже случившемся факте. И мне показалось в высшей степени неуместным, что она вдруг ударилась в слезы, отрицая истинность сказанного. Может, она не так меня поняла и думала, что я приписываю ей намерение меня убить? Ни в коем случае! И, чтобы быть лучше понятым, я описал ей возможный вариант моей смерти: мои ноги, кровообращение в которых уже сейчас было неудовлетворительным, поразит гангрена, и она будет распространяться все выше и выше, покуда не захватит какой-нибудь жизненно важный орган, без которого человек вынужден навеки закрыть глаза. Глаза мои закроются, и прощай, патриарх! Придется ей срочно подыскать себе другого.

Она продолжала всхлипывать, и этот плач среди безмерной печали канала показался мне исполненным глубокого смысла. Может, его породило отчаяние, вызванное тем, что она вдруг ясно увидела всю жестокую бесчеловечность своего здоровья? Но тогда весь мир должен был бы рыдать вместе с нею! Однако позже я понял, что она и понятия не имела о том, что такое здоровье. Здоровье ведь не анализирует себя и никогда не глядится в зеркало. Только мы, больные, знаем кое-что о себе самих.

Именно тогда она и рассказала мне, что полюбила меня еще до того, как со мной познакомилась. Она полюбила меня, как только услышала мое имя, которое ее отец сопровождал следующей характеристикой: Дзено Козини, простак, который каждый раз таращит глаза, услышав о какой-нибудь коммерческой уловке, и тут же записывает услышанное в записную книжку, которую вечно теряет. И если я не заметил, как она смутилась при первой нашей встрече, то это значит, что и я тоже был смущен.

Я вспомнил, что при первой встрече с Аугустой я действительно был сбит с толку ее некрасивостью, ибо был уверен, что все четыре девушки с именами на А, которых я найду в этом доме, будут красавицами. Итак, я узнал, что она любила меня очень давно, но что это доказывало? И я решил не доставлять ей удовольствия и не отказываться от своих слов. Когда я умру, она, конечно же, выйдет за другого! Уняв слезы, она еще теснее прижалась ко мне и, неожиданно рассмеявшись, сказала:

– Да где я найду тебе заместителя? Разве ты не видишь, какая я некрасивая?

И в самом деле, похоже было на то, что в течение некоторого времени я мог разлагаться совершенно спокойно!

Но мне так и не удалось избавиться от страха перед старостью – все-таки я боялся, что моя жена достанется другому. Этот страх несколько не уменьшился,

когда я ей изменил, и нисколько не увеличился при мысли, что я таким же образом могу потерять и любовницу. Это было совсем другое дело! И когда меня в очередной раз одолевал этот страх, я обращался за утешением к Аугусте, словно ребенок, который протягивает маме для поцелуя ушибленную ручку. Она всегда умела найти новые слова утешения. Во время свадебного путешествия она пообещала мне по крайней мере еще тридцать лет молодости и здоровья и сейчас обещает столько же. Но я-то знал, что счастливые недели нашего свадебного путешествия значительно приблизили меня к кошмарным гримасам агонии. Аугуста могла говорить все, что угодно, – счет был предъявлен сразу же: каждая неделя ровно на неделю приближала меня к агонии.

Когда я заметил, что скорбь по этому поводу одолевает меня слишком часто, я перестал утомлять Аугусту одними и теми же словами и, желая дать ей понять, что нуждаюсь в утешении, ограничивался тем, что шептал: «Бедный Козини!» Ей сразу становилось ясно, что именно меня мучает, и она приходила мне на помощь со своей великой любовью. Благодаря этому мне как-то удалось воспользоваться ее утешением в связи с терзаниями совершенно другого рода. Однажды, мучаясь мыслью, что я ей изменил, я совершенно нечаянно прошептал: «Бедный Козини!» И выяснилось, что я прекрасно сделал, ибо даже в этом случае ее утешение оказалось для меня драгоценным.

По возвращении из свадебного путешествия меня ждала приятная неожиданность: никогда еще я не жил в таком теплом и комфортабельном доме. Аугуста завела в нем все те удобства, которые имела в собственном, а кроме того, придумала еще множество новых. Ванная, которая, сколько я себя помню, всегда была расположена в глубине коридора, чуть ли не в полукилометре от моей комнаты, примыкала теперь к нашей спальне и была снабжена дополнительным количеством кранов. Комнатка рядом со столовой превратилась в кофейную. В этом обитом коврами и уставленном большими кожаными креслами уголке мы теперь каждый день проводили часок после завтрака. Против моего желания она была снабжена всем необходимым для курения. Даже мой маленький кабинет, несмотря на все мои протесты, претерпел некоторые изменения. Я боялся, что возненавижу его после этого, но оказалось наоборот: я сразу же понял, что только так в нем и можно было жить. Аугуста расположила в нем освещение таким образом, что я мог читать и сидя за столом, и развалившись в кресле, и лежа на диване. Для игры на скрипке был устроен пюпитр, снабженный маленькой лампочкой, которая освещала ноты так, что свет ее не резал глаз. Также и здесь, опять-таки против моей воли, было предусмотрено все для того, чтобы я мог спокойно курить.

В связи со всеми этими перестройками в доме был некоторый беспорядок, нарушавший спокойное течение Жизни. В глазах Аугусты, работавшей для вечности, эти временные неудобства, по-видимому, не имели никакого значения, но я смотрел на это совершенно иначе. И я энергично воспротивился, когда она решила устроить у нас в саду прачечную, что влекло за собой постройку небольшого дома. Аугуста уверяла, что собственная прачечная – это



гарантия здоровья *bebe*<sup>20</sup>. Однако *bebe* покуда не было, и я не видел никакой необходимости терпеть от него неудобства еще до его появления на свет. Но Аугуста принесла в мой старый дом инстинкт, который шел извне. И в своей любви была похожа на ласточку, которая прежде всего думает о гнезде.

Правда, и я тоже всячески демонстрировал свою любовь и приносил домой цветы и драгоценности. Жизнь моя после женитьбы резко переменялась. После слабого сопротивления я отказался от привычки располагать временем по своему усмотрению и приноровился к введенному Аугустой жесткому расписанию. С этой точки зрения работа Аугусты по моему воспитанию имела блистательный успех. Однажды, вскоре после нашего возвращения из свадебного путешествия, я позволил себе – без всякой, впрочем, задней мысли – не явиться домой к обеду; перекусив в баре, я до вечера шатался по улицам. Когда, уже с наступлением ночи, я пришел домой, оказалось, что Аугуста даже не обедала и была едва жива от голода. Она не упрекнула меня ни единым словом, но и не согласилась с тем, что вела себя неправильно. Очень мягко, но решительно она заявила, что если бы я даже ее предупредил, она все равно ждала бы меня к обеду. И она вовсе не шутила. Другой раз, поддавшись уговорам одного своего приятеля, я снова прогулял весь день и явился домой в два часа ночи. Аугуста не спала, ожидая меня, и стучала зубами от холода, так как у нее потухла печка. Следствием этого происшествя было ее легкое недомогание, которое заставило меня на всю жизнь запомнить преподанный мне урок.

В один прекрасный день я пожелал сделать ей еще один подарок: начать работать. Она очень этого хотела, да я и сам считал, что работа мне будет полезна для здоровья. Ведь ясно же, что болеешь меньше, когда у тебя для этого нету времени! И я отправился в свою контору, и если не смог долго там высидеть, то это уж не моя вина. Я взялся за работу совершенно серьезно и с искренним смирением. Я и не думал претендовать на то, чтобы участвовать в управлении делами, я попросил только, чтобы мне дали вести гроссбух. Эта толстая книга, в которой записи были расположены в столь же стройном порядке, как дома и улицы, внушала мне такое уважение, что когда я приступил к работе, у меня дрожали руки.

Сын Оливи, молодой человек в очках, одетый скромно, но элегантно и превзошедший все коммерческие науки, занялся моим обучением, и на него я не могу пожаловаться. Правда, иногда он раздражал меня своей экономической наукой и теорией спроса и предложения, которая казалась мне куда более очевидной, чем он желал это признать. Но зато в нем хоть чувствовалось уважение к хозяину, и я был благодарен ему за это тем более, что вряд ли он усвоил его от своего отца. Видимо, уважение к собственности было составной частью его экономической науки. Он никогда не упрекал меня за ошибки, которые я часто допускал в регистрации, но, будучи склонен приписывать их моему невежеству, порой вдавался в совершенно излишние объяснения.

Однако плохо было вот что: чем больше я наблюдал за деятельностью

---

20 Ребенка (франц. ).

своей фирмы, тем больше мне хотелось принять в ней участие. В конце концов гроссбух стал совершенно четко символизировать для меня мой собственный карман, и когда я записывал сумму в разделе «дебет», мне казалось, что в руке у меня не перо, а лопаточка крупье, которая сгребает рассыпанные по игорному столу деньги.

Молодой Оливи часто давал мне просматривать поступавшую почту. Я внимательно читал ее и вначале, должен признаться, даже был уверен, что разберусь в ней лучше всех их. Как-то раз одно заурядное предложение стало вдруг предметом моего страстного интереса. Еще раньше, чем я распечатал это письмо, я почувствовал, как что-то начало расти у меня в груди, и узнал то смутное предчувствие, которое посещало меня иногда за игорным столом. Это предчувствие трудно описать. Оно состоит в каком-то внезапном расширении легких, в результате чего вы с наслаждением вдыхаете даже самый прокуренный воздух. И еще одно: вы внезапно понимаете, что вам будет еще лучше, если вы удвоите ставку. Но для того чтобы научиться понимать это предчувствие, нужна практика. Вы должны встать из-за стола с пустыми карманами и горько сожалеть о том, что не придали предчувствию значения. Вот тогда вы больше уже никогда его не упустите. Но в тот день, когда вы его упустили, вам уже ничто не поможет: карты мстят за себя. Однако не понять этого предчувствия за зеленым столом более простительно, чем спокойно сидя за гроссбухом, и я в самом деле сразу же все понял, и в душе у меня все кричало: «Немедленно купи эти сухие фрукты!»

Я робко заговорил на эту тему с Оливи, разумеется, не упоминая об осенившем меня вдохновении. Оливи ответил, что подобные дела он делал только для третьего лица, за небольшие комиссионные. Таким образом он совершенно исключал из моих дел элемент вдохновения, полностью предоставляя его третьему лицу!

Ночь укрепила меня в моем мнении: предчувствие продолжало жить во мне. Мне дышалось так хорошо, что я даже не мог заснуть. Аугуста почувствовала мое беспокойство, и мне пришлось объяснить ей, в чем дело. Она сразу же уверовала в мое предчувствие и, уже засыпая, пробормотала:

– В конце концов, разве не ты там хозяин?

Правда, утром, перед тем как я уходил, она сказала мне, немного обеспокоенная:

– Может, не стоит тебе сердить Оливи? Хочешь, я поговорю с папой?

Но я этого не захотел, потому что знал, что Джованни тоже придает предчувствиям весьма малое значение.

Я пришел в контору, полный решимости принять бой за свою идею, хотя бы ради того, чтобы как-то отомстить за сегодняшнюю бессонницу. Битва длилась до полудня, когда уже истекал срок, в который имело смысл принять предложение. Оливи остался непоколебим и положил конец спору своим обычным заявлением:

– Может быть, вы хотите уменьшить объем полномочий, которыми наделил меня ваш покойный отец?

Обидевшись, я вернулся к своему гроссбуху, твердо решив не соваться

больше ни в какие дела. Но вкус изюма без косточек так и остался у меня во рту, и я каждый день справлялся в Тержестео о его цене. Ничем другим я не интересовался. Цена поднималась очень медленно, словно набираясь сил перед решительным скачком. Потом за один день произошел невероятный рывок вверх. Урожай, оказывается, был очень плох, и это стало ясно только сейчас. Странная вещь вдохновение! Оно предчувствует не неурожай, а лишь повышение цен!

Карты отомстили за себя. Я больше не в силах был сидеть за гроссбухом и потерял всякое уважение к своим наставникам, тем более что Оливи уже вовсе не был уверен в том, что поступил правильно. И я теперь только и делал, что насмеялся над ним: это стало моим основным занятием.

Поступило второе предложение, но цена к этому времени почти удвоилась. Желая меня задобрить, Оливи спросил у меня совета, как поступить, и я, торжествуя, сказал, что не желаю есть виноград по такой цене! Оскорбленный Оливи пробормотал:

– Я придерживаюсь системы, которой следовал всю свою жизнь!

И ушел в поисках покупателя. Он нашел только одного, и на очень небольшое количество, и, руководствуясь все теми же лучшими намерениями, снова обратился ко мне. Он спросил меня неуверенно:

– Ну что, сделаю я это маленькое дельце?

Я ответил все с той же непримиримостью:

– Если б послушались меня, не пришлось бы нам заниматься такими мелочами.

Кончилось тем, что Оливи утратил веру в самого себя и вообще отказался от операции.

А цена на виноград все росла и росла, и мы упустили даже тот небольшой барыш, который могли получить со столь маленькой сделки.

Оливи рассердился и заявил, что играл только для того, чтобы угодить мне. Хитрец позабыл, что я посоветовал ему ставить на красное, а он назло мне поставил на черное! Непримириное разногласие! Оливи обратился к моему тестю и сказал, что до тех пор, пока мы будем работать вместе, фирма всегда будет нести убытки и что если семья этого желает, они с сыном готовы уйти и предоставить мне полную свободу действий. Тесть сразу же принял сторону Оливи. Он сказал:

– Это дело с сухими фруктами слишком поучительно. Вы не можете работать вместе. Теперь вопрос: кто должен уйти? Тот, кто чуть не сделал всего одно выгодное дело, или тот, кто в течение полувека один ведет весь торговый дом?

Даже Аугуста под давлением отца стала уговаривать меня не вмешиваться больше в мои собственные дела.

– С твоей добротой и наивностью, – говорила она, – ты не годишься для этой работы. Оставайся лучше со мной дома.

Разгневанный, я удалился в свой шатер, то бишь в свой кабинет. Некоторое время я играл на скрипке и почитывал книжки, но потом почувствовал потребность в более серьезных занятиях и едва не вернулся к химии и

юриспруденции. Но в конце концов, сам не знаю почему, я вдруг отдался изучению религии. Мне казалось, что я вновь вернулся к занятиям, которые начал после смерти отца. Может быть, на этот раз это была просто энергичная попытка приблизиться к Аугусте и ее здоровью. Мне теперь недостаточно было ходить к мессе вместе с ней: теперь я ходил туда и иначе – то есть читая Ренана<sup>21</sup> и Штрауса<sup>22</sup>, первого – с удовольствием, второго – снося как сущее наказание. Я рассказываю об этом только для того, чтобы объяснить, насколько сильно влекло меня к Аугусте! А она, увидев в моих руках Евангелие с критическими комментариями, не поняла, что причиной всему – мое к ней влечение. Она предпочитала равнодушие интересу исследователя, а потому не оценила величайшего из доказательств любви, которое я когда-либо ей давал. Аугуста имела обыкновение время от времени, оторвавшись от домашних хлопот или от туалета, заглянуть ко мне в комнату, чтобы сказать несколько ласковых слов. Но заставая меня над этими книгами, она всегда недовольно морщилась:

– Как, ты все еще сидишь над ними?

Религия Аугусты не отнимала у нее времени ни на то, чтобы проникнуться ею, ни на то, чтобы исполнять ее обряды. Поклон – и тут же возвращение к обычной жизни. И больше ничего. Для меня все было бы совершенно иначе. Если бы я был верующим, я бы только и думал, что о своей вере.

Вскоре в мою прекрасно оборудованную комнатку стала забредать скука. Вернее, не скука, а тревога, потому что именно в ту пору мне казалось, что я был полон сил и желания работать, и ждал только, чтобы жизнь поставила передо мной какую-нибудь задачу. В ожидании этого я стал часто уходить из дому и долгие часы просиживал в Тержестео или в каком-нибудь кафе.

Я жил, симулируя занятость. Безумно скучное занятие.

Визит одного моего университетского приятеля, которому из-за тяжелой болезни пришлось срочно покинуть родной городишко в Штирии, сыграл в моей жизни роль Немезиды, хотя в ту пору я никак не мог этого предположить. Приятель пришел ко мне после того, как уже здесь, в Триесте, целый месяц пролежал в постели: этого оказалось достаточно, чтобы его нефрит из острого превратился в хронический и, по всей видимости, неизлечимый. Но он-то считал, что ему стало лучше, был в прекрасном настроении и, покуда еще была весна, торопился организовать переезд в более теплые края, где надеялся выздороветь окончательно. Очень может быть, что для него роковым оказалось то, что он слишком задержался в своих суровых краях.

Я считаю, что встреча с этим совершенно больным, но довольным и улыбающимся человеком была для меня роковой, но, может, я и ошибаюсь: может быть, это просто была одна из вех моей жизни, которую мне суждено было миновать.

---

<sup>21</sup> Ренан Эрнст (1823–1892) – французский ученый, филолог и историк. Автор книг «Жизнь Иисуса» (1863) и «История происхождения христианства» (1867–1882).

<sup>22</sup> Штраус Давид-Фридрих (1808–1874) – немецкий ученый, историк и богослов. В своей знаменитой книге «Жизнь Иисуса» (1835) исследовал мифологические источники евангельских сказаний.

Этот мой друг, Энрико Коплер, был очень удивлен тем, что я ничего не слышал ни о нем, ни о его болезни, о которой Джованни должен был прекрасно знать. Но у Джованни с тех пор, как он заболел сам, уже не находилось времени ни для кого другого, и поэтому он ничего не сказал мне о Коплере, хотя пользовался каждым солнечным днем, чтобы заглянуть к нам на виллу и подремать часок-другой на свежем воздухе.

В обществе этих двух больных я как-то раз прекрасно провел несколько послеполуденных часов. Разговор шел об их болезнях: для больного это самое лучшее развлечение, ну, а здоровому выслушать его, в конце концов, не так уж и тяжело. Правда, между ними было одно разногласие: Джованни был необходим свежий воздух, а Коплеру, наоборот, пребывание на свежем воздухе было запрещено. Но это недоразумение уладилось, когда поднялся небольшой ветер, и Джованни был вынужден остаться с нами в натопленной маленькой комнатке.

Коплер рассказал нам о своей болезни, которая не причиняла ему страданий, но совершенно лишала сил. Только сейчас, когда ему полегчало, он понял, как он был болен. Когда он заговорил о лекарствах, которые были ему прописаны, я стал слушать его с более живым интересом. Между прочим, врач порекомендовал ему какое-то весьма эффективное средство, которое обеспечивало длительный сон без отравляющего воздействия снотворных. Но ведь это было именно то, в чем я больше всего нуждался!

Услышав, что я нуждаюсь в этом лекарстве, мой бедный друг с радостью ухватился за мысль, что, может быть, и я болен той же самой болезнью, и стал советовать мне показаться врачам, дать себя выслушать и сделать все необходимые анализы.

Тут Аугуста рассмеялась и заявила, что я – мнимый больной. По лицу Коплера промелькнуло нечто весьма похожее на досаду. Но он тут же мужественно поборол в себе сознание неполноценности, на которую был обречен, и предпринял энергичное нападение:

– Мнимый больной? Ну, знаешь, я предпочитаю быть настоящим больным. Уж не говоря о том, что это какое-то смешное уродство, от твоей болезни нет никаких лекарств, в то время как мы, настоящие больные – вот тебе мой пример, – все-таки всегда можем подыскать себе в аптеке что-нибудь эффективное.

Он говорил как совершенно здоровый человек, и, должен признаться, это меня больно задело.

Мой тесть энергично его поддержал, но ему не удалось облить меня презрением, потому что в его словах слишком явно звучала зависть к моему здоровью. Он сказал, что если б он был здоров, как я, то, вместо того чтобы досаждать близким своим нытьем, бегом побежал бы на свою любимую работу, тем более что теперь у него почти не стало живота. Он не знал, что врачи вовсе не считают благоприятным признаком то, что он так похудел.

После нападения Коплера я действительно стал похож на больного, причем на обиженного больного, и Аугуста поспешила прийти мне на помощь. Поглаживая мою руку, лежавшую на столе, она сказала, что моя болезнь никому не мешает и что она вовсе не убеждена в том, что я сам в нее верю, потому что

откуда же в таком случае взялась бы моя жизнерадостность? Так что Коплеру пришлось вновь прочувствовать неполноценность, на которую он был обречен. Он был совсем один в целом свете, и если еще и мог померяться со мной силами в отношении здоровья, то уж противопоставить любви, которую продемонстрировала Аугуста, ему было решительно нечего. Он так остро ощущал необходимость в сиделке, что позднее, не удержавшись, признался, как он завидует мне в этом отношении.

Мы вернулись к нашему спору – правда, уже в более мягком тоне – несколько дней спустя, когда Джованни дремал у меня в саду. Теперь, поразмыслив на досуге, Коплер уже стоял на том, что мнимый больной – это и есть настоящий больной, только болезнь поражает его глубже и потому серьезнее, чем настоящего больного. И в самом деле, нервы мнимого больного находятся в таком состоянии, что указывают на наличие болезни, даже когда ее нет, в то время, как настоящая их функция состоит в том, чтобы посредством боли предупредить человека об опасности и заставлять его вовремя принимать меры.

– Да, – сказал я. – Это как с зубами, которые начинают болеть только тогда, когда нерв уже обнажен, и, чтобы вылечить зубы, его необходимо убить.

В конце концов, мы сошлись на том, что и мнимый и настоящий больной стоят друг друга. Именно при нефрите больному так не хватало предупреждения со стороны нервов, в то время как мои нервы были, напротив, так чувствительны, что предупреждали меня о болезни, от которой я умру лет эдак двадцать спустя. Иными словами, это были прекрасные нервы, и единственным их недостатком было то, что они оставляли мне слишком мало времени на то, чтобы радоваться жизни. Но так или иначе, Коплер сумел-таки зачислить меня в разряд больных и был теперь совершенно доволен.

Не знаю почему, но у бедного больного была настоящая страсть говорить о женщинах, и когда в комнате не было моей жены, он только о них и говорил. Он утверждал, что у настоящего больного, по крайней мере страдающего известными нам болезнями, сексуальная функция ослабевает, что служит организму хорошей защитой, в то время как у мнимого больного, который страдает, в сущности, только расстройством нервов, оказавшихся у него слишком уж усердными, эта функция приобретает прямо-таки патологическую активность. Я подтвердил справедливость этой теории, сославшись на собственный опыт, и мы высказали друг другу взаимные соболезнования. Сам не знаю, почему я не сказал ему, что давно уже не предаюсь никаким излишествам. Я мог бы признать себя если уж не здоровым – это могло его обидеть, – то по крайней мере выздоравливающим; тем более что назвать себя совершенно здоровым, зная все неполадки своего организма, все-таки как-то трудно.

– Ты желаешь всех красивых женщин, которых видишь? – продолжал допытываться Коплер.

– Не всех! – пробормотал я, желая дать ему понять, что не так уж и болен. И в самом деле, я не желал Аду, которую видел теперь каждый вечер. Она была для меня, что называется, запретная женщина. Шелест ее юбок не говорил мне

ровно ничего, и, думаю, ничего бы не изменилось, если бы даже мне было позволено смять их моими собственными руками. Хорошо, что я на ней не женился. Это безразличие было – во всяком случае, так мне казалось – свидетельством подлинного здоровья. Может быть, мое желание было таким сильным, что исчерпалось само собой? Надо сказать, что это безразличие распространялось также и на Альберту, которая была весьма мила в своем скромном и аккуратном школьном платье. Может, обладания Аугустой оказалось достаточно для того, чтобы утолить желание, которое возбуждало во мне чуть ли не все их семейство?! Вот это было бы действительно весьма нравственно!

Наверное, я не сказал ему о своем добродетельном поведении, потому что мысленно не переставал изменять Аугусте, и даже сейчас, разговаривая с Коплером, ощутил трепет желания при мысли о всех тех женщинах, которыми я из-за нее пренебрегал. Я представил себе женщин, которые шли сейчас по улицам, одетые с головы до ног, отчего все вторичные половые признаки приобретали в них особую привлекательность: в женщине, которой мы обладаем, они словно исчезают, атрофированные обладанием. Во мне всегда жила любовь к приключению – приключению, которое начинается с восхищения туфелькой, перчаткой, юбкой, всем тем, что скрывает и разнообразит формы женского тела. Но ведь в одном желании нет никакого греха! И все же мне не следовало давать Коплеру копаться в своей душе. Объяснить кому-нибудь, каков он есть на самом деле, – это все равно, что позволить ему поступать так, как он того желает. Но Коплер натворил еще больших бед, хотя ни в ту пору, когда он говорил, ни тогда, когда он перешел к действиям, он, конечно, не подозревал, куда это меня заведет.

Все речи Коплера я ощущаю столь значительными, что стоит только мне их вспомнить, как они тут же приводят на память чувства, которые они во мне вызывали, и людей, и предметы. Я вышел в сад, чтобы проводить моего друга: Коплер должен был возвращаться домой до захода солнца. От моей виллы, стоящей на вершине холма, открывался в ту пору вид на порт и на море, позднее заслоненный новейшими постройками. Мы остановились и долго смотрели на волнующееся под легким ветерком море: спокойный свет, льющийся с неба, дробясь на воде, превращался в мириады тревожных красных бликов. Ласкала взгляд мягкая зелень Истрианского полуострова, который огромной дугой вдавался в море, словно обретшая материальность тень. Молы и дамбы с их четкими прямолинейными очертаниями казались отсюда маленькими и жалкими, а вода в доках выглядела совсем темной оттого, что была неподвижной, или, может быть, она просто была мутной? Но покой в этой широкой панораме отступал на второй план, оттесненный живой, колышущейся краснотой воды, и вскоре, ослепленные, мы повернулись к морю спиной. На маленькую лужайку перед домом уже опускалась ночь.

Перед открытой террасой, в большом кресле, прикрыв голову беретом и поднятым воротником шубы, закутав ноги одеялом, спал мой тесть. Мы остановились взглянуть на него. Он спал с открытым ртом, нижняя челюсть отвисла у него, как неживая, дыхание было учащенным и шумным. Голова то и

дело падала на грудь, и он, не просыпаясь, откидывал ее назад. В эти моменты веки у него дергались, словно он хотел открыть глаза и обрести наконец равновесие, и ритм дыхания менялся. Как только он при этом не просыпался!

Тяжелая болезнь моего тестя впервые предстала передо мной с такой очевидностью, и я был глубоко огорчен.

Коплер сказал мне шепотом:

– Ему надо бы полечиться. Может, у него тоже нефрит? Ведь это нельзя назвать сном: я по себе знаю это состояние. Бедняга!

В заключение он посоветовал обратиться к его врачу.

Тут Джованни наконец услышал нас и открыл глаза. Он сразу же стал выглядеть совсем не таким уж больным и даже пошутил с Коплером:

– Как это вы решились выйти на свежий воздух? А не повредит ли вам это? – Ему казалось, что он прекрасно вздремнул; он не замечал, что ему не хватает воздуха даже у самого моря, где воздуха было более чем достаточно. Но голос у него звучал сипло, одышка мешала говорить, лицо было землистым, и, поднявшись с кресла, он почувствовал себя до такой степени окоченевшим, что вынужден был сразу же уйти в дом. Я и сейчас еще вижу, как он идет с одеялом под мышкой через лужайку и, тяжело дыша, но улыбаясь, приветственно машет нам рукой.

– Видишь, что такое настоящий больной? – сказал Коплер, не в силах расстаться со своей излюбленной мыслью. – Он на пороге смерти и не подозревает о том, что болен.

Мне тоже показалось, что этот настоящий больной, по-видимому, почти не испытывал страданий. Мой тестя и Коплер уже много лет как покоятся на Сант-Анне, но как-то однажды, проходя мимо их могил, я подумал, что из того, что они уже столько времени лежат под этими плитами, отнюдь не следует, что тезис, выдвинутый одним из них, был несостоятелен.

Перед тем как покинуть родные края, Коплер ликвидировал все свои дела, так что теперь ему, как и мне, было совершенно нечего делать. Однако, едва встав с постели, он не смог усидеть спокойно и за отсутствием своих дел занялся чужими, которые казались ему куда более интересными. Тогда я над этим только посмеялся: я лишь позднее узнал, какой неприятный привкус бывает у чужих дел. Коплер посвятил себя благотворительности, но так как теперь ему приходилось жить на проценты со своего капитала, он не мог позволить себе роскошь заниматься ею лишь на собственный счет. Поэтому он стал организовывать сбор пожертвований, облагая налогами своих друзей и знакомых. При этом он все записывал в специальную книгу, как это и подобало деловому человеку. Я как-то подумал, что эта книга была его причастием и что я бы на его месте – то есть будучи обреченным на близкую смерть и не имея никаких родственников, – я бы все-таки потревожил основной капитал. Но так как он был, что называется, мнимый здоровый и не мог смириться с мыслью о краткости отпущенного ему срока, он брал деньги только из причитающихся ему процентов.

Однажды Коплер пристал ко мне, требуя несколько сотен крон, необходимых для того, чтобы купить пианино одной бедной девушке, которую я



и еще несколько человек уже и так обеспечили через него небольшим месячным пособием. Следовало спешить, чтобы не упустить подвернувшийся выгодный случай. Уклониться мне не удалось, но я заметил не слишком вежливо, что сделал бы выгодное дело, если б не выходил сегодня из дому. Время от времени я бываю подвержен приступам скупости.

Коплер взял деньги и, коротко поблагодарив, ушел, но слова мои имели последствия, с которыми я столкнулся несколько дней спустя, и последствия эти были, увы, весьма серьезны. Он явился ко мне и сообщил, что пианино уже доставлено и что синьорина Карла Джерко и ее мать хотели бы выразить мне свою признательность, для чего просят меня их посетить. Коплер боялся потерять клиента и надеялся меня удержать, дав мне вкусить благодарности благодетельствованных мною. Сначала я хотел уклониться от этой скучной обязанности, уверяя его, что совершенно убежден в том, что он сделал все как нельзя лучше, но он так настаивал, что я в конце концов согласился.

– А что, она хоть красива? – спросил я смеясь.

– Изумительно! – ответил он. – Но этот орешек нам не по зубам!

Курьезно, что он ставил свои зубы в один ряд с моими, подвергая меня опасности заразиться его кариозом. Он объяснил, что эта несчастная семья, потерявшая несколько лет назад своего кормильца, чрезвычайно порядочна и сумела сохранить эту безукоризненную порядочность даже среди самой отчаянной нищеты.

День выдался ужасный. Дул ледяной ветер, и я завидовал Коплеру, который был в шубе. Мне приходилось придерживать шляпу рукой, иначе бы она улетела. Но я был в превосходном настроении, потому что шел принять благодарность за свой филантропический поступок. Мы прошли пешком всю Корсиа Стадион и пересекли городской сад. Это была часть города, в которой я никогда не бывал. Мы вошли в один из так называемых доходных домов, из тех, что наши предки строили лет сорок назад в местах, отдаленных от города, но впоследствии очень быстро им поглощенных. Дом выглядел неказисто, но все-таки приличнее, чем выглядят дома, которые возводятся для этих же целей сегодня. Лестничная клетка была очень маленькой, и поэтому подъем был крутой.

Мы остановились на площадке второго этажа, куда я добрался значительно раньше своего приятеля, двигавшегося гораздо медленнее. Меня удивило, что из выходивших на площадку трех дверей две, расположенные по краям, были отмечены прикрепленной кнопками визитной карточкой Карлы Джерко, а на третьей висела карточка с совершенно другим именем. Коплер объяснил, что справа у Джерко были кухня и спальня, а слева – одна только комната, кабинет синьорины Карлы. Часть квартиры, расположенную за средней дверью, они сумели сдать от себя, и, таким образом, помещение обходилось им недорого; правда, зато они были вынуждены терпеть неудобства, ибо для того, чтобы попасть из одной комнаты в другую, им теперь приходилось выходить на лестницу.

Мы постучались в левую дверь, в кабинет, где, предупрежденные о нашем визите, ждали мать и дочь. Коплер представил нас друг другу. Синьора,

женщина очень робкого вида, одетая в скромное черное платье, с волосами подчеркнутой снежной белизны, обратилась ко мне с краткой речью, которая, по-видимому, была приготовлена заранее: я оказал им честь своим визитом, они благодарят меня за замечательный подарок. Сказав это, она уже больше ни разу не раскрывала рта.

Коплер следил за происходящим с видом учителя, слушающего, как его ученик отвечает на государственном экзамене урок, который он с трудом заставил его выучить. Он поправил синьору, сказав, что я не только дал деньги на пианино, но и вносил свою долю в то ежемесячное пособие, которое ему удалось для них наскрести. Он любил точность, этот Коплер!

Синьорина Карла поднялась со стула возле пианино и, протянув мне руку, просто сказала:

– Спасибо.

По крайней мере это было хоть коротко! Мои обязанности филантропа уже начинали меня тяготить. Я занимался чужими делами, словно какой-нибудь настоящий больной. Кого могла видеть во мне эта хорошенькая девушка? Почтенного господина, но никак не мужчину. А она была и в самом деле хороша! Из-за того, что юбка на ней была слишком коротка для тогдашней моды, я подумал, что она хочет казаться еще моложе, чем была. Но, может, она просто надевала дома юбку, которую носила еще в ту пору, когда росла? Однако ее довольно затейливая прическа придавала ей вид взрослой женщины, причем женщины, которая хочет нравиться. Толстые каштановые косы были уложены таким образом, что закрывали уши и часть шеи. В тот момент я был так озабочен тем, чтобы соблюсти свое достоинство, и так боялся инквизиторского взгляда Коплера, что не разглядел ее хорошенько; но сейчас-то я знаю ее всю с головы до ног. В ее голосе, когда она говорила, было что-то музыкальное; с аффектацией, сделавшейся уже, видимо, второй натурой, она растягивала каждый слог, словно лаская звук, в который его облекала. Из-за этого, а также из-за некоторых гласных, звучавших для Триеста чересчур открыто, в ее произношении было что-то иностранное. Позже я узнал, что некоторые учителя пения, обучая подаче звука, слишком акцентируют гласные. В общем, это было совершенно иное произношение, чем у Ады. Каждый звук в ее речи казался зовом любви.

В течение всего визита синьорина Карла не переставала улыбаться, видимо считая, что улыбка сообщает ее лицу выражение признательности. Это была несколько насильственная улыбка: именно так и должна выглядеть признательность. Потом, когда несколько часов спустя я принялся мечтать о Карле, я вообразил, что на ее лице в тот момент отражалась борьба радости со страданием. Ничего подобного я потом ни разу в ней не обнаружил и лишний раз убедился в том, что женская красота симулирует чувства, которых на самом деле в женщине нет и в помине. Так, холст, на котором изображена батальная сцена, не испытывает никаких героических чувств.

Коплер был так доволен церемонией представления, словно обе женщины были творением его рук. Потом он принялся описывать их жизнь: и та и другая были довольны своей судьбой и работали. Он говорил слова, как будто взятые

из школьных прописей, а я машинально кивал, словно желая показать, что тоже это учил и потому знаю, каковы должны быть добродетельные женщины, у которых нет денег.

Потом он попросил Карлу спеть. Она отказалась, сказав, что сегодня простужена, и пообещала сделать это в другой раз. Я чувствовал – и это было мне приятно, – что она просто боится нашего суда. Однако мне так хотелось продлить наш визит, что я присоединился к просьбе Коплера. Я сказал, что не знаю, увидит ли она меня еще раз: дело в том, что я очень занятой человек. Коплер, который прекрасно знал, что у меня нет решительно никаких занятий, весьма серьезно подтвердил мои слова. Из этого я с легкостью заключил, что он не хочет, чтобы я еще раз встретился с Карлой.

Она снова попыталась отказаться, но Коплер настаивал, почти приказывал, и она послушалась: как легко было заставить ее повиноваться!

Она запела «Мое знамя». Сидя на мягком диване, я внимал ее пению. Мне страстно хотелось им восхищаться. Как было бы прекрасно, если б оказалось, что она отмечена гениальностью! Но вместо этого я с удивлением услышал, что ее голос, едва она запела, утратил всякую музыкальность. Усилия, которые она прилагала, совершенно его преображали. И играть она тоже не умела; ее корявый аккомпанемент делал еще более убогой и без того убогую музыку. Однако потом я вспомнил, что передо мной всего-навсего ученица, и попытался понять, достаточна ли у нее сила голоса. Она оказалась более чем достаточна. В маленькой комнатке у меня даже заболели уши. И я подумал – чтобы иметь возможность сказать ей что-то ободряющее, – что, может быть, дело просто в плохой школе.

Когда она кончила, я присоединился к громким аплодисментам и похвалам Коплера. Он сказал:

– Ты представляешь, какой эффект произвел бы этот голос в сопровождении хорошего оркестра.

Вот это была правда. На этот голос так и хотелось наложить мощный, в полном составе оркестр. Я сказал совершенно искренно, что оставляю за собой право послушать синьорину еще раз несколько месяцев спустя. Только тогда я смогу сказать что-нибудь определенное о качестве ее школы. Уже менее искренно я добавил, что такому голосу нужна, конечно, самая лучшая школа. Потом, желая смягчить неприятный осадок, который могла вызвать первая фраза, я стал философствовать на тему о том, что всякий исключительный голос нуждается в столь же исключительной школе. Это преувеличение все сгладило. Но потом, оставшись один, я удивился тому, что уже тогда почувствовал необходимость быть с Карлой искренним. Может быть, я уже ее любил? Но ведь я даже не успел толком ее разглядеть!

На лестнице, где стоял какой-то подозрительный запах, Коплер сказал:

– У нее слишком сильный голос. Это голос для театра.

Он не подозревал, что в этот момент я уже знал о ней больше, чем он: этот голос был создан для чрезвычайно маленького помещения – помещения, в котором можно было ощущать всю простодушную наивность этого пения, и я мечтал о том, как привнесу в него искусство, то есть жизнь и боль.

Прощаясь, Коплер сказал, что предупредит меня о дне, когда учитель Карлы организует ее публичный концерт. Речь шла об учителе, еще весьма мало известном в нашем городе, но обещавшем в будущем сделаться знаменитостью. Коплер был в этом убежден, несмотря на то, что учитель был уже довольно стар. По-видимому, известность должна была прийти к нему только сейчас, когда его узнал Коплер. Слабость двух обреченных!

Любопытно, что я счел необходимым рассказать об этом визите Аугусте. Можно было бы приписать это осторожности; ведь Коплер о нем знал, и я не счел нужным просить его молчать. Но я рассказывал о нем даже слишком охотно. Это было большим облегчением. До сих пор я мог упрекнуть себя только в том, что не рассказал Аугусте об этом посещении. Теперь же я не был виноват решительно ни в чем.

Она спросила у меня что-то про эту девушку и поинтересовалась, красива ли она. Мне было трудно на это ответить: я сказал, что бедняжка показалась мне очень малокровной. Потом мне пришла в голову прекрасная мысль:

– А что, если ты немножко ею займешься?

Но у Аугусты было столько дел и в новом доме и в старом, куда ее то и дело вызывали ухаживать за больным отцом, что она и слышать об этом не захотела. Вот почему эта мысль и была прекрасной!

Коплер узнал от Аугусты, что я рассказал ей о нашем визите, и, видимо, поэтому упустил из виду те особенности, которые отличали, по его мнению, всех мнимых больных. В присутствии Аугусты он как-то сказал мне, что скоро мы еще раз сходим к Карле. Он достаивал меня самого полного доверия.

Так как делать мне было совершенно нечего, вскоре меня охватило страстное желание вновь увидеть Карлу. Но я не осмеливался пойти к ней, боясь, что об этом узнает Коплер. Что же касается предлога, то я нашел бы его без труда. Я мог, например, пойти к ней для того, чтобы без ведома Коплера предложить более значительное вспомоществование. Но сначала я должен был быть уверен, что ради собственного же блага она будет об этом молчать. А что, если этот настоящий больной был ее любовником? Ведь о настоящих больных я не знал ровно ничего, и было бы неудивительно, если б оказалось, что она имеет привычку заставлять других оплачивать собственных любовниц. В таком случае одного моего визита к Карле было бы достаточно, чтобы я оказался скомпрометированным. Я не мог подвергать такой опасности покой моего маленького семейства, или скажем так: я не подвергнул его этой опасности до тех пор, пока мое желание видеть Карлу не стало еще сильнее. Но желание росло изо дня в день. Теперь я представлял себе эту девушку уже значительно лучше, чем тогда, когда, прощаясь, пожал ей руку. Особенно запомнилась мне темная коса, которая прикрывала белоснежную шею и которую надо было отодвинуть носом, прежде чем поцеловать прятанную за ней кожу. Чтобы ощутить желание, мне достаточно было только вспомнить, что на некой лестничной площадке в том самом городе, в котором жил я, время от времени появляется красивая девушка и застать ее там совсем просто, нужно только совершить небольшую прогулку. Борьба с грехом становится при таких обстоятельствах труднейшей задачей, потому что ее приходится возобновлять

каждый день и каждый час – иными словами, все время, пока девушка стоит на той площадке. Меня звали к себе долгие гласные Карлы, и, может быть, именно их звучание поселило в моей душе уверенность в том, что если я преодолею свое сопротивление, то ничьего другого сопротивления мне преодолевать уже не придется. Однако мне было ясно также и то, что я вполне мог заблуждаться на этот счет и что Коплер, может быть, представлял себе все гораздо точнее. Но и это сомнение привело лишь к тому, что ослабило мое сопротивление: ведь это значило, что бедная Аугуста могла быть спасена от моей измены самой Карлой, на которую, как на женщину, была возложена миссия сопротивления!

Почему это желание вызывало у меня столько угрызений совести, хотя и появилось как нельзя более вовремя, избавив меня от угрожавшей мне скуки? Ведь моим отношениям с Аугустой оно никак не вредило, даже наоборот. Теперь я говорил Аугусте не только те нежные слова, которые всегда умел для нее находить, но и те, что рождались в моей душе для другой женщины. Никогда еще мой дом не был так переполнен нежностью, и Аугуста была совершенно очарована. Как всегда, я был неизменно точен в том, что называл семейным распорядком. У меня настолько чувствительная совесть, что уже тогда я готовился смягчить на свой лад ее грядущие угрызения!

То, что я все-таки сопротивлялся, доказывает тот факт, что я пришел к Карле не сразу, а добирался до нее в несколько этапов. Сначала в течение нескольких дней я доходил лишь до городского сада, причем вело меня искреннее желание насладиться зеленью, которая выглядит такой яркой на сером фоне окружающих ее домов и улиц. Потом, поскольку мне не повезло и я не столкнулся с Карлой случайно, на что я втайне надеялся, я вышел из городского сада и дошел до ее дома. При этом я ощутил то приятное волнение, которое испытывает юноша, впервые приобщающийся к любви. Ведь я уже давно забыл не то что самое любовь, а пути, по которым к ней приходишь.

Едва я вышел из городского сада, как тут же лицом к лицу столкнулся со своей тещей. Сначала у меня появилось забавное подозрение: утром, так рано, так далеко от дома? Может, она тоже изменяла своему больному мужу? Но я тут же узнал, что мои подозрения были неосновательны. Она просто ходила к врачу, у которого надеялась получить моральную поддержку после ужасной ночи, проведенной подле больного мужа. Врач утешил ее как только мог, но она все равно была очень взволнована и попрощалась со мной, забыв удивиться тому, что встретила меня в таком странном месте, посещаемом обычно лишь стариками и няньками с детьми.

Но стоило мне только увидеть ее, как я вновь почувствовал себя в лапах семьи и решительно направился к дому. Шагая, я шептал, стараясь попасть в ритм своих шагов: «Никогда! Больше никогда!» Мать Аугусты и страдание, которое она испытывала, вернули мне ощущение моих обязанностей. Это был хороший урок, и его оказалось достаточно на весь этот день.

Аугусты не было дома; она ушла к отцу и оставалась у него все утро. Потом, когда мы уже сидели за столом, она сказала, что они обсуждали, откладывать или нет – учитывая состояние Джованни – свадьбу Ады, которая должна была состояться через неделю. Джованни стало лучше. Должно быть,

вчера за ужином он просто съел лишнего, и несварение желудка приняло форму нового осложнения.

Я сказал, что уже все знаю от ее матери, которую встретил утром в городском саду. Аугуста тоже не выразила никакого удивления по поводу моей прогулки, но мне почему-то казалось необходимым дать ей какие-то объяснения. Я сказал, что с некоторых пор избрал для своих прогулок городской сад. Сидя там на скамейке, я читаю газету. Потом добавил:

– А все этот Оливи! Устроил мне жизнь – ничего не скажешь! Совершенно нечего делать!

На лице Аугусты, которая чувствовала себя в этом немножко виноватой, появилось выражение грусти и сожаления, и я тут же почувствовал себя просто превосходно. Да и в самом деле я был перед нею совершенно чист: оставшуюся часть дня я провел в своем кабинете и уже готов был поверить, что совершенно исцелился от всех своих постыдных желаний. Я даже взялся за Апокалипсис.

Несмотря на то что теперь я как бы получил разрешение на утреннюю прогулку в городском саду, внутреннее сопротивление этому искушению сделалось столь сильным, что, выйдя на другой день из дому, я направился в прямо противоположную сторону. Я пошел купить ноты, желая испробовать новый способ обучения игре на скрипке, который мне недавно посоветовали. Перед тем как я ушел, мне сказали, что мой тесть провел ночь прекрасно и что во второй половине дня он придет к нам. Я был очень рад как за него, так и за Гуидо, который мог наконец жениться. Вообще все шло чудесно: был спасен я, и мой тесть тоже был спасен.

И надо же было, чтобы именно музыка привела меня к Карле! Среди предложенных мне продавцом различных пособий по скрипичной игре случайно оказалось одно по пению. Я внимательно прочел название: «Полное исследование искусства пения (по школе Гарсии) Э. Гарсии (сына), содержащее извлечения из доклада «О человеческом голосе», представленного на рассмотрение Парижской Академии наук».

Я предоставил продавцу заниматься другими покупателями, а сам погрузился в чтение. Должен сказать, что читал я с волнением, несколько напомиравшим то, которое испытывает порочный юнец, разглядывая порнографические открытки. Вот он, путь, который приведет меня к Карле! Она крайне нуждалась в этом сочинении, и с моей стороны было бы просто преступлением не познакомить ее с ним. Я купил его и вернулся домой.

Произведение Гарсии состояло из двух частей: теоретической и практической. Я возобновил чтение, решив разобраться в книге настолько, чтобы быть в состоянии, когда мы с Коплером придем к Карле в следующий раз, дать ей ряд полезных советов. Таким образом я выигрывал время и мог спать со спокойной совестью, хотя и теша себя при этом мыслью о предстоящем мне приключении.

Но Аугуста сама ускорила развитие событий. Войдя в комнату и наклонившись, чтобы коснуться губами моей щеки, она оторвала меня от чтения и спросила, что я делаю. Услышав о новом пособии, она подумала, что речь идет о скрипке, и не стала его особенно рассматривать. Но когда она ушла,

пережитая опасность предстала передо мной в столь преувеличенном виде, что я подумал, что мне было бы гораздо спокойнее, если б этой книги не было в моем кабинете. Следовало, не откладывая, доставить ее по назначению. Вот так я устремился навстречу своей любовной аванюре. Теперь у меня был предлог – и даже больше, чем предлог, – для того, чтобы сделать наконец то, чего мне все время хотелось.

Больше я не колебался. Очутившись на заветной площадке, я решительно направился к левой двери, но уже у самого порога помедлил, прислушиваясь к звукам «Моего знамени», торжественно гремевшим на всю лестницу. Можно было подумать, что с тех пор, как мы расстались, Карла так и не переставала петь эту песню. В этом было что-то ребяческое, и я улыбнулся, переполненный нежностью и желанием. Потом, не постучавшись, осторожно приоткрыл дверь и на цыпочках вошел в комнату: я хотел увидеть ее сейчас же, немедленно. В маленькой комнатке голос Карлы сразу же приобрел неприятное звучание. Она пела очень старательно и с куда большим жаром, чем в прошлый раз. Она даже откинулась на спинку стула, чтобы голос звучал во всю мощь. Я увидел только ее головку, перекрещенную толстыми косами, и попятился, глубоко взволнованный тем, что себе позволил. Она тем временем дошла до последней ноты и тянула ее так долго, что я смог незамеченным вернуться на площадку и прикрыть за собой дверь. Последняя нота некоторое время неуверенно плавала то вверх, то вниз, пока наконец Карла не взяла ее правильно. Значит, она все-таки слышала нужную ноту, и дело было только за Гарсией, который должен был научить ее находить эту ноту быстрее.

Немного успокоившись, я постучал. Она бегом бросилась к двери, и я никогда не забуду ее изящную фигурку, прислонившуюся к притолоке, и то, как она рассматривала меня своими большими темными глазами, не сразу признав меня в полумраке.

Я же к тому времени успокоился настолько, что ко мне вернулись все прежние мои колебания. Я уже ступил на путь измены, но при этом думал, что раз уж несколько дней назад мне оказалось достаточно просто дойти до городского сада, то остановиться сейчас мне будет еще легче: вручив компрометирующую меня книгу, я довольный отправлюсь домой. Это был краткий миг, исполненный самых лучших намерений. Я даже вдруг вспомнил один странный совет, который должен был помочь мне бросить курить, но который мог пригодиться и сейчас: иногда, чтобы стало легче, достаточно просто зажечь спичку, а потом бросить и спичку и сигарету.

Сделать это мне было тем более легко, что Карла, узнав меня, покраснела и бросилась было обратно в комнату, устыдившись (как я узнал позднее) того, что ее застали в скромном, поношенном платье.

После того как она меня узнала, я счел своим долгом как-то объяснить свой приход:

– Я принес книгу, которая, по-моему, должна вас заинтересовать. Если хотите, я могу оставить ее и сразу же уйти. – Прозвучало это довольно резко – во всяком случае, так мне показалось, – хотя по смыслу в моих словах не было ничего оскорбительного: смысл сказанного был таков, что я предоставляю

решить ей – уйти мне или остаться и изменить Аугусте.

Она решила этот вопрос сразу, потому что тут же взяла меня за руку, чтобы я не убежал, и ввела в комнату. У меня потемнело в глазах от волнения, Вызванного не столько нежностью прикосновения, сколько самой этой фамильярностью, которая, как мне показалась, сразу же решила мою и Аугусты судьбу. Поэтому вошел я, как мне кажется, не без некоторого сопротивления, и когда я вспоминаю всю историю своей первой измены, у меня всегда такое ощущение, будто меня вовлекли в нее насильно.

Залившись румянцем, Карла стала удивительно красива. Я был приятно удивлен, когда понял, что если меня и не ждали, то, во всяком случае, надеялись на мой приход. Она сказала с довольным видом:

– Так, значит, вам захотелось еще раз увидеть меня? Еще раз увидеть бедную девушку, которая так вам обязана?

Если б я захотел, я мог бы, конечно, сразу заключить ее в объятия, но я об этом даже не думал. То есть настолько не думал, что даже не ответил на ее слова, показавшиеся мне компрометирующими, и сразу принялся говорить о Гарсии и о том, как необходима ей эта книга. Говорил я с таким жаром, что у меня вырвалось несколько необдуманных слов. Гарсия должен был сделать ее голос твердым, как металл, и легким, как воздух. Из него она узнает, что звучащая нота может представлять собою только прямую линию, а точнее сказать, даже не линию, а плоскость, совершенно гладкую, словно полированную плоскость.

Я опомнился только, когда она перебила меня, чтобы разрешить мучившее ее сомнение:

– Так, значит, вам не нравится, как я пою?

Этот вопрос меня поразил. Я действительно подверг ее пение суровой критике, но так как сделал это невольно, то и запротестовал самым искренним образом. И протестовал я так убедительно, что мне показалось, будто эти мои слова, относящиеся исключительно к пению, снова заставили меня почувствовать всю ту любовь, которая привела меня в этот дом. Мои слова были настолько полны любви, что в них сквозила значительная доля искренности.

– Как вы могли такое подумать? Разве был бы я сейчас здесь, если бы это было так? Я уже давно стою на площадке и наслаждаюсь вашим пением – таким очаровательным и необыкновенным в своей наивности. Я только считаю, что для полного совершенства вашему голосу еще кое-чего не хватает, и поэтому-то я и принес вам эту книгу.

Какую, однако, власть имела надо мной Аугуста, если я с таким упорством продолжал отрицать, что привело меня сюда не что иное, как желание!

Карла слушала мои льстивые речи, в смысл которых она не могла даже как следует вникнуть. Слишком уж она была проста, хотя – как я скоро с удивлением обнаружил – и не лишена при этом здравого смысла. Она сказала, что у нее самой есть серьезные сомнения насчет своего таланта и голоса: она чувствует, что не делает успехов. После нескольких часов занятий она часто позволяла себе в виде отдыха и награды за труды спеть «Мое знамя», и каждый



раз надеялась обнаружить в своем голосе что-нибудь новое. Но ее всегда ждало одно и то же: она пела не хуже, чем раньше, и, может, даже просто хорошо, как уверяли ее все, кто ее слушал, и я в том числе (тут ее красивые темные глаза обратились ко мне с робким вопросом, ясно говорившим о том, как необходимо ей еще раз услышать мои слова, в которых она продолжали сомневаться), но никакого прогресса заметно не было. Учитель говорил ей, что в искусстве нет постепенного прогресса, есть только огромные скачки, которые ведут к цели, и что в один прекрасный день она проснется великой артисткой.

– Но до этого еще так далеко, – добавила она, глядя перед собой и видя, должно быть, все предстоявшие ей скучные и мучительные часы.

Честным человеком считается человек прежде всего искренний, и с моей стороны было бы в высшей степени честно, если бы я посоветовал бедной девушке оставить пение и сделаться моей любовницей. Но я еще не отошел так далеко от городского сада, а кроме всего прочего, у меня не было твердой уверенности в том, что я в состоянии правильно судить об искусстве пения. К тому же вот уже несколько минут меня смущала мысль об одном человеке – об этом неотвязном Коплере, который все праздники проводил у меня на вилле со мной и с моей женой. Пора было найти какой-то предлог, чтобы попросить девушку не рассказывать ему о моем визите. Но я так ее об этом и не попросил, не зная, в какую форму облечь свою просьбу, и хорошо сделал, потому что несколько дней спустя мой бедный друг заболел и вскоре умер.

Пока же я сказал ей, что она найдет в Гарсии все, что ей нужно, и на какую-то минуту – но всего лишь на минуту – она поверила и, волнуясь, стала ждать чуда от этой книги. Однако, увидев перед собой такое множество слов, она усомнилась в эффективности содержавшегося в них волшебства. Я читал теорию Гарсия по-итальянски, по-итальянски же ее объяснял, а когда этого было недостаточно, переводил ее еще и на триестинский, но в горле Карлы ничего не шевельнулось, а прок от этой книги мог сказаться только так. Но хуже всего то, что я и сам скоро понял, что в моих руках эта книга немногого стоит. Трижды перечитав все эти объяснения и не зная, что с ними делать, я отомстил за свое бессилие тем, что начал их критиковать. Этот проклятый Гарсия тратил свое и мое время только на то, чтобы доказать, что человеческий голос – раз он способен издавать разные звуки – нельзя считать единым и цельным инструментом. Но в таком случае и скрипку можно было рассматривать как целый набор инструментов! Может быть, я поступил и неправильно, сообщив Карле это свое критическое замечание, но находясь рядом с женщиной, которую хочешь завоевать, трудно упустить возможность продемонстрировать ей свое превосходство над другими. Она и в самом деле пришла в восторг от моего замечания, но тут же в буквальном смысле этого слова отстранила от себя книгу, которая была нашим Галеотом<sup>23</sup>, хотя ей и не было суждено сопровождать нас до самого грехопадения. Однако я еще не примирился с

---

23 Галеот – один из героев старинного рыцарского романа, исполнявший роль сводника между рыцарем Ланселотом и королевой Джиневрой. Именно этот роман читали герои Данте Паоло и Франческа («Ад», песнь 5), причем в их судьбе эта книга, по словам Франчески, сыграла роль Галеота, то есть сводника.

мыслью, что ее придется оставить, и отложил чтение до следующего раза. Но когда Коплер умер, она стала мне больше не нужна. Между этим домом и моим порвалась теперь всякая связь, и только моя собственная совесть могла задержать дальнейшее развитие событий.

Но уже в тот день мы почувствовали некую близость, гораздо большую, чем можно было ожидать после получасового разговора. Я заметил, что единодушие в критической оценке всегда внутренне сближает людей. Бедная Карла воспользовалась возникшей близостью, чтобы посвятить меня в свои горести. После вмешательства Коплера они зажили скромно, но без особых лишений. Теперь их смущала только мысль о будущем. Ибо Коплер, хоть и приносил в строго установленные дни выхлопотанное пособие, не позволял им твердо на него рассчитывать. Он не желал доставлять себе лишнего беспокойства и предпочитал, чтобы беспокоились они. К тому же и эти деньги он давал им не просто так: он стал в доме настоящим хозяином и требовал, чтобы ему докладывали обо всем, вплоть до самых ничтожных мелочей. Горе им, если они позволяли себе какую-нибудь трату, которая не получила его предварительного одобрения! Недавно мать Карлы была больна, и девушке, занятой домашними делами, пришлось на некоторое время бросить пение. Узнав об этом от учителя, Коплер устроил ей сцену и заявил, что в таком случае нечего было беспокоить порядочных людей просьбами о помощи. Несколько дней они прожили как в кошмаре, боясь, что их снова бросят на произвол судьбы. Когда же Коплер, наконец, вновь появился в их доме, он не только возобновил все прежние условия, но даже точно установил, сколько часов в день Карла должна сидеть за фортепьяно и сколько может тратить на хозяйство. И еще пригрозил, что будет наведываться к ним в самые неожиданные часы и проверять, что они делают.

– Разумеется, он желает нам только добра, – сказала в заключение девушка, – но он приходит в такую ярость из-за пустяков, что, наверное, рано или поздно, рассердившись все-таки, предоставит нас собственной судьбе. Правда, сейчас, когда и вы тоже занялись нами, можно уже, наверное, этого не бояться?

И она снова пожала мне руку. Но так как ответил я ей не сразу, она испугалась, что я солидарен с Коплером, и добавила:

– Вот и синьор Коплер тоже говорит, что вы очень добры.

Этой фразой она хотела сделать комплимент мне, но также и Коплеру.

Образ Коплера, с такой неприязнью нарисованный Карлой, был для меня совсем новым и возбуждал живую симпатию. Мне бы очень хотелось на него походить, но это было невозможно, так как меня в этот дом привело желание. Это правда, что деньги, которые Коплер приносил бедным женщинам, были не его, но устроил-то все он, а кроме того, он посвящал этой семье значительную часть своей жизни. И гнев, которым он их удостаивал, был подлинно отеческим гневом. Но тут в мою душу закралось сомнение: а что, если все это он делает только потому, что тоже желает Карлу? И, ни секунды не колеблясь, я осведомился:

– А что, Коплер никогда не просил вас о поцелуе?

– Никогда! – живо ответила Карла. – Когда он бывает мною доволен, он сухо выражает свое одобрение, слегка пожимает мне руку и уходит. Зато, когда сердится, он даже руки не подает и не замечает, что я плачу от страха. Поцелуй в такую минуту был бы для меня подлинным облегчением!

Увидев, что я засмеялся, Карла поспешила объяснить, что она имела в виду:

– Я бы с благодарностью приняла поцелуй мужчины, который уже так стар и которому я стольким обязана.

Вот еще одно преимущество настоящих больных: они выглядят старше своих лет!

Я сделал слабую попытку походить на Коплера. Улыбаясь, чтобы не слишком напугать бедную девушку, я сказал, что и я тоже – стоит мне кем-нибудь заняться – становлюсь очень деспотичным. И в общем-то тоже считаю, что если уж берешься заниматься искусством, надо делать это всерьез. Потом я так вошел в свою роль, что и улыбаться перестал. Коплер был прав, строго обращаясь с девушкой, которая не умеет ценить время: ей следовало бы помнить о том, сколько людей идет на жертвы, чтобы оказать ей помощь!

Я был с ней по-настоящему строг и суров.

Однако пора было возвращаться домой к завтраку: именно сегодня мне ни в коем случае не хотелось заставлять Аугусту ждать. Я протянул Карле руку и только тогда заметил, как она бледна. Мне захотелось ее утешить.

– Не сомневайтесь, я сделаю все от меня зависящее, чтобы заступиться за вас и перед Коплером и перед всеми остальными.

Она поблагодарила, но по-прежнему выглядела подавленной. Потом я узнал, что едва я вошел, как она сразу же угадала истину, поняв, что я в нее влюбился и что, следовательно, она спасена. Но потом, а именно – к тому моменту, когда я собрался уходить, она уже была убеждена, что и я тоже влюблен в одно только искусство пения и что, следовательно, если она не будет делать успехов, то есть будет петь плохо, я брошу ее на произвол судьбы.

Вид у нее был ужасно удрученный. Мне стало ее жаль, но так как я не мог больше терять времени, я решил подбодрить ее с помощью того средства, на которое она сама недавно указала как на самое эффективное. Уже у самых дверей я привлек ее к себе, аккуратно отодвинул носом косу и, добравшись до шеи, даже легонько прикусил ее зубами. Все это имело вид шутки, и в конце концов она даже засмеялась – но уже после того как я ее отпустил. До этого она, совершенно ошеломленная, неподвижно покоилась в моих объятиях.

Она вышла вслед за мной на лестничную площадку и, уже когда я начал спускаться, спросила:

– Когда вы теперь зайдете?

– Завтра или на днях, – ответил я не совсем уверенно, но потом, уже решительнее, добавил: – Да нет, завтра, конечно, завтра! – Затем, не желая себя чересчур компрометировать, я еще сказал: – Мы продолжим изучение Гарсиа!

Выражение ее лица при этом ни разу не изменилось: она приняла первое мое обещание, потом – с благодарностью – второе, потом – все так же улыбаясь – третье. Женщины всегда знают, чего хотят. Ни Ада, которая меня

отвергла, ни Аугуста, которая меня приняла, ни Карла, которая предоставила мне поступать так, как я хочу, не колебались ни одной секунды.

На улице я сразу же почувствовал себя ближе к Аугусте, чем к Карле. Я вдохнул свежий, чистый воздух и с необычайной полнотой ощутил свою свободу. Это была не более чем шутка, и она не переставала быть таковой оттого, что местом ее приложения была избрана прикрытая косой шея Карлы. В конце концов и сама Карла восприняла этот поцелуй как обещание доброго отношения и, главное, поддержки.

Однако уже в тот же самый день за столом мне стало не по себе. Между мною и Аугустой огромной черной тенью, которую, мне казалось, было просто невозможно не заметить, легло мое давешнее приключение. Я чувствовал себя жалким, виноватым, больным. Боль в левом боку я ощущал как нервную боль, уходившую своими корнями в глубокую рану, которую я нанес своей совести. Делая вид, что я ем, я попытался облегчить эту боль, приняв традиционное твердое решение. «Все, больше я никогда ее не увижу, – думал я, – а если из соображений приличия мне и придется еще с ней встретиться, то это будет последний раз». В общем, не так уж много от меня и требовалось. Я должен был сделать над собой всего-навсего одно усилие: не пытаться больше увидеть Карлу.

Аугуста, смеясь, спросила:

– Ты что, был у Оливи? Чем ты так озабочен?

Я тоже засмеялся. Это было большим облегчением – получить возможность заговорить. Правда, это были не те слова, что могли бы вернуть мне покой, – потому что сказать те означало бы признаться и дать обещание, – но за неимением лучшего уже и эти слова были большим облегчением. И я заговорил и говорил ужасно много, весело и благодушно. Потом я придумал кое-что получше: я завел речь о той небольшой прачечной, о которой Аугуста так мечтала и в которой я ей все время отказывал, и тут же дал ей разрешение на постройку. Аугуста была так растрогана этим разрешением, о котором ей не пришлось даже просить, что встала из-за стола и подошла меня поцеловать. Этот поцелуй, по-видимому, начисто зачеркнул тот, предыдущий, и я сразу почувствовал себя гораздо лучше.

Вот так мы обзавелись прачечной, и еще и сейчас, проходя мимо ее небольшого здания, я всегда вспоминаю, что пожелала ее Аугуста, а утвердила Карла.

Вторая половина дня прошла чудесно – до краев наполненная любовью. Совесть донимает меня куда больше, когда я нахожусь один. Слова Аугусты и ее нежность меня успокаивали. Мы вместе вышли из дому. Потом я проводил ее к матери и весь вечер тоже провел с ней.

Прежде чем лечь, я, как обычно, долго смотрел на жену, которая уже спала, тихо и ровно дыша. Даже во сне она выглядела ужасно аккуратной: одеяло натянуто до подбородка, жидкие волосы заплетены в короткую косичку, приколотую на затылке. Я подумал: «Я не хочу причинять ей страданий! Ни за что на свете!» Заснул я спокойно. Завтра я выясню свои отношения с Карлой и найду способ успокоить бедную девушку насчет ее будущего, не прибегая к

поцелуюм.

В эту ночь мне приснился странный сон: я не только целовал шею Карлы – я ее пожирал. Я кусал ее с яростным наслаждением, но на месте укусов не появлялось кровоточащих ран, и шея оставалась такой же, как была, – гибкой, белоснежной, нетронутой. Покоившаяся в моих объятиях Карла, казалось, нисколько не страдала от этих укусов. Кто от них страдал, так это Аугуста, которая вдруг откуда-то появилась. Желая ее успокоить, я сказал: «Я не съем все: оставлю кусочек и тебе».

Этот сон показался мне кошмаром только тогда, когда я проснулся посреди ночи и вспомнил его уже с ясной головой: до этого, то есть пока он мне снился, даже присутствие Аугусты не уменьшало удовольствия, которое он мне доставлял.

Но едва проснувшись, я с необычайной ясностью осознал, как велико мое желание и какую серьезную опасность представляет оно для меня и Аугусты. Может быть, в лоне женщины, которая спала рядом со мной, уже зарождалась новая жизнь, и ответственность за нее должен буду нести я. А кто знает, чего потребует от меня Карла, если сделается моей любовницей? Мне казалось, что я заметил в ней жадность к удовольствиям, в которых до сих пор жизнь ей отказывала, а разве смогу я обеспечить сразу две семьи? Благоразумная Аугуста просила у меня прачечную, та попросит что-нибудь другое, но, конечно, не менее дорогое. Я вспомнил Карлу – как она, смеясь, прощалась со мной на площадке после того, как я ее поцеловал. Она уже тогда знала, что я стану ее добычей. Мне сделалось так страшно одному в темноте, что я не удержался и застонал.

Жена сразу же проснулась и спросила, что со мной. Я сказал первое, что пришло в голову, при этом я с трудом скрыл охвативший меня страх: своим вопросом она застала меня врасплох, она задала его как раз в тот момент, когда я, как мне казалось, проговорился.

– Да вот, все думаю о надвигающейся старости.

Она засмеялась и попыталась меня утешить, стараясь, впрочем, не разогнать обволакивавшего ее сна. Она сказала мне ту самую фразу, которую всегда говорила в тех случаях, когда видела, что меня пугает стремительный бег времени:

– Не думай об этом, ведь мы еще совсем молоды... А спать так хорошо!

Утешение помогло: больше я ни о чем не думал и заснул. Слово, произнесенное в ночи, все равно что луч солнца: оно освещает уголок действительности, рядом с которым сразу же бледнеют все образы, созданные нашей фантазией. С чего, собственно, я так испугался Карлы? Ведь я даже не стал еще ее любовником. Просто я сам сделал все возможное, чтобы представить себе сложившуюся ситуацию в самом устрашающем свете. Что касается *bebe*, которого я призывал в лоно Аугусты, то он тоже до сих пор не подавал никаких признаков жизни, если не считать строительства прачечной.

Утром я проснулся, верный принятому накануне решению. Поспешил в кабинет и вложил в конверт немного денег, которые собирался предложить Карле в тот самый момент, когда сообщу ей о своем решении больше не

приходить. Кроме того, я ей скажу, что готов посылать ей по почте некоторые суммы всякий раз, когда она меня об этом попросит, написав мне письмо на адрес, который я ей сообщу. Но как раз тогда, когда я уже собирался уходить, Аугуста с ласковой улыбкой спросила, не хочу ли я проводить ее к отцу. Из Буэнос-Айреса на свадьбу Гуидо приехал его отец, и мне следовало с ним познакомиться. Конечно, говоря это, Аугуста думала не столько об отце Гуидо, сколько обо мне. Она хотела вернуть нашим отношениям ту нежность, которая сопутствовала им накануне. Но сейчас все было иначе: мне не понравилось, что из-за этого визита между принятым мною решением и его осуществлением пройдет некоторое время. Ведь покуда мы с Аугустой шли рядышком по улице и, казалось, были так уверены во взаимной привязанности, другая женщина уже считала, что я ее люблю. Это было очень плохо. И я шел так, словно меня вели силой.

Мы нашли Джованни действительно значительно оправившимся. Он только не мог натянуть башмаки – так у него отекали ноги. Но ни он, ни я не придали тогда этому никакого значения. Он сидел в гостиной в обществе отца Гуидо, которому меня представили. Аугуста вскоре оставила нас, уйдя к матери и сестрам.

Синьор Франческо Шпейер показался мне далеко не таким толковым, как его сын. Это был человек лет шестидесяти, маленький, толстенький, недалекий и какой-то вялый – может, вследствие того, что после недавней болезни стал плохо слышать. Время от времени он вставлял в свою итальянскую речь какое-нибудь испанское слово:

– *Cada*<sup>24</sup> раз, когда я приезжаю в Триест...

Разговор у стариков шел о делах, и Джованни слушал отца Гуидо очень внимательно, потому что все, что тот говорил, имело большое значение для судьбы Ады. Я рассеянно прислушался и понял, что старый Шпейер решил ликвидировать все свои дела в Аргентине и отдать накопленные им *duros*<sup>25</sup> Гуидо, чтобы тот основал на них в Триесте новую фирму. Сам же после этого вернется в Буэнос-Айрес и будет жить там с женой и дочерью на доходы с оставшегося ему небольшого имения. Я не понял, да и сейчас не понимаю, почему он решил рассказать все это Джованни в моем присутствии.

В какой-то момент мне показалось, что они замолчали и взглянули на меня так, словно ждали от меня совета. Желая проявить вежливость, я заметил:

– Должно быть, оно не такое уж маленькое, это имение, если вы сможете на него прожить!

Джованни сразу же заорал:

– Ну что ты такое говоришь! – Этот вопль по своей мощи напоминал его лучшие времена, и я уверен, что, не заори он так громко, синьор Франческо не обратил бы на мои слова никакого внимания. Но тут он побледнел и сказал:

– Ну, я надеюсь, что Гуидо не откажется платить мне проценты с моего

---

24 Каждый (*исп.* ).

25 *Duros* – множественное число от *duro* (*исп.* ); *ду́ро* – денежная единица, имевшая хождение в Испании и странах Латинской Америки.

капитала!

Джованни, все так же громко, его успокоил:

– Что там проценты! Даже двойные, если понадобится! В конце концов, разве он вам не сын?

Синьор Франческо тем не менее не выглядел очень успокоенным, и, казалось, ждал решающих заверений именно от меня. Я поспешил это сделать, и так как старик стал слышать еще хуже, чем в начале разговора, мне пришлось быть очень многословным.

Потом разговор двух старых дельцов возобновился, но я уже остерегался в него вмешиваться. Джованни время от времени настороженно поглядывал на меня поверх очков, и в его затрудненном дыхании мне чудилась угроза. Потом он произнес какую-то длинную тираду, в середине которой вдруг обратился ко мне:

– Ведь правда?

Я горячо его поддержал.

Эта поддержка выглядела тем более горячей, что каждое слово и движение приобретали у меня особую выразительность от гнева, который рос во мне с каждой минутой. Что, собственно, я делаю в этой комнате, зачем я теряю время, которое мог употребить на проведение в жизнь принятого мною решения? Меня вынуждали пренебрегать делом, которое имело огромное значение для меня и для Аугусты. И я уже стал выдумывать какой-нибудь предлог, чтобы уйти, как вдруг гостиную заполнили женщины во главе с Гуидо. Сразу же после приезда отца он подарил невесте великолепное кольцо. Никто на меня не взглянул, никто не поздоровался, даже маленькая Анна. У Ады на пальце уже сверкал драгоценный камень. Не снимая руки с плеча жениха, она показала его отцу, а остальные женщины не сводили с него восторженных взглядов.

Но меня кольца не интересовали. Я даже обручальное-то не носил, оттого что оно мешало кровообращению! Не прощаясь, я вышел из гостиной, подошел к входным дверям и уже почти ушел, но Аугуста, заметившая мое исчезновение, успела меня догнать. Я был поражен ее искаженным лицом. Губы у нее были такие же бледные, как в день нашей свадьбы, перед поездкой в церковь. Я сказал ей, что меня ждет срочное дело. Потом, очень кстати вспомнив, что несколько дней назад купил от нечего делать слабые очки от дальнозоркости (я как сунул их в карман жилета, где они до сих пор лежали, так ни разу их и не вынул), добавил, что у меня назначена встреча с окулистом: он должен был проверить у меня зрение, так как с некоторых пор я стал хуже видеть. Она ответила, что я могу сразу же уйти, но сначала должен попрощаться с отцом Гуидо. Я нетерпеливо пожал плечами, но повиновался.

Когда я вошел в гостиную, все очень любезно со мной поздоровались. Что касается меня, то, будучи уверен, что с минуты на минуту я смогу уйти, я даже пришел на некоторое время в хорошее расположение духа. Отец Гуидо, который еще плохо разбирался в многочисленных членах своей новой семьи, спросил:

– Но я еще увижу вас до моего отъезда в Буэнос-Айрес?

– О! – сказал я. – *Cada* раз, когда вы будете в этом доме, вы, по всей вероятности, застанете здесь и меня.

Все засмеялись, и я с триумфом удалился, причем даже Аугуста попрощалась со мной довольно весело. Я ушел настолько законно, настолько тщательно выполнил все требуемые формальности, что мог идти теперь куда угодно совершенно спокойно. И было еще одно обстоятельство, освобождавшее меня от сомнений, которые до сих пор меня удерживали: я бежал из дома моего тестя, желая оказаться от него как можно дальше, – а это значило, что я должен был отправиться к Карле. Уже не первый раз – так, во всяком случае, мне казалось – мне приписывали в этом доме низкое стремление повредить Гуидо. Об этом аргентинском имении я заговорил по рассеянности, без всякой задней мысли, а Джованни решил, что я сделал это специально, чтобы повредить Гуидо в глазах отца. С Гуидо-то я сумею объясниться, если понадобится, но Джованни и всем прочим, подозревавшим меня в подобных низостях, будет достаточно просто отомстить. Не то чтобы я решил тут же изменить Аугусте, просто мне стало совершенно ясно, чего именно я хотел. В том, что я разок зайду к Карле, не было решительно ничего дурного, и даже если я еще раз столкнусь в этих краях со своей тещей и она меня спросит, что я тут делаю, я просто отвечу:

– Вот это мило! Иду к Карле, что же еще? – Так что я впервые шел к Карле, совершенно не думая об Аугусте. Так задел меня поступок ее отца.

На площадке не было слышно голоса Карлы. На мгновение меня охватил страх: а что, если ее нет дома? Я постучал и вошел, не дожидаясь, пока мне ответят. Карла была дома, но тут же была и ее мать. Они вместе шили, как, должно быть, делали это не раз, но я увидел это впервые. Они работали над огромной простыней, каждая над своим концом, сидя далеко друг от друга. Вот я и добрался наконец до Карлы, но до Карлы, которая находилась в обществе матери! А это было совсем другое дело! При этих условиях ни похвальные, ни дурные намерения невозможно было осуществить. Ситуация продолжала оставаться неопределенной.

Карла, вспыхнув, поднялась со своего места, а старушка медленно сняла очки и убрала их в футляр. Мне же тем временем пришло в голову, что у меня есть и еще причина для негодования, если даже не считать того, что мне помешали сразу же облегчить душу. Разве не эти самые часы были отведены Коплером для пения? Я любезно поздоровался со старой синьорой, хотя мне было нелегко принудить себя к этому проявлению вежливости. Поздоровался я и с Карлой, почти на нее не глядя. Потом сказал:

– Я пришел, чтобы посмотреть, нельзя ли извлечь еще какую-нибудь пользу из этой книги, – и я указал на Гарсиа, который явно нетронутый лежал на столе, где я его оставил в прошлый раз.

Я сел на то же место, что и накануне, и сразу же раскрыл книгу. Карла попыталась мне улыбнуться, но, увидев, как я нелюбезен, поторопилась послушно сесть рядом со мной и тоже взглянула в книгу. Она была в нерешительности, так как ничего не понимала. Я посмотрел на нее и увидел, что на ее лице изобразилось нечто вроде отвращения и упрямства. Я подумал, что с таким лицом она, наверное, принимает упреки Коплера. Только сейчас она не была еще уверена в том, что я упрекаю ее за то же, за что и Коплер: ведь она помнила, объяснила она мне позднее, что вчера я ее поцеловал, и из этого она



сделала вывод, что больше я на нее сердиться не буду. Поэтому выражение отвращения на ее лице легко могло превратиться в дружескую улыбку. Я должен тут же сказать – позже у меня не будет времени, – что эта ее уверенность в том, что она приручила меня с помощью одного только поцелуя, мне ужасно не понравилась: женщина, которая так думает, – очень опасная женщина.

Но в ту минуту мое состояние было в точности таким, как у Коплера: душа моя была переполнена упреками и негодованием. Я принялся читать вслух ту самую часть, которую накануне мы уже прочитали и которую я сам подвергнул придирчивой критике; я читал без всяких комментариев, лишь выделяя голосом те слова, которые казались мне особенно важными.

Карла перебила меня, сказав слегка дрожащим голосом:

– По-моему, мы это уже читали.

Так меня принудили высказаться. Иногда даже собственные слова могут принести некоторое облегчение. Мои слова, будучи гораздо спокойнее и моего душевного состояния и моего поведения, вернули меня в сферу светских отношений.

– Видите ли, синьорина, – и я сопровождал ласкательный суффикс улыбкой, которая могла бы быть улыбкой любовника, – я хотел бы еще раз просмотреть эти страницы, прежде чем пойти дальше. Может быть, вчера мы судили о них несколько опрометчиво: один мой приятель предупредил меня, что если я хочу понять Гарсию, я должен прочесть его до конца.

Наконец я почувствовал необходимость высказать какой-то знак уважения бедной старой синьоре, которая, вероятно, за всю свою жизнь – какой бы несчастной она ни была – все-таки никогда не оказывалась в подобном положении. Я адресовал ей улыбку, стоившую мне больших усилий, чем та, которой я одарил Карлу.

– Книга, конечно, не очень интересна, – сказал я, – но, может, ее полезно послушать и тем, кто не занимается пением.

И я упрямо возобновил чтение. Карле, по-видимому, стало гораздо легче, и по ее пухлым губам скользнуло что-то вроде улыбки. Зато старая синьора по-прежнему выглядела как бедный, загнанный зверек и продолжала оставаться в комнате только потому, что робость мешала ей найти предлог, под которым можно было уйти. Я же ни за что на свете не показал бы, как мне хочется вышвырнуть ее вон. Это было бы опасным и компрометирующим меня поступком.

Карла оказалась решительнее меня: вежливо попросив меня прервать на минутку чтение, она обернулась к матери и сказала, что та может идти – работу над простыней они продолжат после обеда.

Синьора приблизилась ко мне и неуверенно протянула мне руку. Я пожал ее с большим чувством и сказал:

– Я понимаю, что это не очень-то интересное чтение!

Можно было подумать, что я очень сожалею о том, что она нас покидает! Синьора ушла, положив на стул простыню, которую до сих пор держала в руках. Потом Карла на минутку вышла вслед за ней на площадку, чтобы что-то

ей сказать, а я уже просто с ума сходил от нетерпеливого желания видеть ее подле себя. Затем она вошла в комнату, закрыла за собой дверь, и, когда она села на свое прежнее место рядом со мной, вокруг рта у нее снова залегло что-то жесткое – это было похоже на выражение упрямства на детском личике. Она сказала:

– Каждый день в это время я занимаюсь! И надо же, чтобы именно сегодня на меня свалилась эта срочная работа!

– Да разве вы не видите, что меня совершенно не интересует, как вы поете! – вскричал я и привлек ее к себе в таком порывистом объятии, что сначала мне пришлось поцеловать ее в губы, а уже потом в то самое местечко, которое я поцеловал вчера.

Странная вещь! Она залилась горькими слезами и высвободилась из моих рук. Всхлипывая, она объяснила, что слишком много выстрадала с той минуты, когда я с таким видом вошел сегодня в комнату. Она плакала из той жалости к самой себе, которую всегда испытывает человек, когда видит, что кто-то сочувствует его страданиям. Эти слезы выражали не столько боль, сколько историю этой боли. Всегда хочется плакать, когда обличаешь несправедливое к себе отношение. И в самом деле, разве это было справедливо – заставлять красивую девушку заниматься, когда ее можно было просто целовать?

В общем, события разворачивались еще хуже, чем я воображал. Мне пришлось объяснить ей свое поведение, а так как сделать это надо было сразу же и у меня не было времени что-нибудь придумать, я сказал чистую правду. Я рассказал ей, как не терпелось мне увидеть ее и поцеловать. Я собирался прийти к ней пораньше: это решение я принял после целой ночи раздумий. Разумеется, я не сказал, для чего я решил к ней прийти, но это было не так уж и важно. Ведь я испытывал совершенно одинаковое болезненное нетерпение и тогда, когда решил прийти и сказать ей, что покидаю ее навсегда, и когда спешил к ней, чтобы заключить ее в объятия. Потом я рассказал ей о событиях этого утра: о том, как жена заставила меня ее провожать и привела к тестю, где я был принужден слушать разговоры о делах, не имеющих ко мне никакого отношения. Наконец с огромным трудом мне удалось вырваться, всю долгую дорогу я бегу бегом, прибегаю, и что же я вижу? Растянутую по всей комнате простыню.

Карла рассмеялась, поняв, что с Коплером у меня нет ничего общего. Смех пробежал по ее красивому лицу, словно радуга, и я снова ее поцеловал. Она не отвечала на мои ласки, но покорно им подчинялась – я обожаю в женщинах эту манеру, может быть, потому, что люблю слабый пол прямо пропорционально его слабости. Потом она в первый раз мне сказала, что знает от Коплера, как я люблю свою жену.

– Поэтому, – добавила она, и я увидел, как по ее красивому лицу мелькнула тень всерьез принятого решения, – поэтому между нами не может быть ничего, кроме дружбы.

Но я не очень поверил в твердость этого благоразумного решения, потому что, даже произнося его, ее рот не сумел уклониться от моих поцелуев.

Карла говорила очень долго. Видимо, она хотела пробудить во мне

сострадание. Я помню все, что она мне тогда сказала, но поверил я во все ею сказанное только тогда, когда она исчезла из моей жизни. До тех пор, пока она была рядом со мной, я всегда боялся ее, как женщины, которая рано или поздно воспользуется своим влиянием, чтобы погубить меня и мою семью. Поэтому я не поверил ей, когда она стала меня уверять, что желает только одного – обеспечить себе и матери самое скромное существование. Сейчас-то я точно знаю, что она и в самом деле никогда не собиралась брать у меня больше, чем ей было необходимо, и когда я думаю о том, как плохо я ее понимал и как мало любил, я краснею от стыда. Бедняжка ничего от меня не получила. Я дал бы ей все, потому что я из тех людей, что платят свои долги. Но я все ждал, чтобы она меня попросила.

Она рассказала мне о том, в каком отчаянном положении очутились они после смерти отца. Долгие месяцы они с матерью днем и ночью работали над вышивками, которые заказывал им один торговец. Но она испытывала такую наивную веру в то, что им поможет бог, что иногда часами простаивала у окна, глядя на улицу, откуда эта помощь, по-видимому, должна была появиться. Но вместо этого пришел Коплер. Она уверяла, что сейчас они вполне довольны своей участью, но тем не менее и она и мать порой не спят ночами – так, в сущности, ненадежна была его помощь. А что, если в один прекрасный день окажется, что у нее нет ни таланта, ни голоса? Ведь тогда Коплер их бросит. К тому же он говорил, что через несколько месяцев собирается устроить ей дебют в каком-то театре. А что, если это будет самый настоящий провал?

Побуждаемая все тем же желанием вызвать мое сочувствие, она рассказала мне, что постигшая их финансовая катастрофа разрушила и ее любовные мечты: ее бросил жених.

Но я был по-прежнему далек от всякого сострадания. Я сказал:

– А ваш жених часто вас целовал? Так же часто, как я?

Она засмеялась, потому что я мешал ей говорить. А я понял, что мне уже проложил путь какой-то мужчина.

Давно миновал час завтрака, к которому я должен был вернуться домой. Мне уже захотелось уйти. На сегодня было достаточно. Я был далек от угрызений совести, которые нынче ночью не давали мне спать, да и тревога, которая привела меня к Карле, тоже совсем исчезла. Но спокоен я не был. Это уже, наверное, такая моя судьба – никогда не знать покоя. Угрызений совести я не испытывал, потому что поцелуи, которые сулила мне Карла – столько, сколько я захочу, – она сулила во имя дружбы, которая никак не могла оскорбить Аугусту. Но потом мне показалось, что я понял причину своего раздражения, из-за которого, как всегда, в разных частях моего тела то и дело возникали летучие боли. Карла видела меня в ложном свете! Она могла начать меня презирать, видя, как я – хоть и любя Аугусту – жаждал ее поцелуев. И это та самая Карла, которая до сих пор, будучи от меня зависимой, была со мной столь почтительна!

Я решил завоевать ее уважение и произнес фразу, которая потом долго мучила меня, как воспоминание о трусливом преступлении, о предательстве, совершенном но свободному выбору – без всякого прока и без всякой

необходимости.

Уже у самых дверей я сказал Карле с видом человека, абсолютно владеющего собой и пускающегося в откровенности скрепя сердце:

– Коплер говорил вам, что я очень привязан к своей жене. Да, это правда: я ее очень уважаю.

Потом во всех подробностях, ничего не утаивая, я рассказал ей историю своей женитьбы: как я влюбился в старшую сестру Аугусты, которая и слышать обо мне не хотела, ибо любила другого, как я потом попытался жениться на другой ее сестре, которая тоже меня отвергла, и как наконец я смирился с тем, что мне придется жениться на Аугусте.

Карла нисколько не усомнилась в правдивости моего рассказа. Потом я узнал, что Коплер, слышавший кое-что в нашем доме, сообщил ей подробности, которые были не совсем точны и которые теперь я подтвердил и уточнил.

– А ваша жена красива? – задумчиво спросила она.

– Смотря на чей вкус, – ответил я.

Во мне продолжало действовать какое-то сдерживающее начало. Я сказал, что уважаю свою жену, но при этом отнюдь не сказал, что я ее не люблю. Я не сказал, что она мне нравится, но и не сказал, что она не может мне нравиться. Тогда мне казалось, что я совершенно искренен, сейчас же я понимаю, что предал этими словами обеих женщин и всю нашу любовь – и их и мою.

Сказать по правде, я еще не до конца успокоился: чего-то мне еще не хватало. Я вспомнил о конверте, воплощавшем в себе мои добрые намерения, и протянул его Карле. Она заглянула в него и сразу же вернула, сказав, что как раз на днях Коплер принес им месячное пособие, и сейчас деньги ей не нужны. Беспокойство, которое я испытывал, от этого только возросло, ибо, по моему давнему убеждению, по-настоящему опасные женщины никогда не принимают небольших сумм. Она заметила мое недовольство и с прелестной наивностью – которую я могу оценить только сейчас, когда пишу эти строки, – попросила у меня несколько крон, чтобы купить тарелки, – своих бедные женщины недавно лишились в результате какой-то катастрофы, происшедшей на кухне.

Затем произошла одна вещь, которая оставила неизгладимый след в моей памяти. Уходя, я ее поцеловал, и на этот раз она страстно ответила на мой поцелуй. Мой яд подействовал. Она сказала с замечательной наивностью:

– Я люблю вас, потому что вы так добры, что даже все ваше богатство не может вас испортить.

Потом лукаво добавила:

– Теперь я буду знать, что главное – не заставлять вас ждать; в остальном вы совершенно безопасны.

Уже на площадке она спросила:

– Могу я послать к черту учителя пения, да и Коплера заодно?

Бегом спускаясь по лестнице, я крикнул:

– Посмотрим!

Только эта неопределенность и осталась в наших отношениях: все остальное определилось совершенно четко.

И от всего этого мне стало так худо, что, очутившись на улице, я,

одолеваемый сомнениями, двинулся в сторону, противоположную дому. Я был на грани того, чтобы вернуться и объяснить Карле, что я люблю Аугусту! Это еще вполне можно было сделать, так как я не говорил ей, что я ее не люблю. Я только забыл в заключение изложенной ей правдивой истории добавить, что теперь я и в самом деле полюбил Аугусту. Именно поэтому Карла и решила, что я совсем не люблю свою жену, и ответила так пылко на мой поцелуй, сопроводив его признанием в любви. Мне казалось, что если бы не это, мне было бы легче переносить доверчивый взгляд Аугусты. И подумать только, что совсем недавно я радовался тому, что Карла знает о моей любви к жене и что, таким образом, по ее собственному решению, приключение, которого я так жаждал, будет предложено мне в виде одобренной поцелуями дружбы.

В городском саду я сел на скамейку и рассеянно начертил тростью на гравии сегодняшнюю дату. Потом с горечью рассмеялся: я знал, что этот день отнюдь нельзя считать днем, положившим конец моим изменам. Наоборот, только сегодня все и начиналось. Разве у меня хватит сил не вернуться к столь соблазнительной женщине, которая к тому же меня ждала? А кроме того, я уже взял на себя обязательства, и делом чести было их исполнить. Я получал поцелуи, а взамен дал пока только немного фаянса. Теперь меня уже связывал с Карлой неоплаченный счет!

Завтрак прошел уныло. Аугуста не спросила у меня объяснений по поводу моего опоздания, а сам я ничего не сказал. Я боялся проговориться, тем более что весь не слишком длинный путь от городского сада до дома я вынашивал мысль во всем ей открыться, так что вся история моей измены могла отпечататься на моем честном лице. Это был бы, конечно, единственный путь спасения. Рассказав ей все, я как бы вверил себя ее защите и надзору. Это было бы событием такой важности, что я мог бы смело отметить дату этого дня как момент, знаменующий поворот к здоровой и честной жизни.

За завтраком мы говорили о всяких пустяках. Я старался казаться веселым, но даже и не пытался притворяться нежным. Дыхание Аугусты было неровным: конечно, она ждала объяснения, но его так и не последовало.

После завтрака она возобновила свой грандиозный труд по укладыванию зимних вещей в специальные шкафы. Я видел ее, всю поглощенную работой, в конце длинного коридора, рядом с помогавшей ей служанкой. Испытываемое ею страдание никак не отражалось на ее здоровой и разумной деятельности.

Снедаемый беспокойством, я метался между спальней и ванной, и мне все время хотелось позвать Аугусту и сказать ей по крайней мере, что я ее люблю; ей, бедной простушке, этого было бы достаточно. Но вместо этого я продолжал раздумывать и курить.

Разумеется, я прошел через несколько стадий. Был даже момент, когда этот приступ добродетели вытеснило нетерпеливое желание приблизить завтрашний день, когда я смогу наконец побежать к Карле. Впрочем, может быть, и это желание было продиктовано каким-нибудь добрым намерением. В сущности, самым трудным было вот так, одному, заставить себя вернуться на стезю долга. Признания, которое обеспечило бы мне участие жены, я сделать не мог; следовательно, оставалась Карла, на устах которой вместе с последним

поцелуем я должен был запечатлеть свою клятву. Но кто такая была Карла? В конце концов, даже шантаж еще не самое страшное, что мне грозило. Завтра она станет моей любовницей, и совершенно неизвестно, что за этим могло последовать. Я знал о Карле только то, что рассказывал мне этот идиот Коплер, а на основании поступившей от него информации человек более осторожный, чем я, – например, Оливи – не пошел бы с ней даже на коммерческую сделку.

Вся та прекрасная, здоровая деятельность, которую развернула в моем доме Аугуста, пропала впустую. Брак, это сильнодействующее средство, за которое я ухватился в своем страстном стремлении выздороветь, доказал свою полную несостоятельность. Я был болен еще серьезнее, чем прежде, но теперь, к моему, и не только к моему, несчастью, я был еще и женат.

Позже, когда я действительно стал любовником Карлы, я, возвращаясь мыслью к этим унылым послеполуденным часам, всегда недоумевал – почему в ту пору, когда я еще не был связан с нею никакими обязательствами, я не пресек все одним разом, приняв очередное твердое решение. Ведь я так терзался, еще не изменив Аугусте, что, казалось, избежать измены мне было бы нетрудно. Разумеется, над человеком, который крепок задним умом, можно только посмеяться, но, по-моему, результаты бывают те же самые и в тех случаях, когда нам удастся предвидеть события. В эти тревожные часы в словаре на странице с буквой «к» появилась дата того дня и запись: «Последняя измена». Но первая настоящая измена, которая сделала неизбежными все последующие, произошла только на следующий день.

Уже поздно вечером, не в силах придумать ничего лучшего, я решил принять ванну. Собственное тело казалось мне ужасно грязным, и мне захотелось вымыться. Но когда я уже лежал в ванне, я подумал: «Чтобы отмыться дочи́ста, мне нужно было бы буквально раствориться в этой воде». Потом я оделся, настолько подавленный, что у меня не было сил даже как следует вытереться. День угас, и я остановился у окна, чтобы взглянуть на молодую зеленую листву, в которую оделся сад. И тут вдруг меня пронизала дрожь, и я с удовлетворением подумал, что, может быть, это лихорадка. Я желал не смерти, а болезни – болезни, которая послужила бы мне предлогом для того, чтобы поступать как я хочу, или, наоборот, помешала бы этому.

Наконец, после долгих колебаний, Аугуста зашла меня проведать. Когда я увидел ее, мою нежную и незлопамятную жену, меня пробрал такой озноб, что я буквально застучал зубами. Испуганная Аугуста заставила меня лечь в постель. Я продолжал стучать зубами от холода, но уже понимал, что лихорадка здесь ни при чем, и потому не разрешил ей вызвать врача. Я попросил ее просто потушить лампу, сесть рядом со мной и не разговаривать. Не знаю, сколько времени мы так провели, постепенно ко мне вернулось ощущение тепла и вместе с ним немного уверенности. Но в голове было настолько смутно, что когда Аугуста снова заговорила о том, чтобы позвать врача, я сказал ей, что сам знаю причину своего недомогания и объясню ей все позже. То есть я вновь возвращался к мысли во всем ей признаться. У меня не было иного средства снять тяжесть с души.

Некоторое время мы снова молчали. Потом я увидел, что Аугуста встала с

кресла и идет ко мне. Мне стало страшно, может она обо всем догадалась? Она взяла мою руку, погладила ее, потом легонько коснулась ладонью моего лба, чтобы проверить, нет ли жара, и наконец сказала:

– Но ведь ты должен был этого ждать? Почему ты так остро все воспринимаешь?

Я изумился этим странным словам, а также тому, что они прорвались сквозь подавленное рыдание. Было совершенно очевидно, что она имела в виду вовсе не мое приключение. Откуда, собственно, я мог знать, что окажусь именно таким, каким оказался? Я резко спросил:

– Что ты хочешь этим сказать? Чего я должен был ждать?

Она смущенно пробормотала:

– Приезда отца Гуидо на Адину свадьбу.

Наконец-то я понял: она думала, что я страдаю из-за близящейся свадьбы. Это показалось мне величайшей несправедливостью: уж в этом-то преступлении я не был виновен! И как только я ощутил себя чистым и невинным, как новорожденный, тяжесть с моей души спала, и я вскочил с кровати.

– Так ты думаешь, что я огорчен из-за этой свадьбы? Ты сошла с ума! С тех пор как я женился, я и думать забыл об Аде. А то, что сегодня приехал этот самый синьор *Cada*, у меня просто даже вылетело из головы!

И я обнял ее и поцеловал, полный желанием, а моя речь была проникнута такой искренностью, что она устыдилась своего подозрения.

Ее наивное личико тоже совершенно прояснилось, и вскоре, почувствовав голод, мы отправились ужинать. За тем же самым столом, за которым нам было так худо всего несколько часов назад, мы сидели теперь, как двое добрых приятелей, наслаждающихся свободой и отдыхом.

Она напомнила, что я обещал ей рассказать причину своей болезни. И я выдумал болезнь, которая дала бы мне возможность делать все, что я хочу, не чувствуя за собой никакой вины. Я сказал ей, что еще утром, находясь в обществе двух старых синьоров, я вдруг совершенно пал духом. Затем я пошел за очками, которые прописал мне окулист. Может быть, на меня так угнетающе подействовал именно этот признак близящейся старости? Потом я несколько часов бродил по улицам. И я изложил ей все мучившие меня фантазии, причем помню, что они содержали в себе даже намек на признание. Не знаю уж, в какой связи с моей воображаемой болезнью я заговорил о крови – крови, которая течет в наших жилах и держит нас на ногах, благодаря чему мы можем мыслить и действовать и, следовательно, грешить и раскаиваться. Она не поняла, что речь идет о Карле, но мне показалось, что я сказал ей все.

После ужина я нацепил очки и долго притворялся, будто читаю газету: в очках я видел все как в тумане. Это занятие еще более усилило мое возбуждение, приятное, словно алкогольное опьянение. Я сказал, что не могу понять, что здесь написано. Я продолжал притворяться больным.

Ночь я провел почти без сна. Полный страстного желания, я жаждал объятий Карлы. Я желал именно ее, девушку с толстыми, необычно уложенными косами, и таким музыкальным – до тех пор, пока она не пела –

голосом. Страдания, которые она мне причинила, делали ее еще желаннее. Всю ночь я твердил про себя принятое мною железное решение. Я буду с Карлой совершенно откровенен и, прежде чем она станет моей, скажу ей всю правду о своих отношениях с Аугустой. Лежа в постели, я рассмеялся. Это было весьма оригинально: отправляясь на завоевание одной женщины, держать наготове слова любви, адресованные другой! Но, может быть, услышав это, Карла снова сделается пассивной? Ну и что из того? Как бы она себя теперь ни вела, я, пожалуй, уже мог не сомневаться в ее покорности, а это для меня было главное.

На следующее утро, одеваясь, я бормотал фразы, которые намеревался ей сказать. Прежде чем стать моей, Карла должна будет узнать, что Аугуста благодаря своему характеру, а также своему здоровью (я мог бы многое сказать о том, что именно я понимал под здоровьем Аугусты, и, конечно, Карле было бы очень полезно это послушать) сумела завоевать не только мое уважение, но и любовь.

За кофе я был так занят тщательной подготовкой и разработкой своей речи, что единственный знак любви, который получила от меня Аугуста, был короткий поцелуй перед самым уходом. Ведь я и так весь принадлежал ей! Я шел к Карле, чтобы разжечь свою страсть к Аугусте.

Когда я вошел в кабинет Карлы, для меня было таким облегчением застать ее одну и в полной готовности, что я тут же привлек ее к себе и страстно обнял. Я был испуган силой, с которой она тут же меня оттолкнула. Это была непритворная ярость! Она и слышать не хотела ни о каких объятиях, и я так и остался стоять посреди комнаты с раскрытым ртом, испытывая жесточайшее разочарование.

Но Карла, сразу же оправившись, прошептала:

– Вы что, не видите, что дверь открыта, а по лестнице кто-то спускается?

Я сразу же напустил на себя вид церемонного посетителя и соблюдал его, покуда этот некстати появившийся свидетель не прошел. Потом мы закрыли дверь. Она побледнела, увидев, что я повернул в ней ключ. Таким образом, все стало ясно. Вскоре, лежа в моих объятиях, она, задыхаясь, шептала:

– Ты этого хочешь? Ты этого действительно хочешь?

Она обращалась ко мне на ты, и это оказалось решающим! Я ответил:

– Конечно, только этого я и хочу.

Я совсем позабыл, что предварительно собирался кое-что ей разъяснить.

Едва все свершилось, как мне захотелось начать разговор о своих отношениях с Аугустой, раз уж я не сделал этого заблаговременно. Но в такой момент это было трудно. Заговорить с Карлой в эту минуту о чем-то постороннем значило бы уменьшить значение ее самозабвенного порыва. Даже самый тупой мужчина знает, что таких вещей делать нельзя, хотя всем известно, что нет никакого сравнения между значением этого самозабвенного порыва до того, как он случится, и сразу же после. Для женщины, которая впервые открыла вам объятия, было бы огромной обидой услышать от вас: «Прежде всего я должен кое-что разъяснить тебе насчет того, о чем мы говорили вчера». Какое вчера? Все, что случилось днем раньше, должно казаться не заслуживающим упоминания, а если иной джентльмен думает иначе, тем хуже



для него: он должен стараться, чтобы никто этого не заметил!

Я как раз и был таким нечутким джентльменом и поэтому, будучи вынужденным притворяться, совершил промах, которого бы, конечно, не допустил, будь я искренен. Я спросил:

– Как могло случиться, что ты мне отдалась? Чем я это заслужил?

Хотел ли я таким образом выразить ей свою благодарность, или это был упрек? Вернее всего, то была просто попытка перейти к объяснению.

Она в некотором удивлении взглянула вверх, чтобы увидеть мое лицо.

– Мне кажется, что ты овладел мною сам, – и ласково улыбнулась, желая показать, что вовсе не хочет меня за это упрекнуть.

Я вспомнил, что женщины всегда настаивают на том, чтобы говорилось, будто ими овладели. Но потом она сама заметила, что выразилась неточно, что овладеть можно вещью, а люди приходят к соглашению, и прошептала:

– Я ждала тебя! Ты тот рыцарь, который должен был меня освободить. Конечно, это плохо, что ты женат, но раз ты не любишь свою жену, я по крайней мере знаю, что мое счастье не разрушает счастья другой женщины.

Привычная боль в левом боку пронзила меня с такой силой, что я выпустил ее из своих объятий. Итак, я, значит, не преувеличил значение тех своих необдуманных слов. Стало быть, именно моя ложь и побудила Карлу мне отдаться. И если теперь я вздумаю рассказать ей о том, как люблю Аугусту, она с полным правом сможет обвинить меня в том, что я заманил ее в ловушку. Так что ни о каких поправках и уточнениях сейчас не могло быть и речи. Потом мне, конечно, представится случай объясниться и внести в этот вопрос ясность, но до тех пор между мной и Карлой стало еще одной связующей нитью больше.

И именно там, подле Карлы, полностью возродилась моя любовь к Аугусте. В ту минуту я испытывал только одно желание: поскорее очутиться возле своей законной жены, чтобы увидеть, как она, словно трудолюбивая пчела, возится с нашим имуществом, помещая его в спасительную атмосферу нафталина и камфары.

Но я остался верен своему долгу, хотя это было весьма нелегко: дело в том, что меня очень встревожил один эпизод, в котором я усмотрел еще одну опасность, угрожавшую мне со стороны этой женщины-сфинкса. Карла рассказала мне, что вчера сразу же после моего ухода пришел учитель пения, и она просто-напросто выставила его за дверь.

У меня невольно вырвался протестующий жест. Это было все равно, что объявить Коплеру о нашей связи.

– Что скажет Коплер! – воскликнул я.

Она рассмеялась и – на этот раз по собственной инициативе – укрылась в моих объятиях.

– А разве мы не договорились, что мы и его тоже выставим за дверь?

Она была очень мила, но это меня уже не трогало. И я напустил на себя менторский вид, что было очень удобно, так как я получал таким образом возможность выразить этой женщине всю свою досаду, раз уж я не мог говорить с ней о своей жене, как мне этого хотелось бы.

Все люди на свете, говорил я, должны трудиться, потому что, как она уже,

конечно, заметила, мир жесток и выживают в нем только самые сильные. А что, если я умру? Что станет тогда с нею? Возможность того, что я ее покину, была подана так, что она никак не могла обидеться, и она и в самом деле даже растрогалась. Потом, с очевидным намерением ее задеть, я сказал, что жене мне достаточно сказать только слово, как все мои желания тут же исполняются.

– Ну что ж, – сказала она безропотно, – скажем учителю, чтобы он вернулся.

Потом она попыталась внушить и мне ненависть, которую она испытывала к учителю. Каждый день ей приходится терпеть общество этого противного старикашки, заставляющего ее без конца повторять упражнения, от которых нет никакого, совершенно никакого проку. Ей только тогда и выпадает счастливый денек, когда учитель заболевает. Сколько раз она надеялась, что он умрет, но ей не везет.

Отчаяние привело ее буквально в исступление. Все больше растравляя себя, она повторяла и повторяла свои жалобы: она была несчастна, непоправимо несчастна. А когда она вспоминала, что и полюбила-то меня с первого взгляда только потому, что в моих словах, моих глазах, во всем моем облике прочла обещание менее суровой, менее скучной, менее трудной жизни, – она не смогла удержаться от слез.

Так мне сразу же довелось увидеть ее слезы, и они вызвали во мне раздражение. Рыдания были так сильны, что сотрясали все ее хрупкое тело. Мне показалось, что мой карман и моя жизнь подверглись грубому нападению. Я спросил:

– Может, ты думаешь, что моя жена ничего не делает? Мы тут сидим и разговариваем, а она в это время отравляет себе легкие камфарой и нафталином.

Карла всхлипнула:

– Ну да – обстановка, вещи, одежда! Счастливая женщина!

Я в раздражении подумал, что она хочет, чтобы я тут же купил все эти вещи и тем самым доставил ей занятие, которое казалось ей таким приятным. Но, слава богу, я не показал своего раздражения; я повиновался велению долга, который внушал мне: «Приласкай девушку, которая тебе доверилась». И я ее приласкал. Легонько провел рукой по ее волосам. В результате всхлипывания прекратились, и ничем не сдерживаемые слезы ручьем хлынули из ее глаз, словно дождь, который следует за грозой.

– Ты мой первый любовник, – сказала она, – и я надеюсь, что ты меня не разлюбишь!

Это ее сообщение о том, что я был первым любовником, – указание, которое как бы подготавливало место для второго, – не очень меня тронуло. Заявление поступило с опозданием, так как эта тема была исчерпана еще добрых полчаса назад. Но, кроме того, я увидел в нем еще одну угрозу. Ведь женщины обычно считают, что на первого любовника им принадлежат все права. И я ласково прошептал ей на ушко:

– И ты тоже моя первая любовница... с тех пор, как я женился.

Нежность в голосе должна была замаскировать заключенную в этой фразе попытку уравнивать наше положение.

Вскоре я покинул Карлу, так как ни за что не хотел опоздать к завтраку. Прежде чем уйти, я снова вытащил из кармана конверт, который мысленно называл конвертом добрых намерений, ибо не было ничего лучше того намерения, которое заставило его появиться на свет. Чтобы чувствовать себя свободнее, мне надо было расплатиться. Карла снова мягко отказалась взять деньги, и это меня не на шутку разозлило, но я удержался и ничем не проявил своего раздражения, если не считать, что наорал на нее, пользуясь при этом самыми нежными словами. Орал я, чтобы не прибить ее, но кто мог это знать? Я заявил, что, овладев ею, я осуществил вершину своих желаний, и для того, чтобы еще полнее прочувствовать, что она моя, я хочу ее полностью содержать. Меня это очень мучает, и она должна стараться меня не раздражать. Так как мне не терпелось поскорее уйти, я изложил эту мысль по возможности кратко, из-за чего – а также благодаря повышенному тону – она приобрела весьма грубую форму:

– Любовница ты мне или нет? В таком случае это моя обязанность тебя содержать!

Испугавшись, она перестала упрямиться и взяла конверт, не спуская с меня обеспокоенного взгляда: ей хотелось понять, что же тут было правдой – крик, в котором звучала ненависть, или нежные слова, в которых ей даровалось все, чего она желала. Она немного успокоилась, лишь когда я, уходя, коснулся губами ее лба. На лестнице меня одолело сомнение: а вдруг Карла, получив эти деньги и услышав, что я беру на себя заботу о ее будущем, выставит за дверь и Коплера, если он сегодня зайдет ее навестить? Я даже хотел было подняться, чтобы уговорить ее не компрометировать себя подобным поступком. Но у меня уже не оставалось времени: я должен был спешить.

Боюсь, что доктор, который прочтет эту рукопись, подумает, что Карла тоже представляла собою интересный объект для психоанализа. Ему, наверное, покажется, что ее падение, которому предшествовало увольнение учителя музыки, произошло слишком быстро. Мне, в свою очередь, показалось, что в награду за свою любовь она хотела от меня слишком много уступок. Понадобились долгие месяцы, чтобы я начал наконец понимать бедную девушку. По всей вероятности, она отдалась мне для того, чтобы избавиться от досаждавшей ей опеки Коплера, и в таком случае для нее и в самом деле, должно быть, было весьма неприятным открытием то, что она отдалась мне напрасно: от нее по-прежнему требовалось именно то, что ей было всего ненавистнее, а именно пение. Она еще лежала в моих объятиях, когда узнала, что уроки пения придется продолжать. Отсюда ее гнев и страдание, для выражения которых она не сумела найти точных слов. Таким образом, по совершенно разным причинам мы оба наговорили друг другу весьма странных вещей. Когда она меня действительно полюбила, к ней вернулась естественность, которой ее лишал расчет. Я же так никогда и не сумел стать с ней естественным.

Идя домой, я думал все о том же: «Если бы она знала, как я люблю свою жену, она вела бы себя иначе». Когда она это узнала, она и в самом деле повела себя иначе.

На улице я вдохнул в себя воздух свободы и не ощутил ни малейшей боли при мысли о том, что подверг свою свободу такой опасности. До завтра оставалось множество времени, и я мог еще десять раз найти способ, чтобы оградить себя от угрожавших мне осложнений. У меня даже хватило наглости по пути домой осуждать общественные установления, словно именно они были виноваты в моем поступке. Мне казалось, что дело должно было быть поставлено таким образом, чтобы время от времени (не всегда, конечно) человек мог позволить себе без всяких для себя последствий вступить в любовную связь с женщиной, которую он даже и не любит. Я не ощущал ничего похожего на угрызания совести. И это заставляет меня думать, что угрызания рождаются не из сожаления о совершенном нами дурном поступке, а из преступного намерения. Верхняя часть тела наклоняется, чтобы рассмотреть нижнюю и вынести о ней свое суждение. Найдя ее безобразной, она чувствует отвращение, и именно это отвращение мы и называем угрызаниями совести. В античной трагедии жертва не возвращалась к жизни, угрызания же совести тем не менее проходили. Это означало, что безобразия больше не существует, а чужие слезы не имеют для нас никакого значения. Откуда было взяться во мне угрызням совести, если я с такой радостью и с такой любовью спешил к своей законной жене? Уже давно я не чувствовал себя таким безгрешным.

За завтраком я без всякого над собой усилия был с Аугустой приветлив и нежен. В тот день между нами не прозвучало ни одной фальшивой ноты. Но и в крайности я тоже не впадал: я вел себя так, как и должен был себя вести с женщиной порядочной, в которой я был безусловно уверен. Вывали позднее моменты, когда я вдруг обнаруживал переизбыток нежности, но это случалось тогда, когда в моей душе происходила борьба между двумя женщинами и, преувеличивая проявления моей любви к Аугусте, мне было легче от нее скрыть, что между нами встал – весьма могущественный в данную минуту – призрак другой женщины. Могу также сказать, что по этой причине Аугуста была особенно довольна мною именно тогда, когда я принадлежал не только ей и был, следовательно, не совсем искренен.

Меня и самого несколько удивило спокойствие, которое я чувствовал в тот день, но я объяснил это тем, что сумел заставить Карлу принять «конверт добрых намерений». Не то чтобы я думал, что я таким образом с ней расплатился. Но мне казалось, что я хотя бы начал оплачивать индульгенцию. К несчастью, в продолжение всей моей связи с Карлой деньги так и остались главной моей заботой. При каждом удобном случае я припрятывал их в укромном местечке библиотеки, чтобы во всеоружии встретить всякое требование моей любовницы, заранее внушавшее мне такой страх. Когда же Карла меня бросила, оставив мне все эти деньги, они пошли на совсем другие нужды.

Вечер нам предстояло провести в доме моего тестя, за обедом, на который были приглашены только члены семьи: этот обед заменял традиционный банкет, предшествующий свадьбе, которая должна была состояться два дня спустя. Гуидо решил воспользоваться первым же улучшением, наступившим в состоянии здоровья Джованни, так как не надеялся, что оно затянется надолго.

Мы отправились к тестю пораньше. По дороге я напомнил Аугусте о ее вчерашних словах, о том, что я будто бы огорчен предстоящей свадьбой. Она еще раз устыдилась своих подозрений, а я снова долго распространялся о своей невинности. И в самом деле, о чем еще говорить, если я сегодня вернулся домой, начисто позабыв о том, что вечером состоится торжество, предшествующее этой самой свадьбе!

Хотя приглашены были только свои, старики Мальфенти пожелали, чтобы обед прошел с подобающей случаю торжественностью. Аугусту попросили помочь красиво убрать комнату и накрыть на стол, так как Альберта не желала об этом и слышать. Недавно на каком-то конкурсе она получила премию за одноактную комедию и теперь энергично приступила к реформе национального театра. Таким образом, на стол накрывали Аугуста и я, с помощью горничной и Лучано, парня из конторы Джованни, который обнаружил одинаковые способности к поддержанию порядка как в конторе Мальфенти, так и у него в доме.

Я помог принести цветы и красиво расставить их на столе.

– Видишь, – сказал я шутя Аугусте, – вот и я вношу свой вклад в их счастье. И если бы меня попросили приготовить им брачное ложе, я сделал бы это с тем же спокойствием.

Потом мы заглянули к жениху и невесте. Недавно вернувшиеся после какого-то официального визита, они укрылись в самом дальнем углу гостиной и, как мне кажется, до нашего появления целовались. Невеста еще не переменяла визитного платья и, раздумываясь от холода, была очень хорошенькая. Видимо, именно для того, чтобы скрыть, что они были заняты поцелуями, жених с невестой захотели убедить нас в том, что беседовали на научные темы. Это было глупо и даже, пожалуй, оскорбительно. Они что же, не желали посвящать нас в свою близость, или, может, думали, что поцелуи эти могут кому-нибудь причинить боль? Однако им не удалось испортить мне настроение. Гуидо заявил, что Ада не верит, будто существуют на свете такие осы, которые парализуют своим ядом других насекомых, гораздо более сильных, чем они, чтобы сохранить их в живом и свежем виде для питания своего потомства. Я знал, что в природе действительно существует нечто чудовищное в этом роде, но в тот момент мне не хотелось доставить Гуидо это удовлетворение.

– Ты что же, считаешь, что я оса? Почему ты спрашиваешь об этом именно у меня? – спросил я смеясь.

Мы оставили жениха и невесту одних, чтобы не мешать им заниматься более приятным делом. Я уже начал находить, что время тянется слишком медленно, и решил уйти домой, чтобы дожидаться торжественного часа в своем кабинете.

В прихожей мы столкнулись с доктором Паоли, который выходил из спальни моего тестя. Несмотря на молодость, он уже сумел обзавестись хорошей клиентурой. Это был очень светлый блондин, бело-розовый как юноша. Но главным в его облике были глаза, благодаря которым он выглядел необычайно внушительно и серьезно. От очков он казался старше, чем был, а

взгляд его льнул к предметам, словно ласка. Сейчас, когда я одинаково хорошо знаю как его, так и доктора С., моего психоаналитика, мне кажется, что последний придает своему взгляду пытливость нарочно, в то время как взгляд доктора Паоли делала пытливым присущая ему ненасытная любознательность. Паоли ясно видит своего пациента, но при этом не упускает из виду и его жену и стул, на котором он сидит, и неизвестно еще, кому из этих двух врачей удавалось лучше справляться со своими больными. Во время болезни тестя я часто заходил к доктору Паоли, чтобы попросить его не говорить семье, насколько близка катастрофа, и помню, что однажды, посмотрев на меня взглядом более долгим, чем это мне могло понравиться, он улыбнулся и сказал:

– Да вы обожаете свою жену!

Он был хороший наблюдатель, потому что в тот момент я действительно обожал свою жену, которая так волновалась за отца и которой я каждодневно изменял.

Он сказал, что Джованни лучше, чем накануне. Теперь, когда настало благоприятное время года, он даже не очень за него тревожится и считает, что новобрачные могут спокойно отправиться в свадебное путешествие. Но все это, конечно, в том случае, добавил он осторожно, если не произойдет каких-нибудь непредвиденных осложнений. Этот его прогноз полностью подтвердился, потому что непредвиденные осложнения произошли.

Уже прощаясь, он вспомнил, что мы тоже знаем некоего Коплера, к которому он как раз сегодня был приглашен на консилиум. У Коплера оказалась острая почечная недостаточность. Паоли сказал, что первым ее симптомом была ужасная зубная боль. Затем он сделал неутешительный прогноз, по обыкновению слегка смягчив его сомнением:

– Может быть, он еще и выкарабкается, если сумеет продержаться до утра.

У Аугусты от жалости выступили на глазах слезы, и она стала уговаривать меня сейчас же навестить нашего бедного друга. Немного поколебавшись, я повиновался, и даже не без охоты, потому что в мою душу внезапно вторглась Карла. Как я был суров с бедной девушкой! Ведь со смертью Коплера она останется совсем одна на этой своей лестничной площадке, которая уже никак не могла меня скомпрометировать, потому что оказывалась начисто отрезанной от моего мира. Мне следовало поспешить туда и постараться загладить впечатление, оставленное моим сегодняшним суровым с ней обхождением. Однако сначала я благоразумно зашел к Коплеру. Нужно было сделать так, чтобы потом я действительно мог сказать Аугусте, что я его видел.

Я уже бывал в скромной, но очень приличной и удобной квартирке на Корсиа Стадион, в которой жил Коплер. Ее владелец, старичок пенсионер, уступил ему три из своих пяти комнат. Открыл мне хозяин – страдающий одышкой толстяк с красными глазами, который в беспокойстве мерил шагами короткий темный коридор. Он сказал, что врач, лечащий Коплера, недавно ушел, констатировав, что больной находится в агонии. Старик говорил шепотом, словно боялся потревожить покой умирающего. Я тоже понизил голос. Нам кажется, что делать это велит нам уважение к умирающему, хотя кто знает – не было ли бы ему приятнее, если бы в последние мгновения рядом

слышались громкие, отчетливые голоса, напоминающие ему о жизни.

Старик сказал, что у постели больного дежурит монахиня. Преисполненный почтительности, я некоторое время постоял перед дверью комнаты, за которой бедный Коплер с удивительной ритмичностью отсчитывал хрипами свои последние мгновения. Его шумное дыхание складывалось из двух звуков: медленного, неуверенного, когда он вдыхал воздух, и поспешного, когда он его выталкивал обратно. Торопливость умирения? За этими двумя звуками следовала пауза, и я подумал, что когда она затянется, тогда и начнется новая жизнь.

Старик предложил мне войти в комнату, но я не пожелал. Уже слишком много умирающих смотрело на меня укоряющим взглядом.

Я не стал ждать, когда пауза затянется, и поспешил к Карле. Постучал в запертую на ключ дверь кабинета, но никто не ответил. В нетерпении я начал колотить в дверь ногами, и тогда позади меня раскрылась другая дверь и я услышал голос матери Карлы: «Кто там?» – и робкая старушка высунулась на площадку. Когда она наконец разглядела меня в падавшем из кухни желтоватом свете, я заметил, что лицо ее залилось румянцем, делавшимся еще ярче от соседства со снежной белизной волос. Карлы не было дома, и старушка пошла было за ключами от кабинета, чтобы принять меня в комнате, которую она, наверное, считала единственной заслуживающей такой чести. Но я сказал, чтобы она не беспокоилась, и, войдя в кухню, сел на деревянный табурет. В очаге, под котелком горела жалкая горстка угля. Я сказал, чтобы она не прерывала из-за меня приготовление ужина, но старушка успокоила меня на этот счет. Она варила фасоль, которую сколько ни вари – не переваришь.

Вид скудной пищи, приготовлявшейся в доме, который отныне поступал полностью под мою опеку, несколько смягчил досаду, которую я испытал, не найдя на месте своей любовницы.

Синьора продолжала стоять, хотя я уже несколько раз приглашал ее сесть. Тогда резко и без всякого перехода я сказал, что пришел сообщить синьорине Карле печальную новость: Коплер при смерти.

Старуха всплеснула руками и была сразу же принуждена сесть.

– Боже мой! – воскликнула она. – Что же теперь с нами будет!

Потом, вспомнив, что Коплеру приходится все-таки хуже, чем им, сочувственно добавила:

– Бедный синьор! Он был такой добрый!

По ее лицу текли слезы. Видимо, ей было неизвестно, что не поторопись бедный синьор умереть, его выставили бы отсюда вон. Это придало мне уверенности. Вот какой атмосферой скромности и сдержанности я, оказывается, был окружен!

Желая успокоить старушку, я сказал, что все, что до сих пор делал для них Коплер, буду теперь делать я. На это она возразила, что жалеет не столько себя – ведь она видит, что окружена прекрасными людьми, – сколько их дорогого благодетеля, которому выпала такая участь.

Потом она пожелала узнать, от чего именно он умирает. Рассказывая ей, как обнаружилась близящаяся катастрофа, я вспомнил наш с Коплером спор о

благодетельности болевых ощущений. Вот, значит, и у него зубные нервы не выдержали и позвали на помощь оттого, что где-то метром ниже отказались работать почки. Я был настолько равнодушен к судьбе моего бедного друга, чей хрип я слышал совсем недавно, что продолжал так и эдак поворачивать его аргументы. Если бы он мог еще меня слышать, я сказал бы, что уж теперь-то ему должно быть ясно, почему у мнимого больного могут совершенно законно разболеться нервы из-за болезни, разразившейся в нескольких километрах от него.

Так как больше нам со старушкой беседовать было не о чем, я согласился подождать Карлу у нее в кабинете. Взяв Гарсиа, я попытался прочесть несколько страниц, но искусство пения слишком мало меня волновало.

Вскоре снова пришла мать Карлы. Она тревожилась по поводу того, что Карла так задерживается. По ее словам, она ушла за тарелками, которые были им срочно необходимы.

Терпение мое истощилось. Я сердито спросил:

– Как? Вы перебили все тарелки? Неужели нельзя было быть осторожнее?

Этот вопрос помог мне избавиться от старушки, которая удалилась, испуганно бормоча:

– Только две штуки... Это я их разбила.

Ее слова доставили мне несколько веселых минут, потому что мне было точно известно, что тарелки разбиты все до единой и что разбила их не старушка, а сама Карла. Потом я узнал, что Карла обращалась с матерью весьма сурово, и та ужасно боялась обсуждать дела дочери с ее покровителями. Однажды по простоте душевной она рассказала Коплеру, как раздражают Карлу уроки пения. Коплер рассердился на Карлу, а та накинулась на мать.

В общем, когда моя очаровательная любовница наконец пришла, я любил ее со всем гневом и страстью, на которые был способен. И она, очарованная, шептала:

– А я еще сомневалась в твоей любви! Целый день я думала о том, чтоб покончить с собой, потому что отдалась мужчине, который сразу же после нашего сближения был со мной так груб!

Я объяснил ей, что просто у меня иногда бывают страшные приступы головной боли. Когда же я вновь пришел в то состояние, в котором лишь усилием воли удерживался от того, чтобы не кинуться со всех ног к Аугусте, я снова заговорил об этих приступах и сумел скрыть свои истинные чувства. Постепенно я привык вести себя как следует. Потом мы вместе – именно вместе – оплакивали судьбу бедного Коплера.

Карлу и вправду не на шутку взволновал ужасный конец ее покровителя. Заговорив о нем, она побледнела.

– Я ведь себя знаю, – сказала она. – Теперь я долго буду бояться оставаться одна. Если уж он живой внушал мне такой страх!

И в первый раз робко предложила мне остаться у нее на всю ночь. Но об этом не могло быть и речи: я не в силах был задержаться здесь еще даже на полчаса! Однако, желая скрыть от бедной девушки свои истинные чувства, о которых я и сам сожалел, я отказался, объяснив, что это невозможно, поскольку



в доме, кроме нас, находится еще ее мать. Карла презрительно скривила губы:

– Мы перенесли бы сюда кровать: мать не решится за мной шпионить.

Тогда я сообщил ей о том, что сегодня меня еще ждет свадебный банкет, но потом почувствовал, что обязан предупредить ее, что я и впредь никогда не смогу остаться тут на всю ночь. Так как, идя сюда, я намеревался быть нежным, я тщательно следил за своим тоном, который был неизменно ласков. Однако всякая новая уступка, на которую бы я пошел или на которую хотя бы поселил в ней надежду, была бы новой изменой Аугусте, а мне хотелось ее избежать.

В ту минуту я понял, что прочнее всего связывало меня с Карлой, во-первых, мое решение быть с ней нежным, а во-вторых, неправда, которую я ей сказал относительно своих отношений с Аугустой и которую постепенно, с течением времени следовало смягчить, а потом и совсем свести на нет. Эту работу я начал прямо в тот же вечер, но, разумеется, с достаточной осторожностью, потому что еще слишком хорошо помнил о том, чего добился с помощью своей лжи. Я сказал, что чувствую себя слишком обязанным своей жене, которая была женщиной настолько достойной уважения, что, конечно, заслуживала и большей любви. Поэтому я не хочу, чтобы она узнала о моей измене.

Карла обняла меня.

– Вот таким я тебя люблю, добрым и нежным, каким ты и показался мне с первой же встречи. Я никогда не причиню зла этой бедняжке.

Мне не понравилось, что она называет Аугусту бедняжкой, но я был благодарен бедной девушке за ее кротость. Это было прекрасно, что она не чувствовала ненависти к моей жене. Мне захотелось как-то выразить ей свою признательность, и я огляделся вокруг, ища, чем бы мне одарить ее в знак своей любви. Наконец я нашел: Карла тоже получила свою прачечную – я позволил ей не приглашать больше учителя пения.

В ответ на это со стороны Карлы последовал столь бурный взрыв нежных чувств, что меня даже покорило, однако я выдержал его вполне достойно. Затем она сказала мне, что никогда не бросит пение. Она и так пела целыми днями, но иначе, по-своему. И она предложила мне послушать. Но я не пожелал и довольно-таки грубо обратился в бегство. Поэтому я полагаю, что в эту ночь Карла опять размышляла о самоубийстве, однако впредь я никогда уже не оставлял ей достаточно времени, чтобы она могла мне об этом сообщить.

Я еще раз зашел к Коплеру, потому что мне надо было принести Аугусте самые последние сведения о больном: она должна была думать, будто все это время я провел у него. Коплер уже два часа как умер, сразу же после моего ухода. В сопровождении старика пенсионера, который все так же мерил шагами свою маленькую прихожую, я вошел в смертный покой. Труп, уже обряженный, лежал на кровати, на голом матрасе. В руках у него было распятие. Пенсионер шепотом сказал, что все формальности уже выполнены и что одна из племянниц покойного скоро придет, чтобы провести ночь подле тела.

Итак, удостоверившись в том, что моему бедному другу было предоставлено все то немногое, в чем он еще нуждался, я мог уйти, но задержался и провел несколько минут, глядя на тело. Мне очень хотелось,

чтобы из моих глаз выкатилась слеза искреннего сожаления о несчастном, который сначала боролся с болезнью, а потом пытался заключить с ней перемирие. «Это ужасно, – говорил я себе. – Ведь его безжалостно убила болезнь, от которой существует столько лекарств! Словно в насмешку!» Но слез у меня не было. Никогда еще худое лицо Коплера не выражало столько силы, как сейчас, когда его сковала смерть. Казалось, оно было высечено из цветного мрамора, и невозможно было себе представить, что к нему уже подбирается неумолимое разложение. Оно дышало жизнью, это лицо: оно выражало презрительное негодование, обращенное то ли ко мне – мнимому больному, то ли к Карле, которая не желала учиться петь. Я вздрогнул: мне вдруг показалось, что он захрипел. Но едва я сообразил, что то был не хрип, а усилившаяся от волнения одышка хозяина-пенсионера, как ко мне снова вернулось спокойствие критически настроенного наблюдателя.

Хозяин проводил меня до дверей и попросил, если кому-нибудь из моих знакомых понадобится квартира – рекомендовать его.

– Вы же видите, даже в таких обстоятельствах я сделал гораздо больше того, что требовал от меня мой долг.

Тут он в первый раз повысил голос, и в нем прозвучал укор, без сомнения адресованный бедному Коплеру, который освободил квартиру без положенного в таких случаях предупреждения. Я поспешил уйти, пообещав ему все, чего он хотел.

К Джованни я поспел как раз к тому моменту, когда все садились за стол. Меня спросили, как Коплер, и я, не желая омрачать праздничного застолья, сказал, что Коплер жив и что, следовательно, надежда еще есть.

Атмосфера за столом показалась мне довольно-таки унылой. Может быть, такое впечатление возникало оттого, что мой бедный тесть был обречен на свою обычную тарелку супа и стакан молока, в то время как все вокруг лакомились самыми изысканными кушаньями. Делать ему за столом было нечего, и он был занят тем, что смотрел нам в рот. Увидев, как налегает на закуски синьор Франческо, он пробормотал:

– И подумать только, что он на два года старше меня!

А когда синьор Франческо дошел до третьего стакана белого вина, он прошептал себе под нос:

– Третий стакан! Да чтоб он подавился этим вином!

Это пожелание нимало бы меня не взволновало, если бы я сам не сидел за тем же столом и не был уверен в том, что точно того же желали и мне. Поэтому я старался есть и пить незаметно. Пользуясь моментами, когда мой тесть утыкался своим большим носом в чашку с молоком или отвечал на обращенные к нему вопросы, я проглатывал огромные куски и вливал в себя полные стаканы вина. Альберта, желая рассмешить присутствующих, обратила внимание Аугусты на то, что я слишком много пью. Жена шутя погрозила мне пальцем. В этом не было бы ничего плохого, если бы в результате не пошли насмарку все мои старания быть незаметным. Джованни, который до той поры ни разу обо мне не вспомнил, бросил на меня поверх очков взгляд, исполненный самой настоящей ненависти. Он сказал:

– Вот я никогда не злоупотреблял ни вином, ни едой. Тот, кто всем этим злоупотребляет – тот не человек, а ... – И он несколько раз повторил последнее слово, которое отнюдь не было комплиментом.

Благодаря выпитому вину это оскорбительное слово, сопровождаемое всеобщим смехом, вызвало вдруг во мне совершенно иррациональное желание мести. Я атаковал своего тестя с самой уязвимой стороны – со стороны болезни. Я крикнул ему, что не достоин называться человеком не тот, кто злоупотребляет вином и пищей, а тот, кто трусливо следует предписаниям врачей. Будь я на его месте, я вел бы себя куда более независимо. Да я бы из одной только любви к дочери не позволил, чтобы мне помешали есть и пить у нее на свадьбе.

Джованни злобно заметил:

– Хотел бы я взглянуть на тебя в моей шкуре!

– А тебе недостаточно видеть меня в моей собственной? Разве я бросил курить?

В первый раз в жизни мне удалось похвалиться своей слабостью, и я сразу же зажег сигарету, чтобы проиллюстрировать свои слова. Все смеялись и наперебой рассказывали синьору Франческо, что моя жизнь заполнена последними сигаретами. Но эта-то была не последняя, и я чувствовал себя полным сил и боевого задора. Однако я сразу потерял поддержку всех присутствующих, когда налил тестю вина в его большой стакан для воды. Все испугались, что Джованни выпьет, и кричали, чтобы он не смел этого делать, пока синьора Мальфенти не взяла и не отставила стакан подальше.

– Тебе и в самом деле так хочется меня убить? – кротко спросил Джованни, глядя на меня с любопытством. – Я вижу, вино на тебя плохо действует.

Он даже пальцем не шевельнул для того, чтобы завладеть предложенным ему стаканом.

Я чувствовал себя побежденным и растоптанным. Мне хотелось броситься перед тестем на колени и просить у него прощения. Но и это желание я приписал действию выпитого вина и решил этого не делать. Попросив прощения, я признал бы свою вину, а меж тем, раз банкет продолжался и должен был продолжаться еще достаточно долго, я мог найти какой-нибудь другой способ загладить неудачную шутку. Все еще успеется. Не все пьяные послушно выполняют то, что велит им вино. Я, даже когда сильно выпью, продолжаю анализировать свои побуждения так же, как и тогда, когда у меня ясная голова, и, по всей вероятности, с тем же результатом. Я продолжил наблюдения над самим собой, стараясь понять, каким образом пришел к мысли повредить своему тестю. И понял, что все дело в том, что я устал, смертельно устал. Если бы они знали, какой я провел сегодня день, они бы меня простили. Я дважды овладел женщиной и дважды грубо ее покинул, дважды вернулся к своей жене и дважды же от нее отрекся. Счастье еще, что в этот момент по какой-то ассоциации в мои воспоминания затесалось вдруг мертвое тело, над которым я тщетно старался пролить слезу, и обе женщины выскочили у меня из головы, – иначе я бы, наверное, тут же заговорил о Карле. Ведь и сейчас, когда под действием вина я, казалось бы, утратил присущее мне благородство чувств, меня все равно не оставляло желание исповедоваться. Кончилось тем, что

заговорил я о Коплере. Я хотел, чтобы все узнали о том, что сегодня я потерял близкого друга. Тогда они простят мне мое поведение.

И я громко выкрикнул, что Коплер умер, да, да, умер, а молчал я об этом до сих пор только потому, что не хотел их расстраивать. И смотрите-ка! Вот когда наконец на глазах у меня навернулись слезы, и мне пришлось отвернуться, чтобы их скрыть.

Все рассмеялись, потому что никто мне не поверил. Но тут я проявил настойчивость, которая является одним из самых очевидных последствий опьянения. Я описал им, как выглядел мертвый.

– Застывший, он, казалось, был высечен из вечного камня резцом Микеланджело.

Последовало всеобщее молчание, которое нарушил Гуидо, воскликнув:

– А что, сейчас ты уже не считаешь, что нас не нужно расстраивать?

Замечание было справедливым. Я нарушил обещание, которое, точно помню, давал самому себе. Но разве нельзя было еще все исправить? И я безудержно расхохотался:

– Ловко же я над вами подшутил! Коплер жив, ему даже лучше.

Все уставились на меня, пытаюсь понять, что же в конце концов происходит.

– Да, ему лучше, – добавил я серьезно. – Он узнал меня и даже улыбнулся.

Мне поверили, но негодование было всеобщим. Джованни заявил, что если б он не боялся повредить себе лишним физическим усилием, он швырнул бы мне в голову тарелку. Это было совершенно непростительно – испортить им праздник таким сообщением, да к тому же еще и выдуманное. Если б это хоть было правдой, тогда другое дело, тогда я ни при чем. Так, может, будет лучше, если я снова скажу им правду? Коплер умер, и едва я останусь один, слезы тут же польются у меня ручьем. И я уже стал подыскивать слова, но тут меня прервала синьора Мальфенти со свойственной ей внушительной безапелляционностью:

– Давайте-ка оставим в покое бедного больного. Поговорим о нем завтра.

И я сразу же повиновался, а главное, повиновались и мои мысли, которые тут же решительно покинули умершего: «Пока! Потерпи, скоро мы к тебе вернемся!»

Настало время тостов. Джованни получил от врача разрешение выпить в этот час бокал шампанского. Он серьезно следил за тем, как наливали ему вино и отказался поднять бокал до тех пор, пока его не наполнили доверху. Он произнес серьезный и простой тост в честь Ады и Гуидо и медленно, до последней капли осушил свой бокал. Взглянув на меня искоса, он добавил, что последний глоток сделал за мое здоровье. Чтобы обезвредить это пожелание, которое, я точно знал, было дурным, я обеими руками сделал рожки под скатертью.

О том, как прошел остаток вечера, я помню довольно смутно. Знаю, что по инициативе Аугусты за столом было сказано обо мне немало хорошего. Меня ставили в пример как образцового мужа и простили все, даже тесть сделался со мной любезнее. Правда, он добавил, что надеется, что муж Ады будет таким же

хорошим мужем, как и я, но при этом более способным коммерсантом и, главное, человеком, который... Тут он поискал слово. Он так его и не нашел, и никто из присутствующих не стал на этом настаивать, даже синьор Франческо, который впервые увидел меня сегодня утром и мало что обо мне знал. Но что касается меня, я не обиделся. Как смиряет наш дух сознание того, что на совести у нас есть грех, который ждет искупления! Я с признательностью выслушивал все оскорбления – лишь бы только им сопутствовало то хорошее ко мне отношение, которого я не заслуживал. А в мыслях, мешавшихся от усталости и вина, но абсолютно ясных, я лелеял свой образ – образ хорошего мужа, который не стал хуже оттого, что изменил своей жене. Главное, быть хорошим, хорошим, и все, – остальное неважно. И я послал Аугусте воздушный поцелуй, на который она ответила благодарной улыбкой.

Кому-то за столом захотелось посмеяться надо мною, пьяным, и меня заставили произнести тост. В конце концов я согласился это сделать только потому, что в тот момент мне почему-то казалось, что это решит все – если я вот так, публично, заявлю о своих добрых намерениях. Не то чтобы я сомневался в своей способности не отступить от принятых обязательств, – я чувствовал себя точно так, как я описал, – но просто я стал бы еще лучше, если бы подтвердил эти обязательства в присутствии стольких лиц, которые, таким образом, как бы скрепят их своими подписями.

Вот поэтому-то и получилось, что в моем тосте речь шла только обо мне и об Аугусте. Второй раз за последние два дня я рассказывал историю своей женитьбы. Я уже фальсифицировал ее для Карлы, умолчав о том, что влюблен в свою жену, здесь я фальсифицировал ее иначе, – ничего не сказав о двух лицах, сыгравших в этой истории значительную роль, то есть об Аде и Альберте. Я рассказал о своих долгих колебаниях, о которых теперь ужасно сожалею, ибо они похитили у меня столько дней счастья. Потом из вежливости я приписал подобные же колебания и Аугусте. Но она, от души смеясь, опровергла мои слова.

Не без труда нащупав вновь нить своего повествования, я поведал гостям о том, как мы наконец отправились в свадебное путешествие и предавались любви во всех музеях Италии. Будучи и без того уже по горло во лжи, я спокойно добавил ко всему еще и эту лживую деталь, которая, в сущности, была совершенно ни к чему. А еще говорят, что вино выводит на свет истину! Аугуста второй раз перебила меня, чтобы расставить все по своим местам, и объяснила, что музеев мы как раз старались избегать, потому что в моем присутствии шедевры искусства подвергались серьезной опасности.

Аугуста не понимала, что таким образом она обнародовала фальшивость не одной только этой детали! Если бы за столом был внимательный наблюдатель, он сразу бы понял, какого сорта была эта любовь, которой мы якобы занимались даже в самых неподходящих для этой цели местах.

Я вновь вернулся к своему длинному, бессвязному повествованию, рассказав о нашем возвращении, о том, как мы оба принялись переделывать наш дом, предпринимая то одно, то другое, и между прочим решили даже построить прачечную.

Все так же смеясь, Аугуста снова меня перебила:

– Послушай, ведь это не наш праздник, это праздник Ады и Гуидо! Ты должен говорить о них.

Все шумно с ней согласились. Я тоже засмеялся, заметив, что благодаря мне за столом наконец-то установилась та атмосфера шумного веселья, которой и подобает сопровождать подобного рода торжества. Но что можно было сказать еще, я не знал. Мне казалось, что я и так уже говорил долгие часы. И тогда я просто выпил несколько бокалов вина, один за другим:

– Это за Аду! – И я вытянул шею, чтобы посмотреть, сделала она под столом рожки или нет.

– А это за Гуидо! – и добавил, уже после того как выпил: – От всего сердца! – забыв, что первый бокал я не сопровождал таким заявлением.

– А это за вашего старшего сына!

И я выпил бы еще много-много бокалов за их детей, если бы мне наконец не помешали. За этих невинных созданий я готов был выпить все, что стояло на столе.

Все последующее погружено в еще более густой мрак. Ясно помню одно: главной моей заботой было не выглядеть пьяным. Я держался прямо и говорил мало. Я не доверял самому себе и тщательно обдумывал каждое слово, прежде чем его произнести. И хотя разговор за столом продолжался, я был вынужден отказаться в нем участвовать, потому что не успевал вовремя прояснить для самого себя свои смутные мысли. Я пожелал завести отдельный разговор и сказал тестю:

– Слышали? Говорят, что *exterieur* упал на два пункта.

Новость, которую я сообщил, никак меня не затрагивала: я просто слышал, что об этом говорили на бирже, и воспользовался случаем, чтобы затеять с тестем деловой разговор на серьезные темы, которых пьяные обычно не касаются. Но, по-видимому, тестю эта новость оказалась далеко не так безразлична, как мне, потому что он назвал меня вороном, приносящим дурные вести. И вечно-то я с ним попадал впросак.

Тогда я занялся своей соседкой, Альбертой. Разговор зашел о любви. Ее эта тема интересовала теоретически, ну, а меня в данный момент тоже вовсе не привлекала практика. Поэтому мы приятно поговорили. Она спросила, какие у меня есть идеи на этот счет, и я сразу же сообщил ей одну, которая была, по-видимому, результатом моего сегодняшнего опыта. Женщина – это предмет, цена на который меняется гораздо чаще, чем любая биржевая цена. Альберта неправильно меня поняла, решив, что я имею в виду общеизвестную вещь: то, что цена на женщину меняется в зависимости от ее возраста. Тогда я объяснился яснее: одна и та же женщина могла необычайно высоко цениться утром, ровно ничего не стоить в полдень, сделаться вдвое дороже вечером, а ночью иметь ценность отрицательную. Я объяснил ей, что значит отрицательная ценность: такую ценность имеет женщина, когда мужчина прикидывает, сколько бы он заплатил за то, чтобы услатить ее подальше.

Бедная сочинительница пьес не могла согласиться с этой теорией, в то время как я, памятуя о том, какие изменения в цене претерпели за сегодняшний

день Аугуста и Карла, был убежден, что я совершенно прав. Но когда я попытался это объяснить, вмешалось выпитое мною вино, и я сбился с мысли.

– Послушай, – сказал я, – допустим, сейчас твоя стоимость измеряется величиной *икс*; так вот, если ты позволишь мне коснуться твоей ножки, твоя стоимость сразу же увеличится по крайней мере еще на один *икс*.

Слова я сопровождал действием.

Густо покраснев, Альберта отдернула ногу и, стараясь казаться остроумной, сказала:

– Но это уже не теория, это практика! Я пожалуюсь Аугусте!

Должен признаться, что и мне эта ножка показалась отнюдь не сухой теорией, но я запротестовал с самым невинным видом:

– Это чистая, чистейшая теория, и с твоей стороны очень дурно, если ты воспринимаешь ее иначе.

Фантазии, которые рождает вино, обретают реальность свершившегося факта.

Мы с Альбертой долго не могли забыть, что однажды я прикоснулся к ее телу, сказав ей к тому же, что делаю это с удовольствием. Слова подчеркнули жест, а жест – слова. До тех пор пока она не вышла замуж, у нее всегда находились для меня румянец и улыбка, а потом – румянец и гнев. Так уж устроены женщины. Каждый новый день приносит им новое истолкование прошедшего. Должно быть, у них нескучная жизнь! Я же истолковывал тот свой жест всегда одинаково: я словно украл тогда какую-то прелестную вещьцу с острым и своеобразным вкусом и ароматом, и Альберта сама виновата в том, что некоторое время я старался напоминать ей об этом поступке, а потом, позже, отдал бы все на свете за то, чтобы она о нем забыла.

Помню, что уже перед самым уходом случилась еще одна вещь, гораздо более серьезная. На какое-то время я остался с Адой наедине. Джованни уже давно лег, а все прочие прощались с синьором Франческо, который отбывал в гостиницу в сопровождении Гуидо. Я долгим взглядом смотрел на Аду – всю в белых кружевах, с обнаженными руками и плечами, и нескончаемо долго молчал. Не то чтобы мне нечего было ей сказать, но, хорошенько взвесив, я отвергал одну за другой все фразы, которые приходили мне в голову. Помню, что я долго обдумывал, позволено ли мне сказать следующее: «Как я рад, что ты наконец выходишь замуж, и выходишь не за кого-нибудь, а за моего дорогого друга Гуидо. Только теперь наконец между нами все будет кончено». Я хотел сказать ей заведомую неправду: ведь все знали, что между нами уже несколько месяцев, как все было кончено, но мне казалось, что эта ложь будет самым лучшим из всех возможных комплиментов, а для меня было несомненно, что женщина, одетая таким образом, требует комплиментов. Однако после долгого размышления я так ничего и не сказал. Я проглотил приготовленные слова, потому что в море вина, в котором я плавал, я нашел наконец спасительный островок. Я подумал, что поступлю неправильно, если буду рисковать любовью Аугусты ради того, чтобы доставить удовольствие Аде, которая меня не любит. Но все то время, пока мою душу терзали сомнения, и потом, когда я с усилием отрывал от себя приготовленные слова, я смотрел на Аду таким взглядом, что

она в конце концов поднялась и вышла, со страхом на меня оглянувшись и, может быть, едва удерживаясь, чтобы не побежать.

Взгляд свой мы помним так же, как слова, а может быть, и лучше. Взгляд могущественнее слова, потому что во всем словаре не сыщешь такого, которое могло бы раздеть женщину. Теперь-то я знаю, что тот мой взгляд искажил смысл задуманной мною фразы, слишком ее упростив. Через глаза Ады он пытался проникнуть за ее одежду, а может, даже и за кожу. А смысл его, конечно, сводился к следующему: «А не лечь ли нам пока в постель?» Вино – опаснейшая штука, потому что выносит на поверхность отнюдь не то, что мы думаем. Оно заставляет заговорить прошедшее и позабытое, а не то, чем мы живем сейчас. Оно капризно выставляет на всеобщее обозрение мыслишки, с которыми мы носились в более или менее отдаленном прошлом и о которых давно забыли. Оно не обращает внимания на вымарки и читает вслух все, что можно еще разобрать в нашем сердце. А ведь известно, что в нем ничего не зачеркнешь окончательно – так, как, скажем, зачеркивается в векселе неверная передаточная надпись. В нем всегда можно разобрать все наше прошлое, и вино кричит о нем во весь голос, пренебрегая добавлениями, которые внесла туда последующая жизнь.

Отправляясь домой, мы с Аугустой взяли экипаж. Когда мы очутились в темноте, я счел своим долгом заключить в объятия и осыпать поцелуями свою жену, потому что всегда поступал так в подобных ситуациях и боялся, что если не сделаю этого сейчас, она может подумать, что в наших отношениях что-то изменилось. А в них ничего не изменилось – вино кричало также и об этом. Она вышла за Дзено Козини, и вот пожалуйста, он при ней, точно такой же, как раньше. И совершенно неважно, что сегодня он обладал еще и другими женщинами: чтобы сделать мне приятное, вино удвоило их число, добавив туда не то Аду, не то Альберту – сам толком не знаю.

Помню, что, уже засыпая, я вдруг увидел перед собой на мгновение мраморное лицо Коплера, покоившегося на своем смертном ложе. Казалось, оно требовало, чтобы ему воздали должное, а должен я был ему слезы, которые сам обещал. Но он снова так ничего и не получил, потому что я провалился в сон. Правда, я успел извиниться перед призраком: «Потерпи еще чуть-чуть. Скоро я вернусь». Но я так к нему и не вернулся, потому что не пошел даже на похороны. У нас было столько дел дома, а у меня еще и вне дома, что для него времени не нашлось. Порой о нем заговаривали, но только чтобы посмеяться, вспоминая, как выпитое мною вино заставило его столько раз умереть и воскреснуть. Он даже вошел у нас в поговорку: когда газеты, как это часто бывает, сообщают о чьей-то смерти, а потом печатают опровержения, мы говорим: «Бедный Коплер!»

На следующее утро я поднялся с легкой головной болью. Беспокоила меня немного и боль в боку, наверное, потому, что пока длилось действие вина, я ее не замечал и успел от нее отвыкнуть. Но тяжести на душе я не чувствовал. Мое благодушное настроение еще более укрепилось, когда Аугуста сказала, что если б не я, было бы просто ужасно: пока не пришел я, ей казалось, что она не на свадебном пиру, а на поминках. Следовательно, я мог не стыдиться своего



поведения. Но потом я обнаружил, что была все-таки одна вещь, которую мне так и не простили: это тот наглый взгляд, которым я пронзил Аду.

Когда вечером следующего дня мы снова встретились, Ада протянула мне руку с беспокойством, отчего беспокойство, которое испытывал я, еще более усилилось. Правда, может быть, дело было в том, что на совести у нее лежало ее бегство – в высшей степени невежливое! Но и тот мой взгляд тоже был, конечно, грубым поступком. Я точно помнил, как я на нее смотрел, и понимал, что человеку, пронзенному таким взглядом, будет нелегко его забыть. Нужно было исправить содеянное с помощью безукоризненно братского отношения.

Говорят, что когда мучаешься с перепою, самое лучшее средство – это выпить еще. Вот и я, желая прийти в себя, направился в то утро к Карле. Я шел к ней, обураваемый желанием жить более интенсивной жизнью, то есть тем самым желанием, которое заставляет человека обращаться к алкоголю, но по дороге я мечтал о том, чтобы это ощущение интенсивности жизни, которым она должна была меня одарить, было иным, чем вчера. В общем, меня вели намерения не совсем определенные, но совершенно честные. Я знал, что не в силах буду расстаться с ней сразу же, но ведь я мог осуществлять это высоконравственное деяние постепенно! Пока же я буду продолжать рассказывать ей об Аугусте. И так незаметно в один прекрасный день она сама поймет, как я люблю свою жену. В кармане у меня лежал новый конверт с деньгами – я хотел быть готовым ко всякой случайности.

Я пришел к Карле, и спустя четверть часа она бросила мне упрек, который из-за того, что он был совершенно справедлив, еще долгое время звучал у меня в ушах: «Как ты груб!» Не знаю, был ли я груб именно тогда. Просто я начал говорить ей о своей жене, и предназначенные Аугусте похвалы прозвучали для Карлы как упреки, обращенные к ней.

Однако Карла тоже сумела меня уязвить. Чтобы занять время, я принялся рассказывать ей о том, как скучно было на банкете и как я произнес совершенно неуместный тост. Карла заметила:

– Если б ты в самом деле любил свою жену, ты бы не сделал такого промаха, сидя за столом у ее отца.

И поцеловала меня, словно ставя мне в заслугу то, что я недостаточно любил свою жену.

Тем временем то самое желание жить более интенсивной жизнью, которое привело меня к Карле, вдруг толкнуло меня обратно к Аугусте – единственному человеку, которому я мог рассказывать о своей к ней любви. То ли доза, которую я принял, чтобы прийти в себя, оказалась чрезмерной, то ли мне просто захотелось другого вина. Но в тот день моим отношениям с Карлой суждено было наконец одухотвориться и увенчаться той симпатией, которую – как я узнал позднее – бедная девушка в высшей степени заслуживала. Она несколько раз предложила мне спеть песенку, желая узнать мое мнение. Но я и слышать об этом не хотел, даже та наивность, с которой она пела, не имела для меня больше никакой цены. Я сказал, что уж раз она бросила заниматься, то петь больше не стоит.

Это было, конечно, серьезным оскорблением, и оно очень ее задело. Она

села рядом со мной и, чтобы скрыть слезы, стала смотреть на свои руки, сложенные на коленях. Потом еще раз повторила свой упрек:

– Каким же грубым ты должен быть с людьми, которых ты не любишь, если ты так груб даже со мной!

Я, в сущности, добрый человек и, растроганный ее слезами, попросил Карлу – уж так и быть – порвать мне барабанные перепонки, наполнив своим огромным голосом это маленькое помещение. Но тут уже она начала отказываться, и мне пришлось пригрозить, что я уйду, если она не доставит мне этого удовольствия. Должен признаться, что я решил было даже, что нашел таким образом предлог для того, чтобы хоть временно вернуть себе свободу; но, услышав такую угрозу, моя бедная раба поднялась и, не поднимая глаз, направилась к фортепьяно. На мгновение она сосредоточилась, затем провела рукой по лицу, словно для того, чтобы стереть с него всякое облачко неудовольствия. Это получилось у нее так ловко, что я изумился: когда она убрала руку, в ее лице ничто не напоминало о только что испытанной ею боли.

С первых же нот меня ждал сюрприз. Карла проговаривала свою песенку, она ее рассказывала, а не выкрикивала. Кричать – как я узнал позднее – заставлял ее учитель: расставшись с ним, она рассталась и с криком. Триестинская песенка

Любовью занимаюсь  
С большой охотой я.  
А что ж еще и делать  
В шестнадцать лет, друзья?

представляет собою нечто вроде рассказа или исповеди. Глаза Карлы сверкали лукавством, и взгляд их был красноречивее слов. За барабанную перепонку можно было не опасаться, и я приблизился к Карле вплотную, удивленный и очарованный. Затем сел рядом, и она рассказала свою песенку прямо мне, лукаво прищурившись в том месте, когда произносила на самой легкой и чистой ноте, что шестнадцать девичьих лет жаждут любви и свободы.

Впервые я разглядел наконец как следует личико Карлы: чистейший овал, нарушенный лишь глубокими арками глазных впадин и нежными выпуклостями скул и кажущийся еще чище от снежной белизны кожи – особенно сейчас, когда ее лицо было обращено ко мне и к свету и на него не падало ни единой тени. Эти нежные линии и кожа, которая казалась почти прозрачной и в то же время так хорошо скрывала кровь и вены, может быть слишком слабые, чтобы быть заметными, молили о любви и покровительстве.

И я был безоговорочно готов одарить ее и любовью и покровительством, и это несмотря на то, что в данный момент мне больше всего хотелось вернуться к Аугусте: ведь Карла просила об отцовской любви, которой я мог дарить ее, никому не изменяя. Ведь это же замечательно! Я оставался с Карлой, дарил ее тем, о чем молило меня ее овальное личико, и в то же время это не удаляло меня от Аугусты. Мое чувство к Карле стало одухотвореннее. Теперь, если у меня и возникнет потребность почувствовать себя чистым и ни в чем не виноватым,

мне уже не нужно будет от нее бежать – я могу остаться, только переменю тему.

Была ли эта неожиданно возникшая нежность вызвана видом ее овального личика, которое я только что для себя открыл, или ее музыкальным талантом? Потому что талант в ней был несомненно! Эта странная триестинская песенка кончается строфой, в которой та же самая девушка говорит, что теперь, когда она стала стара и уродлива, ей нужна только одна свобода – свобода умереть. Но Карла углубила эти бедные вирши, внеся в них лукавство и радость. У нее эту строфу произносила не старуха, а та же самая молоденькая девушка, которая только притворялась старухой, чтобы с этих позиций отстоять свое теперешнее право.

Когда Карла кончила петь и заметила мое искреннее восхищение, она тоже в первый раз почувствовала ко мне не только влечение, но и нежность. Она поняла, что триестинская песенка мне понравилась больше, чем пение, которому обучал ее учитель.

– Жаль только, – добавила она грустно, – что для того, чтобы этим жить, надо наниматься в *cafés chantants*<sup>26</sup>.

Я с легкостью убедил ее в том, что дело обстоит совсем не так. Миру известно множество великих артистов, которые не пели, а проговаривали свои песни.

Она пожелала услышать их имена и была счастлива от сознания того, сколь значительным оказалось ее искусство.

– Я знаю, – добавила она наивно, – что это искусство куда труднее, чем то, которому обучал меня учитель: там нужно было только кричать что есть мочи.

Я улыбнулся и не стал спорить. Это искусство и в самом деле было нелегким, и она знала это, потому что оно было единственным, которым она владела. Триестинская песенка стоила ей долгих трудов. Она повторяла ее множество раз, выправляя интонацию каждого слова, каждой ноты. Сейчас она разучивала другую, которая должна была быть готова только через несколько недель. До этого она не хотела ее показывать.

В этой самой комнате, которая до сих пор только и видела, что скандалы да ссоры, мы переживали теперь прекраснейшие мгновения. Перед Карлой открывалась возможность карьеры. Карьеры, которая могла помочь мне от нее избавиться. Карьеры примерно того типа, о которой мечтал для нее Коплер. И я предложил ей найти учителя. Сначала она испугалась этого слова, но я легко ее уговорил, сказав, что, в конце концов, она может просто попробовать, а если уроки покажутся ей скучными и бесполезными, откажет ему.

И с Аугустой в тот день мне тоже было прекрасно. На душе у меня было так спокойно, словно я вернулся не от Карлы, а с обыкновенной прогулки, – так, должно быть, чувствовал себя Коплер в те дни, когда уходил из дома Карлы, ничем не рассерженный. У меня было блаженное чувство человека, достигшего наконец оазиса. И для меня и для моего здоровья было бы, конечно, очень плохо, если бы вся моя долгая связь с Карлой проходила бы в обстановке непрекращающихся волнений. Начиная с того дня, словно под воздействием

---

<sup>26</sup> Кафешантаны (франц. ).

прекрасных эстетических впечатлений, все стало гораздо спокойнее. Это спокойствие нарушалось лишь кратковременными перерывами, необходимыми для того, чтобы оживить мою любовь как к Карле, так и к Аугусте. Да, каждый мой визит к Карле был предательством по отношению к Аугусте, но все забывалось, едва я окунался в атмосферу здоровья и добрых намерений. И сами добрые намерения уже не имели тех грубых и раздражающих форм, как в ту пору, когда я едва удерживался от желания сказать Карле, что не хочу больше ее видеть. Теперь я был с нею нежен и отечески заботлив: я снова стал думать о ее карьере. Каждый день бросать женщину для того, чтобы возвращаться к ней на следующий же день, было бы непосильной нагрузкой для моего бедного сердца. При нынешнем же положении вещей Карла всегда оставалась в моем распоряжении, и я сам мог ориентировать ее то в одном, то в другом направлении.

Довольно долго мои добрые намерения подавали слишком слабые признаки жизни для того, чтобы серьезно побудить меня заняться поисками учителя для Карлы. Я просто тешил себя этой мыслью, ничего для этого не предпринимая. Потом в один прекрасный день Аугуста поведала мне, что готовится стать матерью, и вот тут-то мое доброе намерение в один миг выросло до гигантских размеров, и Карла получила учителя.

Я так долго тянул со всем этим еще и потому, что, насколько я видел, Карла и без всякого учителя серьезно занималась своим новым искусством. Каждую неделю она пела мне новую песенку, тщательно продумав все слова и жесты. Может быть, кое-какие ноты и требовалось чуть-чуть облегчить, но, по всей вероятности, это пришло бы со временем само собой. Решающее доказательство того, что Карла была настоящей артисткой, я видел в том, что она неустанно совершенствовала свои песенки, не теряя при этом ни одной из находок, которые дались ей сразу. Я часто заставлял ее петь самую первую ее песенку, и всякий раз находил в ней что-то новое и интересное. Учитывая ее полнейшее невежество, поистине достойно удивления, что в своих усилиях придать песне наибольшую выразительность, она никогда не приносила в нее ни фальши, ни преувеличения. Как настоящий художник, она каждый день добавляла к воздвигаемому ею зданию маленький камушек, а все остальное оставляла нетронутым. Песенка менялась, но чувство, которым она дышала, оставалось неизменным. Перед тем как начать петь, Карла всегда проводила рукой по лицу и, пока лицо ее было закрыто ладонью, вся сосредоточивалась на той маленькой комедии, которую ей предстояло разыграть. Комедии не всегда детски-наивной. Ироничный ментор, рассказывавший историю Розины –

В простой лачуге родилась Розина, –

грозил, но не слишком всерьез. Героиня как бы говорила нам, что ей прекрасно известно – подобные истории случаются каждый день. Карла вкладывала в эту песенку совсем другой смысл, хотя результат оказывался тот же самый.

– Все мои симпатии на стороне Розины, иначе эту песенку не стоит и

петь, – говорила она.

Порою Карла, сама того не сознавая, воскрешала во мне угрызения совести и любовь к Аугусте. Это случалось всякий раз, когда она предпринимала оскорбительные для моей жены попытки поколебать ее прочную позицию. Карле всегда очень хотелось, чтобы я остался у нее на ночь. Она призналась мне как-то, что между нами, на ее взгляд, нет полной близости, потому что мы ни разу не провели ночь друг подле друга. Стремясь приучить себя обращаться с ней мягко, я не отказывал ей окончательно, но про себя знал, что это совершенно невозможно: вернувшись утром домой, я застаю Аугусту возле окна, у которого она, поджидая меня, провела бы всю ночь. А кроме того, разве это не будет новой изменой жене? Порою, когда я шел к Карле, исполненный желаний, я был склонен согласиться на ее просьбу, но сразу же после мне становились ясными все неприличие и невозможность такого поступка. И так в течение долгого времени мне не представлялось возможности ни выполнить ее просьбу, ни решительно отвергнуть ее. В общем, между нами как бы существовала договоренность: рано или поздно какую-нибудь из ночей мы проведем вместе. Тем более что для этого были созданы и необходимые условия: я все-таки заставил семейство Джерко расстаться с соседями, которые делили их квартиру пополам, и у Карлы была теперь своя спальня.

Затем случилось так, что вскоре после свадьбы Гуидо в состоянии моего тестя наступило ухудшение, которому суждено было свести его в могилу. И как-то раз я имел неосторожность сказать Карле, что моей жене предстоит провести у его постели целую ночь, чтобы дать теще возможность отдохнуть. После этого отвертеться я уже не мог: Карла потребовала, чтобы эту ночь, столь тягостную для моей жены, я провел у нее. У меня не хватило храбрости восстать против ее каприза, и с тяжелым сердцем я согласился.

Я постарался хорошенько подготовиться к этой жертве. Я не пошел к Карле утром и, таким образом, вечером бежал к ней полный желаний, уверяя себя, что это просто ребячество – считать, будто измена жене становится серьезнее оттого, что я изменяю ей в тяжелую для нее минуту. Поэтому я даже почувствовал нетерпение, когда бедная Аугуста, не давая мне уйти, долго объясняла, что где лежит из того, что может мне понадобиться для ужина, для сна и даже для утреннего кофе.

Карла приняла меня в кабинете, и вскоре та, что была ей матерью и служанкой, подала нам изысканный ужин, к которому я добавил принесенные мною сладости. Затем старушка вернулась еще раз, чтобы убрать со стола, и мне больше всего хотелось тут же и лечь, но так как и в самом деле было еще слишком рано, Карла пожелала, чтобы я послушал ее пение. Она исполнила весь свой репертуар, и то была, конечно, лучшая часть вечера, потому что нетерпение, с которым я ждал свою любовницу, увеличивало удовольствие, которое всегда доставляли мне ее песенки.

– Публика осыпала бы тебя цветами и аплодисментами, – сказал я, забыв, что невозможно сообщить всей публике то душевное состояние, в котором находился я.

Наконец мы улеглись в маленькой голой комнатке, похожей на срезанный

стеной коридор. Спать мне не хотелось, и я приходил в отчаяние при мысли, что если бы мне даже и захотелось, я не смог бы этого сделать в комнате, где так мало воздуха.

Затем Карлу робко окликнула мать. Она вышла за дверь, прикрыла ее за собой, и я услышал, как она раздраженно спросила у старухи, что ей надо. Та робко лепетала какие-то слова, смысла которых я не улавливал, и тогда Карла, прежде чем захлопнуть дверь перед ее носом, воскликнула:

– Оставь меня в покое! Я уже сказала, что сегодня я сплю здесь.

Так я узнал, что Карла, которую по ночам мучил страх, по-прежнему спала в старой спальне вместе с матерью, а эта кровать, на которой мы должны были спать вместе, стояла пустая. Так, значит, именно из-за боязни оставаться ночью одной она заставила меня сделать Аугусте эту гадость. С лукавой веселостью, которую я отнюдь не разделял, она призналась, что со мной она чувствует себя в большей безопасности, чем с матерью. И тут в голову мне запала эта одинокая постель, находившаяся так близко от пустынного кабинета. Раньше я никогда ее не видел. Я почувствовал укол ревности. Затем я высказал Карле свое негодование по поводу того, как она разговаривает со своей бедной матерью. Сразу было видно, что она женщина совершенно другого типа, нежели Аугуста, которая пожертвовала даже моим обществом, чтобы ухаживать за отцом. Я, всегда с такой кротостью выносивший гневные вспышки отца, был особенно чувствителен к недостатку почтения, проявляемому детьми к родителям.

Но Карла не заметила ни моей ревности, ни моего негодования. Все проявления ревности я подавил, сообразив, что не имею права быть ревнивым, раз только и мечтаю о том, чтобы кто-нибудь увел у меня мою любовницу. И хотя негодование мое возросло еще более за счет причин, вызвавших мою ревность, не было никакого смысла обнаруживать его перед бедной девушкой, раз уж я снова вынашивал мысль окончательно с ней расстаться. Что мне в самом деле было нужно – так это бежать из этой комнатухи, в которой не оставалось больше ни одного кубического метра воздуха, и к тому же жарко натопленной.

Не помню в точности все, что я придумал для того, чтобы сразу же уйти. Я поспешно стал одеваться. И говорил при этом что-то про ключ, который якобы забыл отдать жене, из-за чего та, если вернется, не сможет попасть домой. И я показал Карле ключ – тот самый ключ, который всегда лежал у меня в кармане, но в данном случае должен был в качестве вещественного доказательства подтвердить истинность моих уверений. Карла даже не пыталась меня задержать. Она оделась и проводила меня до самой парадной, освещая мне дорогу. Мне показалось, что в темноте лестницы она бросила на меня испытующий взгляд, который меня встревожил: уж не начала ли она понимать? Это было не легко, учитывая, как ловко я умею притворяться. Как бы благодаря ее за то, что она меня отпускается то и дело прикладывался к ее щеке, делая вид, что полон того же восторга, который привел меня к ней. У меня не было никаких оснований усомниться в том, что мое притворство удалось. Не так давно Карла в порыве любви заявила, что грубое имя Дзено, которым меня наградили родители, не пристало такому человеку, как я. Ей хотелось, чтобы я

звался Дарио, и вот тогда, прощаясь со мной на темной лестнице, она меня так и назвала. Потом, заметив, что погода хмурится, предложила вернуться и взять ее зонтик. Но я решительно не мог больше оставаться в ее обществе и поспешил прочь, сжимая в руке ключ и почти поверив в то, что он – тот самый.

Глубокая темнота ночи нарушалась время от времени лишь слепящими вспышками. Ворчание грома доносилось откуда-то очень издалека. Воздух был еще душен и недвижим, как в комнате Карлы. И редкие капли дождя, которые время от времени падали, были теплые. Было очевидно, что наверху положение становится угрожающим, и я бросился бежать. На мое счастье на Корсиа Стадион нашелся один еще открытый и освещенный подъезд, в который я успел вовремя вбежать. И тут же на улицу обрушилась гроза. Шелест дождя был прерван сильнейшим порывом ветра, который, казалось, приволок с собой гром, прозвучавший вдруг совсем близко. Я вздрогнул. Это будет весьма компрометирующе, если меня убьет молнией в этот час на Корсиа Стадион! Хорошо еще, что моя жена знала меня за человека со странностями, который мог бродить где угодно до глубокой ночи; в таком случае это все объяснит.

Мне пришлось простоять в подъезде больше часа. Несколько раз казалось, что погода вот-вот утихомирится, но она продолжала яриться, и все по-разному. После дождя пошел град.

Явился привратник, чтобы составить мне компанию, и мне пришлось дать ему несколько сольдо, чтобы он подождал запереть дверь. Потом вбежал в подъезд какой-то господин, с ног до головы одетый в белое и насквозь промокший. Он оказался стариком, маленьким и тощим. Я никогда его больше не видел, но на всю жизнь запомнил горящие черные глаза и маленькую фигурку, которая так и излучала энергию. Он промок до нитки и сыпал проклятьями.

Я люблю вступать в разговоры с незнакомыми людьми. С ними я чувствую себя здоровым и спокойным. Просто отдыхаешь душою! Нужно только стараться не хромать, и тогда все в порядке.

Когда наконец все успокоилось, я направился не к себе, а к тестю. Мне казалось, что в такой момент я должен быть с женой и гордиться тем, что сразу же ответил на ее невысказанный призыв.

Тесть спал, и Аугуста, которой помогала сиделка, смогла ненадолго выйти ко мне. Она сказала, что я хорошо сделал, что пришел, и, обняв меня, заплакала. Она видела, как ужасно страдает отец.

Потом она заметила, что я весь мокрый. Устроив меня в одном из кресел, она закутала меня одеялами и выкроила время, чтобы посидеть подле. Я ужасно устал и даже то недолгое время, пока она сидела рядом, изо всех сил боролся со сном. Я чувствовал себя ни в чем не виноватым: ведь раз я отказался провести всю ночь вдаль от нашего супружеского крова, значит я ей не изменил. Это чувство полной невинности было так прекрасно, что я попытался усилить его, сделав Аугусте нечто вроде признания. Я сказал, что чувствую себя преступным и полным пороков, но так как в этом месте Аугуста, взглянув на меня, спросила, что все это значит, я сразу же пошел на попятный и ударился в философию, рассказав ей о чувстве вины, которое сопровождает каждую мою мысль,

каждый вздох.

– Такое ощущение есть у всех верующих, – сказала Аугуста, – кто знает, может, так наказывает нас бог за ту вину, которой мы сами не знаем!

Она говорила слова, как нельзя лучше соответствующие ее слезам, которые все лились и лились. Мне показалось, что она не совсем поняла разницу между моей мыслью и тем, что думают верующие, но вступать в спор мне не хотелось, и под однообразный шум ветра, который стал еще сильнее, и с тем спокойствием, которое сообщила мне эта моя попытка во всем признаться, я погрузился в глубокий и целительный сон.

Когда встал вопрос об учителе пения, все было улажено в несколько часов. Я присмотрел его уже давно, и, если сказать правду, остановился на нем прежде всего потому, что это был самый дешевый учитель пения во всем Триесте. Я не хотел себя компрометировать, а потому разговаривать с ним пошла Карла. Я так никогда его и не увидел, но должен сказать, что теперь, когда я знаю о нем очень много, я считаю его одним из самых уважаемых мною людей. По-видимому, это был человек простодушный и здоровый – вещь весьма странная для артиста, ибо этот Витторио Лали был артистом и жил своим искусством. В общем, завидный случай, ибо он был талантлив, будучи здоровым.

Я сразу же почувствовал, что голос Карлы смягчился, сделался более гибким и более уверенным. А мы-то боялись, что новый учитель заставит ее так же напрягать горло, как заставлял старый, нанятый Коплером. Не знаю, пошел ли он навстречу пожеланиям Карлы, но она осталась в рамках облюбованного ею жанра. Лишь много месяцев спустя она заметила, что он немного изменился, приобретя более утонченный характер. Она не пела больше триестинских и даже неаполитанских песенок, а перешла на старинные итальянские песни, на Моцарта и Шуберта. Особенно мне запомнилась одна колыбельная, приписываемая Моцарту. В те дни, когда я особенно остро ощущаю, как грустна жизнь, и оплакиваю строптивую девушку, которая принадлежала мне и которую я не любил, эта колыбельная звучит у меня в ушах как укор. И тогда я снова вижу Карлу, изображающую мать, которая, желая убаюкать своего малыша, извлекает из своей груди самые нежные звуки. Однако она, хоть и была незабываемой любовницей, не могла стать хорошей матерью, ибо была плохая дочь. Впрочем, умение вкладывать в свое пение материнское чувство, видимо, покрывает все остальные недостатки.

От Карлы я узнал историю ее учителя. Проучившись несколько лет в Венской консерватории, он вернулся в Триест, где имел счастье помогать в трудах одному нашему известному композитору, пораженному слепотой. Он не только записывал под диктовку его композиции: он пользовался его доверием, которое у слепых неизбежно бывает полным. Так он познакомился с его планами, зрелыми суждениями и по-юношески дерзкими мечтами. И вскоре в его душе была уже вся музыка, в том числе и та, которая была нужна Карле. Мне была описана и его внешность: молодой, белокурый, довольно плотный, небрежно одетый – некрахмальная рубашка не всегда первой свежести,



длинный, плохо завязанный галстук, который когда-то, по-видимому, был черным, фетровая шляпа с огромными полями. Немногословный – во всяком случае, так утверждала Карла, и я должен ей верить, потому что, когда спустя несколько месяцев он сделался болтливым, она сразу же мне об этом сказала, – и весь погруженный в обязанности, которыми мы его облекли.

Вскоре течение моей жизни нарушилось кое-какими осложнениями. По утрам я приносил Карле не только свою любовь, но и горькую ревность, которая в течение дня становилась все менее и менее горькой. Мне казалось невероятным, чтобы этот юноша не воспользовался такой великолепной и легкой добычей. Карла, казалось, была изумлена тем, что я мог такое подумать, но и я тоже был изумлен ее изумлением. Разве она забыла, как все произошло между нами?

Однажды я пришел к ней вне себя от ревности, и она, испугавшись, заявила, что готова хоть сейчас расстаться с учителем. Не думаю, что этот испуг был вызван только страхом потерять мою поддержку: именно в ту пору я видел от нее несомненные проявления привязанности. Иногда они наполняли меня блаженством, но зато, когда я пребывал в другом настроении, очень мне досаждали, так как казались действиями, направленными против Аугусты, к которым я, чего бы мне это ни стоило, вынужден был присоединиться. Ее предложение повергло меня в замешательство. В какой бы я ни находился тогда стадии – любви или раскаяния, – я не хотел принять этой жертвы. Должна же была оставаться какая-то связь между двумя этими состояниями, и я не хотел жертвовать принадлежавшей мне скудной свободой переходить от одного к другому. Потому-то я и не мог принять это предложение и сделался с той поры осторожнее: даже приходя в отчаяние от ревности, я теперь умел ее скрывать. Моя любовь в результате стала какой-то злобной, и кончилось тем, что желал ли я Карлу или не желал, она в обоих случаях казалась мне существом низшего порядка. Она либо изменяла мне, либо мне до нее не было дела. Когда я ее не ненавидел, я не вспоминал о ее существовании. Я принадлежал к здоровому и честному миру, в котором царила Аугуста и в который я возвращался душой и телом, едва только Карла отпускала меня на свободу.

Учитывая абсолютную искренность Карлы, я знаю совершенно точно, что очень долго все ее помыслы были отданы только мне, и мои возобновлявшиеся приступы ревности были проявлением неосознанного чувства справедливости. В конце концов, я должен был получить то, что заслужил. Первым влюбился учитель. Думаю, что первым симптомом его любви были слова, которые Карла передала мне с торжествующим видом, полагая, что они свидетельствуют о первом ее артистическом успехе, заслуживавшем моего одобрения. Он сказал, что ему так нравится его роль учителя, что перестань она ему даже платить, он будет давать ей уроки даром. В первый момент мне захотелось влечь ей пощечину, но потом я сумел изобразить радость по поводу ее триумфа. Она тут же забыла о судороге, которая исказила мое лицо так, словно я откусил кусок лимона, и безмятежно приняла запоздалую похвалу. Учитель рассказывал ей о всех своих делах, которых было не так уж много: музыка, бедность, семья. Множество неприятностей доставляла ему сестра, и он сумел внушить Карле

неприязнь к этой женщине, которую она никогда не видала. Эта неприязнь показалась мне настораживающим симптомом. Они пели вдвоем его песенки, в которых я никогда не видел ничего особенного: ни тогда, когда я любил Карлу, ни тогда, когда ощущал ее словно тяжкое бремя. Может быть, они были и недурны, хотя мне никогда не приходилось о них слышать. Потом он стал дирижером в Соединенных Штатах, и вполне вероятно, что именно там и поют его песенки.

В один прекрасный день Карла сообщила, что он предложил ей стать его женой и что она ему отказала. Мне пришлось провести совершенно ужасные полчаса, которые я могу разделить на две части: первая – это когда я был в такой ярости, что готов был дожидаться учителя и пинками вышвырнуть его вон, и вторая – когда мне не удалось найти способ соединить возможность продолжения моей интрижки с этим браком, который, в сущности, был прекрасным и высоконравственным выходом из положения и разрешал все сложности гораздо надежнее, нежели карьера, которую Карла надеялась сделать с моей помощью.

И с чего это проклятый учитель до такой степени распалился, да еще так быстро? Теперь, после года связи, все в наших отношениях с Карлой успокоилось, смягчилось даже раздражение, возникающее в те минуты, когда я от нее уходил. Вполне терпимыми стали и угрызения совести; и хотя у Карлы по-прежнему были основания утверждать, что я груб в любви, однако, по-видимому, она к моей грубости привыкла. Это, наверное, далось ей тем более легко, что я никогда не был так груб, как в первые дни нашей связи, а уж после того, как она вынесла первую вспышку, все прочее по контрасту должно было показаться ей вполне терпимым.

Поэтому, хотя Карла и не имела для меня такого значения, как раньше, все равно я легко мог представить себе, что, скажем, завтра мне будет не очень приятно зайти к своей любовнице и обнаружить, что ее больше нет. Конечно, это было бы прекрасно – вернуться к Аугусте без обычного интермеццо с Карлой, и я в этот момент чувствовал, что вполне могу это сделать, но сначала мне хотелось проверить, как это будет. Мои намерения в ту пору можно было сформулировать примерно так: «Завтра я попрошу ее принять предложение учителя, но сегодня я ей этого сделать не дам». И с огромным трудом я продолжал изображать из себя влюбленного. Сейчас, когда я об этом рассказываю и когда я зафиксировал все этапы своего приключения, может показаться, что я просто пытался выдать мою любовницу за другого и при этом сохранить ее для себя – политика человека, более, чем я, расчетливого и владеющего собой, хотя и столь же испорченного. Но это не так: Карла просто должна была решиться на этот шаг не сегодня, а завтра. И именно поэтому я в ту пору расстался с тем своим душевным состоянием, которое продолжаю настойчиво расценивать как невинность. Отныне стало невозможно обожать Карлу какой-то короткий срок в течение дня, а потом двадцать четыре часа ненавидеть, невозможно подниматься утром в младенческом неведении, чтобы прожить день точно такой же, как все предыдущие, и при этом удивляться всему, что он с собой нес и что я должен был бы уже вытвердить наизусть. Все

это стало невозможно. Передо мной открылась вероятность того, что я потеряю свою любовницу навсегда, если не смогу справиться со своим желанием от нее избавиться. И я сразу же с ним справился. В один из дней, когда Карла была мне совершенно безразлична, я разыграл перед ней сцену страсти, напоминая свою фальшь и неистовством ту, что когда-то под влиянием вина я разыграл перед Аугустой, возвращаясь с нею в экипаже домой. Только здесь не было вина, и кончилось тем, что я оказался искренно взволнованным своими же собственными словами. Я заявил, что люблю ее, что не могу без нее жить, но понимаю, что требую от нее, таким образом, пожертвовать всей ее жизнью, ибо не могу предложить ей ничего, что могло бы сравниться с предложением Лали.

Это была поистине новая нота в наших отношениях, которые знали и мгновения подлинной любви. Карла с упоением внимала моим словам. И далеко не сразу принялась меня уговаривать не убиваться оттого, что в нее влюблен Лали. Ведь она-то о нем и думать не думала.

Я поблагодарил ее все с тем же пылом, хотя волнение, которое я сумел вызвать в себе сам, уже прошло. Я ощущал тяжесть под ложечкой; видимо, я скомпрометировал себя больше чем когда-либо. Поэтому мой фальшивый пыл, вместо того чтобы погаснуть, разгорелся еще больше, дав мне возможность произнести несколько слов восхищения по адресу бедного Лали. Я вовсе не хотел его терять, я желал его сохранить, но только на завтра.

Когда встал вопрос о том, оставить ли учителя, или распрощаться с ним, мы уладили его очень быстро. Я не хотел лишиться ее помимо законного брака еще и карьеры. К тому же Карла призналась, что дорожила учителем: каждый урок убеждал ее в том, что его присутствие ей необходимо. Она заверила меня, что я могу быть совершенно спокоен: она любила только меня и никого больше.

По-видимому, моя измена расширилась, захватив новые области. К любовнице меня привязывало теперь совершенно новое чувство, налагавшее на меня новые оковы и распространявшееся на территорию законной любви. Но едва я возвращался домой, как это новое чувство к Карле переставало существовать и удвоенное изливалось на Аугусту. К Карле я не испытывал ничего, кроме глубокого недоверия. Кто его знает, что было правдой, а что нет в этом предложении руки и сердца. Я бы не удивился, если бы в один прекрасный день, так и не выйдя ни за кого замуж, Карла подарила бы мне сына, наделенного недюжинным музыкальным талантом. И вновь наступила пора твердых обещаний, которые сопровождали меня на пути к Карле, покидали меня, когда я был с нею, и вновь воскресали, едва я ее оставлял. В общем, все это не грозило никакими последствиями.

И нижеследующие события тоже не имели никаких последствий. Прошло лето, унеся с собой моего тестя. Я был завален делами в основанной Гуидо новой торговой фирме, где мне пришлось поработать больше, чем когда-либо, даже если вспомнить годы, когда я разрывался между двумя факультетами. Но об этой своей деятельности я расскажу позже. Прошла и зима. В моем саду распустились первые зеленые листочки и им ни разу не пришлось увидеть меня в таком отчаянии, в каком видели меня первые листья прошлого года. У меня родилась дочь Антония. Учитель Карлы по-прежнему находился в нашем

распоряжении, но Карла не желала о нем и слышать, и я тоже. До поры до времени.

Но что касается моих отношений с Карлой, то новые и весьма тяжкие последствия принесли события, которые трудно было назвать сколько-нибудь серьезными. Сами эти события проходили почти незамеченными и обнаружались только благодаря последствиям, которые они вызвали.

Как раз в самом начале той весны мне пришлось согласиться на просьбу Карлы погулять с ней в городском саду. Я усматривал в этом серьезный риск, но Карле так хотелось прогуляться по солнышку со мной под руку, что мне пришлось доставить ей это удовольствие. Однако нам не следовало даже на краткий миг позволять себе держаться как муж и жена, потому что эта попытка сразу же кончилась плохо.

Чтобы полнее насладиться неожиданным теплом, струившимся с неба, в котором недавно снова воцарилось солнце, мы сели на скамейку. Сад, как всегда по утрам в будничные дни, был безлюден, и мне казалось, что если я буду сидеть на одном месте, риск быть кем-то замеченным станет еще меньше. Но не тут-то было: опираясь на костыль, к нам приблизился медленными, но огромными шагами Туллио – тот самый, с пятьюдесятью четырьмя мускулами, – и, не взглянув в нашу сторону, уселся рядом. Потом поднял голову и, встретившись со мной взглядом, воскликнул:

– Сколько лет, сколько зим! Как поживаешь? Все так же много работаешь или теперь меньше?

Он сел рядом со мной, причем я, к моему удивлению, подвинулся таким образом, чтобы ему не было видно Карлу. Но он, пожав мне руку, сразу же спросил:

– Твоя жена?

И ждал, чтобы его познакомили.

Я повиновался:

– Синьорина Карла Джерко, подруга моей жены.

Потом я сказал еще одну ложь и позже узнал от самого Туллио, что именно эта вторая ложь заставила его обо всем догадаться. С насильственной улыбкой я добавил:

– Синьорина, как и ты, села на эту скамейку совершенно случайно, она тоже меня не заметила.

Лгун, если он хочет, чтобы ему поверили, должен помнить, что никогда не надо лгать сверх необходимости. Когда мы встретились в следующий раз, Туллио, наделенный присущим народу здравым смыслом, заметил:

– Ты вдался в излишние объяснения, – потому-то я и догадался, что ты лжешь и что эта красивая синьорина – твоя любовница.

К тому времени я уже расстался с Карлой. Я с жаром признался, что он попал в самую точку, но тут же грустно ему поведал, что она меня бросила. Он не поверил, и я ощутил к нему благодарное чувство. То, что он мне не поверил, показалось мне добрым предзнаменованием.

Карла пришла в такое дурное настроение, в каком я никогда еще ее не видел. Теперь-то я знаю, что именно в тот момент и начался ее бунт. Но тогда я

ничего не заметил, потому что, желая лучше слышать Туллио, который принялся рассказывать мне о своих болезнях и испробованных им способах лечения, повернулся к ней спиной. Позднее я понял, что женщина, даже если обычно она позволяет обращаться с собой без особой деликатности, не терпит, чтобы от нее отрекались публично. Однако свою досаду Карла сорвала не столько на мне, сколько на бедном хромом, не ответив ему, когда тот к ней обратился. Но я и сам плохо слушал Туллио: в ту минуту я был не в состоянии искренно заинтересоваться способами лечения его болезни. Глядя в его маленькие глазки, я пытался понять, что думает он об этой встрече. Я знал, что он уже вышел на пенсию и, имея в своем распоряжении целый день, может буквально наводнить сплетнями весь небольшой светский круг тогдашнего Триеста.

После продолжительного раздумья Карла поднялась с намерением нас покинуть.

– До свидания, – буркнула она и направилась к выходу.

Я знал, что она на меня сердится, и, ни на минуту не упуская из виду присутствия Туллио, попытался выговорить себе время, необходимое для того, чтобы ее успокоить. Я попросил позволения ее проводить – тем более что я все равно иду в ту же сторону. Ведь ее сухое «до свидания» могло и впрямь означать разрыв, и я в первый раз не на шутку испугался. У меня захватило дух от серьезности этой угрозы.

Но Карла и сама еще не знала, куда она направлялась столь решительно. Она просто давала выход своему гневу, который скоро прошел.

Она подождала меня и пошла рядом, не говоря ни слова. Придя домой, она разрыдалась, но это меня уже не пугало, ибо рыдания побудили ее искать утешения в моих объятиях. Я объяснил ей, кто такой Туллио и сколько бед мог наделать его длинный язык. Видя, что она продолжает плакать, хотя и по-прежнему в моих объятиях, я рискнул взять более решительный тон: так что же, значит, она хочет меня скомпрометировать? Разве мы не договорились, что сделаем все, чтобы избавить от страданий бедную женщину, которая была моей женой и матерью моей дочери?

Карла, казалось, образумилась, но пожелала остаться одна, чтобы успокоиться. Я же весьма довольный поспешил прочь.

Но, видимо, результатом этого приключения было то, что Карле теперь все время хотелось показываться на людях в качестве моей жены. Можно было подумать, что, не пожелав выйти за учителя, она решила заставить меня занять бо льшую часть места, в котором тому была отказано. Долгое время она приставала ко мне с просьбой купить два билета в театр, так, чтобы, придя отдельно друг от друга, мы очутились рядом как бы по чистой случайности. Но я согласился посетить с ней – всего несколько раз – лишь городской сад. О, этот сад, пробный камень всех моих ошибок, куда мы входили теперь с разных сторон! И больше никаких уступок. В результате моя любовница вскоре стала очень похожа на меня. Ни с того ни с сего она то и дело обрушивала на меня вспышки беспричинного гнева. Правда, она быстро брала себя в руки, но такой вспышки было достаточно для того, чтобы я тут же делался послушным и

кротким. Часто я заставлял ее в слезах и не мог дознаться, что ее мучает. Может быть, в этом был виноват я и сам, так как выяснял это недостаточно настойчиво. Когда же я узнал ее лучше – то есть тогда, когда она меня бросила, – в этих объяснениях уже не было нужды. Я ей совсем не подходил: она пустилась в свою авантюру, вынужденная обстоятельствами. В моих объятиях она стала женщиной, и – мне нравится так думать – женщиной порядочной. Разумеется, тут нет никакой моей заслуги, тем более что сам я от этого имел одни неприятности.

Вскоре у нее появился новый каприз; сначала он меня удивил, потом растрогал. Она хотела увидеть мою жену. Она клялась, что не подойдет к ней близко и вообще будет вести себя так, что та ее даже не заметит. Я обещал, что как только узнаю, где будет моя жена в какой-то определенный час, я дам ей знать. Она взглянет на нее не около нашей виллы – это было слишком малолюдное место, где каждый посторонний бросался в глаза, а на какой-нибудь шумной городской улице.

В ту пору моя теща заболела какой-то глазной болезнью, из-за чего должна была провести несколько дней с повязкой на глазах. Она ужасно скучала, и для того, чтобы она не бросила лечение, дочери стали по очереди дежурить подле ее постели: моя жена – утром, а Ада – до четырех часов дня. Внезапно решившись, я сказал вдруг Карле, что моя жена каждый день ровно в четыре часа выходит из дома тещи. Даже сейчас я не могу вразумительно объяснить, что побудило меня выдать Аду за Аугусту. По-видимому, после предложения, сделанного Карле учителем, мне хотелось прочнее привязать к себе свою любовницу, и я полагал, что чем более красивой найдет она мою жену, тем больше будет ценить мужчину, который приносил ей, так сказать, в жертву подобную женщину. Аугуста же в ту пору была просто пышущей здоровьем, кормилицей. А может быть, тут сказала и осторожность. У меня были основания опасаться прихотливого нрава моей любовницы, и если бы та вдруг позволила себе какую-нибудь оскорбительную для Ады выходку, это было бы не страшно: Ада мне уже доказала, что никогда не будет пытаться очернить меня в глазах жены.

Если Карла скомпрометирует меня перед Адой, я просто расскажу той все как есть, и сделаю это даже не без удовольствия.

Но моя тактика привела к непредвиденному результату. Побуждаемый вполне понятным беспокойством, я пришел в этот день к Карле раньше обычного. Она показалась мне совершенно другой, чем накануне. Благородный овал ее личика дышал глубокой серьезностью. Я хотел поцеловать ее, но она меня оттолкнула и лишь позволила слегка коснуться губами своей щеки, чтобы заставить спокойно ее выслушать. Я сел напротив, на другом конце стола. Не слишком торопясь, она взяла лист бумаги, на котором что-то писала, когда я вошел, и спрятала его между нотами, лежавшими на столе. Я не обратил тогда на этот листок никакого внимания и только позднее узнал, что то было письмо, которое она писала Лали.

Однако сейчас я понимаю, что даже в ту минуту душу Карлы еще одолевали сомнения. Ее серьезный взгляд то изучал меня, то устремлялся за окно, чтобы отвлечься от окружающего и лучше увидеть то, что творилось в ее

собственном сердце. И кто знает! Если б я тогда догадался, что за борьба происходит в ее душе, мне, может быть, удалось бы сохранить до сих пор свою прелестную возлюбленную.

Карла рассказала мне о своей встрече с Адой. Она ждала ее у дома моей тещи и, едва увидела, сразу узнала.

– Ошибиться было невозможно. Ты описал мне самые характерные ее черты. О! Ты хорошо ее знаешь!

На мгновение она умолкла, чтобы справиться с волнением, мешавшим ей говорить. Потом возобновила свой рассказ:

– Я не знаю, что произошло между вами, но я не желаю больше обманывать эту женщину – такую прекрасную и такую печальную. И вот я пишу учителю, что готова принять его предложение.

– Печальную! – вскричал я в изумлении. – Да тебе показалось! Просто ей, наверное, жали туфли! Печальная Ада! Да она вечно смеялась! Не далее как сегодня утром она смеялась у меня дома.

Но Карла знала лучше меня:

– Туфли! Да она шла как богиня, которая ступает по облакам!

И все больше волнуясь, Карла поведала об этой встрече. Она сумела сделать так, что Ада сказала ей несколько слов своим нежным – о, таким нежным! – голосом. Она уронила платок, и Карла подняла его и подала. Ее короткая благодарность взволновала Карлу до слез. И еще одна вещь произошла между двумя женщинами: Карла уверяла, что Ада заметила ее слезы и бросила на нее взгляд, исполненный сочувствия. И тут ей все стало ясно: моя жена знала, что я ей изменяю, и очень страдала. Так возникло решение не видеться больше со мной и выйти замуж за Лали.

Я не знал, как выпутаться из создавшегося положения. Мне было легко говорить дурно об Аде, но не о жене – этой цветущей кормилице, которая совершенно не замечала того, что творится в моем сердце, вся поглощенная своими новыми обязанностями. Я спросил Карлу, неужели она не заметила, какой жесткий у Ады взгляд и какой низкий и грубый, лишенный всякой мягкости, голос. Чтобы вернуть себе любовь Карлы, я с удовольствием приписал бы своей жене множество других недостатков, но это было невозможно ввиду того, что почти целый год я превозносил ее перед Карлой до небес.

Я выпутался из этого положения иначе. Меня вдруг тоже охватило такое волнение, что на глазах выступили слезы. Я считал, что у меня есть все основания себя пожалеть. Ведь совершенно невольно я впутался в недоразумение, которое грозило сделать меня несчастным. Особенно невыносима была эта путаница между Адой и Аугустой. Ведь на самом-то деле моя жена была вовсе не так красива, а Ада, к которой Карла прониклась таким сочувствием, причинила мне множество неприятностей. Поэтому со стороны Карлы было ужасно несправедливо принять такое решение.

Мои слезы ее несколько смягчили.

– Дарио, милый! Как приятны мне твои слезы! Между тобою и женой просто произошло какое-то недоразумение, и вы должны в нем разобраться. Я

не хочу быть к тебе слишком суровой, но я решила, что не стану больше обманывать эту женщину: я не хочу быть причиной ее слез. Я дала себе клятву!

Несмотря на клятву, она все-таки обманула ее еще один, самый последний раз. Она хотела проститься со мной поцелуем, но я соглашался принять этот поцелуй только на определенных условиях, иначе я ушел бы от нее, жестоко обиженный. Ей пришлось смириться. Мы оба прошептали:

– В последний раз!

Это были дивные мгновения! Решение, принятое сразу обоими, полностью устраняло всякое чувство вины. Мы были безгрешны и блаженны. Благосклонная судьба одарила меня мгновением совершенного счастья.

Я чувствовал себя таким счастливым, что продолжал разыгрывать комедию до самого расставания. Да, да, мы никогда больше не увидимся. Она отказалась от конверта, который, как всегда, был при мне, и не пожелала взять ничего на память. В нашей новой жизни не должно остаться никаких следов совершенных нами ошибок. И вот тут-то я с удовольствием запечатлел на ее лбу тот самый отеческий поцелуй, которым она с самого начала собиралась со мной проститься.

Правда, потом, на лестнице, меня охватили сомнения – все делалось как-то слишком уж всерьез. Если б я был уверен, что она завтра снова будет в полном моем распоряжении, мысли о будущем меня бы так быстро не одолели. Стоя на своей площадке, она смотрела, как я спускаюсь. Тихонько засмеявшись, я крикнул:

– До завтра!

Она изумленно и словно бы даже испуганно отшатнулась и скрылась за дверью, крикнув:

– Никогда!

Но я все же почувствовал некоторое облегчение, оттого что решился произнести слово, которое могло привести нас к еще одному прощальному объятию тогда, когда я того пожелаю. Свободный от всяких желаний и обязательств, я провел прекрасный день – сначала в обществе жены, потом в конторе Гуидо. Должен заметить, что отсутствие обязательств сближало меня с женой и дочерью. Они чувствовали во мне нечто большее, чем обычно: не просто милый и предупредительный, а настоящий глава семьи, уверенно и спокойно отдающий приказания и распоряжения, весь поглощенный собственным домом. Ложась спать, я сформулировал для себя очередное благое намерение:

– Нужно, чтобы каждый мой день был похож на этот.

Перед сном Аугуста не удержалась и поделилась со мной одним важным секретом: она узнала его от матери только сегодня. Несколько дней назад Ада застала Гуидо со служанкой: они обнимались. Ада решила было показать, что она выше этого, но девушка повела себя так нагло, что ее пришлось расчитать. Сначала они с тревогой ждали, как отнесется к этому Гуидо. Если выскажет сожаление, то Ада попросит у него развода. Но Гуидо только смеялся и уверял, что Аде все это просто померещилось; тем не менее он вовсе не возражает против того, чтобы эту женщину, пусть даже ни в чем не повинную, уволили,



потому что он всегда испытывал к ней неприязнь. Сейчас все в доме, кажется, успокоилось.

Мне очень хотелось знать, действительно ли это было галлюцинацией – то, что Ада застала мужа со служанкой? Неужели оставалась еще какая-то возможность для сомнений? Ведь ясно же, что когда мужчина и женщина обнимаются, они находятся совсем в иных позах, чем в том случае, если женщина чистит мужчине ботинки! Я был в самом превосходном расположении духа. Я даже счел необходимым, вынося свое суждение о Гуидо, проявить беспристрастность и спокойствие. Ада была женщина ревнивая, и вполне вероятно, что расстояние между ними показалось ей меньше, чем оно было на самом деле, ну а позы она невольно видоизменила.

Аугуста с грустью сказала, что она уверена в том, что Ада все прекрасно разглядела и неверно истолковала то, что видела, только потому, что слишком любит Гуидо. И она добавила:

– Для нее было бы гораздо лучше, если бы она вышла за тебя!

И я, чувствуя себя все более и более невинным, одарил ее такой фразой:

– Да, но еще неизвестно, было ли бы лучше мне, если бы я женился не на тебе, а на ней.

И уже засыпая, пробормотал:

– Ах, негодяй! Так замарать собственный дом!

Я говорил это совершенно искренно, ибо упрек мой касался той части поступка Гуидо, в которой себя я упрекнуть не мог.

Я поднялся наутро, страстно надеясь на то, что хотя бы этот первый день будет в точности походить на предыдущий. Было вполне вероятно, что принятые накануне восхитительные обязательства связали Карлу не более, чем меня, а я чувствовал себя совершенно от них свободном. Они были слишком прекрасны для того, чтобы действительно к чему-то обязывать. Нетерпеливое желание узнать, что думает на этот счет Карла, заставило меня бежать к ней бегом. При этом я, конечно, мечтал обнаружить в ней готовность к новым обязательствам. И так и должно было пойти дальше: жизнь с одной стороны будет состоять из наслаждений, а с другой – из усилий, предпринятых во имя ее совершенствования, и каждый мой день будет в большей своей части посвящен добру и лишь в меньшей – угрызениям совести. Правда, я чувствовал некоторое беспокойство, потому что в течение всего этого года, который для меня был так насыщен обязательствами, Карла взяла на себя только одно – доказать мне свою любовь. Это обязательство она выполнила, но из этого еще не следовало, что она с легкостью возьмет на себя новое, которое к тому же полностью опровергало предыдущее.

Карлы не было дома. Я испытал такое разочарование, что готов был локти себе кусать от досады. Старуха пригласила меня на кухню и сказала, что Карла должна вернуться к вечеру. Она предупредила, что обедать будет не дома, а потому в очаге не тлела даже обычная ничтожная горстка угля.

– А вы разве не знали? – спросила старуха, широко раскрыв от удивления глаза.

Погруженный в свои мысли, я рассеянно пробормотал:

– Да нет, вчера-то я знал. Но я не был уверен, что речь идет именно о сегодняшнем дне.

И я ушел, любезно с ней попрощавшись. При этом я скрипел зубами, но так, чтобы она не услышала. Нужно было время, чтобы я нашел в себе мужество выражать свое недовольство на людях. Я зашел в городской сад и прогуливался там около получаса, стараясь разобраться в том, что произошло. Все было так ясно, что я отказывался понимать! Так внезапно, так безжалостно заставить меня выполнять взятое мною обязательство! Я чувствовал себя ужасно, совершенно ужасно. Я снова захромал, и на меня напало что-то вроде одышки. У меня часто бывают такие одышки: дышу я хорошо, но считаю вдохи, потому, что делаю их сознательно. У меня такое ощущение, будто я задохнусь, если забуду, что должен дышать.

В этот час я должен был бы уже сидеть в своей конторе, а еще бы лучше – в конторе Гуидо. Но я не мог уйти отсюда просто так. Что я буду делать потом? Да, мало походил этот день на предыдущий! Если б я хоть знал адрес этого проклятого учителя, который с помощью пеня, оплаченного из моего же кармана, увел у меня мою любовницу!

В конце концов я вернулся к старушке. Я должен был передать через нее Карле что-нибудь такое, что заставило бы ее искать со мной встречи. Самое трудное было поскорее ее заполучить. Остальное не должно было представлять большого труда.

Я застал старуху у окна за штопкой чулок. Она сняла очки и взглянула на меня вопросительно и почти с испугом. Некоторое время я колебался. Потом сказал:

– А вы знаете, что Карла решила выйти за Лали?

У меня было такое чувство, будто я сообщаю эту новость самому себе: хотя Карла сообщила мне ее дважды, накануне я уделил ей слишком мало внимания. Вчера эти слова поразили только мой слух, но глубже не проникли. Сейчас же они дошли до самого нутра, которое буквально корчило от боли.

Старушка смотрела на меня, словно в нерешительности. Она, конечно, боялась совершить какую-нибудь бестактность, за которую потом ее могли бы упрекнуть. И вдруг заговорила, откровенно сияя счастьем:

– Это вам сама Карла сказала? Тогда так оно и есть! По-моему, это чудесно! А вы как считаете?

И она радостно засмеялась, проклятая старуха, а я-то всегда думал, что она знает о моих отношениях с Карлой! Охотнее всего я бы ее прибил, но мне пришлось ограничиться замечанием, что лично я подожду бы, пока учитель как-то устроится. Мне кажется, что они поторопились.

Старая дама была так рада, что впервые стала со мной разговорчивой. Нет, она не разделяла моего мнения. Если женишься молодым, то карьеру можно сделать и после. Почему обязательно делать ее раньше? Карла так нетребовательна! К тому же и голос будет ей теперь стоять меньше, потому что в лице мужа она приобретала также и учителя.

Эти слова, которые, между прочим, можно было понять и как брошенный в мой адрес упрек в скупости, подали мне мысль, которая показалась мне

превосходной и принесла даже временное облегчение. В конверте, который я всегда теперь носил в нагрудном кармане, должна была находиться довольно кругленькая сумма. Я вынул его из кармана, запечатал и протянул старухе, прося передать его Карле. Может, во мне говорило также и желание заплатить наконец приличествующим образом своей любовнице, но самым сильным желанием было увидеть ее и вновь получить в полное свое распоряжение. Карле придется со мной встретиться в любом случае – захочет ли она вернуть мне деньги, или сочтет возможным принять их, потому что тогда она должна будет меня поблагодарить. Я облегченно вздохнул: еще ничего не было кончено!

Старухе я сказал, что в пакете находится остаток той суммы, которая была вручена мне друзьями бедного Коплера. Потом, уже совершенно успокоившись, я попросил передать Карле, что на всю жизнь останусь ей добрым другом, и, понадобится ей поддержка, она смело может обращаться ко мне. Таким образом, я передал ей свой адрес, который был не чем иным, как адресом конторы Гуидо.

Ушел я гораздо более упругим шагом, чем пришел.

Но в тот же день у меня произошла ужасная ссора с Аугустой. Причем из-за совершенной чепухи. Я утверждал, что суп пересолен, а она уверяла, что нет. Решив, что она надо мной смеется, я пришел в страшную ярость и с такой силой дернул на себя скатерть, что все стоявшее на столе полетело на пол. Девочка, которая сидела на коленях у няньки, заплакала, и это тоже очень меня уязвило, потому что мне показалось, что даже этот крохотный рот в чем-то меня упрекает. Аугуста побледнела, как умела бледнеть только она, взяла девочку на руки и вышла. Я решил, что это уже слишком: что же я, собака, что ли, чтобы есть в полном одиночестве? Но она тут же вернулась, уже без ребенка, снова накрыла на стол, села и опустила в тарелку ложку, словно приготовившись есть.

Мысленно я еще продолжал чертыхаться, но уже понял, что был игрушкой в руках неуправляемых сил природы. Природа, которая без труда их накапливает, еще того легче выпускает их на волю. Теперь я проклинал Карлу, которая притворялась, будто все, что она делает, она делает ради блага моей жены! И вот каково в результате оказалось моей жене!

Аугуста, действуя согласно своей системе, которой она осталась верна до сих пор, увидев, в каком я состоянии, не стала ни возмущаться, ни спорить, ни плакать. Когда я робко начал просить у нее прощения, она пожелала объяснить мне только одну вещь: она вовсе не смеялась, она просто улыбнулась мне той самой улыбкой, которая мне так часто нравилась и которой я даже гордился.

Мне стало ужасно стыдно. Я попросил ее распорядиться, чтобы девочку принесли обратно, и, когда ее принесли, долго с ней играл. Потом посадил ее себе на голову и под ее платицем, закрывавшим мне лицо, утер слезы, которые заставила меня пролить вовсе не Аугуста. Я играл с девочкой, зная, что так я приближаюсь к Аугусте, не унижаясь до извинений: и в самом деле, ее щеки вновь обрели свой обычный цвет.

Так что и этот день тоже закончился прекрасно, и вторая его половина очень напоминала вчерашний. Это было точно то же самое, как если бы утром Карла, как всегда, оказалась бы на месте. Все-таки я нашел способ облегчить

душу. Я несколько раз попросил у Аугусты прощения, так как хотел, чтобы на ее уста вернулась материнская улыбка, которая появлялась, когда я делал или говорил всякие глупости. Горе мне, если бы я согнал с ее уст хотя бы одну из тех обычных ласковых улыбок, в которых выражалось, на мой взгляд, самое благожелательное, какое только можно представить, суждение о моей персоне.

Вечером мы снова заговорили о Гуидо. Судя по всему, его примирение с Адой было полным. Аугуста не могла надивиться доброте своей сестры. На этот раз настала моя очередь улыбаться, потому что было совершенно очевидно, что она не отдает себе отчета в собственной безграничной доброте. Я спросил:

– Так что же, если бы и я замарал наш дом, как замарал свой дом Гуидо, ты бы меня не простила?

Аугуста заколебалась.

– Но у нас есть наша девочка, – наконец воскликнула она, – а у Ады ведь нет ребенка, который связывал бы ее с этим человеком.

Она не любила Гуидо. Иногда я думаю, что она не могла простить ему то, что я страдал по его вине.

Несколько месяцев спустя Ада подарила Гуидо двух близнецов, и Гуидо так никогда и не понял, почему я поздравил его в тот день с таким жаром. Ведь теперь, когда он обзавелся детьми, он мог иметь дело со всеми служанками в доме, и это даже с точки зрения Аугусты не грозило ему решительно ничем.

Когда на следующее утро я нашел на столе у себя в конторе конверт с моим адресом, написанным рукою Карлы, я с облегчением вздохнул. Значит, ничего не было кончено и жизнь продолжала состоять из всех ставших для меня необходимыми компонентов. В кратких словах Карла назначала мне свидание в одиннадцать утра у входа в городской сад напротив ее дома. Таким образом, мы должны были встретиться хотя и не в ее комнате, но очень от нее близко.

Я не в силах был ждать и отправился на свидание на четверть часа раньше. Я решил, что если Карлы не окажется на условленном месте, я пойду прямо к ней домой, что будет даже еще удобнее.

Это тоже был день, дышавший весной, ясный и теплый. Когда шумная Корсиа Стадион осталась позади, и я вошел в сад, я очутился среди совершенно деревенской тишины, которую нисколько не нарушал легкий и неумолчный шелест листьев.

Быстрыми шагами я уже направился было к выходу, как вдруг увидел Карлу, идущую мне навстречу. В руке у нее был мой конверт, и она шла не только без обычной своей улыбки, но с выражением жесткой решимости, застывшим на бледном личике. На ней было скромное платье из тяжелой ткани в голубую полоску, которое ей очень шло. Она сама казалась частью сада. Позднее, в те минуты, когда я особенно сильно ее ненавидел, я говорил себе, что она нарочно оделась так, чтобы выглядеть как можно соблазнительней в момент решительного разрыва. На самом же деле ее, конечно, так одел первый весенний день. Кроме того, нужно еще помнить, что все время, пока длилась эта моя долгая, но грубая любовь, мне было совершенно неважно, как была одета принадлежавшая мне женщина. Ведь я всегда приходил прямо к ней в комнату, а скромные женщины всегда одеваются дома очень просто.

Она протянула мне руку, и я пожал ее со словами:

– Спасибо тебе за то, что ты пришла.

Насколько было бы благороднее с моей стороны, если бы в течение всего нашего разговора я держался бы с таким же смирением!

Карла выглядела взволнованной, и, когда она говорила, у нее конвульсивно вздрагивали губы. Бывало, что точно такая же дрожь, когда она пела, мешала ей взять правильную ноту. Она сказала:

– Сначала я хотела доставить тебе удовольствие и принять эти деньги, но я не могу – просто не могу. Прошу тебя, возьми их обратно.

Видя, что она вот-вот заплачет, я поспешил выполнить ее просьбу и взял конверт. Уже много времени спустя после того, как я покинул место свидания, я вдруг обнаружил, что держу его в руке.

– Так ты и в самом деле не хочешь больше обо мне слышать?

Я задал этот вопрос, не отдавая себе отчета в том, что она уже ответила на него накануне. Разве это было возможно, чтобы она, такая соблазнительная, вдруг мне отказала?

– Дзено! – ласково произнесла девушка. – Разве мы не дали друг другу слово, что никогда больше не увидимся? Дав обещание, я приняла на себя обязательства, которые ты принял на себя еще до того, как мы с тобой познакомились. Они так же священны, как и твои. Я надеюсь, что теперь-то твоя жена заметит, что ты принадлежишь только ей.

Следовательно, для нее продолжала иметь значение красота Ады! Если бы я был уверен, что наш разрыв произошел из-за нее, я бы нашел способ все поправить. Я объяснил бы, что Ада вовсе не моя жена, и показал бы ей Аугусту с ее косым глазом и грудью здоровой кормилицы. Но теперь, наверное, гораздо важнее моих обязательств стали обязательства, взятые ею. Нужно было оспорить прежде всего их.

Я старался говорить как можно спокойнее, хотя и у меня тоже дрожали губы – правда, от желания. Я сказал ей, что она даже не подозревает, насколько она стала моей, и что она уже просто не имеет права распоряжаться собой. В голове у меня все время вертелось научное доказательство того, о чем я говорил, то есть знаменитый опыт Дарвина с арабской кобылой, но благодарение богу, я почти уверен, что этого я ей не сказал. Однако я, по-видимому, много и бестолково говорил о животных и их физической верности. Затем бросил развивать эту трудную; тему, неприемлемую в тот момент ни для меня, ни для нее, и сказал:

– Какие ты могла взять на себя обязательства? И какое они могут иметь значение рядом с чувством, которое связывало нас больше года?

Я грубо схватил ее за руку, ибо чувствовал, что здесь необходим какой-то решительный жест; слов, которые могли бы ее убедить, я найти не мог.

Но она с такой силой вырвала свою руку, словно я впервые позволил себе подобный жест.

– Никогда! – сказала она с видом человека, дающего клятву. – Я взяла на себя самое священное из обязательств. Обязательство по отношению к человеку, который взял такое же по отношению ко мне.

Сомнений больше не оставалось! Румянец, внезапно вспыхнувший на ее щеках, был вызван обидой на человека, который не взял на себя по отношению к ней никаких обязательств. Дальше это стало еще яснее:

– Вчера мы в сопровождении его матери гуляли под руку по улице.

Было совершенно очевидно, что принадлежавшая мне женщина уходит от меня все дальше и дальше. Я безумными прыжками кинулся следом, словно пес, у которого отняли соблазнительный кусок мяса.

Я снова с силой схватил ее за руку.

– Хорошо, – сказал я, – давай пройдем вот так, держась за руки, через весь город. В этой необычной позиции, которая должна привлечь всеобщее внимание пройдем через Корсиа Стадион до самых арок Кьоцца, спустимся через Корсо до Сант-Андреа и вернемся к тебе домой с другой стороны, после того, как нас увидит весь город.

Вот когда я первый раз отрекся от Аугусты! И я ощутил это как освобождение, ибо это она, Аугуста, хотела отнять у меня Карлу!

Карла снова вырвала у меня руку и сухо заметила:

– Это был бы почти тот самый путь, который мы с им проделали вчера.

Я сделал новый прыжок:

– А он знает? Все знает? Знает, что не далее, как вчера, ты принадлежала мне?

– Да, – сказала она с гордостью. – Он знает все, абсолютно все.

Я совершенно потерял голову и, словно пес, который, не будучи в силах достать лакомый кусок, злобно кусает того, кто его у него отнял, сказал:

– У твоего жениха прекрасный желудок! Сегодня он переварил меня, а завтра переварит все, что ты только пожелаешь!

Я плохо слышал слова, которые произносил. Я только чувствовал, что кричу от боли. Взгляд Карлы выразил негодование, которого я никак не ожидал от ее кротких, карих, газельих глаз.

– Ты говоришь это мне? А может, ты наберешься храбрости сказать это ему?

Она повернулась ко мне спиной и быстрым шагом направилась к выходу. Я уже раскаивался в своих словах, но раскаяние это несколько смягчилось изумлением, которое я испытал, поняв, что впредь мне не будет дозволено обращаться с Карлой недостаточно корректно. И это словно приковало меня к месту. Маленькая бело-голубая фигурка решительными шажками удалялась к выходу, и лишь когда она была уже у самых ворот, я решился побежать следом. Я не знал еще, что скажу, но было совершенно невозможно, чтобы мы так расстались.

Я догнал Карлу у самого ее дома, и из души у меня вырвались искренние слова, в которых звучала вся боль, испытываемая мною в ту минуту:

– Неужто мы так вот и расстанемся? Ведь мы так долго любили друг друга!

Карла продолжала идти, ничего не отвечая, и я последовал за нею по лестнице. Она взглянула на меня прежним враждебным взглядом.

– Если вы хотите встретиться с моим женихом, то идите. Слышите рояль? Это он играет!

Только тут я услышал синкопы шубертовского «Привета» в переложении Листа.

Хотя со времен детства я не держал в руках ни сабли, ни палки, я не из робкого десятка. Страстное желание, которое так мучило меня до последней минуты, внезапно исчезло. Собственно мужского во мне осталось только одно – воинственный пыл. Я потребовал вещь, которая принадлежала другому. Чтобы загладить этот промах, за нее следовало бы подраться: иначе воспоминание о женщине, которая грозила мне своим женихом, будет мучить меня всю жизнь.

– Ну что ж! – сказал я. – С вашего позволения, я иду с вами.

Сердце у меня бешено колотилось, но не от страха, а из опасения, что я не сумею вести себя как подобает в таких случаях.

Я продолжал подниматься по лестнице рядом с нею. Но она вдруг остановилась и, прислонившись к стене, молча заплакала. Сверху продолжали доноситься звуки «Привета», исполняемого на фортепьяно, за которое заплатил я. Слезы Карлы делали эти звуки особенно волнующими.

– Я сделаю все, что ты хочешь. Хочешь, чтобы я ушел? – спросил я.

– Да, – сказала она, с трудом выговорив это короткое слово.

– Прощай! – сказал я. – Раз ты этого хочешь, прощай навсегда!

Я медленно спустился по лестнице, насвистывая шубертовский «Привет». Не знаю, может быть, мне почудилось, но мне вдруг послышалось, что меня окликнули:

– Дзено!

Однако в эту минуту Карла могла позвать меня даже тем странным именем Дарио, которое она считала ласкательным, – я все равно бы не остановился. Мне страстно хотелось уйти и снова невинным и чистым вернуться к Аугусте. Пес, которого пинками отогнали от самки, тоже бежит прочь невинным и чистым.

Но когда на следующий день я снова дошел до состояния, в котором накануне отправился в городской сад, я решил, что вел себя как трус: ведь меня позвали – пусть не тем именем, которое было принято у нас в любовных разговорах, но позвали, а я не откликнулся! То был первый день мучений, за которым последовало множество других, наполненных самым горьким отчаянием. Не будучи в силах понять, почему я тогда ушел, не ответив, я винил себя в том, что испугался жениха Карлы и возможного скандала. Сейчас я вновь был согласен на любой компромисс, вплоть до предложенной мною Карле длинной прогулки через весь город. Но я упустил удобный момент и прекрасно знал, что есть женщины, с которыми поймать его можно только один раз. Надо было не зевать!

Я решил написать Карле. Я не мог больше ждать ни единого дня, не сделав попытки к ней приблизиться. Я писал и переписывал свое письмо, стараясь вложить в несколько строчек всю изобретательность, на какую только был способен. Я переписал его несколько раз также и потому, что меня успокаивал сам процесс сочинения: он меня отвлекал, а я в этом очень нуждался. Я просил у Карлы прощения за то, что позволил себе такой взрыв злобы, объяснив, что для того, чтобы моя великая страсть успокоилась, нужно время. К этому я

добавил: «Каждый новый день приносит мне крупицу спокойствия», и написал эту фразу несколько раз, скрежеща при этом зубами. Потом я написал, что не могу простить себе тех слов, которые я ей сказал, и мне необходимо попросить у нее прощения. К сожалению, я не мог предложить ей то, что предложил ей Лали и чего она была так достойна.

Я воображал, что это письмо произведет на них огромное впечатление. Так как Лали было все известно, Карла ему, конечно, его покажет, и Лали будет даже выгодно обрести такого друга, как я. Я даже мечтал о прекрасной жизни втроем, ибо любовь моя приобрела в то время такой характер, что я считал бы себя очастливленным, если бы мне позволили просто ухаживать за Карлой.

На третий день я получил от нее коротенькую записочку. Меня не называли в ней ни Дзено, ни Дарио. В ней говорилось только следующее: «Спасибо! Будьте же и вы счастливы с вашей супругой, столь достойной всяческого счастья». Разумеется, она имела в виду Аду.

Упущенный удобный момент никак не мог обрести продолжения; продолжить с женщиной начатое можно только одним путем – если ее удержать, схватив за косы. Испытываемое мною желание породило в конце концов желчную злобу. Но не против Аугусты! Мои мысли были настолько полны Карлой, что я чувствовал угрызения совести и, бывая в обществе Аугусты, выдавливал из себя идиотскую стереотипную улыбку, – она все принимала за чистую монету.

Однако нужно было что-то предпринять. Не мог же я каждый день терзаться ожиданием! Писать ей я больше не хотел. Исписанная бумага слишком мало значит для женщины. Следовало придумать что-нибудь получше.

Сам толком не представляя, чего я хочу, я со всех ног бросился в городской сад. Затем – значительно медленнее – к дому Карлы. Очутившись на заветной площадке, я постучал в дверь, ведущую на кухню. По возможности я буду стараться избежать встречи с Лали, но если мы и столкнемся – ничего страшного. Это вызовет в течении событий перелом, который был мне действительно необходим.

Старая дама, как всегда, сидела у очага, в котором пылали два больших языка пламени. Она сначала удивилась при виде меня, а потом рассмеялась так, как смеются только добрые и бесхитростные люди, к числу которых она, несомненно, и принадлежала. Она сказала:

– Как я рада вас видеть! Видно, вы так привыкли ежедневно нас навещать, что обойтись без нас совсем вам теперь трудно!

Заставить ее разговориться оказалось проще простого. Она поведала мне, что Карла и Витторио влюблены не на шутку. Сегодня он с матерью придет к ним обедать. Потом, смеясь, добавила: – Скоро он заставит Карлу сопровождать его на уроки. Они и минуты не могут прожить друг без друга.

И она улыбалась их счастьем материнской улыбкой. Она сказала, что через несколько недель они обвенчаются.

Я почувствовал противный вкус во рту и уже направился было к двери, чтобы уйти. Но потом решил остаться, подумав, что болтовня старушки может подсказать мне какую-нибудь мысль или заронить надежду. Последней



ошибкой, которую я допустил в своих отношениях с Карлой, было именно то, что я ушел до того, как испробовал все предоставившиеся мне возможности.

На какую-то минуту мне показалось, что меня осенила прекрасная мысль. Я спросил у старушки, уж не собирается ли она до самой смерти прожить в служанках у собственной дочери. И добавил, что, насколько мне известно, Карла с нею не очень-то хорошо обращается.

Она продолжала хлопотать подле очага, но при этом внимательно меня слушала. В ней было простодушие, которого я, конечно же, не заслуживал. Она пожаловалась мне на Карлу, выходявшую из себя по пустякам. И добавила в свое оправдание:

– Это правда, что я старею и память у меня с каждым днем все хуже. Но я же в этом не виновата!

Однако она надеялась, что как раз теперь все наладится. Теперь, когда Карла так счастлива, она станет менее раздражительной. И потом, Витторио с самого начала относился к ней с большим уважением. В заключение, продолжая лепить что-то из смеси теста с фруктами, она добавила:

– Это мой долг – быть при дочери. А как же иначе!

Я нетерпеливо принялся ее уговаривать. Я сказал, что она прекраснейшим образом могла избавиться от этого рабства. На то есть я! Я буду продолжать выплачивать ей месячное содержание, которое до сих пор выплачивал Карле. Мне во что бы то ни стало хотелось кого-нибудь содержать! Я хотел оставить себе хотя бы старушку, которая казалась мне частью дочери.

Старушка выразила мне свою признательность. Она была в восхищении от моей доброты, но ей было просто смешно при мысли, что ей могли предложить оставить дочь! Об этом нечего было и думать.

Вот его и произнесли, это решительное слово, и я наткнулся на него, набив па лбу шишку. Я вновь возвращался к своему великому одиночеству, в котором не было Карлы и нельзя было различить ни одного пути, ведущего к ней. Помню, что, уходя, я сделал последнее усилие, чтобы создать себе иллюзию того, что этот путь хотя бы намечен. Я сказал старушке, что, может быть, со временем она передумает. Тогда я прошу ее вспомнить обо мне.

Выходя из этого дома, я чувствовал такое негодование и досаду, словно со мной грубо обошлись в тот момент, когда я хотел сделать доброе дело. Эта старуха буквально оскорбила меня своим смехом. Ее смех продолжал звучать у меня в ушах и относился отнюдь не только к последнему моему предложению.

Возвращаться к Аугусте в таком состоянии мне не хотелось. Я предвидел, что меня ждет. Если я пойду сейчас к ней, дело кончится тем, что я буду с ней груб, а она покарает меня этой своей бледностью, которая причиняет мне такую боль. Я предпочел пройтись по улицам и шел тем ритмичным шагом, который должен был бы установить хоть какой-то порядок у меня в душе. И порядок в самом деле установился. Я перестал жаловаться на свою судьбу и увидел вдруг себя самого так ясно, словно яркий свет спроецировал мой портрет на тротуаре, который я рассматривал на ходу. Мне была нужна не Карла, мне были нужны ее объятия, причем предпочтительно те, которые были бы «в последний раз». Это же просто смешно! Я прикусил губу, чтобы внести хоть немного страдания, то

есть хоть немного серьезности, в свой комический образ. Я знал о себе все, и было совершенно непростительно, что я так страдаю оттого, что мне предложили наконец единственный способ отлучения от груди. Карлы больше не было; совершилось то, о чем я так долго мечтал.

И когда с прояснившейся наконец душой я совершенно случайно очутился на одной из весьма экзотических улиц нашего города и сильно накрашенная женщина сделала мне знак, я без всяких колебаний пошел за нею следом.

К завтраку я опоздал, но был с Аугустой так нежен, что она быстро смягчилась. Я только не мог заставить себя поцеловать дочь и несколько часов не ел. Таким грязным я себя чувствовал! Я не стал притворяться больным, как делал в тех случаях, когда мне нужно было скрыть какой-нибудь грех и смягчить угрызения совести. И у меня не было чувства, что мне будет легче, если я возьму на себя какое-нибудь обязательство, – и в первый раз я этого не сделал. Понадобилось много часов, прежде чем я вернулся к обычному ритму, увлекающему меня из мрачного настоящего в сияющее будущее.

Аугуста заметила во мне что-то необычное. Она засмеялась:

– С тобой не соскучишься! Ты каждый день другой.

О да! Та женщина с окраины действительно ни на кого не была похожа, а я носил ее в себе.

Остаток дня и вечер я провел с Аугустой. Она была перегружена делами, а я без дела слонялся следом за ней. Мне казалось, что меня, неподвижного и вялого, несет поток, поток чистой воды – добропорядочная жизнь моего дома.

И я отдался этому потоку, который меня нес, но не мог смыть приставшую ко мне грязь. Наоборот! Он только ее подчеркивал!

Естественно, что за долгую ночь, которая за этим последовала, я пришел к мысли о необходимости новых обязательств. Самым твердым было первое. Я достану оружие и покончу с собой, едва поймаю себя на том, что собираюсь направиться в тот квартал города. Это обязательство меня успокоило, и мне полегчало.

Лежа в постели, я ни разу не застонал, больше того – я изображал ровное дыхание спящего. Потом я вернулся к старинной идее смыть с себя грех, во всем признавшись жене: точно так, как это было в тот раз, когда я собирался изменить ей с Карлой. Но нынешнее признание было бы гораздо более трудным – и не из-за тяжести проступка, а из-за сложных обстоятельств, результатом которых он явился. Перед лицом судьи, какого я обрел бы в лице жены, я должен был бы представить смягчающие вину обстоятельства, а это стало бы возможным только в том случае, если бы я рассказал, как внезапно и как жестоко была прервана моя связь с Карлой.

Но тогда мне пришлось бы признаться и в этой, уже устаревшей измене. Она была невиннее последней, но для жены, вероятно, куда обиднее.

Постепенно себя исследуя, я приходил ко все более и более благоразумным обязательствам. Я подумал, что сумею избежать повторения последней ошибки, если поспешу завести новую связь, подобную той, которую я потерял и которая была мне, по-видимому, совершенно необходима. Но, с другой стороны, новая женщина меня тоже пугала. Тысячи опасностей подстерегали на этом пути меня

и мою маленькую семью. Во всем мире я не найду больше другой Карлы, и самыми горькими слезами я оплакал ее, такую нежную и добрую, что она пыталась даже полюбить любимую мною женщину, и если из этого ничего не вышло, то только потому, что я подсунул ей другую, да еще ту, которую совсем не любил!

## **VII. История одного торгового товарищества**

Это сам Гуидо пожелал, чтобы я работал с ним в основанной им торговой фирме, Я, хотя и очень хотел принять в ней участие, никогда ему об этом не говорил. Само собой разумеется, что при моем полном безделье предложение работать вместе с приятелем было весьма соблазнительным. И дело не только в этом. В ту пору я еще не потерял надежды сделаться в один прекрасный день выдающимся коммерсантом, и мне казалось, что я достигну большего, если буду учить этому делу Гуидо, чем если буду сам учиться у Оливи. На свете есть множество людей, которые в состоянии что-либо воспринять, только слушая себя самих, – во всяком случае, у других они ничему научиться не могут.

Были у меня и другие причины желать объединиться с Гуидо. Мне хотелось быть ему полезным. Прежде всего, я хорошо к нему относился, и как бы ни старался он выглядеть человеком сильным и самоуверенным, мне он всегда казался незащищенным и нуждающимся в поддержке, которую я от всего сердца готов был ему предложить. Кроме того, совершенно искренно, а отнюдь не только для отвода глаз Аугусты, я считал, что чем крепче я подружусь с Гуидо, тем более очевидным станет мое безразличие к Аде.

Так что одного слова Гуидо оказалось достаточным, чтобы я поступил в полное его распоряжение, и это слово не было произнесено раньше только потому, что он, видя мое равнодушие к торговым делам моей собственной фирмы, никак не мог предположить, что я настолько склонен к занятиям коммерцией.

В один прекрасный день он сказал:

– Я окончил Высшее коммерческое училище, но, признаюсь, не уверен, сумею ли я отладить все детали, гарантирующие нормальное функционирование торговой фирмы. Хорошо еще, что коммерсант сам может ничего не знать: понадобится составить баланс – он зовет бухгалтера, захочет выяснить юридическую сторону дела – приглашает юриста, а счета у него ведет счетовод. Но как-то жалко с самого начала доверять свои счета постороннему!

Это был первый ясный намек на его намерение пригласить меня к себе. В сущности, вся моя счетоводческая практика сводилась к тем нескольким месяцам, в течение которых я вел гроссбух для Оливи, но зато не было никаких сомнений в том, что я единственный не посторонний Гуидо счетовод.

Впервые он заговорил открыто о возможности нашего союза тогда, когда отправился покупать для конторы мебель. Для комнаты дирекции он заказал два письменных стола. Я, покраснев, спросил:

– А почему два?

Он сказал:

– Второй для тебя.

Я ощутил такую признательность, что чуть не бросился к нему на шею.

Когда мы вышли из магазина, Гуидо, немного смущаясь, объяснил, что покуда не может предложить мне места в своей фирме. Он предоставлял в мое распоряжение этот стол только для того, чтобы побудить меня захаживать к нему всякий раз, когда мне этого захочется. Он не хотел ни к чему меня принуждать, да и сам оставался свободным. Если же дела у него пойдут хорошо, он предоставит мне место в управлении фирмой.

Когда Гуидо заговорил о делах, его красивое смуглое лицо сделалось серьезным. Казалось, он уже обдумывает операции, которыми ему предстоит заняться. Он смотрел поверх моей головы вдаль, и я настолько уверовал в серьезность его раздумий, что даже обернулся, желая увидеть то, что видел там он, то есть сделки, которые должны были принести ему богатство. Гуидо не пожелал пойти ни по тому пути, по которому с таким успехом шел наш тесть, ни по более скромному и надежному, избранному Оливи. И тесть и Оливи были для него коммерсантами, действующими по старинке. Он выбрал совершенно иной путь и так охотно объединился со мной именно потому, что я не был еще испорчен стариками.

Все это показалось мне справедливым. Мой первый коммерческий успех сам плыл мне в руки, и я еще раз покраснел от удовольствия. Вот так, в благодарность за проявленное им ко мне уважение, я и стал работать с ним и на него, и работал с большим или меньшим напряжением в течение двух лет, не имея за это никакой другой награды, кроме почетного места в дирекции. Это был, пожалуй, самый длинный в моей жизни период, когда я занимался одной и той же работой. Но похвастаться мне тут особенно нечем, потому что моя работа не принесла ничего ни мне, ни Гуидо, а известно, что о торговле судят по результатам.

В то, что передо мной открылась дорога большой коммерции, я верил в течение трех месяцев – времени, которое понадобилось для основания фирмы. Я узнал, что мне предстоит вести не только корреспонденцией и счетоводством, но и вообще осуществлять надзор за делами. При этом Гуидо имел на меня такое огромное влияние, что я вполне мог разориться, и этого не случилось только потому, что я, видно, родился в сорочке. Достаточно было одного его знака, чтобы я поспешил к нему на помощь. Это продолжает поражать меня даже сейчас, когда я пишу эти строки, хотя у меня было достаточно времени, чтобы обдумать эту проблему, так как добрая часть моей жизни уже осталась позади.

Я еще и потому пишу об этих двух годах, что моя привязанность к Гуидо кажется мне недвусмысленным проявлением болезни. Какой смысл был мне связываться с ним ради изучения большой коммерции и в результате обучать его коммерции малой? Какой смысл был в том, чтобы радоваться этому положению только потому, что мне, видите ли, казалось, будто тесная дружба с Гуидо доказывает мое полное безразличие к Аде? Кто требовал от меня этого доказательства? Разве недостаточно способствовал нашему взаимному безразличию факт появления на свет младенцев, которым мы оба прилежно

давали жизнь? Не скажу, что я не любил Гуидо, но, конечно, это был не тот человек, которого я бы добровольно избрал себе в друзья. Я так ясно видел его недостатки, что ход его мыслей часто меня раздражал, а смягчался я лишь при виде его слабостей. И я в течение такого долгого времени приносил ему в жертву свою свободу и позволял, чтобы он ставил меня в самые неприятные положения, только потому, что хотел ему помочь! Нет, конечно же, это была самая настоящая болезнь или безграничная доброта – вещи, которые имеют между собою глубокую внутреннюю связь.

И тут ничего не меняет то обстоятельство, что со временем мы очень привязались друг к другу, как это и бывает среди порядочных людей, которые видят друг друга каждый день. Я, во всяком случае, привязался к нему не на шутку! После его смерти я долго чувствовал, как мне его недостает; моя жизнь как будто опустела, потому что значительная ее часть была занята им и его делами.

Мне до сих пор смешно вспомнить, как мы промахнулись, совершая нашу первую сделку – покупку мебели. За нами уже числилась гора мебели, а мы все никак не могли решить вопрос о помещении. При выборе места для конторы между мною и Гуидо обнаружились серьезные разногласия, и это сильно затянуло дело. Судя по тому, как это было заведено у моего тестя и Оливи, надзор за складами можно было осуществлять только тогда, когда склады находились рядом с конторой. Но Гуидо возражал с брезгливой grimасой:

– Ох, уж эти мне триестинские конторы, провонявшие вяленой треской и кожами! – и уверял, что контроль можно прекраснейшим образом осуществлять и издали. Но, говоря это, он все-таки колебался. Наконец в один прекрасный день торговец мебелью потребовал, чтобы мы забрали всю нашу мебель, иначе он вышвырнет ее на улицу, и тогда Гуидо побежал и нанял первую попавшуюся контору – последнюю из тех, что нам предлагали, не имевшую поблизости никаких складов и находившуюся прямо в центре города. Именно поэтому мы так никогда и не обзавелись складом.

Контора состояла из двух просторных светлых комнат и маленькой комнатки без окон. На дверях этой необитаемой комнатки была приклеена бумажка с лаконичной надписью «Бухгалтерия», на одной из двух других дверей было написано «Касса», а вторая была украшена вывеской совершенно на английский манер: «Личный кабинет». Гуидо тоже изучал коммерцию в Англии и вынес оттуда ряд полезных сведений.

Как и положено, касса была оборудована замечательным несгораемым шкафом и традиционной решеткой. Наш «личный кабинет» представлял собой роскошную, обитую бархатно-коричневыми обоями комнату с двумя письменными столами, диваном и несколькими удобными креслами.

Потом пришел черед книг и канцелярских принадлежностей. Здесь никто не оспаривал моего права распоряжаться. Я делал заказы, и вещи прибывали. Сказать по правде, я предпочел бы, чтобы моим распоряжениям следовали не с такой готовностью, но это был мой долг – перечислить все, что может потребоваться конторе. Тогда же мне показалось, что я обнаружил громадную разницу между собой и Гуидо. Все, что знал я, служило мне только для того,

чтобы говорить, Гуидо же – для того, чтобы действовать. Когда он узнал то, что знаю я, нисколько не больше, он начал покупать. Правда, в коммерции он порой был склонен не делать ничего – ни продавать, ни покупать. Но и это выглядело сознательным решением человека, убежденного в том, что он все прекрасно знает. Я более склонен к сомнениям даже в бездействии.

В этих своих приобретениях я был чрезвычайно осмотрителен. Я сбегал к Оливи, чтобы узнать размеры копировального пресса и бухгалтерских книг. Потом молодой Оливи помог мне открыть записи в этих книгах и объяснил двойную бухгалтерию – вещь, в общем, нетрудную, но плохо удерживающуюся в памяти. Он обещал, когда мы дойдем до баланса, объяснить также и его.

Мы еще не знали, чем будем заниматься в своей конторе (сейчас мне известно, что и сам Гуидо в ту пору еще этого не знал), и спорили лишь об организационной стороне дела. Помню, что в течение нескольких дней мы обсуждали вопрос о том, куда мы посадим будущих служащих, если в них возникнет необходимость. Гуидо считал, что нужно посадить их – если только они там поместятся – в кассу. Но маленький Лучано, в ту пору единственный наш служащий, утверждал, что в помещении кассы не могут находиться люди, не имеющие к ней отношения. Это было не очень приятно – получить урок от собственного рассыльного. И тогда меня осенило:

– Мне помнится, что в Англии все виды оплаты производятся посредством чеков.

На самом деле я услышал об этом в Триесте.

– Ну конечно! – воскликнул Гуидо. – Я тоже теперь припоминаю. Странно, что я об этом забыл!

И начал подробно объяснять Лучано, как нынче обходятся без наличных: из рук в руки передаются чеки на любые суммы. Таким образом мы одержали блистательную победу, и Лучано замолчал.

Все усвоенное им от Гуидо он употребил с большой для себя пользой. Сейчас наш рассыльный – один из самых уважаемых коммерсантов Триеста. Правда, он до сих пор здоровается со мной с некоторым подобострастием, смягчая его улыбкой. Гуидо всегда тратил часть своего рабочего дня на то, чтобы научить чему-нибудь Лучано, потом меня, потом поступившую к нам служащую. Помню, что он долго носился с мыслью заняться комиссионной торговлей, чтобы не рисковать собственными деньгами. Он объяснил суть этой коммерции мне и, так как я ухватил ее слишком быстро, принялся объяснять ее Лучано, который слушал его долго, сияя большими глазами на еще безбородом лице и проявляя знаки самого живого внимания. Надо сказать, что Гуидо не зря тратил время, потому что Лучано – единственный из нас, кто преуспел в этом виде торговли. А еще говорят, что главное – наука.

Тем временем из Буэнос-Айреса начали прибывать *pesos*<sup>27</sup>. Это было весьма серьезное дело! Сначала оно показалось мне очень простым, но вскоре выяснилось, что триестинский рынок не готов к принятию столь экзотической

---

<sup>27</sup> Pesos – множественное число от испанского слова peso – песо, денежной единицы, имеющей хождение в Испании и Латинской Америке.

монеты. Снова возникла необходимость призвать на помощь молодого Оливи, который объяснил нам, как следует реализовать эти ассигнования. Затем, решив, что мы уже на верном пути, он предоставил нас самим себе, и Гуидо несколько дней ходил с карманами, раздувшимися от крон, покуда мы не проложили дорогу в один банк, который освободил нас от этого досадного бремени, вручив взамен чековую книжку, освоенную нами очень быстро.

Гуидо счел нужным сказать Оливи, помогавшему нам организовывать дело:

– Клянусь, что я никогда не буду конкурировать с фирмой моего друга.

На что юноша, имевший о коммерции несколько иные представления, заметил:

– Почему же? В нашем деле стало бы больше контрагентов. Это даже лучше!

Гуидо так и остался с раскрытым ртом. Как это всегда с ним бывало, он слишком хорошо понял, что к чему, и так увлекся этой теорией, что растолковывал ее каждому, кто только пожелает.

Несмотря на обучение в Высшем коммерческом училище Гуидо имел о дебите и кредите весьма смутные представления. Он с удивлением смотрел на то, как я учредил счет «Основной капитал» и как записывал расход. В наибольшей степени он был сведущ в бухгалтерии, поэтому, когда ему предлагали какое-нибудь дело, он прежде всего рассматривал его с чисто бухгалтерской точки зрения. Ему казалось, что знание бухгалтерии позволяет увидеть мир под совершенно новым углом зрения. Для него повсюду возникали дебиторы и кредиторы, даже когда двое людей дрались или целовались.

Можно сказать, что вошел он в мир коммерции, вооруженный максимальной осмотрительностью. Он отказался от множества сделок. Больше того – в течение первых шести месяцев он отказывался буквально от всех, и все это со спокойным видом человека, который лучше других знает, что делать.

– Нет, – говорил он, и можно было подумать, что это односложное слово являлось итогом тщательнейшего расчета, в то время как на самом деле речь шла о товаре, о котором он не имел никакого понятия. Дело в том, что всю свою рассудительность Гуидо тратил на то, чтобы проанализировать, как сделка – а также ее итог, выражающийся в потерях или прибылях – проходит через бухгалтерию. Бухгалтерия – это было последнее, что он изучал, и она легла поверх всех приобретенных им знаний.

Мне больно говорить плохо о моем друге, но я должен быть правдивым в своем повествовании, ибо это нужно также и для того, чтобы лучше разобраться в себе самом. Помню, сколько он употребил изобретательности, чтобы завалить нашу маленькую контору разными фантастическими прожектами, препятствующими всякой здоровой деятельности. Прежде чем приступить к комиссионной торговле, нам надо было разослать по почте тысячи циркуляров. И Гуидо высказал в связи с этим следующую мысль:

– Сколько можно было бы сэкономить марок, если бы, прежде чем послать все эти циркуляры, мы точно знали, какие именно из адресатов примут их к сведению!

От одной фразы, конечно, беды не было бы, но она слишком ему понравилась, и он принялся подбрасывать уже запечатанные циркуляры, решив послать только те из них, которые упадут адресом вверх. Этот эксперимент напомнил мне нечто подобное, что совершал в прошлом и я, но мне кажется, что до такого я все-таки не доходил. Разумеется, я не подобрал и не разослал те циркуляры, которые были им отвергнуты. Я же не знал – может быть, отвергая их, он руководствовался подлинным озарением, а потому не счел себя вправе тратить попусту марки, которые предстояло оплачивать ему.

Благосклонная ко мне судьба не позволила Гуидо меня разорить, но она же не дала мне принять в его делах слишком активное участие. Я заявляю об этом во весь голос, потому что кое-кто в Триесте думает иначе: за все то время, что я провел с Гуидо, я ни разу не вмешался в его дела на основании озарения того типа, что было у меня с сухими фруктами. Ни разу я не толкнул его ни на какую сделку и никогда ни от чего не отговаривал. Я только предостерегал, побуждал его к работе и осмотрительности, но никогда не осмеливался бросать на игорный стол его деньги.

Рядом с ним я делался очень инертным. Я пытался наставить его на истинный путь и не преуспел в этом, может быть, именно из-за своей чрезмерной инертности. Впрочем, когда двое людей оказываются вместе, это уже не им решать, кто из них будет Дон Кихотом, а кто Санчо Пансой. Он делал дела, а я, словно добрый Санчо Панса, медленно проводил их через свои книги – правда, перед этим вникнув в них и высказав ему свое критическое суждение.

Комиссионная торговля потерпела полное фиаско, правда, не принесла нам никаких убытков. Единственный, кто послал нам свой товар, был один венский торговец канцелярскими товарами. Часть присланных им предметов была продана с помощью Лучано, который потихоньку разобрался в том, сколько нам причитается комиссионных, и почти все они, с разрешения Гуидо, постепенно отошли ему. Гуидо согласился на это, потому что, в сущности, это была не стоящая внимания мелочь, а кроме того, ликвидированная таким образом первая сделка должна была принести нам счастье. Эта сделка оставила след лишь в виде сваленных в кладовой канцелярских товаров, которые нам пришлось оплатить и оставить у себя. Их было столько, что их не извела бы за много лет и куда более деятельная торговая фирма.

В течение первых двух месяцев маленькая светлая контора в центре города была для нас желаннейшим приютом. Работали мы не много (по-моему, мы заключили всего две сделки, которые принесли нам небольшую прибыль: они касались бывшей в употреблении тары, на которую и спрос и предложение объявились в один и тот же день), больше болтали, как болтают добрые приятели, в том числе и с простаком Лучано, который, когда при нем заходила речь о делах, приходил в такое же волнение, в какое приходят юноши его возраста, когда слышат разговор о женщинах.

В ту пору мне было легко и приятно в их обществе: тогда я еще не потерял Карлу и чувствовал себя невинным среди невинных. Я с удовольствием вспоминаю, как проводил свой день в те времена. По вечерам дома у меня было



что рассказать Аугусте: я мог говорить ей обо всем, что относилось к нашей конторе, ничего не убавляя и не прибавляя.

И меня совершенно не беспокоило, когда Аугуста озабоченно восклицала;  
– Но когда же вы начнете зарабатывать деньги?

Деньги? О деньгах мы пока не думали. Мы знали, что сначала нужно хорошенько оглядеться, изучить товары, страну и наш *Hinterland*<sup>28</sup>. Так, с бухты-барахты, фирму не создашь! И Аугуста успокаивалась.

Потом наша контора приютила одного очень шумного гостя. Щенка охотничьей породы нескольких месяцев от роду, беспокойного и надоедливого. Гуидо очень его любил и организовал ради него регулярное снабжение конторы молоком и мясом. Когда мне нечего было делать и ни о чем не хотелось думать, я сам с удовольствием смотрел, как пес носится по конторе и проделывает те несколько фокусов, которым мы умеем обучать собак и которые так нас к ним привязывают. Но все-таки мне казалось, что этому шумному и грязному существу здесь не место. Для меня присутствие в нашей конторе собаки было первым доказательством того, что Гуидо недостойн занимать место главы торговой фирмы. Это свидетельствовало о полном отсутствии серьезности. Я пытался объяснить ему, что собака не может способствовать процветанию фирмы, но у меня не хватало мужества настоять на своем, и он какой-то пустой отговоркой заставил меня замолчать.

Поэтому я решил, что мне самому придется заняться воспитанием моего нового коллеги, и я с большим удовольствием давал ему пинка, когда Гуидо не было в конторе. Щенок визжал и поначалу подбегал ко мне снова, думая, что я пнул его нечаянно. Но второй пинок прекрасно объяснял ему значение первого, и тогда он забивался в угол, и пока Гуидо не появлялся в конторе, в ней царила тишина и покой. Правда, потом я пожалел о том, что так ожесточился против ни в чем не повинного создания, но было уже поздно. Я осыпал пса ласками, но он мне не верил и в присутствии Гуидо откровенно выражал мне свою неприязнь.

– Странно! – говорил Гуидо. – Хорошо, что я тебя знаю, иначе я перестал бы тебе доверять. Собаки редко ошибаются в своих антипатиях.

Мне так хотелось рассеять его сомнения, что я едва не рассказал ему, каким образом я приобрел эту антипатию.

Вскоре у нас с Гуидо произошла небольшая стычка по вопросу, который не имел для меня, в сущности, никакого значения. Он с таким рвением занялся бухгалтерией, что вздумал включить в статью общих расходов и свои личные траты. Проконсультировавшись у Оливи, я выступил против этого и отстаивал интересы старого *Cada*. В самом деле, разве можно было включать в эту статью все, что тратили Ада и Гуидо, да еще и то, во что обходились им близнецы, когда те появились на свет? В качестве компенсации я посоветовал ему написать в Буэнос-Айрес и договориться, чтобы ему назначили жалованье. Но отец отказал, сославшись на то, что Гуидо и так получает семьдесят пять процентов всех доходов, в то время как сам он довольствуется оставшимся. На мой взгляд, это было вполне резонное замечание, но Гуидо принялся писать

---

28 Тыл (нем. ).

отцу длинные письма, чтобы – как он выразился – осветить этот вопрос с высшей точки зрения. А так как Буэнос-Айрес от нас далеко, то переписка эта затянулась на столько времени, сколько просуществовала наша фирма. Однако своей цели я добился: счет «Общие расходы» остался чистым, не отягощенным личными расходами Гуидо, и к моменту краха основной капитал фирмы остался таким же, как был, не понеся никакого урона.

Пятым лицом (если считать и щенка Арго), принятым в нашу контору, была Кармен. Я присутствовал при том, как ее принимали. В тот день я пришел в контору прямо от Карлы, ощущая в душе ту безмятежность, какую чувствовал каждое утро в восемь часов князь Талейран. В темном коридоре я увидел какую-то девушку, и Лучано сказал мне, что она хочет говорить лично с Гуидо. Так как у меня были кое-какие дела, я попросил ее подождать в коридоре. Через некоторое время, видимо, не заметив девушки, в кабинет вошел Гуидо, и Лучано подал ему принесенное ею рекомендательное письмо. Гуидо прочел его, затем произошло следующее.

– Нет, – сказал он сухо, снимая пиджак, потому что в комнате было очень жарко. Но потом заколебался: – Нужно бы все-таки поговорить с ней, хотя бы из уважения к тому, кто ее рекомендовал.

Он велел ее пригласить, и я взглянул на нее только тогда, когда увидел, что Гуидо вдруг ринулся за пиджаком и, натянув его, обратился к девушке свое красивое смуглое лицо со сверкающими глазами.

Теперь я могу утверждать, что видел в своей жизни девушек не менее красивых, чем Кармен, но ни у кого из них красота не была такой агрессивной, такой бросающейся в глаза. Как правило, поначалу образ женщины создается нашим желанием, но Кармен не нуждалась в этой первоначальной фазе. Глядя на нее, я улыбнулся, а потом засмеялся. Она была похожа на дельца, который разъезжает по свету, громко рекламируя великолепное качество своих товаров. Она явилась сюда, чтобы получить место, а мне хотелось вмешаться в их переговоры и спросить: «Какое именно место? В постели?» Я заметил, что она не была накрашена, но краски ее лица были так чисты, такой голубизной отдавала белизна и так похож был на спелый плод румянец, что создавалось полное впечатление искусственности. Ее большие карие глаза испускали столько света, что каждый ее взгляд казался необыкновенно значительным.

Гуидо пригласил ее сесть, и она села, скромно глядя на кончик своего зонтика или, всего вероятнее, на свою лакированную туфельку. Когда он заговорил, она быстро подняла на него глаза, и в них сияло столько света, что мой бедный начальник был сражен наповал. Одетая она была скромно, но от этого не было никакого проку, потому что на ее теле всякое платье переставало быть скромным. Только туфельки были шикарные и приводили на память ту белоснежную бумагу, которую Веласкес клал под ноги своим моделям. Чтобы отделить Кармен от окружающего, Веласкес наверняка поставил бы ее на черный лак.

При всем моем безмятежном настроении, я слушал их разговор с интересом. Гуидо спросил, знает ли она стенографию. Она призналась, что не знает совершенно, но заметила, что у нее большой опыт записи под диктовку.

Забавная вещь! Из этого высокого, стройного, такого гармоничного тела исходил хриплый голос! Я не сумел скрыть свое удивление,

– Вы простужены? – спросил я.

– Нет, – ответила она. – А почему вы спрашиваете? – Она была так удивлена, что брошенный на меня взгляд стал еще проникновеннее. Оказывается, она не знала, что у нее такой диссонирующий голос, и мне оставалось предположить, что и ее маленькие ушки тоже были не так совершенны, как казалось с виду.

Гуидо спросил, какой язык она знает: английский, французский или немецкий. Он предоставлял ей выбор, так как мы сами еще не решили, какой язык нам понадобится. Кармен ответила, что немного, совсем немного знает немецкий.

Гуидо никогда не принимал решения, хорошенько не поразмыслив.

– Ну, это ничего: я сам его хорошо знаю.

Девушка ждала от него окончательного слова, которое мне казалось уже произнесенным, и, желая поторопить его, добавила, что рассматривает службу в нашей конторе как случай набраться опыта, а потому удовлетворится самым скромным жалованьем.

Одно из первых воздействий женской красоты на мужчину состоит в том, что он перестает быть скупым. Гуидо пожал плечами, как бы давая понять, что такие мелочи его не интересуют, и, положив ей жалованье, которое она приняла с благодарностью, порекомендовал изучить стенографию. Эту рекомендацию он сделал только из уважения ко мне, ибо мы с ним договорились, что первым он возьмет на работу хорошего стенографа.

В тот же вечер я рассказал о нашей новой сотруднице жене. Новость ей в высшей степени не понравилась, и хотя я ей ничего не сказал, она сразу же решила, что Гуидо взял девушку на службу только для того, чтобы сделать ее своей любовницей.

Я с ней не согласился. Признав, что Гуидо на самом деле вел себя так, что можно было подумать, будто он влюбился, я все-таки утверждал, что он еще вполне мог оправиться от этого удара безо всяких последствий. Девушка, в общем, производила впечатление порядочной.

Несколько дней спустя – не знаю, случайно или нет – наша контора удостоилась посещения Ады. Гуидо еще не было, и она некоторое время задержалась подле меня, спрашивая, когда он придет. Потом неуверенным шагом направилась в соседнюю комнату, где в этот момент были только Кармен и Лучано. Кармен упражнялась в печатании на машинке, вся сосредоточившись на поисках нужных букв. Она подняла свои прекрасные глаза и взглянула на Аду, которая внимательно ее рассматривала. Какими разными были эти две женщины! Они были чуть-чуть похожи, но Кармен выглядела словно утрированная Ада. И я еще подумал: пусть одна из них одета роскошнее – все равно она создана для того, чтобы быть женой и матерью, в то время как другая, хотя на ней в этот момент был скромный передничек, надетый, чтобы не испачкать платье, рождена быть любовницей. Не знаю, найдется ли на свете мудрец, способный объяснить, почему прекрасные глаза Ады излучали меньше

света, чем глаза Кармен: может быть, потому, что у нее это был просто орган зрения, созданный для того, чтобы разглядывать людей и предметы, а не для того, чтобы ошеломлять? Но, так или иначе, Кармен великолепно выдержала ее негодующий и в то же время любопытствующий взгляд. А может, было в нем также немножко и зависти? Или уж это я выдумываю?

В тот день я в последний раз видел Аду красивой, точно такой, какой она была в ту пору, когда мне отказала. Затем наступила ее злополучная беременность, и близнецам, чтобы выйти на божий свет, понадобилось вмешательство хирурга. Сразу же после этого она заболела болезнью, которая отняла у нее всю красоту. Именно поэтому я так хорошо помню тот ее визит. Я помню его также и потому, что в тот момент вся моя симпатия была отдана ей – ее скромной и робкой красоте, посрамленной столь отличной от нее красотой другой женщины. Разумеется, я не любил Кармен, хотя не знал о ней ничего, кроме того, что у нее великолепные глаза, прекрасный цвет лица, хриплый голос, а также тех обстоятельств (хотя она была тут ни при чем), при которых она была к нам принята. И наоборот, в этот момент я очень любил Аду, и это очень странно – любить женщину, которую ты когда-то страстно желал, которая тебе так и не досталась и к которой ты теперь совершенно равнодушен. В общем, в результате оказываешься в том же положении, в котором находился бы, если бы женщина уступила твоим домогательствам, и с удивлением лишний раз констатируешь, как мало значит все то, чем ты жил до сих пор.

Мне захотелось облегчить ее страдания, и я увел ее в соседнюю комнату. Гуидо, который вошел почти сразу после этого, густо покраснел при виде жены. Ада сообщила ему какую-то весьма правдоподобную причину, которая ее сюда привела, но, уходя, спросила:

– Так вы взяли новую служащую?

– Да, – сказал Гуидо и, чтобы скрыть свое смущение, не нашел ничего лучшего, как, прервав ее, обратиться ко мне с вопросом: не спрашивал ли его кто-нибудь за это время. Услышав отрицательный ответ, он еще недовольно поморщился, словно надеялся на какой-то весьма важный визит, хотя я-то знал, что мы не ждали решительно никого, – и только потом сказал Аде с тем равнодушным видом, который наконец ему удалось на себя напустить:

– Нам нужен был стенограф!

Меня очень позабавило, что, говоря это, он позабыл даже, какого пола был этот столь нужный ему служащий.

Появление Кармен очень оживило нашу контору. Я говорю не о той живости, которая излучалась ее глазами, всей ее изящной фигуркой, яркими красками лица, – я говорю о делах. Присутствие этой девушки побуждало Гуидо работать. Прежде всего он хотел доказать всем, включая меня, что новая служащая была нам просто необходима, и каждый день придумывал для нее новую работу, в которой участвовал и сам. Затем в течение довольно долгого времени его рабочая активность была средством для того, чтобы сделать его ухаживание как можно более эффективным. И он добился неслыханной эффективности! Ему пришлось объяснять ей, как следует писать письма, которые он диктовал, а потом исправлять в них великое множество

орфографических ошибок. Все это он делал с необычайной мягкостью, так что никакая компенсация, которой пожелала бы вознаградить его девушка, не была бы чрезмерной.

Лишь очень немногие из сделок, заключенных им во время этой любви, принесли нам прибыль. Однажды он долго обделывал дело с товаром, который оказался запрещенным. И вот в один прекрасный день перед нами предстал человек с лицом, искаженным страданием, которое мы ему причинили, нечаянно наступив на его любимую мозоль. Он желал узнать, почему мы занялись этим товаром, предполагая, что нас подослали его могущественные зарубежные конкуренты. Он был взволнован и ждал самого худшего. Но когда наконец понял, как мы были неопытны и наивны, рассмеялся нам в лицо, заверив, что у нас ничего не выйдет. Кончилось тем, что он оказался прав, но, прежде чем мы примирились с этим приговором, прошло немало времени и Кармен написала великое множество писем. В конце концов мы поняли, что товар этот находится за семью замками и совершенно недоступен. Я ничего не сказал об этой сделке Аугусте, но она сама о ней заговорила, потому что Гуидо рассказал о ней Аде, желая доказать, какое множество дел у нашего стенографа. Но сделка, которая так и не была совершена, оказалась для Гуидо необычайно важной. Не проходило дня, чтобы он о ней не заговорил. Он был убежден, что ни в каком другом городе мира не могло бы случиться ничего подобного. Все дело было в подлости наших торговых кругов, где душили всякого предприимчивого коммерсанта. Ему пришлось испытать это на себе.

Среди всей этой беспорядочной, сумасшедшей вереницы дел, которые прошли через наши руки в то время, было одно, которое их буквально обожгло. Мы его не искали, оно само нас нашло. Нас впутал в него один далматинец, некто Тачич, отец которого работал в Аргентине вместе с отцом Гуидо. Появился он у нас впервые всего лишь для того, чтобы получить какую-то коммерческую информацию, которую мы ему и дали.

Тачич был красивый юноша, пожалуй даже слишком красивый. Высокий, сильный, с оливковым цветом лица, прелестно оттенявшим темную голубизну глаз, с длинными ресницами и короткими, густыми золотисто-каштановыми усами. В общем, это была такая изысканная цветовая гамма, что он показался мне мужчиной, созданным для Кармен. Ему это тоже показалось, и он стал приходить к нам каждый день. Беседы, которые ежедневно велись в нашей конторе, длились часами, но никогда нам не наскучивали. Двое мужчин боролись за обладание женщиной и, как это бывает у животных в пору любви, демонстрировали при этом свои лучшие качества. Гуидо немного сдерживало то обстоятельство, что далматинец бывал у него дома и был знаком с Адой, но в глазах Кармен ему уже ничто не могло повредить. Я, который хорошо изучил ее глаза, понял это сразу же, в то время как до Тачича это дошло значительно позже, и чтобы видеть Кармен чаще, он купил у нас – а не у производителя – несколько вагонов мыла, заплатив за него на несколько процентов дороже. Потом, все по причине той же любви, он втравил нас в это злополучное дело.

Его отец заметил, что в определенное время года купорос постоянно поднимается в цене, а потом падает. Он захотел нажиться на нем в

благоприятный момент и для этого решил купить в Англии шестьдесят тонн купороса. Мы со всех сторон обсудили это дело и даже подготовили его, наладив отношения с одной английской фирмой. Затем отец телеграфировал сыну, что, по его мнению, нужный момент наступил, и назвал цену, при которой был готов заключить сделку. Влюбленный Тачич прибежал к нам и поручил это дело нашей конторе, получив в награду прекрасный, долгий, ласкающий взгляд Кармен. Бедный далматинец с благодарностью принял его на свой счет, не догадываясь, что он был проявлением ее любви к Гуидо.

Помню, с каким спокойствием и уверенностью Гуидо приступил к делу, которое, и правда, выглядело очень простым, потому что, заказав доставить товар из Англии в наш порт, мы могли тут же, не выгружая, перепродать его покупателю. Гуидо точно назначил цифру прибыли, которую он желал получить, и с моей помощью установил границу цены, которой должен был придерживаться наш английский друг при покупке. С помощью словаря мы сочинили телеграмму на английском языке. Отослав ее, Гуидо потер руки, и начал подсчитывать, сколько крон свалится с неба в его кассу в награду за это простое, не требующее никаких хлопот дело. Для того чтобы сохранить благосклонность богов, он счел справедливым пообещать некоторую часть дохода мне, а потом – не без лукавства – посулил толику и Кармен, которая тоже участвовала в этом деле своими прекрасными глазами. Мы оба хотели отказаться, но он уговорил нас по крайней мере сделать вид, что мы согласны. Он боялся, что иначе мы сглазим все дело; и, чтобы его успокоить, я согласился. Я знал с математической точностью, что никогда не причиню ему никакого зла, но в то же время понимал, что он может в этом сомневаться. На свете так устроено, что если мы не питаем к кому-нибудь зла, то мы желаем ему добра. Но все-таки самые искренние наши пожелания сопутствуют лишь тем начинаниям, в которых мы участвуем лично.

Дело было рассмотрено со всех сторон, помню, что Гуидо даже подсчитал, сколько месяцев он сможет содержать на полученную прибыль свою семью и контору, то есть две своих семьи, как говорил иногда он, или две его конторы, как говорила в минуты особого раздражения некая особа женского пола. Оно было слишком точно рассчитано, это дело, и, может, поэтому не удалось. Из Лондона пришла краткая телеграмма: «Принято к сведению», а затем извещение о цене, по которой нынче шел купорос и которая была значительно выше цены, назначенной нашим покупателем. Итак, прощай наша сделка! Мы сообщили обо всем Тачичу, и тот вскоре отбыл из Триеста.

В ту пору я почти целый месяц не заглядывал в контору, и поэтому безобидное с виду письмо, которое имело для Гуидо такие серьезные последствия, не прошло через мои руки. Этим письмом английская фирма подтверждала свою телеграмму и уведомляла нас о том, что будет считать наше распоряжение действительным до тех пор, пока мы его не отменим. Гуидо и не подумал его отменить, а я, когда вернулся в контору, уже давно позабыл о том деле. И вот однажды вечером, несколько месяцев спустя, Гуидо явился ко мне домой с телеграммой, которую он никак не мог понять, и считал, что она, должно быть, адресована не нам, хотя на ней черным по белому значился

телеграфный адрес, под которым он зарегистрировал нашу фирму, едва мы обосновались в своей конторе. Телеграмма содержала всего три слова: «*60 tons settled*»<sup>29</sup>, и я сразу же понял, в чем дело: это было нетрудно, так как купорос был единственной нашей крупной сделкой. Я объяснил: из телеграммы следует, что цена на купорос наконец достигла той, что была назначена нами для покупки, и теперь мы являемся счастливыми обладателями шестидесяти тонн купороса.

Гуидо запротестовал:

– Да как они могли подумать, что я на это соглашусь! Ведь прошло столько времени.

Я сразу же сообразил, что в конторе должно быть письмо, подтверждающее первую телеграмму, хотя Гуидо не помнил, чтобы мы его получали. Озабоченный, он предложил мне сразу же отправиться с ним в контору, чтобы проверить, есть ли такое письмо, и я с радостью согласился; мне было неприятно обсуждать это дело в присутствии Аугусты, которая не знала, что я уже месяц как не хожу в контору.

Мы побежали туда бегом. Гуидо был так огорчен тем, что его принуждают к этой первой в его практике крупной сделке, что для того, чтобы от нее избавиться, он согласился бы добежать и до Лондона. Мы отперли контору, потом ощупью в темноте добрались до нашей комнаты и зажгли газ. Письмо мы обнаружили сразу же, и оно содержало именно то, что я и предполагал: в нем сообщалось, что наше распоряжение считалось действительным до его отмены.

Гуидо смотрел на письмо, нахмутив лоб то ли от огорчения, то ли от напряжения: казалось, он хотел взглядом уничтожить то, что с такой простотой заявляло о своем существовании.

– И подумать только, – заметил он, – что достаточно было написать всего два слова, чтобы избавиться от такого убытка!

Разумеется, это было упреком в мой адрес, потому что в ту пору я в конторе не бывал, и хотя сразу же разыскал письмо, так как знал, где оно может храниться, до этого никогда его не видел. Но чтобы окончательно отместить от себя возможные упреки, я решительно заявил:

– Пока меня не было, ты должен был сам аккуратно прочитывать всю корреспонденцию.

Лоб Гуидо разгладился. Он пожал плечами и пробормотал:

– Кто его знает, может, это дело еще принесет нам удачу!

Вскоре он ушел, а я вернулся домой.

Но Тачич был прав: в определенное время года цена на купорос падала все ниже, с каждым днем все ниже и ниже, и мы, получив товар во исполнение нашего приказа и очутившись перед полной невозможностью уступить его по этой цене кому бы то ни было, имели полную возможность изучить этот феномен в деталях. Наши убытки все увеличивались. В первый день Гуидо спросил моего совета. Пока еще он мог продать товар с убытком относительно небольшим в сравнении с тем, что он должен будет понести позже. Никакого

---

29 «Отгружено шестьдесят тонн» (англ. ).

совета я ему не дал, но не преминул напомнить мнение Тачича, согласно которому понижение цены может происходить в течение более чем пяти месяцев. Гуидо засмеялся:

– Только этого мне еще не хватало – чтобы в своих делах я руководствовался мнением какого-то провинциала!

Помню, я пытался образумить его, говоря, что этот провинциал много лет провел в маленьком далматинском городишке, все время имея перед глазами купорос. Так что я могу не терзаться угрызениями совести из-за убытка, который понес Гуидо в этом деле. Если б он тогда меня послушался, он мог бы его избежать.

Потом мы обсудили купоросное дело с одним маклером – маленьким толстеньким человечком, живым и рассудительным, который высказал нам порицание за наше приобретение, но, судя по всему, мнения Тачича не разделял. С его точки зрения, медный купорос, хотя и имел независимый рынок, испытывал на себе колебания цен на металл. Из этого интервью Гуидо почерпнул кое-какую уверенность и попросил держать его в курсе движения цен: он решил подождать, так как желал продать его не только не в убыток, но и с некоторой прибылью. Маклер сдержанно усмехнулся, а потом произнес фразу, которую я запомнил, потому что она показалась мне очень верной:

– Забавно, как мало в нашем мире людей, которые согласны примириться с небольшим убытком: только большие убытки ведут к большому смирению.

Гуидо не обратил на эту фразу внимания. Я, впрочем, был в восхищении и от него, поскольку он не рассказал маклеру о том, каким путем мы пришли к этой сделке. Я сказал ему об этом, и он был очень горд. Он боялся, сказал он мне, дискредитировать нас и наш товар рассказом об истории этого приобретения.

Потом некоторое время мы вообще не вспоминали о купоросе, покуда из Лондона не пришло письмо, в котором нам предлагали оплатить заказ и дать указания об отгрузке. Получить и принять на склад шестьдесят тонн! У Гуидо голова пошла кругом. Мы подсчитали, во сколько нам обойдется хранение такого количества товара в течение нескольких месяцев. Получилась огромная сумма! Я не сказал ничего, но маклер, который не прочь был увидеть товар в Триесте, потому что тогда рано или поздно ему поручили бы его продать, заметил Гуидо, что сумма, которая кажется ему такой огромной, станет не так уж велика, если ее выразить в процентах к стоимости товара.

Гуидо засмеялся, потому что замечание показалось ему странным.

– У меня же не сотня килограммов: к сожалению, у меня шестьдесят тонн!

В конце концов он, наверное, согласился бы с этим рассуждением маклера, по всей вероятности правильным, раз при самом незначительном подъеме цен все расходы оказались бы покрытыми с избытком, но тут всему помешало его так называемое вдохновение. Когда ему случалось обзавестись какой-нибудь собственной коммерческой идеей, она его буквально ослепляла и ни для каких других соображений в его голове не оставалось места. А идея была такая: товар был продан ему по цене «франко порт назначения Триест» агентами, которые должны были доставить его из Англии. Если же сейчас он уступит этот товар



тем самым агентам, которые его продавали, и таким образом избавит их от хлопот по доставке, он сможет запросить с них цену более высокую, чем та, на которую он мог рассчитывать в Триесте. Все это было не совсем верно, но, чтобы доставить ему удовольствие, никто не стал спорить. Когда сделка была таким образом ликвидирована, горькая улыбка появилась на его лице, похожем в эту минуту на лицо мыслителя-пессимиста:

– Всё... Не будем больше об этом говорить. Урок обошелся нам дорого; нужно, чтобы он пошел нам впрок.

Однако об этом деле пришлось заговорить еще раз. Гуидо утратил великолепную уверенность, с которой он раньше отказывался от сделок, и когда в конце года я показал ему, сколько мы потеряли денег, он пробормотал:

– Этот чертов купорос принес мне несчастье. Мне все время хотелось как-то возместить тот убыток.

После того как я порвал с Карлой, я перестал посещать контору. Я не мог больше смотреть на любовь Гуидо и Кармен. Они переглядывались и улыбались, не стесняясь моим присутствием, и я в негодовании удалился, решив больше не возвращаться. Это решение пришло ко мне внезапно как-то вечером, когда я, уходя, запираю контору, и я никому о нем не сказал. Я ждал, что Гуидо спросит меня, почему я перестал приходить, и собирался в ответ выложить ему все, что я о нем думаю. Я мог позволить себе быть с ним суровым, так как о моих прогулках в городской сад он ничего не знал.

Я чувствовал нечто вроде ревности, потому что Кармен казалась мне его Карлой, Карлой более кроткой и послушной, чем моя. И со второй женщиной, как и с первой, ему повезло больше, чем мне! Но, может быть, – и это было основанием для новых упреков – своим везением он был обязан именно тем особенностям характера, которым я завидовал, хотя и продолжал считать их его худшими качествами: уверенная непринужденность, с которой он вел себя в житейских делах, была как бы параллелью к его уверенному владению скрипкой. Что касается меня, то теперь я уже не сомневался в том, что принес Карлу в жертву Аугусте. Когда я мысленно возвращался к подаренным мне Карлой почти двум годам счастья, я с трудом понимал, как могла она, при ее-то характере, который теперь я знал, так долго меня терпеть. Разве не оскорблял я ее каждый день из любви к Аугусте? Что касается Гуидо, то я был совершенно уверен, что он наслаждается любовью Кармен, даже не вспоминая об Аде. Для его вольной души две женщины – это было совсем немного. Когда я сравнивал себя с ним, я порою казался себе совершенно невинным. Я женился на Аугусте без любви, но не мог изменить ей не терзаясь. Может, и он тоже женился на Аде без любви, но я вспоминал любовь, которую внушала она мне (пусть даже сейчас она была мне совершенно безразлична), и мне казалось, что на его месте я был бы деликатнее именно потому, что я раньше ее любил, а он нет.

Однако Гуидо и не подумал меня разыскивать. Я сам вернулся в контору, надеясь развеять там одолевавшую меня скуку. Гуидо вел себя точно в соответствии с условиями договора, по которому я вовсе не был обязан регулярно заниматься его делами, и когда мы встречались с ним дома или где-нибудь еще, он неизменно проявлял Искреннее дружелюбие, за которое я

был ему всегда признателен, и, казалось, даже не помнил о том, что я покинул свое место за столом, который он купил специально для меня. Из нас двоих замешательство ощущал только один человек, и это был я. Когда я вернулся на свое место, он встретил меня так, словно я отсутствовал всего один день, и пылко выразил свое удовольствие по поводу того, что вновь находится в моем обществе. Когда же он услышал, что я хочу вновь приняться за работу, он воскликнул:

– Значит, я хорошо сделал, что никому не давал дотронуться до твоих книг! И в самом деле, я обнаружил, что и в гроссбухе и в журнале записи кончались там, где их оставил я.

Лучано сказал:

– Будем надеяться, что с вашим приходом дело стронется с места. По-моему, синьор Гуидо совсем упал духом после того, как ему не удались две сделки, которыми он это время занимался. Не говорите ему, что я вам об этом сказал, просто попытайтесь, если можно, вселить в него немного храбрости.

Я и в самом деле заметил, что в конторе работали чрезвычайно мало и после некоторого оживления, вызванного неудачей с купоросом, жизнь здесь настала прямо-таки идиллическая. Отсюда я сразу сделал вывод, что Гуидо уже не нуждается в работе для того, чтобы иметь Кармен в своем распоряжении, а вскоре я обнаружил, что и период ухаживания остался позади и Кармен стала его любовницей.

В приеме, оказанном мне Кармен, меня ждал сюрприз: она сочла нужным сразу же напомнить мне об одной вещи, о которой я совершенно позабыл. Перед тем как оставить контору, в те самые дни, когда я напропалую ухаживал за всеми женщинами, так как не мог добиться той, которая принадлежала мне, – в те самые дни я вроде бы попытался атаковать также и Кармен.

Кармен заговорила со мной с глубокой серьезностью и не без замешательства: она была очень рада меня видеть, потому что была уверена, что я хорошо отношусь к Гуидо и мои советы ему полезны, и она желала бы сохранить со мной – если я на это, конечно, согласен – отношения братской дружбы. В общем, она сказала что-то в этом роде и широким жестом протянула мне руку. На ее лице, таком красивом, что от этого оно всегда казалось нежным, застыло суровое выражение, которое было призвано подчеркнуть чисто братский характер предложенных мне отношений.

Только тут я вспомнил и покраснел. Если бы я вспомнил об этом раньше, я, возможно, вообще бы сюда не вернулся. Но тот эпизод был таким коротеньким и затесался среди такого количества подобных же эпизодов, что мне почти казалось, будто его вообще не было. Спустя несколько дней после того, как я расстался с Карлой, мы с Кармен проверяли конторские книги. И вот, для того чтобы лучше видеть страницу, над которой мы вместе с нею склонились, я обвил рукой ее талию, сжимая ее все крепче и крепче. Резким рывком Кармен вырвалась, и я сразу же ушел.

В свою защиту я мог бы улыбнуться – и это вызвало бы улыбку и у нее, потому что женщины вообще склонны взирать с улыбкой на подобные проступки. А кроме того, я мог бы сказать: «Я попытался кое-чего добиться, но

у меня ничего не вышло. Мне очень жаль, но я несколько не в обиде и готов быть вашим другом до тех пор, пока вы сами не захотите чего-нибудь иного».

Опять же я мог бы ответить так, как следовало бы серьезному человеку, то есть извинившись перед нею и перед Гуидо: «Простите меня и не судите строго: вы не знаете, в каком я был тогда состоянии».

Но я не сумел произнести ни слова. По-видимому, все проглоченные мною обиды застряли у меня в горле, и я не мог говорить. Все эти женщины, которые с такой решительностью меня отвергали, придали моей жизни прямо-таки трагический оттенок. Никогда еще на мою долю не выпадало такого длинного периода несчастий. Вместо ответа я мог только скрипнуть зубами, что не очень удобно, когда желаешь это скрыть. Может быть, я лишился дара речи также и потому, что мне было больно окончательно расставаться с надеждой, которую я продолжал лелеять в глубине души. Не могу не признаться, что никто лучше Кармен не заменил бы мне потерянную любовницу, эту так мало компрометировавшую меня девушку, которая единственно о чем меня просила, – это о позволении жить со мною рядом, а потом – просто перестать к ней ходить. Одна любовница на двоих – это наименее компрометирующая любовница. Разумеется, тогда я не осмыслил этого до конца; тогда я это просто чувствовал; точно я это знаю только теперь. Стань я любовником Кармен, Ада от этого только выиграла бы. И Аугуста тоже не слишком бы от этого пострадала. Обeim им изменили бы в гораздо меньшей степени, чем в том случае, если бы у каждого из нас – и у меня и у Гуидо – было бы по любовнице на брата.

Ответил я Кармен только через несколько дней, и ответил так, что, вспоминая об этом, краснею до сих пор. Должно быть, я еще пребывал в том возбужденном состоянии, в которое меня поверг разрыв с Карлой, Иначе я бы не дошел до такого. Я стыжусь этих слов, как никакого другого поступка в своей жизни. Вырвавшиеся у нас однажды глупые слова мучают нас куда больше, чем любые гнусные поступки, на которые нас толкает страсть. Разумеется, я называю словами только те слова, которые не являются поступками, потому что я прекрасно знаю, что слова Яго, например, – это самые настоящие поступки. Но всякий поступок, включая и слова Яго, совершается для того, чтобы извлечь из него удовольствие или выгоду. В результате удовольствие получает все наше естество, в том числе и та его часть, которая потом выступит в роли судьи, но именно поэтому будет судьей очень снисходительным. Но наш глупый язык действует лишь ради собственного удовольствия и удовольствия какой-то крохотной части нашего существа, которая без этого чувствовала бы себя ущемленной. Он пытается изобразить борьбу, когда борьба уже окончена и проиграна. Он хочет ранить или ласкать. Он все время перемалывает какие-то грандиозные метафоры. А когда слова горячи, они обжигают и того, кто их произносит.

Заметив, что краски лица Кармен, благодаря которым она была так охотно принята в нашу контору, несколько потускнели, я решил, что это следствие испытываемых ею страданий, и, уверенный, что они не могут быть физическими, отнес их на счет ее любви к Гуидо. Впрочем, мы, мужчины,

всегда склонны сочувствовать женщинам, которые отдались не нам. Мы никогда не можем понять, что им за радость была это делать! Мы можем даже хорошо относиться к мужчине, о котором идет речь, как это было в моем случае, но все равно мы не в силах заставить себя забыть, чем кончаются обычно подобные приключения. Я чувствовал к Кармен самое искреннее сострадание, какого никогда не испытывал ни к Карле, ни к Аугусте. Я сказал ей:

– Раз уж вы были так любезны, что предложили мне свою дружбу, может быть, вы позволите мне вас предостеречь?

Она не позволила, потому что, как всякая женщина в ее положении, считала, что любое предостережение – это уже нападение. Покраснев, она пролепетала:

– Не понимаю. Что вы хотите этим сказать? – и сразу, желая заставить меня замолчать, добавила: – Если мне когда-нибудь понадобится совет, разумеется, я обращусь к вам, синьор Козини.

Таким образом, я не получил разрешения читать ей мораль, что было для меня большим ударом. Ведь, читая ей мораль, я бы сумел стать более искренним – и снова попытался бы заключить ее в объятия. Я не бесился бы из-за того, что пожелал напустить на себя фальшивый вид ментора.

Гуидо не показывался в конторе по нескольку дней в неделю, так как теперь его обуяла страсть к охоте и рыбной ловле. Я же после своего возвращения стал, напротив, очень прилежен и с головой погрузился в ревизию конторских книг. Таким образом, я часто оставался один с Лучано и Кармен, которые относились ко мне как к начальнику. У меня не было впечатления, что Кармен страдает из-за отсутствия Гуидо, и я решил, что она так его любит, что способна радоваться при мысли, что он где-то развлекается. Должно быть, она знала, в какие дни его не будет в конторе, потому что никогда не обнаруживала тоскливого нетерпения. От Аугусты я слышал, что Ада вела себя совершенно иначе: она горько жаловалась на частые отлучки мужа. Впрочем, она жаловалась не только на это. Как и все женщины, которых не любят, она с одинаковым жаром жаловалась и на большие и на маленькие обиды. Мало того, что Гуидо ей изменял: бывая дома, он вечно играл на скрипке! Эта скрипка, которая причинила мне столько страданий, выполняла роль Ахиллесова копья во всех его начинаниях. Помню, что она побывала и у нас в конторе, где сильно продвинула его ухаживания за Кармен с помощью прекрасных вариаций на тему «Цирюльника»<sup>30</sup>. Потом она исчезла, поскольку в ней отпала нужда, и вернулась домой, где помогала Гуидо избавляться от скучных разговоров с женой.

Между мною и Кармен никогда больше ничего не было. Очень скоро я почувствовал к ней такое полное равнодушие, будто она переменяла пол; одним словом, я стал испытывать к ней примерно то же, что к Аде, – живейшее сострадание, и ничего больше. Именно так.

Гуидо был со мной необыкновенно любезен. Думаю, что он научился ценить мое общество за тот месяц, что он оставался один. С дамочкой вроде

---

30 То есть «Севильского цирюльника» Россини.

Кармен приятно побыть время от времени, но выносить ее в течение целого дня, конечно, невозможно. Он приглашал меня то на охоту, то на рыбную ловлю. Охоту я ненавижу и поэтому решительно отказался его сопровождать. Но на рыбную ловлю, понуждаемый отчаянной скукой, я как-то вечером с ним отправился. У рыб нет никаких средств общения с людьми, потому они не возбуждают в нас сочувствия. А хватают ртом воздух они даже в воде, будучи живыми и здоровыми. Так что смерть не меняет их облика. Страдание, если они его и чувствуют, надежно спрятано под чешуей.

Так вот, когда Гуидо пригласил меня на ночную рыбную ловлю, я ответил, что сначала должен спросить у Аугусты, позволит ли она мне уйти вечером из дому и до поздней ночи где-то шататься. И добавил, что прекрасно помню, что лодка отходит от мола Сарторио в девять вечера; если я смогу, я буду к этому времени там. По-моему этими словами я дал ему понять, что нынче вечером мы вряд ли увидимся, ибо, как это уже не раз бывало, я просто не приду на условленное место.

Однако в тот самый вечер меня выгнал из дому рев маленькой Антонии: чем больше мать ее успокаивала, тем громче она плакала. Тогда я применил свою систему, которая состоит в том, что вы выкрикиваете угрозы прямо в маленькое ушко визжащей обезьянки. Но я добился только того, что изменился характер ее плача: теперь она плакала от страха. Я уже хотел прибегнуть к более энергичным мерам, но Аугуста вовремя вспомнила о приглашении Гуидо и выставила меня за дверь, пообещав, что ляжет, не дожидаясь меня, если я задержусь надолго. Ей так хотелось поскорее меня выпроводить, что она согласна была выпить без меня даже утренний кофе, если я задержусь до самого утра.

Между мною и Аугустой существует одно только разногласие – по вопросу о том, как следует относиться к детским капризам. Я считаю, что неприятности, испытываемые ребенком, не так уж важны в сравнении с теми, которые он своими капризами причиняет нам, и поэтому имеет смысл порой доставить огорчение ему, если это поможет сохранить покой взрослого. Аугусте же, наоборот, кажется, что мы, давшие детям жизнь, должны еще и подчинять им свои интересы.

До назначенного часа оставалось много времени, и я медленно прошел через весь город, разглядывая женщин и придумывая конструкцию некоего приспособления, которое исключило бы всякие несогласия между мною и Аугустой. Но для моего приспособления человечество еще не созрело. Оно принадлежало далекому будущему, и сейчас толк от него был только один: оно лишней раз продемонстрировало, какая ничтожная причина порождает мои ссоры с Аугустой – нехватка какого-то жалкого прибора! Он должен был быть совсем простым, нечто вроде домашнего трамвая: стульчик, снабженный колесами и рельсами, на котором моя дочка проводила бы весь день, и к нему электрическая кнопка; одно нажатие – и стульчик с ревушей девочкой устремляется по рельсам в самый отдаленный уголок дома, откуда ее плач, ослабленный расстоянием, становится даже приятен для слуха. А у нас с Аугустой всегда сохранялись бы ровные и ласковые отношения.

Ночь была звездная и безлунная, одна из тех ночей, когда видно далеко вдаль: такие ночи успокаивают и умиротворяют. Я взглянул на звезды, которые, может быть, еще хранили след прощального взгляда моего умирающего отца. Кошмарный период, когда мои дети пачкают пеленки и режут, пройдет. Потом они станут такими же, как я, и я буду любить их, как и положено, без всякого усилия с моей стороны. Эта дивная, просторная ночь внесла в мою душу полное умиротворение, так что мне не пришлось даже брать на себя никаких обязательств.

Я стоял на самом конце мола Сарторио. Отсюда уже не было видно огней города: их заслоняло ветхое здание, которому мол служил как бы фундаментом. Стало совершенно темно, и казалось, что высокая спокойная черная вода медленно и лениво вспухает.

Но я не смотрел теперь ни на море, ни на небо. В нескольких шагах от меня стояла женщина, которая возбудила мое любопытство лаковой туфелькой, на мгновение блеснувшей во тьме. Этот тесный клочок земли и полная тьма создавали такое ощущение, будто нас с этой женщиной – высокой и, должно быть, элегантной – заперли в одной комнате. Самые очаровательные приключения случаются тогда, когда их вовсе не ждешь, и, увидев, что женщина вдруг направилась прямо в мою сторону, я испытал приятнейшее чувство, которое тут же исчезло при звуке хриплого голоса Кармен. Она сделала вид, будто очень рада узнать, что я тоже принимаю участие в их эскапде. Но в темноте, да еще с таким голосом ей было трудно притворяться,

Я грубо сказал:

– Меня пригласил Гуидо. Но если хотите, я найду, чем заняться, и оставлю вас вдвоем.

Она запротестовала, заявив, что просто счастлива увидеть меня третий раз за день. И добавила, что в маленькой лодочке соберется вся наша контора, потому что Лучано тоже здесь. Горе нашей фирме, если лодка пойдет ко дну! Она сообщила мне про Лучано, конечно, для того, чтобы доказать полную невинность всей затеи. Однако, болтая, она постоянно сбивалась: так, сначала она сказала, что едет с Гуидо на рыбную ловлю в первый раз, а потом проговорила, что во второй. У нее вдруг вырвалось, что она не любит сидеть в лодке на настиле, и мне показалось странным, что ей известен этот термин. Таким образом ей пришлось признаться, что она узнала его от Гуидо, когда ездила с ним на рыбную ловлю в первый раз.

– В тот раз, – добавила она, желая подчеркнуть совершенную невинность той, первой вылазки, – мы ловили не дораду, а скумбрию. Утром.

Жаль, что у меня не было времени заставить ее выболтать еще что-нибудь – я мог бы узнать все, что мне было нужно. Из темноты Саккетты вынырнула и быстро пошла к нам лодка Гуидо. Я все еще пребывал в нерешительности: раз тут была Кармен, пожалуй, мне все-таки лучше было уйти. Может быть, Гуидо вовсе не собирался приглашать нас обоих, – ведь я помнил, что почти отказался от его приглашения. Тем временем лодка причалила к берегу, Кармен спрыгнула в нее со свойственной юности уверенностью – даже не опершись на руку Лучано. Так как я продолжал

колебаться, Гуидо заорал:

– Из-за тебя мы теряем время!

Прыжок – и я тоже очутился в лодке. Этот прыжок я сделал как бы помимо воли, подчиняясь окрику Гуидо, и тут же со страстным сожалением взглянул на берег. Но достаточно было мгновенного колебания, чтобы высадка стала невозможной. Кончилось тем, что я устроился на носу небольшой лодчонки. Привыкнув к темноте, я рассмотрел, что на корме лицом ко мне сидит Гуидо, а у его ног, на настиле Кармен. Между нами находился Лучано который греб. Мне было не очень спокойно и не очень удобно в этой маленькой лодочке, но вскоре я привык и стал смотреть на звезды, которые снова меня успокоили. Ведь это и в самом деле было верно, что в присутствии Лучано, преданного слуги семьи, к которой принадлежали наши жены, Гуидо не рискнул бы изменить Аде, а следовательно, не было ничего плохого в том, что я здесь. Мне ужасно хотелось почувствовать наслаждение оттого, что я тут, в этом море, под этим небом, среди этого безмерного покоя. Если я собирался мучиться угрызениями совести и, следовательно, страдать, мне было бы лучше остаться дома и отдать себя на растерзание маленькой Антонии. Свежий ночной воздух наполнил мои легкие, и я понял, что вполне могу чувствовать себя хорошо в обществе Гуидо и Кармен, к которым я, в сущности, относился совсем неплохо.

Мы миновали маяк и вышли в открытое море. Милей дальше блестели в темноте огни бесчисленных парусников: там расставляли рыбам совсем иные сети, не нашим чета. Очутившись на уровне Баньо Милитаре – этой чернеющей на сваях громады, мы стали плавать взад-вперед параллельно набережной Сант-Андреа. Это было излюбленное место рыбаков. В полной тишине множество лодок рядом с нами проделывало тот же маневр. Гуидо приготовил три лески и насадил на крючки маленьких рачков, проткнув им хвосты. Потом он дал каждому по леске, предупредив, что мою, спущенную с носа и единственную из всех снабженную грузилом, рыбы будут предпочитать всем остальным. Я рассмотрел в темноте своего рачка с проткнутым хвостом, и мне показалось, что он медленно шевелит передней частью тела, той частью, которая не обросла панцирем. Это движение скорее наводило на мысль о глубоком раздумье, чем о болезненных корчах. Может быть, то, что в больших организмах вызывает боль, в крохотных рождает лишь новое ощущение и пробуждает мысль? Я опустил своего рачка в воду, как мне велел Гуидо: на десять локтей. После меня опустили лески Кармен и Гуидо. Гуидо взял весло и, сидя на корме, повел нашу лодку столь искусно, что лески не запутывались. Видимо, Лучано еще не овладел этим искусством. Впрочем, теперь ему был доверен сачок, которым он должен был подхватывать вытянутую из воды рыбу. Но довольно долго делать ему было совершенно нечего. Гуидо без умолку болтал. Кто его знает, может быть, больше, чем любовь, его привязывала к Кармен страсть поучать? Мне не хотелось его слушать: я продолжал размышлять о крохотном существе, которого я предложил прожорливым рыбам. Те странные движения головой, если только он продолжал их делать под водой, должны были еще больше привлечь к нему внимание рыб. Но Гуидо несколько раз обратился ко мне, и я был вынужден выслушать его теорию рыбной ловли.

Рыба будет не один раз дотрагиваться до наживки, и мы это почувствуем, но мы должны остерегаться вытаскивать леску до тех пор, пока она не натянется. Вот тогда мы должны приготовиться сделать подсечку, которая прочно вгонит крючок рыбе в рот. Объясняя все это, Гуидо, как всегда, был очень многословен. Он желал растолковать нам во всех подробностях, что именно почувствует наша рука, когда рыба понюхает наживку. И продолжал свои объяснения даже тогда, когда и я и Кармен уже по опыту знали это почти звуковое сотрясение, которое передавалось руке при каждом прикосновении рыбы к рачку. Множество раз нам приходилось вытаскивать леску, чтобы заменить наживку. Маленькое задумчивое существо кончало свою жизнь неотомщенным в пасти какой-то осторожной рыбы, которая умела избегать крючка.

На борту лодки нашлись бутерброды и пиво. Все это Гуидо одобрил нескончаемой болтовней. Теперь он говорил о неиссякаемых богатствах, которые хранит море. И речь шла вовсе не о рыбе и не о сокровищах, утерянных в нем людьми, как это думал Лучано. В морской воде было растворено золото. Тут он вдруг вспомнил, что я изучал химию, и сказал:

– Ты должен об этом знать!

Я мало что об этом помнил, но подтвердил его слова, рискуя сделать замечание, в истинности которого вовсе не был уверен:

– Морское золото – самое дорогое из всех. Чтобы добыть хоть один наполеондор из тех, что в нем растворены, нужно потратить по крайней мере пять.

Лучано, который было насторожился и обернулся ко мне, желая услышать подтверждение того факта, что мы плывем среди сокровищ, разочарованно отвернулся. Морское золото его больше не интересовало. Гуидо же полностью подтвердил все мною сказанное: ему показалось, что он тоже вспомнил, будто добыча морского золота обходится, как я и сказал, в пять раз дороже всякого другого. Он словно хвалил меня, подтверждая мое заявление, которое – я-то знал! – ни на чем не основывалось. Было совершенно очевидно, что он не усматривает во мне ни малейшей опасности и нисколько не ревнует лежащую у его ног женщину. Мне даже захотелось смутить его, а я бы мог это сделать, сказав, что теперь я вспомнил: для того, чтобы извлечь из моря один наполеондор, вполне достаточно трех, или, напротив: для этого нужно по крайней мере десять!

Но в это мгновение мое внимание было привлечено леской, которую неожиданно натянул мощный рывок. Я рванул ее в свою очередь и закричал. Одним прыжком Гуидо оказался около меня и выхватил леску у меня из рук. Я охотно ее отдал. Он принялся ее вытаскивать, сначала потихоньку, потом, когда сопротивление уменьшилось, резкими рывками. И вот в темной воде сверкнуло серебряное тело какой-то крупной рыбы. Она шла совершенно не сопротивляясь, как будто старалась догнать то, что причиняло ей такую боль.

Я сразу понял страдание этого немого существа, потому что о нем буквально кричал этот его торопливый бег навстречу смерти. Вскоре рыба, разевая рот, лежала у моих ног. Лучано выхватил ее из воды сачком и, бесцеремонно вырвав у меня из рук, вынул у нее изо рта крючок.



Потом пощупал толстую рыбину:

– Дорада, килограмма на три.

И с восхищением назвал цену, которую запросили бы за нее в рыбной лавке. Потом Гуидо заметил, что вода стала неподвижной, а в эту пору трудно что-либо поймать. Он сказал, что, по мнению рыбаков, в тот момент, когда вода не прибывает и не убывает, рыба не кормится, а потому и не ловится. И произнес небольшое философское рассуждение на тему о том, какой опасности подвергает всякое живое существо его аппетит. Потом, засмеявшись и не замечая, что выдает себя этими словами, добавил:

– Ты единственный, кому сегодня удалось чем-то поживиться.

Моя добыча все еще билась на дне лодки, когда Кармен вдруг вскрикнула. Гуидо, не двигаясь с места, осведомился с едва сдерживаемым смехом в голосе:

– Что, еще одна дорада?

– Да, вроде бы. Но уже сорвалась.

Я же был совершенно уверен в том, что, побуждаемый желанием, он просто ее ущипнул.

Я начинал чувствовать себя в этой лодке неловко. Азарт, с которым я поначалу следил за своим крючком, прошел: больше того – я стал даже подергивать леску, чтобы не дать бедным тварям схватить наживку. Сказав, что мне хочется спать, я попросил Гуидо высадить меня на Сант-Андреа. Затем я позаботился о том, чтобы у него не возникло подозрения, будто я ушел потому, что меня шокировал вскрик Кармен и все, что с ним было связано. Для этого я рассказал ему о том, какую сцену устроила мне дочка нынче вечером, и объяснил, что мне не терпится убедиться в том, что она здорова.

Как всегда любезный, Гуидо причалил лодку к берегу. Он предложил мне взять пойманную мною дораду, но я отказался. Я посоветовал ему выпустить ее на свободу, выбросив в море, что вызвало у Лучано протестующий вопль. Гуидо же добродушно заметил:

– Если б я знал, что таким образом могу вернуть ей здоровье и жизнь, я бы охотно это сделал. Но теперь бедная рыба годится только для сковородки.

Я проводил их взглядом и убедился, что Гуидо и Кармен не воспользовались освободившимся после меня местом. Как и раньше, они сидели прижавшись друг к другу, и лодка шла, приподняв нос, оттого что корма была тяжелее.

У меня было такое чувство, будто меня наказал бог, когда мне сказали, что у дочки высокая температура. Может, она потому и заболела, что я притворился перед Гуидо, будто меня беспокоит ее здоровье, в то время как на самом деле я ничуть не беспокоился. Аугуста еще не ложилась, но недавно был доктор Паоли, который успокоил ее, сказав, что такая внезапная и такая высокая температура не может быть симптомом серьезной болезни. Мы долго смотрели на Антонию, которая лежала, разметавшись, в своей маленькой кровати – сухое красное личико под растрепанными каштановыми кудрями. Она не плакала, а лишь постанывала время от времени слабым стоном, а потом ею вновь властно овладевало забытие. Боже мой! Какой родной стала она мне больная! Я отдал бы часть своей жизни, только бы ей стало легче дышать. Чем успокоить мне

мучения совести, возникавшие при мысли о том, что я мог подумать, будто ее не люблю? И вдобавок все это время, пока она мучилась, я был вдали от нее в той компании!

– Она похожа на Аду! – всхлипывая, сказала Аугуста.

Это была правда. Тогда мы заметили это сходство впервые, но оно становилось все разительнее по мере того, как Антония росла, так что порой у меня сжималось сердце при мысли о том, что ей может выпасть та же судьба, что выпала несчастной, на которую она была похожа.

Мы улеглись лишь после того, как поставили кровать девочки рядом с кроватью Аугусты. Но я не мог уснуть: на сердце у меня лежала тяжесть, как всегда бывало в тех случаях, когда ошибки, совершенные мною днем, преображались в ночные призраки страданий и угрызений совести. Болезнь девочки мучила меня так, словно она была делом моих рук. И я взбунтовался. Ведь я был совершенно чист и мог рассказать обо всем! И я рассказал. Я рассказал Аугусте о встрече с Кармен, о том, где именно она сидела в лодке, и потом о ее вскрике, который, как я подозревал, хотя не был в этом совершенно уверен, был вызван грубой лаской Гуидо. Но у Аугусты не было в этом никаких сомнений. Иначе почему бы голосу Гуидо измениться от с трудом сдерживаемого смеха? Я попытался поколебать ее уверенность, а потом снова вернулся к своему рассказу. Я признался ей во всем, в том числе и в том, что касалось только меня: я описал досаду, которая прогнала меня из дому, и угрызения совести, которые мучили меня из-за того, что я недостаточно любил Антонию. После этого я сразу же почувствовал себя лучше и заснул глубоким сном.

Наутро Антонии стало лучше, лихорадка почти прошла. Она лежала спокойная, свободно дышала, но была такая бледная и разбитая, словно надорвалась в борьбе, которая была не по силам ее маленькому телу. Однако было уже ясно, что из этой короткой борьбы она вышла победительницей. Ко мне вернулось спокойствие, и я с сожалением вспомнил о том, как сильно подвел Гуидо своей вчерашней болтливостью. Я потребовал от Аугусты обещания никому не говорить о моих подозрениях. Она возразила, что речь идет не о подозрениях, а о совершенно очевидных фактах, и, как я ни старался, я не смог ее разубедить. Но она все-таки пообещала выполнить мою просьбу, и, успокоенный, я отправился в контору.

Гуидо еще не было, и Кармен рассказала мне, что после моего ухода им очень повезло. Они поймали еще двух дорад, поменьше, чем моя, но все же довольно крупных. Я не поверил и решил, что ей просто хочется, чтобы я поверил, будто после моего ухода они оставили занятие, которому предавались даже тогда, когда я еще был с ними. Ведь вода была неподвижной! До какого же часа они пробыли в море?

Стремясь убедить меня, Кармен обратилась к Лучано, подтвердившему факт поимки еще двух дорад, и с тех пор я думаю, что Лучано ради расположения Гуидо был способен на что угодно.

Все в тот же период идиллического спокойствия, который предшествовал купоросному делу, в нашей конторе произошел один странный эпизод, который

я не могу забыть, потому что он ясно свидетельствует о безграничной самоуверенности Гуидо, а меня выставляет в таком свете, в котором мне трудно себя узнать.

Однажды мы все четверо сидели в конторе, и единственный, кто говорил о делах, был, как всегда, Лучано. Гуидо почувствовал в его речах упрек, который ему трудно было снести в присутствии Кармен. Но и оправдаться ему было тоже трудно, потому что у Лучано были доказательства того, что сделка, которую он советовал Гуидо несколько месяцев назад и от которой Гуидо отказался, принесла недурную прибыль тому, кто за нее взялся. Кончилось тем, что Гуидо заявил, что он презирует торговлю, и заверил нас, что если счастье ему изменит, он сумеет заработать деньги совсем другого рода деятельностью – гораздо более благородной. Например, с помощью скрипки. Все с ним согласились, и я тоже, правда с оговоркой:

– Но с условием, что ты будешь много упражняться!

Моя оговорка ему не понравилась, и он тут же заявил, что если уж речь идет о том, чтобы упражняться, он мог бы преуспеть и во многих других областях – в литературе, например. И снова все с ним согласились, и я тоже, не без некоторого, впрочем, колебания. Я плохо помнил физиономии наших великих литераторов и сейчас пытался вызвать их в памяти, чтобы найти хотя бы одного, который был бы похож на Гуидо. И тут он закричал:

– Хотите несколько хороших басен? Сейчас я вам их сымпровизирую не хуже Эзопа.

Все, кроме него, засмеялись. Тогда он приказал подать ему пишущую машинку и, почти не отрываясь – так, словно писал под диктовку, – и делая жесты более широкие, чем требуется при печатании, сочинил первую басню. Он уже протянул листочек Лучано, но потом раздумал, снова вставил в машинку и напечатал вторую басню. Эта далась ему труднее, чем первая, – судя по тому, что он позабыл, что должен жестикулировать, изображая вдохновение, и был принужден то и дело исправлять написанное. Потому-то я считаю, что первая басня принадлежала не ему, а вот вторая – та действительно родилась в его голове, так как показалась мне вполне ее достойной. В первой басне говорилось о птичке, которая вдруг заметила, что дверца ее клетки открыта. Сначала она хотела воспользоваться этим и улететь, но потом раздумала: она испугалась, что если во время ее отсутствия дверцу закроют, она потеряет свою свободу. Во второй речь шла о слоне, и ее характеризовала поистине слоновья тяжеловесность. Страдая слабостью в ногах, слон отправился на прием к человеку, знаменитому врачу, и тот при виде его мощных конечностей воскликнул: «В жизни не видывал таких сильных ног!»

Лучано эти басни не привели в восторг, хотя бы потому, что он их просто не понял. Он, правда, много смеялся, но было ясно, что смешным ему во всем этом кажется только то, что подобное занятие ему хотели выдать за прибыльное. Потом он засмеялся из вежливости – это когда ему объяснили, что птичка боялась потерять свободу возвращаться в свою клетку, а человек восхищался силой слабых ног слона. Однако потом он спросил:

– Ну, и что можно получить за две такие басенки?

На что Гуидо свысока ему ответил:

– Во-первых, удовольствие от их сочинения, а потом, если сочинять их много, то и много денег.

Зато Кармен была вне себя от волнения. Она попросила разрешения переписать обе басни и с жаром поблагодарила Гуидо, когда тот предложил ей свой листочек в подарок, начертав на нем пером свою подпись.

Что за дело было мне, в сущности, до всего этого? Какой мне был смысл соперничать с Гуидо и претендовать на восхищение Кармен, если, как я уже говорил, она была мне совершенно безразлична? Однако, вспоминая, как я тогда себя вел, я прихожу к выводу, что, даже не будучи возвышена нашим желанием, женщина все же способна вдохновить нас на борьбу. В самом деле, разве не сражались средневековые рыцари за женщин, которых они даже никогда не видали? Что касается меня, то у меня вдруг так обострились те стреляющие боли, которые всегда терзали мое бедное тело, что для того, чтобы их унять, я вынужден был вступить в борьбу с Гуидо и тоже сочинить две басни.

Я попросил машинку и в самом деле их сымпровизировал. Правда, первая из сочиненных мною басен, вертелась у меня в голове уже много дней. Я назвал ее «Гимн жизни». Потом, после краткого размышления, приписал внизу: «Диалог». Мне казалось, что заставить животных говорить гораздо легче, чем их описывать. Так родилась моя басня, состоявшая из кратчайшего диалога:

«Рачок (*задумчиво*) . Жизнь прекрасна, но нужно внимательно смотреть, куда садишься.

Дорада (*направляясь к зубному врачу*) . Жизнь прекрасна, но было бы лучше, если бы в ней не было этих коварных тварей, которые скрывают в своем сочном мясе острый металл».

Теперь нужно было сочинить вторую, но мне не хватало животных. Я взглянул на пса, который лежал в своем углу, и он тоже посмотрел на меня. Эти робкие глаза помогли мне вспомнить: не так давно Гуидо вернулся с охоты весь в блохах и потом долго чистился в нашей кладовке. И тут мне сразу же пришла на ум вся басня, и я, не отрываясь, написал:

«Жил-был принц, которого кусало множество блох, и он попросил богов, чтобы они наказали его одной блохой, пусть огромной и голодной, но одной, а прочих оставили другим людям. Но так как не нашлось блохи, которая бы пожелала остаться один на один с этой скотиной в человеческом образе, ему пришлось оставить их при себе всех».

В ту минуту обе мои басни показались мне великолепными. Вещи, которые рождаются у нас в голове, всегда выглядят удивительно приятно, особенно если рассматривать их сразу после того, как они родились. Сказать по правде, мой диалог нравится мне еще и сейчас, когда я уже достаточно понаторел в сочинении. Гимн жизни из уст умирающего всегда подкупает тех, кто присутствует при его смерти: ведь и в самом деле многие умирающие тратят свой последний вздох на то, чтобы объявить, что было, по их мнению, причиной их смерти» Тем самым они как бы провозглашают гимн во имя жизни тех, кто остается жить и кто сумеет теперь благодаря им избежать указанной опасности. Что касается второй басни, я не хочу о ней говорить. Ее прекрасно

откомментировал сам Гуидо, который, смеясь, воскликнул:

– Это не басня: ты придумал ее просто для того, чтобы иметь возможность назвать меня скотиной.

Я рассмеялся вместе с ним, и боли, которые побудили меня взяться за сочинение, сразу же утихли. Лучано тоже засмеялся, когда я объяснил ему, что я хотел сказать своими баснями, и заявил, что, по его мнению, за эти басни никто не даст ни гроша ни мне, ни Гуидо. Кармен мои басни не понравились. Она бросила на меня испытующий взгляд, который был очень для нее необычен и который я понял так ясно, как если бы она произнесла вслух: «А ведь ты не любишь Гуидо!»

Этот взгляд привел меня в смятение, потому что в ту минуту она была совершенно права. И я подумал, что глупо держать себя так, словно я не люблю Гуидо, после того как я столько бескорыстно на него работал! Нужно будет впредь следить за тем, как я себя веду.

И я кротко сказал Гуидо:

– Охотно признаю, что твои басни лучше моих. Но не забывай, что я взялся за это дело первый раз в жизни!

Но он не сдавался:

– Можно подумать, что я когда-нибудь их сочинял!

Взгляд Кармен смягчился, и для того, чтобы смягчить его еще больше, я сказал Гуидо:

– Видно, у тебя особый талант сочинять басни!

Мой комплимент заставил засмеяться их обоих, а вслед за ними и меня, но этот смех был добродушен, так как всем было ясно, что я произнес свою фразу без всякого злого умысла.

Купоросное дело заставило нас отнестись к нашим занятиям более серьезно. Теперь мы брались почти за все сделки, которые нам предлагали. Некоторые принесли кое-какую прибыль, но небольшую, другие – убытки, и притом большие. Какая-то странная скупость была главным недостатком Гуидо, который во всем, что не касалось дел, был очень щедр. Если сделка обещала быть выгодной, он спешил ее ликвидировать, в алчном стремлении поскорее инкассировать ту небольшую прибыль, которую она ему приносила. Если же он оказывался вовлеченным в убыточное дело, он никак не мог решиться с ним покончить, потому что старался отдалить момент когда ему придется раскошелиться. Я думаю, именно по этой причине все его убытки были большими, а прибыли – маленькими. Особенности, отличающие коммерсанта, есть, в сущности, продолжение его человеческих качеств – свойств всего его организма, от кончиков волос до ногтей на ногах. К Гуидо очень подошло бы определение, придуманное греками: «Хитрый дурак». Он и в самом деле был хитрым и в то же время глупым. Он делал все с тысячью предосторожностей, которые служили только одному: они сглаживали склон, по которому он скатывался все ниже и ниже.

Как раз вместе с купоросом на голову ему свалилось двое близнецов. Первым его впечатлением было изумление, весьма далекое от радостного; однако, сообщая мне об этом событии, он произнес одну шутку, которая меня

ужасно рассмешила, и, смягченный ее успехом, он перестал хмуриться. Присоединяя обоих младенцев к шестидесяти тоннам купороса, он сказал:

– Видно, я обречен на оптовые сделки!

Желая его утешить, я напомнил, что Аугуста опять на седьмом месяце и что в том, что касается детей, я очень скоро достигну его тоннажа. Он ответил на это с тем же остроумием:

– Мне, как опытному бухгалтеру, кажется, что это не одно и то же!

Правда, прошло несколько дней, и он на какое-то время привязался к малышам. Аугуста, которая часть дня проводила у сестры, рассказывала, что он возится с ними часами. Он нянчился с ними, баюкал их, и Ада была ему так за это признательна, что между супругами как будто бы вновь расцвела любовь. В те дни он внес довольно крупный вклад в одну страховую компанию, для того чтобы сыновья, достигнув двадцати лет, получили небольшое состояние. Я помню это очень хорошо, потому что сам записал эту сумму на его дебет.

Меня тоже пригласили взглянуть на близнецов; кроме того, Аугуста сказала, что я смогу поздороваться и с Адой, которая могла принять меня только лежа в постели, хотя со времени родов прошло уже десять дней.

Близнецы лежали в колыбельках, которые стояли в комнате, примыкавшей к родительской спальне. Ада крикнула мне со своей кровати:

– Они хорошенькие, Дзено?

Меня удивило звучание ее голоса: он стал мягче. Несмотря на то, что эти слова она прокричала – чувствовалось усилие, которое она при этом делала, – он все-таки оставался мягким. Разумеется, мягкость ее голосу придало материнство, но меня эта мягкость взволновала, потому что обнаружилась она в тот момент, когда Ада обращалась ко мне. Благодаря этому у меня осталось такое впечатление, будто Ада назвала меня не просто по имени, но добавила к нему какое-то ласкательное слово – что-то вроде «брат» или «милый». Я почувствовал живейшую признательность и сразу сделался добрым и сердечным. Я радостно ответил:

– Прелестные, милые, одинаковые, ну просто два маленьких чуда! – На самом же деле близнецы показались мне бескровными трупиками, они оба хныкали, и притом вразнобой.

Вскоре Гуидо вернулся к прежнему образу жизни. После купоросного дела он стал посещать контору более исправно, но каждую субботу уезжал на охоту и возвращался только поздним утром в понедельник; ему как раз хватало времени на то, чтобы бросить на свое заведение взгляд, прежде чем отправиться завтракать. На рыбную ловлю он ездил вечером и часто проводил в море всю ночь. Аугуста рассказывала мне о том, как плохо живет Ада, которая страдала и от иступленной ревности и оттого, что она целыми днями была одна. Аугуста пыталась успокоить ее тем, что женщин на охоту и на рыбную ловлю не берут. Тем не менее неизвестно откуда Ада узнала, что Кармен иногда сопровождает Гуидо на рыбную ловлю. Да Гуидо и сам потом ей в этом признался, добавив, что не видит ничего плохого в том, чтобы оказать подобную любезность служащей, чья деятельность приносит такую пользу его конторе. И потом, разве не было вместе с ними Лучано? Кончилось тем, что он

пообещал никогда больше ее не приглашать, раз Аде это не нравится. Но в то же время он заявил, что ни от охоты, стоившей ему уйму денег, ни от рыбной ловли он не откажется. Он говорил, что работает очень много (в тот период в нашей конторе действительно было много работы) и считает, что вполне заслужил это скромное развлечение. Ада была иного мнения: она полагала, что наилучшее развлечение он может доставить себе в кругу семьи, в чем ее безоговорочно поддерживала Аугуста. Но что касается меня, то мне этого рода развлечения тоже казались чересчур шумными.

Аугуста восклицала:

– Но ты-то ведь являешься домой каждый день в положенный час!

Это была правда, и мне пришлось признать, что между мною и Гуидо есть большая разница. Однако моей заслуги тут не было. Целуя Аугусту, я сказал: «Это все благодаря тебе, это ты меня так воспитала с помощью весьма сильно действующих средств!»

Впрочем, у бедного Гуидо дела с каждым днем шли все хуже и хуже: пусть детей было двое, но сначала у них хоть кормилица была одна! Тогда они еще надеялись, что одного ребенка Ада сможет выкормить сама, Однако она оказалась не в силах этого сделать, и они были вынуждены нанять еще одну кормилицу. Когда Гуидо хотел меня рассмешить, он начинал ходить взад вперед по конторе, отсчитывая ритм словами: «Жена – одна... кормилиц – две... младенцев – двое...»

Одну вещь Ада особенно ненавидела – скрипку Гуидо. Она могла выносить рев младенцев, но звуки скрипки причиняли ей ужасные страдания. Она признавалась Аугусте:

– Мне как собаке хочется выть, когда я слышу эти звуки.

Странно! Аугусте же, напротив, нравилось, проходя мимо дверей кабинета, ловить доносившееся оттуда аритмичное звучание моей скрипки.

– Но ведь Ада вышла замуж по любви! – говорил я, совершенно сбитый с толку. – А скрипка – это лучшее, что есть в Гуидо!

Однако все эти разговоры были сразу забыты, когда я увидел Аду в первый раз после родов. Именно я раньше всех заметил, что она больна. В один из первых ноябрьских дней – холодный, сырой, сумрачный – я в виде исключения ушел из конторы в три часа дня и направился домой, собираясь несколько часов подремать в своем хорошо протопленном кабинете. Чтобы попасть в кабинет, я должен был пройти длинный коридор, и вот, проходя мимо рабочей комнаты Аугусты, я услышал голос Ады. Голос звучал не то нежно, не то неуверенно (что, по моему мнению, одно и то же), как и в тот день, когда она спросила меня про близнецов. Я вошел в комнату, одолеваемый страстным любопытством: мне хотелось понять, как ясной и спокойной Аде удалось настолько изменить свой голос, что он стал похож на голос некоторых наших актрис в тот момент, когда они, не умея заплакать сами, хотят заставить плакать зрителей. В нем определенно звучала фальшь, – во всяком случае я, даже не взглянув на ту, которой он принадлежал, расценил его как фальшивый, хотя бы потому, что по прошествии стольких дней он звучал точно так же, как и в первый раз, – так же взволнованно и так же трогательно. Я подумал, что речь, должно быть, идет о

Гуидо: что еще могло до такой степени взволновать Аду?

Но на самом деле обе женщины, сидя вместе за кофе, говорили о домашних делах – о белье, о слугах и тому подобном. И мне достаточно было бросить на Аду один только взгляд, чтобы понять, что ее голос не был фальшивым. Таким же трогательным было и ее лицо, в котором я первым заметил перемену, и если голос и не отражал ее истинных чувств, то физическое ее состояние он отражал несомненно и потому был подлинным и искренним. Это я почувствовал сразу. Я не врач, а поэтому не подумал о болезни и попытался объяснить себе перемены в облике Ады тем, что она еще не совсем оправилась после родов. Но как это было возможно, чтобы перемен, происшедших в жене, не заметил Гуидо? Ведь я, хорошо помнивший эти глаза – глаза, которых я так боялся, потому что сразу понял, что людей и предметы они изучают бесстрастно и холодно, чтобы принять их или отвергнуть, – я сразу же констатировал, что они изменились: они стали очень большими, словно Ада все время тарасилась, чтобы лучше видеть. Эти большие глаза ужасно дисгармонировали с бледным и осунувшимся личиком.

Я с искренним чувством протянул ей руку.

– Я знаю, – сказала она, – что ты пользуешься каждой свободной минутой, чтобы навестить жену и дочку.

Рука у нее была влажная от пота, и я понимал, что это свидетельствует о слабости. Но это еще более утвердило меня в мысли, что как только она оправится, к ней снова вернутся и цвет лица и твердые очертания щек и глазных впадин.

Я истолковал ее слова как упрек, обращенный к Гуидо, и добродушно заметил, что у Гуидо, как у главы фирмы, гораздо больше, чем у меня, обязанностей, и это вынуждает его много времени проводить в конторе.

Она бросила на меня испытующий взгляд, желая удостовериться, что я говорю всерьез.

– И все-таки, – сказала она, – мне кажется, он мог бы найти хоть немного времени для жены и детей, – и в ее голосе прозвучали слезы. Она поборолла их с улыбкой, просившей о снисхождении, и добавила: – Ведь, кроме дел, есть еще охота и рыбная ловля... Именно они отнимают у него бо льшую часть времени!

И с поразившей меня непоследовательностью стала рассказывать о том, какие изысканные кушанья подаются теперь у них за столом в результате увлечения Гуидо охотой и рыболовством.

– И тем не менее я бы охотно от них отказалась! – заключила она со вздохом, и слезы снова навернулись у нее на глазах. Однако она вовсе не хотела сказать, что она несчастна. Сейчас она даже представить себе не может, чтобы у нее не было двух ее сыновей, которых она обожает. Улыбаясь, она не без лукавства добавила, что полюбила их еще больше с тех пор, как у каждого из них появилась своя кормилица. Спит она мало, но по крайней мере тогда, когда ей удастся уснуть, ей никто не мешает. А когда я спросил, в самом ли деле она мало спит, Ада снова сделалась взволнованной и серьезной и сказала, что именно это больше всего ее и беспокоит. Затем радостно добавила:

– Но сейчас мне уже стало лучше.



Вскоре она покинула нас по двум причинам: во-первых, до вечера она должна была еще зайти к матери, а потом, она не переносила температуру наших комнат, отапливавшихся огромными печами. Я, которому эта температура казалась едва приемлемой, тут же подумал, что, видимо, это признак силы – считать ее непереносимо высокой!

– Сразу видно, что ты совсем не так уж слаба! – сказал я улыбаясь. – Доживешь до моих лет – не то запоешь!

Она была очень довольна, что ее считают совсем молодой.

Мы с Аугустой проводили ее до лестницы. Видимо, ей было остро необходимо наше дружеское участие, потому что прежде чем пройти эти несколько шагов, она встала между нами и взяла под руку сначала Аугусту, а потом меня, причем я сразу же окаменел от страха: испугался, что поддамся старой привычке пожимать каждую женскую ручку, до которой дотрагивался. Уже стоя на площадке, она еще долго болтала, а когда вспомнила отца, глаза ее снова увлажнились – третий раз за какие-то четверть часа! Когда она ушла, я сказал Аугусте, что это не женщина, а фонтан. Так что хотя я и заметил болезнь Ады, я не придавал ей никакого значения. У нее увеличились глаза, осунулось лицо, изменились голос и характер, приобретя чувствительность, которая была ей совсем не свойственна. Но все это я приписывал двойному материнству и слабости. В общем, я проявил себя как великолепный наблюдатель, потому что увидел все, и как совершеннейший дурак, потому что не нашел для всего этого нужного слова: болезнь!

На следующий день гинеколог, который лечил Аду, пригласил на консультацию доктора Паоли, и тот сразу же произнес слово, которого не сумел найти я: *morbus Basedowii*<sup>31</sup>. Об этом рассказал мне Гуидо, с большим знанием описав болезнь и то и дело выражая сочувствие Аде, которая очень страдала. Я не хочу сказать о нем ничего плохого, но думаю, что и его сочувствие и его познания были не так уж велики. Он напускал на себя грустный вид, когда говорил о жене, но когда диктовал Кармен письма, весь светился радостью – радостью жить на свете и иметь возможность кого-то поучать. Кроме того, он думал, что человек, давший имя этой болезни, был друг Гёте – Базедов, в то время как я, взявшись изучать эту болезнь по энциклопедии, сразу понял, что речь идет совсем о другом человеке.

Это очень серьезная болезнь – базедова! Во всяком случае, знакомство с ней оказалось для меня очень важным. Я изучил ее по множеству монографий, и мне показалось, что я открыл главный секрет человеческого организма. Наверное, у многих – не только у меня – бывают в жизни периоды, когда какие-то идеи настолько загромождают голову, что для других в ней просто не остается места! Да что и говорить, если такое случается с целыми обществами! Люди живут Дарвином, после того как жили Робеспьером и Наполеоном, а потом Либихом<sup>32</sup> или на худой конец Леопарди<sup>33</sup>, если только над всем их

---

31 Базедова болезнь (*лат.* ).

32 Либих Юстус (1803–1873) – знаменитый немецкий химик.

33 Леопарди Джакомо (1793–1837) – один из крупнейших итальянских поэтов.

космосом не господствует Бисмарк!

Но Базедовом жил один только я! Мне казалось, что этот человек обнажил самые корни жизни, которая устроена следующим образом. Все живые организмы можно выстроить в ряд, на одном конце которого окажутся больные базедовой болезнью, вынуждающей к щедрейшему, безудержному расточению жизненных сил, к бешеному сердечному ритму, а на другом – те, что обделены скупой природой и обречены погибнуть от болезни, которая может показаться истощением, хотя в сущности это просто лень. Между ними находится золотая середина, которую неправильно называют здоровьем: на самом деле это всего лишь временная передышка. Между центром и тем концом, который обозначен базедовой болезнью, помещаются люди, которые ожесточенно растрачивают свою жизнь в страстях, честолюбивых стремлениях, наслаждениях, а на другом конце находятся те, что бросают на блюдо жизни одни лишь крошки, а остальное экономят, готовя себя к тому мерзкому долгожительству, которое ложится тяжким грузом на все общество. Впрочем, этот груз тоже, наверное, необходим. Общество движется вперед, потому что его толкают базедовцы, но не рушится в пропасть, потому что его тормозят остальные. Я убежден, что, задавшись целью создать общество, можно было все устроить значительно проще, но оно устроено так, что на одном его конце – зуб, а на другом – отек, и ничего с этим поделать нельзя. Посредине находятся те, у кого либо зуб, либо отек только начинаются; что же касается абсолютного здоровья, то его нет во всем ряду, как и во всем человечестве.

Насколько я знал от Аугусты, зоба у Ады еще не было, но другие симптомы уже обнаружили. Бедная Ада! Она предстала передо мной как воплощение здоровья и равновесия, и потому я долго считал, что она и мужа себе выбрала с таким же хладнокровием, с каким ее отец выбирал товары, и вот на нее обрушилась болезнь, которая должна была привести ее к совершенно иному жизненному ритму! Вся ее психика извратилась!

Вместе с нею заболел и я, болезнью не тяжелой, но долго не проходившей. Дело в том, что я слишком много думал о Базедове. Мне вообще кажется, что стоит только на чем-нибудь задержаться, как обязательно в конце концов заразишься. Нужно двигаться! Жизнь выделяет яды, но в ней же существуют и другие яды, которые могут служить противоядием. Только находясь в непрерывном движении, можно вырваться из-под влияния первых и обратить себе на пользу последние.

Моей болезнью стала одна навязчивая мысль, один сон, один страх. Ее истоки, должно быть, коренились в следующем рассуждении: под извращением обычно понимают отклонение от нормы, то есть от здоровья, которым мы располагали до того. Здоровую Аду я знал хорошо. Но не могло ли случиться так, что со своей новой, извращенной психикой она меня полюбит, раз будучи здоровой она меня отвергла?

Не знаю, как мог этот кошмар (или надежда) родиться у меня в голове!

Может быть, все это из-за того, что мне показалось, будто нежный и разбитый голос Ады звучит любовью, когда она обращается ко мне? Бедная

---

Ада, она очень подурнела, и я уже не испытывал к ней прежнего влечения. Но когда я вспоминал наши прошлые отношения, мне казалось, что если она вдруг в меня влюбится, я окажусь в такой же неприятной ситуации, в какой оказался Гуидо по отношению к своему английскому коллеге с его шестьюдесятью тоннами купороса. В точности тот же случай! Несколько лет назад я объяснился ей в любви, и за этим не последовало с моей стороны ничего, что можно было бы рассматривать как отказ от моих слов, если не считать того, что я женился на ее сестре. Это был тот вид контракта, при котором она находилась под защитой не закона, а исключительно моего рыцарства. Я считал, что дал ей в свое время такие обязательства, что приди она ко мне много лет спустя и будь она даже украшена зобом в результате своей болезни, я все равно буду обязан поддержать честь фирмы.

Помню, однако, что эта перспектива заставила меня думать об Аде с более дружеским чувством. До той поры, слыша о неприятностях, которые причинял ей Гуидо, я, конечно, не злорадствовал, но все же не без удовлетворения мысленно обращался к своему дому, в который Ада в свое время отказалась войти и в котором никто не испытывал страданий. Теперь положение изменилось: ведь той Ады, которая с негодованием меня отвергла, более не существовало – если только меня не обманывали мои медицинские книги.

Болезнь Ады протекала тяжело. Несколько дней спустя доктор Паоли посоветовал удалить ее от семьи и поместить в санаторий в Болонье. Это мне сообщил Гуидо, а Аугуста потом еще рассказала, что бедная Ада даже в такой момент не была избавлена от серьезных огорчений. Гуидо имел наглость предложить, чтобы во время ее отсутствия дом вела Кармен. У Ады не хватило духу сказать ему откровенно, что она думает о подобном предложении, но она заявила, что не сделает из дому ни шагу, если ей не позволят поручить управление хозяйством тете Марии; Гуидо, конечно, согласился. Однако он, видимо, не расстался с мыслью получить Кармен в свое полное распоряжение, устроив ее на освободившееся после Ады место. Однажды он сказал Кармен, что если бы она не была так занята в конторе, он с удовольствием доверил бы ей управление домом. Мы с Лучано переглянулись, и, разумеется, каждый успел заметить на лице другого лукавую улыбку. Кармен же, покраснев, пробормотала, что все равно не могла бы принять этого предложения.

– Вот так всегда! – сказал в сердцах Гуидо. – Из-за глупых оглядок на чужое мнение никогда нельзя сделать то, что было бы всего разумнее.

Однако он тут же замолчал, и было просто удивительно, что он так быстро оборвал столь интересную проповедь.

Проводить Аду пришла на вокзал вся семья. Аугуста попросила, чтобы я принес цветы. Я пришел, немного запоздав, с красивым букетом орхидей и передал его Аугусте. Ада это видела и, когда Аугуста поднесла ей цветы, сказала:

– Благодарю вас обоих от всего сердца.

Этим она хотела дать понять, что принимает цветы также и от меня, но я воспринял ее слова как проявление сестринского чувства – нежного и в то же время холодноватого. Базедов сюда, конечно, не замешался.

Она казалась новобрачной, бедная Ада, с этими своими глазами, расширившимися словно от счастья. Ее болезнь умела подделывать любые чувства.

Гуидо ехал вместе с нею: он должен был проводить ее и спустя несколько дней вернуться. Сидя на скамейке, мы ждали, когда поезд тронется. Ада высунулась в окно и махала платочком до тех пор, пока не исчезла у нас из глаз».

Потом мы проводили всхлипывающую синьору Мальфенти домой. Когда мы прощались, теща, поцеловав Аугусту, поцеловала также и меня.

– Извини! – сказала она, засмеявшись сквозь слезы. – Это вышло у меня нечаянно, но если ты позволишь, я поцелую тебя еще раз.

Даже маленькая Анна, теперь уже двенадцатилетняя, пожелала меня поцеловать. Альберта, которая в ближайшее время должна была обручиться и, следовательно, бросить национальный театр на произвол судьбы и которая была обычно со мной очень сдержанна, в тот день с жаром протянула мне руку. Все любили меня за то, что моя жена была цветущей, здоровой женщиной, и выражали, таким образом, неприязнь Гуидо, жена которого была больна.

Но именно тогда я едва избежал риска сделаться менее образцовым мужем. Я невольно заставил страдать свою жену, и виной всему был сон, которым я по простоте душевной с ней поделился.

Сон был такой: мы трое – Аугуста, Ада и я – высовывались из окошка; если быть точным, то мы высовывались из самого маленького окошка, которое было в наших трех домах – моем, тещи и Адином: а именно из кухонного окна в доме моей тещи, которое на самом деле выходит в маленький дворик, а во сне выходило на Корсо. У крохотного подоконника было так мало места, что Ада, которая стояла посередине, держа нас под руки, тесно ко мне прижалась. Я взглянул на нее и увидел, что глаза ее снова сделались холодными и ясными, а профиль обрел прежнюю чистоту линий, равно как и очертания затылка под легкими завитками – теми самыми завитками, которые мне приходилось видеть так часто, когда Ада поворачивалась ко мне спиной. Несмотря на всю свою холодность (почему-то я именно так воспринимал ее здоровье), она продолжала прижиматься ко мне так, как это показалось мне в вечер моего обручения за вертящимся столиком. Я весело сказал Аугусте (правда, для того, чтобы о ней вспомнить, мне пришлось сделать над собой некоторое усилие): «Нет, ты только посмотри, какая она стала здоровая! Где же Базедов?» – «А ты разве не видишь?» – ответила Аугуста, которой – единственной среди нас – была видна улица. Тогда мы тоже с трудом высунулись из окна и увидели большую толпу, которая с угрожающими криками двигалась по улице в нашу сторону. «Так где же Базедов?» – спросил я еще раз. И тут я его увидел. Это за ним бежала толпа, за старым нищим в длинном плаще – изорванном, но из роскошной жесткой парчи. У него была большая голова, седая грива развевалась по ветру, и вылезавшие из орбит глаза смотрели тем самым взглядом, который я не раз замечал у преследуемых животных – в нем смешались страх и угроза. А толпа вопила: «Смерть отравителю!»

За этим последовал небольшой интервал пустой, без снов, ночи. Потом,

вдруг сразу же мы с Адой очутились на самой крутой лестнице, которая только есть в наших трех домах: на той, что ведет на чердак моей виллы. Ада стояла на несколько ступенек выше, но лицом ко мне: как будто я подымался, а она спускалась. Я обнял ее ноги, а она склонилась ко мне – то ли от слабости, то ли для того, чтобы быть ко мне ближе. На мгновение она показалась мне изуродованной болезнью, но потом, в тревоге к ней приглядевшись, я вновь увидел ее такой, какой она была у окна – красивой и здоровой. Она сказала мне своим твердым голосом: «Иди вперед, я тебя догоню». Я с готовностью повернулся, чтобы пойти перед нею, но сделал это недостаточно быстро и успел заметить, что дверь на чердак тихонько открывается и из нее высовывается лохматая белая голова Базедова с этим его испуганным и одновременно угрожающим лицом. Я увидел его слабые ноги и жалкое, хилое тело, едва прикрытое плащом, и пустился бежать – уж не знаю, для того ли, чтобы обогнать Аду, или для того, чтобы убежать от нее.

Тут я, видимо, проснулся и, задыхаясь, еще не совсем очнувшись, рассказал то ли весь сон, то ли какую-то часть его Аугусте, чтобы потом заснуть снова – глубоко и спокойно. Очевидно, даже в полусне я слепо следовал своей старинной привычке виниться в совершенных мною проступках.

Утром на лице Аугусты была разлита восковая бледность, появляющаяся лишь в совершенно исключительных случаях. Я прекрасно помнил свой сон, но не представлял себе с точностью, что именно я ей рассказал. С выражением смиренного страдания на лице она сказала:

– Ты чувствуешь себя несчастным оттого, что она больна и уехала. Поэтому ты и видишь ее во сне.

Я защищался как мог, смеясь и поднимая на смех ее. Дело было не в Аде, а в Базедове, и я рассказал ей о том, как тщательно изучил я эту болезнь и как спроецировал ее на жизнь всего человечества. Не знаю, удалось ли мне убедить Аугусту. Проговорившись со сна, защищаться трудно. Это тебе не то что явиться к жене после того, как изменил ей наяву и в здравом рассудке. Впрочем, от ревности Аугусты я ровно ничего не терял: она так любила Аду, что даже ревность не могла бросить на ту никакой тени; что же касается меня, то Аугуста обращалась со мной с еще большей нежностью и уважением и была благодарна за малейшее проявление любви.

Несколько дней спустя Гуидо вернулся из Болоньи с прекрасными известиями. Директор санатория гарантировал полное выздоровление при условии, что Ада найдет дома спокойную обстановку. Прогноз врача Гуидо сообщил совершенно просто, доказав полное непонимание его сути и не заметив, что этот приговор только укрепил подозрения, которые и так уже имела на его счет семья Мальфенти. И я сказал Аугусте:

– Видно, мне снова угрожают поцелуи твоей матери.

По-видимому, под управлением тети Марии Гуидо жилось не сладко. Время от времени он принимался ходить взад и вперед по конторе, бормоча:

– Двое детей... Три няньки... И ни одной жены!

И из конторы он стал отлучаться еще чаще, срывая плохое настроение на бедном зверье и на рыбах. Но когда в конце года мы получили из Болоньи

известие, что Ада выздоровела и вот-вот вернется домой, он не показался мне слишком счастливым. Привык ли он к тете Марии или видел ее так редко, что выносить ее присутствие стало ему легко и даже приятно? Разумеется, он не проговорился о своем недовольстве, разве лишь выразил сомнение в том, что Ада поступила правильно, поторопившись покинуть санаторий: надо было сначала гарантировать себя от возможности рецидива. И в самом деле, когда она вскоре – еще той же зимой – оказалась вынуждена вновь вернуться в Болонью, он торжествующе заявил:

– Ну? Что я говорил?

Не думаю, впрочем, чтобы в этом торжестве была какая-нибудь иная радость, помимо той, которую он всегда так живо ощущал, когда ему удавалось что-либо предвидеть. Он не желал зла Аде, но охотно подержал бы ее подольше в Болонье.

Когда Ада вернулась, Аугуста была прикована к постели в связи с рождением маленького Альфио, но вела она себя просто трогательно. Она пожелала, чтобы я пошел на вокзал с цветами и сказал Аде, что она хочет видеть ее сегодня же. А если Ада не сможет заехать к ней прямо с вокзала, она просит, чтобы я не мешкая воротился домой: ей не терпится узнать, как Ада выглядит – полностью ли вернулась к ней ее прежняя красота, которой так гордилось все семейство.

На вокзал пришли я, Гуидо и Альберта – одна, без матери, потому что синьора Мальфенти проводила теперь большую часть времени подле Аугусты. Сидя на скамейке, Гуидо пытался убедить нас в том, что он безумно рад возвращению Ады, но Альберта слушала его весьма рассеянно: для того чтобы – как она сказала мне позже – ничего ему не отвечать. Что касается меня, то притворяться перед Гуидо мне не стоило теперь никакого труда. Я привык делать вид, что не замечаю предпочтения, которое он оказывает Кармен, и ни разу не осмелился намекнуть ему на его прегрешения перед женой. Поэтому мне и сейчас было нетрудно притворяться, что я внимательно его слушаю и люблюсь радостью, которую он испытывает в связи с возвращением обожаемой жены.

Когда поезд ровно в полдень подошел к вокзалу, Гуидо бросился вперед, чтобы первым подбежать к жене, которая выходила из вагона. Он обнял ее и нежно поцеловал. И я, глядя на его согнутую спину – он наклонился, чтобы поцеловать жену, которая была меньше его ростом, – подумал: «Что за актер!» Потом он взял Аду за руку и подвел к нам:

– Вот она: совсем такая же, какой мы ее любили!

И тут стало ясно, какой он был лицемер и притворщик, потому что если бы он внимательно взглянул в лицо бедной женщине, он заметил бы, что теперь она может рассчитывать не на любовь, а лишь на равнодушие. Лицо у Ады было как будто плохо вылеплено: у нее вновь появились щеки, но они оказались не на месте, словно плоть, вернувшаяся к ней, забыла, где она располагалась раньше, и поместилась ниже, чем следует. Это было больше похоже на припухлости, чем на щеки. Глаза тоже вернулись в орбиты, но ущерб, который они понесли, выйдя из них, оказался непоправимым. Основные линии лица,

ранее такие четкие, оказались смазаны и безнадежно разрушены. Когда мы прощались, уже выйдя из здания вокзала, я заметил в ослепительном свете зимнего солнца, что и цвет ее лица, который я так когда-то любил, стал совсем иным. Она побледнела, а на припухлых местах кожа была усеяна красными пятнами. Вне всяких сомнений, здоровье покинуло это лицо, а врачи лишь помогли вернуть ему в какой-то мере его обманчивую видимость.

Вернувшись к Аугусте, я рассказал ей, что Ада вновь стала такой же красивой, какой была в девушках. Аугуста очень обрадовалась. Потом, уже после того, как она сама увидела Аду, она, к моему удивлению, согласилась с моим суждением, словно ложь, сказанная мною из жалости, была самой очевидной правдой. Она твердила:

– Она так же красива, как была в девушках, и такой же красивой будет моя дочь!

Так что, видимо, взгляд сестры не очень-то проницателен.

Потом я долгое время не видел Аду. У нее было слишком много детей, да и у нас тоже. Правда, Ада и Аугуста все-таки умудрялись видеться несколько раз в неделю, но всегда в те часы, когда меня не было дома.

Приближалось время годового баланса, и я был завален делами. Никогда в жизни я не работал столько, сколько в ту пору. Иногда я просиживал за столом по десять часов. Гуидо предложил пригласить мне в помощь бухгалтера, но я и слышать об этом не хотел. Я принял на себя эти обязанности и должен был справляться сам. Мне хотелось таким путем компенсировать Гуидо то мое роковое месячное отсутствие. К тому же мне было приятно демонстрировать Кармен свое прилежание, которое теперь не могло вдохновляться ничем, кроме преданности Гуидо.

Но едва я начал приводить счета в порядок, как мне сразу стало ясно, что в первый же год нашей деятельности мы понесли огромные убытки. Озабоченный, я сказал об этом с глазу на глаз Гуидо, но он в этот момент торопился на охоту и не захотел вникать в дело.

– Вот увидишь, все это не так уж серьезно, как тебе кажется, и потом, год ведь еще не кончился!

И в самом деле, до конца года оставалось еще целых восемь дней.

Тогда я признался во всем Аугусте. Сначала она не усмотрела в этой истории ничего, кроме возможности ущерба для меня. Так устроены все женщины, а Аугуста по части заботы о своем добре выделялась даже среди женщин. Она спросила, не придется ли мне в конце концов тоже в какой-то степени отвечать за понесенные Гуидо убытки? И пожелала, чтобы я не теряя времени проконсультировался у адвоката. Кроме того, мне следовало расстаться с Гуидо и перестать посещать его контору.

Мне было нелегко убедить ее в том, что я не мог ни за что нести ответственность, будучи всего-навсего одним из служащих Гуидо. Она стояла на том, что человек, не имеющий фиксированного жалования, не может считаться служащим, а скорее должен рассматриваться как хозяин или что-то в этом роде. Когда же она наконец поняла, она все равно осталась при своем мнении: я ничего не потеряю, если перестану посещать эту контору, где в конце

концов испорчу свою репутацию коммерсанта. Черт возьми! Моя репутация коммерсанта! Я не мог не согласиться с тем, что спасти ее действительно очень важно, и хотя Аугуста плохо аргументировала свою точку зрения, я пообещал сделать все, что она хотела. Мы сошлись на том, что я кончу подведение баланса, поскольку уж я его начал, а потом как-нибудь изыщу способ вернуться в свою собственную маленькую контору, которая не приносила мне больших прибылей, но по крайней мере не заставляла терпеть убытки.

И тут мне довелось узнать о себе неожиданную вещь. Я оказался не в состоянии бросить работу у Гуидо, хотя твердо решил это сделать. Этот факт меня поразил! Для того чтобы в чем-то разобраться, лучше всего прибегнуть к образам. И я вспомнил, что когда-то в Англии приговор к каторжным работам означал следующее: осужденного привязывали к колесу, приводимому в движение водой, и несчастный, если он не хотел, чтобы ему переломало ноги, принужден был двигать ими в определенном ритме. Когда работаешь, всегда ощущаешь что-то вроде такого вот принуждения. Правда, когда не работаешь, положение не меняется, и думаю, я прав, утверждая, что и я и Оливи – мы оба привязаны, только я привязан так, что не должен двигать ногами. Правда, одинаковое положение приводило меня и Оливи к разным результатам, но теперь я точно знаю, что сам результат не оправдывает ни осуждения, ни восхваления. В общем, все дело в том, привязаны ли вы к вращающемуся колесу или неподвижному. Освободиться от него одинаково трудно.

Уже покончив с годовым балансом, я продолжал ходить в контору, хотя и решил, что не пойду туда больше никогда. Я выходил из дому в нерешительности; с той же нерешительностью выбирал направление – примерно в этом направлении находилась наша контора, – и по мере того, как я шел, это направление все уточнялось, покуда я не оказывался сидящим на своем стуле напротив Гуидо. К счастью, вскоре меня попросили не покидать моего поста, и я тут же согласился, поскольку понял за это время, что все равно к нему прикован.

К пятнадцатому января балансовый отчет был готов. Обнаружилась настоящая катастрофа: мы окончили год, потеряв половину капитала. Гуидо не хотел показывать этот отчет молодому Оливи, боясь нескромности с его стороны, но я настоял. Я надеялся, что он, с его практикой, найдет в моих расчетах какую-нибудь сумму из графы «приход», попавшую в графу «расход», и, внося поправку, мы добьемся существенного улучшения баланса. Улыбнувшись, Оливи пообещал Гуидо держать в полной тайне все, что узнает, и проработал вместе со мной целый день. К несчастью, никакой ошибки он не обнаружил. Должен сказать, что я из этой ревизии, проведенной совместно с Оливи, почерпнул очень много и теперь взялся бы закрывать годовые балансы и потруднее нашего.

– Ну, и что вы теперь будете делать? – спросил перед уходом ученый юнец, сверкая очками.

Я знал, что он нам мог посоветовать. Отец, который во времена моей юности часто говорил со мной о коммерции, мне это объяснял. В соответствии с действующими законами мы, выяснив потерю половины капитала, были



обязаны ликвидировать дело, а потом возобновить его на новых началах. Но я хотел услышать этот совет из уст Оливи. Он еще добавил:

– Речь идет о простой формальности. – Потом улыбнулся: – Если вы решите ее пренебречь, вам это может дорого обойтись.

Вечером проверять баланс взялся сам Гуидо, который никак не мог примириться со случившимся. Он делал это без всякой системы, проверяя то одну, то другую сумму наугад. Я прервал это бессмысленное занятие, сообщив ему совет Оливи ликвидировать дело сразу же, но для проформы. До сих пор Гуидо морщился от усилий, которые он прилагал, чтобы найти в счетах спасительную ошибку, причем на его хмурый вид еще накладывалась гримаса человека, чувствующего во рту неприятный вкус. При моих словах он поднял вдруг совершенно разгладившееся лицо, на котором появилось выражение напряженного внимания. Он не сразу понял, в чем дело, но когда понял, то расхохотался от всего сердца. Я объяснил эту смену выражений так: выражение горечи и суровости сохранялось на его лице, покуда он имел дело с цифрами, которые он не в силах был изменить. Но оно сразу же сменилось выражением радости и решимости, едва мучительная проблема была решена с помощью предложения, вернувшему ему положение судьи и хозяина.

Но, оказывается, он ничего не понял. Совет Оливи показался ему советом врага. Я объяснил ему, что совет Оливи имеет смысл, особенно в связи с тем, что нашей фирме, бесспорно, угрожает опасность потерять остальные деньги и лопнуть. И это будет расцениваться как злостное банкротство, если мы, получив такой баланс, уже зафиксированный в наших книгах, не примем мер, о которых он говорил. И я добавил:

– Наказание, которое предусматривают наши законы за злостное банкротство, – тюрьма.

Лицо Гуидо так побагровело, что я испугался кровоизлияния в мозг. Он воскликнул:

– Я не нуждаюсь в советах Оливи! Если этому и суждено случиться – я буду отвечать один.

Такое решение внушило мне уважение: я почувствовал, что нахожусь рядом с человеком, прекрасно сознающим свою ответственность. И взял тоном ниже. А потом и вовсе перешел на его сторону и, забыв, что сам же рекомендовал ему принять совет Оливи во внимание, сказал:

– Именно так я и возразил Оливи. Вся ответственность лежит на тебе. Мы не имеем права вмешиваться в твои решения, поскольку речь идет о фирме, принадлежащей тебе и твоему отцу.

На самом деле я сказал это не Оливи, а своей жене, но в общем-то я не соврал, сказав, что я это сказал! Ну а сейчас же после того, как я выслушал мужественное заявление Гуидо, я был бы способен сказать это и самому Оливи, потому что решительность и мужество всегда меня покоряли. Да что там говорить, если я так люблю даже обыкновенную самоуверенность, которая, конечно, может быть следствием и этих свойств характера, но также и других, куда более низменных.

Так как все им сказанное я намеревался сообщить Аугусте, чтобы ее

успокоить, я продолжал настаивать:

– Ты же знаешь, все считают, – и, наверное, не без оснований, – что у меня нет никаких способностей к коммерции. Поэтому я готов исполнить все, что ты мне прикажешь, но уж никак не могу брать на себя ответственность за твои поступки.

Он с живостью согласился. Он вообще так хорошо себя чувствовал в роли, которую я ему навязал, что даже забыл о своих огорчениях в связи с балансом. Он заявил:

– За все отвечаю я. Все здесь носит мое имя, и я бы ни за что не согласился, даже если бы кто-нибудь и пожелал разделить со мной ответственность.

Для передачи Аугусте все это годилось как нельзя лучше, но значительно превосходило мои требования. Нужно было видеть, с каким видом он произнес последнюю фразу: прямо-таки апостол, а не купец, стоящий на грани банкротства. Удобно устроившись на своем пассивном балансе, он снова почувствовал себя моим хозяином и господином. И опять, как это часто случалось в период нашей совместной жизни, порыв искреннего участия с моей стороны был сведен на нет словами, в которых сквозило его непомерное уважение к самому себе. Он фальшивил. Да, я вынужден употребить именно это слово: этот великий музыкант фальшивил!

Я резко спросил:

– Хочешь, я завтра же сделаю копию баланса для твоего отца?

На языке у меня вертелась еще более резкая фраза, а именно, что, закрыв баланс, я впредь воздержусь от посещения его конторы. Но я не произнес ее, потому что не знал, куда в таком случае я буду девать такую уйму остающегося у меня свободного времени. Однако мой вопрос почти заменил фразу, которую мне пришлось проглотить. Ею я напомнил, что в этой конторе хозяином был не только он.

Гуидо, по-видимому, удивили мои слова: слишком уж они не соответствовали всему, что говорилось до сих пор и с чем я, казалось, был совершенно согласен. И он заявил прежним тоном:

– Я сам покажу тебе, как надо будет сделать эту копию.

Я заорал, что на это я не согласен. За всю свою жизнь я ни на кого не кричал столько, сколько на Гуидо, потому что порой он казался мне прямо-таки глухим! Я объяснил, что бухгалтер тоже несет ответственность перед законом и я не собираюсь выдавать за копию взятые с потолка колонки цифр.

Он побледнел и признал, что я прав, но добавил, что, будучи хозяином, имеет право запретить мне делать выписки из его счетных книг. Я охотно признал, что это так, и тогда он, воспрянув духом, заявил, что отцу напишет сам. Сначала он вроде бы собирался сесть писать сразу же, но потом раздумал и предложил мне немного пройтись. Я согласился, чтобы сделать ему приятное. Я понимал, что он не успел еще перевернуть баланс, и желает пройтись, чтобы немного его утрясти.

Эта прогулка напомнила мне ту, что мы совершили с ним в ночь моего обручения. Не хватало луны, потому что наверху висел туман, но внизу все

было точно таким же, и прозрачный воздух позволял нам уверенно различать путь. Guido тоже вспомнился тот достопамятный вечер.

– С той поры мы ни разу с тобой не гуляли ночью. Помнишь, как ты мне тогда объяснял, что на луне целуются так же, как и под луной? Я уверен, что и сейчас на луне по-прежнему длится тот вечный поцелуй, хотя ее сегодня и не видно... Зато здесь, внизу...

Неужели он снова собирался злословить об Аде? О бедной больной женщине? Я прервал его, но робко, почти с ним соглашаясь (ведь разве не для того я с ним и пошел, чтобы помочь ему забыться?):

– О да! Здесь, внизу, не всегда приходится целоваться! Но зато поцелуй наверху – это лишь изображение поцелуя. Ведь поцелуй – прежде всего движение!

Я пытался уклониться от обсуждения его проблем – то есть старался не говорить ни о балансе, ни об Аде, а поэтому даже удержал рвавшуюся с языка фразу о том, что там, наверху, от поцелуя не родятся близнецы. Но он хотел избавиться от мыслей о балансе и не нашел для этого ничего лучшего, как начать жаловаться на другие свои несчастья. Как я и предчувствовал, он стал злословить об Аде. Начал он с сетований на то, что первый же год его брачной жизни оказался для него таким несчастливым. Он имел в виду не близнецов, которые были такие славные, а болезнь Ады. Он считал, что именно болезнь сделала ее раздражительной, ревливой и, несмотря на ревность, далеко не такой любящей, как раньше. В заключение он с горечью воскликнул:

– Жизнь жестока и несправедлива!

Я чувствовал себя совершенно не вправе высказывать какие-либо суждения, касающиеся его отношений с Адой. Но в то же время мне казалось необходимым что-то сказать. Он закончил свою речь, прилепив к слову «жизнь» два определения, которые не отличались излишней оригинальностью. Мне удалось придумать кое-что получше, потому что я критически отнесся к тому, что сказал он. Порой говоришь, следуя лишь звучанию случайно соединившихся слов. Потом смотришь – а стоило ли все сказанное потраченного на него дыхания, и иногда обнаруживаешь, что случайное соединение звуков породило мысль. Так вот, я сказал:

– Жизнь не плоха и не хороша: она оригинальна.

Когда я поразмыслил над сказанным, мне показалось, что я произнес нечто значительное. Охарактеризованная таким образом жизнь показалась мне настолько новой, что я принялся разглядывать ее так, словно видел впервые, со всеми ее твердыми, жидкими и газообразными телами. Если б я рассказал о ней кому-нибудь, кто не имел к ней привычки и, следовательно, нашего здравого смысла, у него бы дух захватило перед лицом этой громоздкой конструкции, лишенной всякого смысла. Он спросил бы меня: «Но как вы могли ее выносить?» И, познакомившись с ней во всех деталях – начиная от огромных небесных тел, подвешенных в высоте для того, чтобы мы на них только смотрели, но не могли дотронуться, и кончая тайной смерти, – он бы, конечно, воскликнул: «Очень оригинально!»

– Жизнь оригинальна! – сказал Guido смеясь. – Где это ты вычитал?

Я не считал нужным уверять его, что нигде этого не вычитывал, потому что в таком случае мои слова в значительной мере потеряли бы для него свой вес. Я же, чем больше раздумывал, тем более оригинальной находил жизнь. Не надо было даже смотреть на нее глазами пришельца из других миров, чтобы увидеть, как странно в ней все устроено. Достаточно было вспомнить все то, чего мы, люди, от нее ждем, как она сразу покажется нам такой странной, что невольно возникнет мысль, будто человек появился в ней по ошибке, а на самом деле он не имеет к ней никакого отношения.

Не стовариваясь, мы, как и в тот вечер, завершили нашу прогулку на обрыве Виа Бельведере. Найдя парапет, на котором он лежал тогда, Гуидо снова взобрался на него и улегся. Он что-то тихонько напевал себе под нос, по-прежнему одолеваемый своими мыслями, и раздумывал, конечно, о неумолимых цифрах своей отчетности. Я же, вспомнив о том, что на этом самом месте хотел его убить, и сравнив тогдашние свои чувства с нынешними, лишней раз удивился несравненной оригинальности жизни. И тут мне вдруг пришло в голову, что еще совсем недавно, всплыв из-за уязвленного самолюбия, я набросился на бедного Гуидо, и это в один из самых тяжелых дней, выпавших ему в жизни! Я попытался разобраться в случившемся. Так как я без особых терзаний наблюдал за страданиями, которые причинил Гуидо любовно составленный мною баланс, мне пришло в голову одно любопытное сомнение и сразу же после – одно любопытнейшее воспоминание. Сомнение было такое: хороший я человек или плохой? Воспоминание же было вызвано к жизни этим сомнением, которое отнюдь не было для меня новым. Я вдруг увидел себя ребенком, еще в платьице. Ребенок подымал личико к улыбающейся матери и спрашивал: «Я хороший или плохой?» Это сомнение родилось в моей детской душе, конечно, потому, что одни называли меня хорошим, а другие – в шутку – плохим. Неудивительно, что ребенок встал в тупик перед этой дилеммой! О несравненная оригинальность жизни! Разве не поразительно, что сомнение, поселившееся в душе ребенка в той еще совсем детской форме, я не сумел разрешить, даже став взрослым и перевалив за середину своего жизненного пути?

Сомнение, одолевшее меня в такую мрачную ночь, да еще на том самом месте, где когда-то у меня возникло желание убить, поселило в моей душе глубокую тревогу. То же сомнение, возникшее в детской головке, с которой едва сняли младенческий чепчик, причиняло, конечно, меньше страданий: ведь детям всегда говорят, что плохой еще может исправиться. Чтобы избавиться от тревоги, я попытался снова в это поверить, и это мне удалось.

Если бы мне это не удалось, мне осталось бы только оплакивать и себя, и Гуидо, и всю нашу несчастную жизнь. Поверить вновь в старую, детскую иллюзию заставило меня доброе намерение. Намерение заключалось в следующем: я снова займу свое место рядом с Гуидо и буду работать, добиваясь процветания дела, от которого зависела его жизнь и жизнь его близких, и все это я буду делать безо всякой корысти. Передо мной смутно рисовались картины того, как я буду ради него бегать, хлопотать, стараться. Я даже не исключал возможности того, что ради его блага сделаюсь в один прекрасный

день великим, предприимчивым, гениальным коммерсантом! Вот о чем думал я в одну из тех мрачных ночей, которые порой выпадают нам среди нашей оригинальнейшей жизни!

Гуидо тем временем перестал раздумывать о балансе. Он встал со своего места, и вид у него был такой, словно он совершенно успокоился. Как бы подводя итог рассуждению, оставшемуся мне неизвестным, он заявил, что не сообщит отцу ничего, иначе бедный старик предпримет грандиозное путешествие из своей летней жары в наши зимние туманы. Потом он сказал мне, что убыток, который на первый взгляд кажется таким значительным, будет уже не совсем таким, если он ляжет не на одного него. Он попросит Аду принять на себя половину, а за это выделит ей в следующем году часть прибылей. Вторую же половину убытка он возьмет на себя.

Я ничего на это не сказал. Я решил, что не должен давать никаких советов, если не хочу в конце концов очутиться в роли, которая меня совершенно не прельщала, в роли судьи между двумя супругами. Впрочем, в этот момент я был настолько преисполнен добрых намерений, что мне даже казалось, что Ада сделает совсем неплохое дело, согласившись участвовать в нашем предприятии.

Я проводил Гуидо до самого дома и долго жал ему руку, молча, без слов укрепляясь в своем намерении хорошо к нему относиться. Потом я подумал – что бы сказать ему такого хорошего, и в конце концов придумал следующую фразу:

– Пусть твоим близнецам хорошо спится сегодня ночью: ведь тебе так нужно как следует отдохнуть.

Уходя, я кусал губы от досады, что не мог придумать ничего лучше. Если бы я тогда знал, что близнецы, у каждого из которых была теперь своя кормилица, спали чуть ли не в полукилометре от Гуидо и никак не могли ему мешать! Но так или иначе он понял, что я хотел сказать, и с признательностью пожал мне руку.

Придя домой, я застал Аугусту в спальне с обоими детьми. Альфио сосал грудь, а Антония спала в своей кроватке, повернувшись к нам кудрявым затылком. Мне пришлось объяснить причину своего опоздания, а потому я рассказал ей о том, каким путем Гуидо собирается избавиться от пассивного сальдо. Аугусте предложение Гуидо показалось возмутительным.

– На месте Ады я бы отказалась! – воскликнула она с жаром, хотя и шепотом, чтобы не испугать малыша.

Помня о своем намерении быть добрым, я возразил:

– Значит, если бы я попал в такой же переплет, ты отказалась бы мне помочь?

Она засмеялась:

– Это совсем другое дело! Мы бы с тобой вместе придумали что-нибудь такое, что было бы всего выгоднее для них, – и она указала на ребенка, которого держала на руках, а потом на Антонию. Затем, подумав, добавила: – А если мы сейчас посоветуем Аде вложить свои деньги в это дело, из которого ты вскоре выйдешь, не будем ли мы обязаны возместить ей убытки, если она потеряет свои капиталовложения?

Такая мысль могла прийти в голову только совершенно несведущему в коммерции человеку, но, побуждаемый своим вновь приобретенным альтруизмом, я воскликнул:

– А почему бы и нет?

– Разве ты не видишь, что у нас двое детей, о которых мы обязаны думать?

Еще бы я этого не видел! Вопрос был чисто риторический и совершенно бессмысленный.

– А разве у них нет двоих детей? – спросил я торжествуя.

Аугуста расхохоталась так громко, что испугала Альфио, который тут же бросил грудь и заплакал. Она принялась его успокаивать, не переставая смеяться, и я воспринял ее смех как дань своему остроумию, хотя на самом деле в момент, когда я задавал ей этот вопрос, я чувствовал себя движимым великой любовью к родителям всех детей и детям всех родителей. Ее смех не оставил от этого чувства камня на камне.

Но огорчение по поводу того, что я не умею быть по-настоящему добрым, прошло довольно быстро. Мне показалось, что я наконец разрешил мучившую меня проблему. В мире не существовало ни добрых, ни злых, как не существовало и множества других вещей. Доброта была светом, который лишь короткими вспышками время от времени озарял мрак человеческой души. Нужен был горящий факел, чтобы этот свет вспыхнул (в моей душе он уже загорался и рано или поздно загорится снова), и человек получал возможность выбрать направление, которого он потом будет придерживаться, когда вновь окажется в темноте. Поэтому человек мог вести себя так, словно он добрый, совсем добрый, всегда добрый – и это очень важно. Когда свет загорится вновь, он уже не застанет его врасплох и не ослепит. Я задул этот свет сам, видя, что пока в нем нет необходимости. Я знал, что сумею остаться верным своему намерению, то есть сохранить нужное направление.

Намерение быть добрым так практично и так успокаивает, что я сразу стал спокоен и холоден. И забавная вещь! Чрезмерная доброта привела к тому, что я сильно переоценил себя и свои возможности. Что, в сущности, я мог сделать для Гуидо? Это верно, что в его конторе я настолько же превосходил знаниями всех остальных, насколько в моей конторе превосходил меня старший Оливи. Но это еще ничего не значило. Если подходить к делу практически, что я мог предложить Гуидо, скажем, завтра? Разве что свое вдохновение? Но на него нельзя полагаться даже за карточным столом, если играешь на чужие деньги! Чтобы торговая фирма жила нормальной жизнью, нужно, чтобы работа у нее была каждый день, а организовать это можно только в том случае, если посвящать делу каждый свой час. Я был способен на это меньше, чем кто-либо другой, а кроме того, мне казалось несправедливым обречь себя из-за собственной доброты на пожизненную скуку.

Однако от того порыва доброты у меня осталось такое ощущение, будто я взял перед Гуидо какие-то обязательства, и это не давало мне заснуть. Я несколько раз глубоко вздохнул, и у меня даже вырвался стон – наверняка в тот момент, когда я подумал, что теперь на всю жизнь прикован к конторе Гуидо, так же как Оливи прикован к моей.

Аугуста в полусне пробормотала:

– Что с тобой? Ты придумал что-нибудь новое для Оливи?

Вот она, мысль, которую я искал! Я посоветую Гуидо пригласить к себе управляющим молодого Оливи. Этот юноша, такой серьезный и такой трудолюбивый, но с которым я бы охотно расстался, так как мне казалось, что он метит на место отца, чтобы окончательно отстранить меня от дел, – этот самый юноша, конечно же, должен работать у Гуидо, и от этого все только выиграют! Предоставив ему место в своей конторе, Гуидо будет спасен, что же касается самого Оливи, то там он окажется гораздо полезнее, чем у меня.

Эта мысль привела меня в такой восторг, что, желая ею поделиться, я разбудил Аугусту. Ей она тоже настолько понравилась, что она окончательно проснулась. Ей казалось, что таким образом мне будет гораздо легче уйти из фирмы Гуидо, пребывание в которой становилось для меня опасным. Я уснул со спокойной совестью. Я придумал, как спасти Гуидо, не принося в жертву себя – даже напротив!

Нет ничего неприятнее, чем увидеть, как отвергают совет, подготовленный нами с искренним старанием и стоивший нам таких усилий, что ему пришлось пожертвовать даже несколькими часами сна. Кроме того, мне ведь пришлось сделать над собой еще одно усилие – а именно, расстаться с иллюзией, будто конторе Гуидо может принести какую-то пользу мое личное участие в его делах. Тут понадобилось усилие поистине гигантское! Сначала мне удалось достичь подлинной доброты, потом абсолютной объективности – и вот теперь меня посылали подальше!

Гуидо отверг мой совет буквально с негодованием. Он не верил в таланты молодого Оливи, а кроме того, ему не нравилась его внешность молодого старичка, а еще того более – очки, которые так ослепительно сверкали на его тусклом лице. Аргументы были подобраны таким образом, чтобы я понял, что существенным среди них был только один: желание поступить мне назло. В конце концов он заявил, что взял бы управляющим не молодого, а старого Оливи. Но я не был уверен, что смогу обеспечить ему его сотрудничество, а кроме того, не чувствовал себя готовым вот так, сразу, взять на себя руководство собственной конторой. Я имел глупость вступить с ним в спор и объяснить, что и старый Оливи – это не бог весть что. Я рассказал Гуидо, как дорого мне однажды обошлось его упрямство – в тот раз, когда он не захотел вовремя купить сухие фрукты!

– Ну и ну! – воскликнул Гуидо. – Если сам старик немного стоит, то чего же может стоить парень, который всего лишь его ученик?

Вот это можно было наконец принять за основательный аргумент, и он был для меня тем более неприятен, что рождению его способствовал я сам своей дурацкой болтливостью.

Спустя несколько дней Аугуста рассказала мне, что Гуидо попросил Аду возместить ему половину понесенного им убытка. Ада отказалась. Аугусте она сказала:

– Он мне изменяет и еще требует у меня денег!

У Аугусты не хватило храбрости посоветовать дать эти деньги; но она

уверяла, что сделала все возможное для того, чтобы заставить Аду переменить мнение о супружеской верности Гуидо. Ада ответила ей таким образом, что стало ясно: ей на этот счет известно гораздо больше, чем мы думали. Что касается Аугусты, то в разговоре со мной она рассуждала так:

– Ради мужа надо идти на любые жертвы, но остается ли эта аксиома действительной в случае с Гуидо?

В последующие дни поведение Гуидо сделалось совершенно необычным. Он то и дело заходил в контору, но не задерживался там больше, чем на полчаса. Потом вдруг срывался и бежал, как будто вспомнив, что оставил дома носовой платок. Потом я узнал, что он бегал представлять на суд Ады вновь придуманные аргументы, которые, по его мнению, должны были определенно склонить ее на его сторону. У него был вид человека, который либо много плакал, либо ругался, а то даже и дрался; и даже в нашем присутствии он не мог скрыть чувств, которые мешали ему говорить и вызывали на глаза слезы. Я спросил, что с ним происходит. Он ответил мне грустной, но дружеской улыбкой, давая понять, что на меня зла не держит. Потом он взял себя в руки настолько, чтобы говорить со мной относительно спокойно, и кое-что рассказал. Оказывается, Ада извела его ревностью.

Таким образом, мне он сказал, будто спор между ними касается только интимных дел, в то время как я знал, что в их отношения вторглись совсем другие дела – дела, касающиеся статьи убытков и доходов.

И вдруг оказалось, что эта статья совершенно ни при чем. В этом меня уверял он, это же говорила и Ада Аугусте, твердя ей только о своей ревности. Да и страстность, с которой велись эти споры, оставлявшие такие заметные следы на лице Гуидо, заставляла думать, что они говорят правду.

А на самом деле потом выяснилось, что супруги только и говорили, что о деньгах. Ада, хотя ею руководило исключительно оскорбленное чувство, из гордости ни разу о нем не заикнулась. А Гуидо – может, именно потому, что знал за собой вину, – хотя и понимал, что в Аде бушует гнев оскорбленной в своем чувстве женщины, продолжал говорить только о делах, словно остального просто не существовало. Он все больше выбивался из сил в погоне за этими деньгами, а она, хотя ее совершенно не трогали деловые вопросы, выдвигала единственный аргумент: деньги должны остаться детям, И когда он выдвигал ей другие аргументы – его спокойствие, выгода, которую принесет детям его работа, уверенность, проистекающая от сознания того, что ты в ладах с законом, – она осаживала его жестким «нет»: Это ожесточало Гуидо и – как это бывает у детей – еще более его раззадоривало. Но оба, когда обсуждали это дело с другими, полагали, что они совершенно точны, когда говорят, что страдают от любви и от ревности.

По какому-то странному недоразумению я не вмешался в их споры вовремя, хотя мог бы сразу же положить конец обсуждению этого прискорбного денежного вопроса. Я мог доказать Гуидо, что этот вопрос не имеет ровно никакого значения. Как бухгалтер я крепок задним умом и начинаю понимать, что к чему, только тогда, когда все уже записано в книгах черным по белому. Однако мне кажется, я очень быстро сообразил, что вклад, которого Гуидо так



добивался от Ады, мало изменил бы положение. Чему мог служить такой вклад? Убыток от этого не стал бы меньше, разве что Ада согласилась бы провести свои деньги через нашу отчетность – о чем Гуидо ее не просил. Закон мы бы все равно не обманули, так как он сразу бы обнаружил, что, потеряв столько денег, мы намерены рисковать еще больше, вовлекая в дело новых пайщиков.

Однажды утром Гуидо не появился в конторе, что очень нас удивило, так как мы знали, что на охоту он накануне не уезжал. За завтраком взволнованная и расстроенная Аугуста сообщила мне, что Гуидо вчера вечером пытался покончить с собой. Сейчас он был вне опасности. Должен признаться, что эта новость, которая Аугусте казалась трагической, меня только разозлила.

Он прибегнул к этому сильнодействующему средству, чтобы сломить сопротивление жены! Тут же я узнал, что он проделал это со всеми предосторожностями. Прежде чем принять морфий, он позаботился о том, чтобы откупоренный пузырек увидели у него в руке. Поэтому, едва он впал в забытие, Ада вызвала врача, и Гуидо сразу же оказался вне опасности. Зато Ада провела ужасную ночь: сначала доктор почему-то счел необходимым делать всякие оговорки насчет исхода отравления, а затем ее расстроил Гуидо, который, едва придя в себя и, может быть, еще не в полном сознании, принялся осыпать ее упреками, называя своим врагом, своей гонительницей, не дающей ему возможности спокойно трудиться, к чему он единственно и стремится.

Ада сразу же пообещала ему деньги, которые он просил, но потом, должно быть, желая оправдаться, заговорила наконец откровенно и высказала все упреки, которые столько времени держала про себя. Им удалось в конце концов договориться, потому что Гуидо сумел – во всяком случае, так казалось Аугусте – рассеять все подозрения Ады насчет его неверности. Он повел себя очень решительно; когда дело дошло до Кармен, он воскликнул:

– Так ты ревнуешь меня к ней? Ну так, если хочешь, я уволю ее хоть сегодня!

Ада ничего не ответила, полагая, что из этого он должен сделать вывод, что его предложение принято и что он взял на себя перед ней определенные обязательства.

Меня удивило, что Гуидо сумел так себя вести в полузабытии, и я решил, что он просто-напросто не принял даже той маленькой дозы морфия, о которой говорили. Мне кажется, что одно из последствий затемнения сознания во время сна состоит в том, что смягчаются даже совсем зачерствевшие души, побуждая человека к самым чистосердечным признаниям. Разве мне самому не пришлось пережить это совсем недавно? Все это еще более увеличило гнев и презрение, которые я чувствовал к Гуидо.

Аугуста плакала, рассказывая мне о том, в каком состоянии застала она Аду. Нет, Ада уже не была красивой, с этими ее глазами, еще более расширившимися от ужаса.

Между мною и женой завязался долгий спор на тему о том, должен ли я сразу посетить Гуидо и Аду, или лучше мне сделать вид, что я ничего не знаю, и дожидаться его появления в конторе. Этот визит казался мне непосильным

испытанием. Ведь разве смогу я, увидев Гуидо, удержаться и не высказать всего, что я о нем думаю? Я скажу:

– Поступок, недостойный мужчины! У меня нет ни малейшего желания кончать с собой, но можешь не сомневаться, что если я когда-нибудь на это решусь, у меня получится с первого раза.

Мысленно я говорил себе именно это и уже хотел сказать то же самое и Аугусте, но потом подумал, что много чести Гуидо – сравнивать его со мной.

– Для того чтобы разрушить человеческий организм, который даже слишком уязвим, вовсе не надо быть химиком. В нашем городе не проходит недели, чтобы какая-нибудь модисточка не приняла раствор фосфора, приготовленный ею самой в уединении ее жалкой каморки. И от этого примитивного яда – какие бы потом ни были приняты меры – она непоправимо переселяется в иной мир, и личико ее перед смертью застывает в мучительной гримасе, вызванной физическими и моральными страданиями, которые пришлось претерпеть ее невинной душе.

Аугуста выразила несогласие с тем, что душа покончившей с собою модистки так уж невинна, но после этого несущественного возражения снова вернулась к своим попыткам убедить меня в необходимости этого визита. Она сказала, что я могу не бояться очутиться в неловком положении. Она уже виделась с Гуидо, и тот держал себя с нею так просто, словно речь шла о самом заурядном поступке.

Я вышел из дому, не доставив Аугусте удовольствия почувствовать, что она меня убедила, но после недолгого колебания все же решил исполнить ее просьбу и направился к дому Гуидо. Пройти мне надо было совсем немного, но размеренная ходьба меня немного успокоила, и я смягчился. Я вспомнил, какое направление указал мне огонь, вспыхнувший несколько дней назад в моей душе. Гуидо был ребенком – ребенком, к которому я обещал себе быть снисходительным. Раз самоубийство ему не удалось, рано или поздно он тоже достигнет зрелости.

Горничная ввела меня в комнату, которая, должно быть, служила Аде кабинетом. День был туманный, и в маленькой комнате с единственным окном, задернутым плотной шторой, было темно. На стене висели портреты родителей Ады и Гуидо. Я оставался там недолго; вскоре за мной пришла горничная и проводила в спальню Ады и Гуидо. Это была просторная комната, в которой было светло даже в этот темный день, благодаря двумя большим окнам, светлым обоям и светлой мебели. Гуидо лежал в постели с повязкой на голове, а Ада сидела рядом с ним.

Гуидо принял меня без малейшего замешательства, больше того – с самой живой признательностью. Поначалу он показался немного сонным, но потом, когда он со мной здоровался, и позже, когда давал распоряжения насчет конторы, он сумел как-то встряхнуться и стал совсем бодрым. Затем он снова откинулся на подушки и закрыл глаза. Может, он просто вспомнил о том, что обязан продолжать комедию? Но так или иначе, он вызывал у меня теперь не гнев, а жалость, и я тут же почувствовал себя ужасно добрым.

Я не сразу взглянул на Аду: я боялся увидеть лицо Базедова. Но когда я

наконец взглянул, меня ждал приятный сюрприз: я опасался гораздо худшего. Глаза у нее действительно увеличились необыкновенно, но припухлости, которые находились на месте щек, исчезли, и она показалась мне красивее, чем была раньше. На ней было свободное, застегнутое до самого горла красное платье, в котором терялось ее худенькое тело. Было что-то в ее облике очень невинное и в то же время – благодаря глазам – очень суровое. Я не смог сразу разобраться в своих чувствах, но подумал, что подле меня женщина, очень похожая на ту Аду, которую я когда-то любил.

Потом Гуидо вдруг открыл глаза, вынул из-под подушки чек, на котором мне сразу же бросилась в глаза подпись Ады, подал его мне и попросил инкассировать, записав сумму на счет, который я должен был открыть на имя Ады.

– На имя Ады Мальфенти или Ады Шпейер? – шутя спросил я у Ады.

Она пожала плечами:

– Это уж вам виднее.

– Потом я тебе покажу, как нужно будет сделать другие записи, – коротко сказал Гуидо, и эта краткость меня очень задела.

Я был уже готов нарушить дремоту, в которую он впал незамедлительно после этого, и заявить, что если он нуждается в каких-то записях, то может делать их сам.

Но тут принесли большую чашку черного кофе, и Ада протянула ее ему. Он выпростал руки из-под одеяла и, обхватив чашку ладонями, поднес ко рту. И когда я увидел его вот таким, уткнувшим нос в чашку, он показался мне совсем ребенком.

Когда мы прощались, он заверил меня, что завтра же придет в контору.

Я распрощался и с Адой и поэтому был немало удивлен, когда она, запыхавшись, догнала меня у выхода.

– Послушай, Дзено! Вернись на минуточку! Мне нужно сказать тебе одну вещь.

Я последовал за ней в маленькую гостиную, где был незадолго до этого и куда теперь доносился плач одного из близнецов. Мы стояли лицом к лицу. Она продолжала тяжело дышать, и поэтому – только поэтому! – я на мгновение подумал, что она завела меня в эту темную комнатку, чтобы потребовать любви, которую я ей когда-то предлагал.

В темноте ее огромные глаза были ужасны. Я в тревоге спрашивал себя, как мне следует держаться. Может быть, мой долг – заключить ее в объятия и таким образом избавиться от необходимости об этом просить? В одно мгновение я перебрал множество разных решений. Может, это одна из самых трудных в жизни вещей – угадать, чего хочет женщина. Слушать, что она говорит, – бесполезно, потому что целая речь может быть сведена на нет одним взглядом, да и на взгляд тоже нельзя положиться, если ты, повинувшись ее желанию, очутился с ней наедине в уютной темной комнатке.

Не в силах разгадать ее, я попытался понять самого себя. Я-то чего хотел? Хотелось ли мне целовать эти глаза и это скелетоподобное тело? Я не мог ответить на это определенно, потому что совсем недавно она, в этом ее

целомудренно-суровом мягком капоте, показалась мне такой же желанной, как девушка, которую я когда-то любил.

Ее волнение усугубили еще и слезы, так что эти мгновения, в течение которых я не знал, чего хочет она и чего хочу я, еще более затянулись. Наконец прерывающимся от слез голосом она еще раз заявила о своей любви к Гуидо: таким образом, по отношению к ней у меня не было больше ни прав, ни обязанностей. Затем она прошептала:

– Аугуста сказала мне, что ты хочешь уйти от Гуидо. что ты не желаешь больше заниматься его делами. Прошу тебя – помогай ему по-прежнему. Я думаю, он не в состоянии справиться со всем этим сам.

Она просила меня продолжать делать то, что я и так продолжал делать. Это было немного, совсем немного, а я сделал попытку уступить больше:

– Раз ты этого хочешь, я буду продолжать помогать Гуидо. Постараюсь делать это лучше, чем делал до сих пор.

И снова я перехватил! Я заметил это сразу же, едва ступил в эту ловушку, но уже не мог идти на попятный. Этими словами я хотел сказать (а может быть, солгать!) Аде, как она была мне важна. Ей была нужна от меня не любовь, а помощь, а я говорил с ней так, что она могла думать, будто я готов предоставить ей и то и другое.

Ада сразу же взяла меня за руку. Я вздрогнул. Женщина многое предлагает, протягивая мужчине руку! Во всяком случае, у меня всегда было такое чувство. Стоит женщине протянуть мне руку, как мне сразу же начинает казаться, что и все остальное тоже принадлежит мне! Кроме того, я живо ощущал ее рост, и очевидный контраст, который представляли мы в этом отношении, тоже способствовал тому, чтобы я воспринял это рукопожатие почти как объятие. Так или иначе, это было очень интимное прикосновение.

Она добавила:

– Я должна сейчас снова вернуться в Болонью, в санаторий, и мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что рядом с ним находишься ты.

– Хорошо. Я останусь с ним! – сказал я смиренно. Ада должна была понять, что этот мой смиренный вид означает, что я приношу ей жертву. Но на самом деле смирился я не с этим: я смирился с тем, что возвращаюсь к обыкновенной, самой обыкновенной жизни, поняв, что Ада не собирается последовать за мной в ту, необыкновенную, которую я вдруг себе вообразил.

Я сделал усилие, чтобы окончательно спуститься на землю, и тут же обнаружил одну нерешенную и совсем не простую бухгалтерскую проблему. Сумму, обозначенную на чеке, который лежал у меня в кармане, я должен был внести на счет Ады. Это было ясно, но совсем не было ясно, каким образом эта запись затронет статью прибылей и убытков. Однако я ничего не сказал, подозревая, что Ада не знает даже о существовании гроссбуха, содержавшего в себе столь различные статьи.

Но мне не хотелось покидать эту комнату, так ничего больше и не сказав. И тогда, вместо того чтобы заговорить о проблемах счетоводства, я сказал одну фразу, которую в тот момент бросил так, походя, лишь бы что-нибудь сказать, и лишь потом понял, какое огромное значение имеет она для меня, для Ады и для

Гуидо, – но прежде всего для меня, ибо благодаря ей я лишний раз оказался скомпрометированным. Так важна была эта фраза, что я еще много лет спустя вспоминал о том, как, небрежно шевельнув губами, я произнес ее в той темной комнате в присутствии висевших на стене и словно переживших между собой родителей Ады и Гуидо. Я сказал:

– Что ж, Ада, в конце концов оказалось, что ты вышла замуж за человека, еще более странного, чем я.

Как все-таки умеют слова преодолевать границы времени! Они сами являются поступками, которые переплетаются с другими поступками. И этот мой поступок имел трагический характер, поскольку был обращен к Аде. Мысленно я никогда не сумел бы с такой живостью воскресить тот час, когда Ада выбирала между мною и Гуидо на освещенной солнцем улице, где я ухитрился ее поймать после стольких дней ожидания, и пошел ее провожать, стараясь рассмешить, потому что по глупости видел в ее смехе нечто вроде обещания. Я вспомнил, как сразу же сдался Гуидо, из-за того, что меня подвели мускулы ног, а у него походка была даже еще непринужденнее, чем у Ады; вообще у него не было никаких недостатков, если не считать привычки не расставаться со своей странной тростью.

Ада шепотом ответила:

– Да, ты прав.

Потом ласково улыбнулась:

– Но я рада за Аугусту оттого, что ты оказался гораздо лучше, чем я думала! – Она вздохнула. – Настолько лучше, что мне даже легче переносить боль при мысли о том, что Гуидо оказался не таким, как я ожидала.

Я молчал, все еще одолеваемый сомнениями. Мне показалось, будто она сказала, что я стал таким, каким она желала видеть Гуидо. Так, значит, она меня все-таки любила? А она еще добавила:

– Ты лучший мужчина в нашей семье – наша опора, наша надежда. – Она снова взяла мою руку и пожала ее даже слишком сильно. Однако выпустила она ее так быстро, что все мои сомнения мгновенно рассеялись. Я снова знал, как мне следует вести себя в этой темной комнатке. Может быть, для того, чтобы смягчить этот свой последний жест, она одарила меня еще одной лаской: – И так как теперь я знаю, что ты за человек, мне очень жаль, что я заставила тебя столько страдать. Ты в самом деле очень страдал?

Я устремил взор во мрак своего прошлого, чтобы разыскать там ту свою боль, и прошептал:

– Да, очень!

И одно за другим я вспомнил и скрипку Гуидо, и то, как меня вышвырнули бы из их гостиной, не ухватись я за Аугусту, и другую гостиную в доме Мальфенти, где за одним столиком в стиле Людовика XIV обменивались поцелуями, а за другим – смотрели на эти поцелуи. Внезапно я вспомнил и Карлу, потому что и с ней была связана Ада. В моих ушах зазвучал голос Карлы, которая говорила, что я должен принадлежать жене, то есть Аде. И я еще раз повторил, в то время как на глаза у меня навертывались слезы:

– Очень! Да, очень!

Ада даже всхлипнула:

– Мне так жаль, так жаль!

Потом справилась с волнением и сказала:

– Но теперь-то ты любишь Аугусту!

Тут рыдания снова помешали ей говорить, и я вздрогнул, не зная, почему она замолчала: то ли она хотела, чтобы я подтвердил, что так оно и есть, то ли – чтобы я ей возразил. На мое счастье, она не дала мне ответить, возобновив свою речь:

– Сейчас нас связывает – и должна связывать – истинно братская любовь. Мне нужна твоя помощь. Для того ребенка мне придется теперь стать матерью и всячески его опекать. Хочешь помогать мне в этой трудной работе?

Она была так взволнована, что почти прислонялась ко мне, словно в забытии. Но я ориентировался только на то, что она говорила. Она просила меня относиться к ней по-братски; таким образом, обязанность ее любить, которой я долго считал себя связанным, превратилась в ее новое на меня право; тем не менее я тут же пообещал, что буду помогать Гуидо, помогать ей, в общем – делать все, что только она захочет. Будь я спокойнее, я объяснил бы, что малопригоден для выполнения задачи, которую она на меня возлагала; но это разрушило бы незабываемое волнение тех минут. Впрочем, я был так взволнован, что вряд ли мог понимать тогда свою несостоятельность. В тот момент мне казалось, что несостоятельных людей вообще нет на свете. Даже несостоятельность Гуидо можно было устранить несколькими словами, которые поселили бы в нем необходимый энтузиазм.

Ада проводила меня до самой площадки и, опираясь на перила, смотрела, как я спускаюсь. Так всегда делала Карла, и было странно, что так же поступила и Ада, которая любила Гуидо. Я был так ей за это благодарен, что, проходя второй марш, поднял голову, чтоб взглянуть на нее и кивнуть. Так обычно ведут себя любовники, но, видимо, это годилось и для случая братской любви.

Таким образом, я ушел довольный. Она проводила меня только до площадки, не дальше. Никаких сомнений больше не оставалось. На том мы и порешили: раньше я любил ее, теперь Аугусту, но моя прежняя любовь давала ей право рассчитывать на мою преданность. Она же продолжала любить этого ребенка, а ко мне питала теплое братское чувство, и не только потому, что я женился на ее сестре, но и потому, что желала вознаградить меня за страдания, которые она когда-то мне причинила и которые втайне от всех продолжали нас связывать. Сознать все это было очень сладко – вкус, редко встречающийся в жизни. Может быть, именно эта сладость должна была помочь мне почувствовать себя по-настоящему здоровым? Я и в самом деле ходил в тот день без малейшего затруднения и не ощущая никакой боли, чувствовал себя великодушным и сильным, а в душе у меня жило чувство уверенности, которое было для меня новым. Я забыл о том, что изменял жене, и притом самым непристойным образом, вернее, не забыл, а твердо решил больше этого не делать, что, в сущности, одно и то же, – и чувствовал себя в точности таким, каким я казался Аде: лучшим мужчиной во всей семье.

Когда мой энтузиазм ослаб, мне захотелось его оживить, но Ада уехала в

Болонью, а все мои усилия извлечь какой-нибудь новый стимул из того, что она мне тогда сказала, были тщетны. Да! Я сделаю для Гуидо все то небольшое, что могу, но это решение уже не прибавляло воздуха в мои легкие и крови в мои жилы. К Аде у меня осталось глубокое и совершенно новое нежное чувство, которое оживало всякий раз, когда она в письмах к Аугусте поминала меня каким-нибудь ласковым словом. Я от всего сердца передавал ей такие же нежные слова и желая скорейшего выздоровления. Хоть бы к ней вернулись ее прежние здоровье и красота!

На следующий день Гуидо пришел в контору и сразу же занялся записями, которые он желал внести в книгу. Он предложил:

– Давай переведем половину статьи прибылей и убытков на счет Ады.

Вот, оказывается, чего он хотел, но проку от этого не могло быть никакого. Если бы я был просто равнодушным исполнителем его воли, каким я и был несколько дней назад, я бы с легкостью сделал эти записи и тут же о них позабыл бы, но теперь я счел своим долгом объяснить ему, как обстоит дело: мне казалось, что я верну его к работе, если он узнает, что не так-то просто уничтожить в книгах следы понесенных убытков.

Я сказал, что, насколько мне известно, Ада дала эти деньги для того, чтобы занести в актив на ее счет, а этого не произойдет, если мы сальдируем этот счет, перенеся в него из другой статьи половину нашего убытка. Я так долго все это обдумывал, что объяснения давались мне чрезвычайно легко. В заключение я сказал:

– Случись, что мы окажемся – не дай бог, конечно, – в обстоятельствах, о которых предупреждал нас Оливи, понесенный нами убыток все равно предстанет совершенно очевидным, стоит только нашим книгам попасть в руки опытного эксперта.

Он смотрел на меня в ошеломлении. Он достаточно знал бухгалтерию для того, чтобы понять все мною сказанное, и тем не менее он не понимал, потому что не желал мириться с очевидными фактами. Затем я добавил, чтобы ему уже все стало ясно:

– Так что, видишь, нет никакого проку от того, что Ада дала нам эти деньги.

Когда он наконец понял, он сильно побледнел и принялся нервно, словно в беспамятстве, грызть ногти. Потом овладел собой и в свойственной ему смешной начальнической манере распорядился тем не менее сделать все эти записи. К этому он добавил:

– Чтобы снять с тебя всякую ответственность, я могу сам все это написать и поставить свою подпись.

Я понял: он продолжал предаваться фантазиям там, где фантазиям не должно быть места: в приходе-расходной книге!

Я вспомнил все, что обещал самому себе на Виа Бельведере, и то, что обещал Аде в темной гостиной, и великодушно заявил:

– Я сейчас же запишу все, что ты прикажешь. Я не нуждаюсь в том, чтобы укрываться за твоей подписью. Я здесь для того, чтобы помогать тебе, а не мешать.

Он с чувством пожал мне руку.

– Жизнь трудна, – сказал он, – и для меня большое утешение, что со мной рядом такой друг, как ты.

Мы взволнованно поглядели друг другу в глаза. Его глаза заблестели. Чтобы не поддаваться волнению, угрожавшему также и мне, я, смеясь, сказал:

– Жизнь не трудна, она просто очень оригинальна.

И он тоже рассмеялся от всей души.

Потом он стал со мной рядом и смотрел, как я сальдирую счет прибылей и убытков. На это ушло всего несколько минут. Счет умер, увлекая за собой в небытие также и счет Ады; правда, мы зафиксировали ее вклад в одной из вспомогательных книг на случай, если в результате каких-нибудь катаклизмов все другие свидетельства исчезнут, а также для того, чтобы создать видимость, будто мы платим ей проценты.

По самой своей природе бухгалтеры есть разновидность существ, весьма склонных к иронии. Делая эти записи, я думал: «Один счет – тот, что назывался счетом прибылей и убытков, – мы убили. Другой – принадлежавший Аде – умер естественной смертью, потому что нам не удалось сохранить его в живых, и только счет Гуидо убить нам не удалось, хотя именно этот счет в этом его виде, счет несостоятельного должника, представляет собой прямо-таки разверстую могилу для всего нашего дела».

В нашей конторе еще долго толковали на бухгалтерские темы. Гуидо из кожи вон лез, стараясь изыскать какой-нибудь другой способ, с помощью которого он оказался бы более надежно огражден от возможных козней (так он это называл) закона. По-моему, он даже проконсультировался у какого-то бухгалтера, потому что однажды явился в контору с предложением уничтожить все старые книги и завести вместо них новые. В них мы регистрируем сделку с несуществующим клиентом имярек, который заплатит нам деньгами, одолженными у Ады. Мне было жаль его разочаровывать; он прибежал в контору, одушевленный такой надеждой! Но он предлагал обман, который был мне противен. До сих пор мы просто меняли местами реально существующие вещи, что грозило убытком тому, кто нам слепо доверился. Теперь же мы должны будем фальсифицировать движение товарных ценностей. Я и сам понимал, что так, и только так, можно уничтожить всякие следы понесенной потери, но какой ценой! Нужно было придумать имя покупателя или найти человека, который согласился бы взять на себя роль покупателя. Я не имел ничего против того, чтобы уничтожить книги, которые я вел с таким старанием, но мне ужасно не хотелось заполнять новые. Поэтому я высказал несколько возражений, которые убедили Гуидо. Изобразить несуществовавшую сделку не так-то просто. Нужно будет суметь подделать и документы, доказывающие существование и принадлежность товара! В результате он отказался от этого своего проекта, но на следующий день явился в контору с новым, в который также входило уничтожение старых книг. Работа в нашей конторе стояла, оттого что мы без конца вели подобные дискуссии, и мне это порядком надоело.

– Глядя на тебя, – сказал я, – невольно подумаешь, что ты готовишься к банкротству. А в сущности, какое значение может иметь для тебя столь



небольшое уменьшение капитала? Пока никто не имеет права заглядывать в твои книги. Сейчас от тебя требуется только одно – работать, а ты занимаешься всякими глупостями.

Он признался, что эта мысль преследует его как наваждение. Да и разве могло быть иначе? Еще одна неудача – и он подпадет под санкцию закона и прямиком угодит в тюрьму!

Из моих занятий юриспруденцией я знал, что Оливи совершенно правильно описал нам обязанности коммерсанта, у которого оказался такой, как у нас, баланс, но чтобы избавить и Гуидо и себя от этого наваждения, я посоветовал ему проконсультироваться у какого-нибудь его приятеля адвоката.

Он ответил, что уже сделал это: то есть не то чтобы он посетил адвоката именно с этой целью, – он не желал посвящать в свой секрет даже его, – а просто, будучи с ним на охоте, он заставил его разговориться на эту тему. Так что теперь он точно знал, что Оливи не ошибался и не преувеличивал... Увы!

Убедившись в тщетности всех своих попыток, он перестал изыскивать способы фальсификации баланса, но это его не успокоило. Каждый раз, когда он приходил в контору, один только вид толстенных счетоводческих книг приводил его в ярость. Однажды он мне признался, что чувствует себя в нашем кабинете, словно в преддверии тюрьмы, и ему хочется бежать из него прочь.

Как-то он спросил меня:

– Аугуста знает про наш баланс?

Я покраснел, потому что в этом вопросе мне почудился упрек, хотя было совершенно очевидно, что раз Ада знала о нашем балансе, о нем могла знать и Аугуста. Но я не сразу это сообразил, и упрек, который он, видимо, собирался сделать, показался мне заслуженным. Я пробормотал:

– Ей, наверное, сказала Ада, а может, Альберта, которая узнала обо всем от Ады.

Я перебрал все пути, которые могли привести к Аугусте; но не для того, чтобы опровергнуть то, что новость могла ей стать известной прямо из первоисточника, то есть от меня, а для того, чтобы ему стало ясно, что в подобных обстоятельствах мне не имело никакого смысла молчать. Это была моя ошибка. Если бы вместо этого я сразу признался, что у меня нет секретов от Аугусты, я чувствовал бы себя куда более порядочным и честным. Иногда такой малости – то есть сокрытия поступка вместо откровенного в нем признания и объяснения полной невинности его мотивов – бывает достаточно, чтобы смутить даже самое искреннее дружеское чувство.

Хочу записать здесь также – хотя ни в моей истории, ни в истории Гуидо это не сыграло никакой роли, – что несколько дней спустя меня остановил на улице болтливый маклер, с которым мы имели дело во время купоросных событий, и, глядя на меня снизу вверх, словно его принуждал к тому его малый рост, который он умел еще больше уменьшить, слегка приседая, сказал мне иронически:

– Говорят, вы заключили еще несколько сделок столь же выгодных, как и та, с купоросом?

И, увидев, как я побледнел, пожал мне руку и добавил:

– Что касается меня, то я от души желаю вам удачи. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь!

И ушел. Думаю, что наши дела стали ему известны от дочки, которая училась в одном классе лицея с маленькой Анной. Я не рассказал Гуидо об этой нескромности со стороны маклера. Моей главной задачей было оберегать его от ненужных волнений.

Я был немало удивлен тем, что Гуидо не сделал никаких распоряжений насчет Кармен: ведь я знал, что он определенно обещал жене ее уволить. Я полагал, что, как и в первый раз, Ада вернется домой через несколько месяцев. Но она, не заезжая в Триест, сразу отправилась на дачу на Лаго-Маджоре, куда некоторое время спустя Гуидо отвез ей детей.

Вернувшись из этой поездки – уж не знаю, сам ли он вспомнил о своем обещании, или Ада ему напомнила, – он спросил, нельзя ли пристроить Кармен в мою контору, то есть к Оливи. Я знал, что там все места заняты, но так как Гуидо меня очень просил, согласился поговорить с управляющим. По счастливому совпадению какой-то наш служащий как раз на днях должен был уволиться. Однако его жалованье было меньше того, что получала последние месяцы Кармен от щедрот Гуидо, оплачивавшего свою любовницу по счету «Общие расходы».

Старый Оливи пожелал узнать, что умеет делать Кармен, и, так как я дал ей наилучшие рекомендации, предложил принять ее на тех же условиях, на которых служил у нас уволившийся. Я сообщил это Гуидо, и тот, опечалившись, обескураженно почесал в затылке.

– Как же мы можем предлагать ей жалованье меньше того, что она получает! А нельзя заставить Оливи назначить ей такое же?

Я знал, что это невозможно, и потом, у Оливи не было в обычае, как у нас, считать себя женатым на своих секретаршах. Едва он заметит, что Кармен заслуживает на крону меньше назначенного ей жалованья, как он тут же без всякой жалости вычтет из него эту крону. В конце концов дело осталось в таком виде: Оливи так никогда и не получил от меня решительного ответа и ни разу им не поинтересовался, а Кармен продолжала поводить своими прекрасными очами в нашей конторе.

У нас с Адой была теперь общая тайна, которая продолжала сохранять свою значительность именно потому, что оставалась тайной. Ада усердно переписывалась с Аугустой, но ни разу не упомянула ни о нашем объяснении, ни даже о том, что поручила мне Гуидо. И я тоже молчал. Однажды Аугуста показала мне ее письмо, которое касалось также и меня. Сначала она спрашивала, что у меня нового, а потом взывала к моей доброте, умоляя, чтобы я сообщил ей, как идут дела у Гуидо. Услышав, что она обращается ко мне, я встревожился, но когда понял, что, как и всегда, она обращается ко мне, чтобы получить сведения о Гуидо, успокоился. Я по-прежнему не был обязан ни на что осмеливаться.

С согласия Аугусты и ничего не говоря Гуидо, я написал ей сам. Я сел за стол, собираясь написать чисто деловое письмо, и первым делом сообщил, что очень доволен тем, как Гуидо сейчас ведет свои дела: он стал усерден и

благоразумен.

Это была правда, во всяком случае, именно в тот день я был им доволен, так как он сумел заработать, продав товар, много месяцев лежавший на складе. Верно было также и то, что он демонстрировал теперь большее усердие, хотя по-прежнему каждую неделю ездил на охоту или на рыбную ловлю. Я с готовностью преувеличивал свои похвалы, так как считал, что таким образом способствую выздоровлению Ады.

Я перечел письмо, но остался им не удовлетворен. Чего-то в нем не хватало. Ведь Ада обратилась ко мне, и, конечно же, ей было интересно узнать и о моей жизни. Было бы просто невежливо не сообщить ей ничего о себе. И мало-помалу – я помню это так ясно, словно все это происходило только что, – я почувствовал такую растерянность, как будто сидел не у себя за столом, а с Адой в той маленькой темной комнате. Крепко ли должен я был пожать протянутую мне ручку?

Когда письмо было написано, мне пришлось его переписать, потому что с пера у меня сорвалось несколько компрометирующих слов: я мечтал увидеть ее снова и надеялся, что к ней вернулись ее красота и здоровье. Это было все равно, что обнять за талию женщину, которая всего-навсего протянула мне руку. Мой долг заключался только в том, чтобы пожать эту ручку, пожать ее нежным и долгим пожатием, которое должно было означать, что я понимаю все, в том числе и то, что никогда не будет произнесено вслух.

Я не буду пересказывать фразы, которые я перебрал в поисках той единственной, что могла заменить нежное и долгое многозначительное рукопожатие; расскажу только о том, что было написано. Я много говорил о надвигающейся старости. Я ни одной минуты не мог прожить спокойно, то есть не старея. При каждом обороте, который совершала кровь в моем теле, в моих костях и венах откладывалось нечто, что означало старение. Каждое утро, когда я просыпался, мир становился еще более серым, чем накануне, и я этого не замечал, потому что все было окрашено в этот цвет: не было в этом новом дне ни одного мазка краски, принадлежавшего вчерашнему, иначе я бы ее заметил и сожаление о том, что вчерашний день ушел безвозвратно, привело бы меня в отчаяние.

Прекрасно помню, что, отсылая это письмо, я чувствовал глубокое удовлетворение. Я несколько не скомпрометировал себя этими словами, но полагал, что если Ада чувствует так же, как я, она сумеет понять это любовное рукопожатие. Не нужно было быть очень проницательной, чтобы догадаться, что весь этот длинный пассаж о старости выражает всего лишь мой страх перед временем, которое так быстро увлекало меня за собой, что любовь могла не успеть меня догнать. Я как бы взывал к любви: «Приди! О, приди!» – хотя, в сущности, я вовсе не уверен в том, что мне в самом деле так уж была нужна эта любовь. Однако не могу утверждать и обратного, поскольку помню, что написал я ей именно так.

Я сделал для Аугусты копию этого письма, исключив из него рассуждение о старости. Она бы ничего, конечно, не поняла, но осторожность никогда не помешает. Я мог бы покраснеть, почувствовав на себе ее взгляд в тот момент,

когда я пожимал руку ее сестре. Да, да! Я еще не потерял способности краснеть! И я на самом деле покраснел, когда получил от Ады коротенькое благодарственное письмо, в котором она ни словом не упоминала о моих рассуждениях насчет старости. Мне казалось, что этим она скомпрометировала себя куда больше, чем когда-либо компрометировал себя с ней я. Она не вырывала своей ручки из моей руки. Она позволяла ей безвольно покоиться в моей, а у женщин безвольность – это способ выражения согласия.

Несколько дней спустя после того, как я написал это письмо, я обнаружил, что Гуидо начал играть на бирже. Я узнал это благодаря нескромности маклера Нилини.

С Нилини мы были знакомы много лет, так как когда-то учились в одном классе. Но ему пришлось бросить лицей, чтобы поступить на службу в контору своего дяди. Потом мы продолжали изредка видеться, и помню, что различие наших судеб установило между нами отношения подчинения и превосходства. В ту пору он всегда здоровался со мной первым и искал случая подойти ко мне. Я считал это вполне естественным, и, наоборот, мне показалось уже гораздо менее объяснимым, когда начиная с какого-то времени, которое я не могу обозначить точно, он сделался со мной очень заносчивым. Он перестал здороваться первым и едва отвечал на мое приветствие. Это меня немного беспокоило, потому что кожа у меня нежная и оцарапать ее очень легко. Но что я мог поделать? Возможно, он как-нибудь увидел меня в конторе Гуидо и, решив, что я занимаю там место служащего, почувствовал ко мне презрение? Или – что столь же вероятно – умер его дядя, и, сделавшись теперь независимым биржевым маклером, он проникся уважением к самому себе? В маленьком мирке, в котором мы все жили, подобные отношения не редкость. Не сделав никому ничего плохого, ты вдруг в один прекрасный день замечаешь, что кто-то смотрит на тебя враждебно и с презрением.

Поэтому я очень удивился, когда однажды он вошел в нашу контору, где был в тот момент один только я, и спросил Гуидо. Сняв шляпу, он протянул мне руку. Затем с большой непринужденностью развалился в одном из наших кресел. Я глядел на него с интересом. Я много лет не видел его так близко, а своей нескрываемой неприязнью он привлек к себе мое самое пристальное внимание.

Ему было тогда что-то около сорока, и был он довольно-таки уродлив: лысина, занимающая почти всю голову, если не считать островка густых черных волос на затылке и двух других – на висках, желтое лицо, которое, несмотря на толстый нос, было таким худым, что кожа на нем висела мешками. И сам он был худой и маленький, и пыжился как только мог, чтобы казаться выше, так что, когда я с ним говорил, я всегда ощущал легкую симпатическую боль в шее – единственный вид симпатии, который он у меня вызывал. В тот день мне показалось, что он еле удерживается от смеха: его лицо было искажено гримасой иронии и презрения, которые не могли задеть меня, так как со мной он поздоровался весьма любезно. Но потом я обнаружил, что выражение иронии было навсегда запечатлено на его лице капризной матерью-природой. Дело в том, что его маленькие челюсти не смыкались

полностью, и с одной стороны рта между ними оставался зазор, в котором и обитала эта его ироническая гримаса. Может быть, для того, чтобы привести себя в соответствие с этой маской, которую он мог сбросить лишь в тот момент, когда зевал, он был не прочь поиздеваться над ближним. Он был далеко не глуп и метал весьма ядовитые стрелы, правда, предпочтительно в отсутствующих.

Он любил поговорить и обладал богатым воображением, особенно в области, касающейся биржи. О бирже он говорил так, словно она была живым человеком; в его описании она представляла то угрожающей, то лениво дремлющей, у нее было лицо, которое умело смеяться и плакать. Он прямо-таки видел, как она, пританцовывая, бежит вверх по лестнице курсов или стремглав скатывается вниз, рискуя свалиться. Он восхищался тем, как лелеет она одни акции и как губит другие, как воспитывает она в людях благоразумие и предприимчивость. Потому что иметь с ней дело мог только тот, у кого была голова на плечах. Деньги на бирже валяются прямо на полу: только вот наклониться и поднять их не так-то просто.

Предложив ему сигарету, я попросил его подождать и занялся корреспонденцией. Однако это ему быстро надоело, и он заявил, что больше ждать не может. Впрочем, он пришел только для того, чтобы сказать Гуидо, что некие акции со странным названием Рио Тинто, приобрести которые он советовал ему накануне, – да, да, всего двадцать четыре часа назад! – сегодня подскочили почти на десять процентов. Он от души рассмеялся.

– Пока мы здесь говорим, то есть пока я здесь жду, движение биржевого курса довершит дело. Если синьор Шпейер захочет сейчас купить эти акции, я даже не знаю, сколько ему придется за них заплатить. Видите, как я угадал, куда метила биржа!

И он стал хвалиться чутьем, которое выработалось у него в результате долгой и тесной связи с биржей. Затем он прервал свою речь и спросил:

– Где, по-твоему, можно большему научиться – в университете или на бирже?

Его челюсть приподнялась еще выше, и ироническая щель увеличилась.

– Разумеется, на бирже! – сказал я убежденно. За это я заслужил прочувствованное рукопожатие, когда он уходил.

Итак, Гуидо играл на бирже! Если бы я был внимательнее, я мог бы догадаться об этом и раньше, потому что, когда я представил ему точный перечень весьма значительных сумм, заработанных нами в результате последних сделок, он взглянул на него с улыбкой, но не без некоторого пренебрежения. Он находил, что нам слишком много пришлось трудиться для того, чтобы заработать эти деньги. И заметьте, сделки были такие, что еще два – три десятка подобных, и мы бы полностью покрыли убытки, понесенные нами в прошлом году. А я-то всего несколько дней назад так его хвалил! Что я должен был делать теперь?

Вскоре Гуидо пришел в контору, и я, стараясь быть точным, передал ему слова Нилини. Он выслушал их с таким волнением, что даже не заметил, что я узнал о его биржевой игре, и тут же убежал.

Вечером я поговорил об этом с Аугустой, которая решила, что Аду

беспокоить не следует, но синьору Мальфенти надо обязательно предупредить об опасности, которая нависла над Гуидо. Меня же она просила сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать его безумствам.

Я долго готовил речь, которую собирался произнести. Наконец-то я мог осуществить свое намерение быть активно добрым и выполнить обещание, данное Аде. Я знал, с какой стороны следует подойти к Гуидо, чтобы заставить его послушаться. Всякий коммерсант, играющий на бирже, проявляет легкомыслие, объясню я ему. Но в особенности это касается того коммерсанта, у которого за плечами такой баланс.

На следующий же день я приступил к делу, и сначала все шло хорошо.

– Итак, ты, значит, играешь на бирже! Ты что, хочешь кончить тюрьмой? – сурово осведомился я. Я приготовился выдержать сцену и припас на всякий случай заявление, что если он не перестанет компрометировать фирму, я уйду из конторы.

Но Гуидо сумел сразу же меня обезоружить. До сих пор он соблюдал тайну, но сейчас с искренностью простодушного человека выложил мне все во всех подробностях. Он занялся акциями горнодобывающих компаний какой-то страны, и они уже сейчас принесли ему прибыль, почти достаточную для того, чтобы покрыть прошлогодний убыток. Теперь, когда он уже ничем не рискует, он может мне все рассказать. В случае, если он потеряет все, что выиграл, он просто перестанет играть. Если же фортуна будет покровительствовать ему по-прежнему, он первым делом приведет в порядок те наши записи, в которых ему до сих пор чудилась какая-то опасность.

Я понял, что сердиться тут не на что и остается только принести поздравления. Что же касается проблемы счетоводства, то я сказал, чтобы он не беспокоился, потому что, располагая наличными, даже самый неприятный баланс легко привести в порядок. Когда в наших книгах будет снова, как это и следует, реинтегрирован счет Ады и по крайней мере уменьшится то, что я называл разверстой могилой нашего предприятия, то есть счет Гуидо, под наш баланс не подкопаешься.

Потом я предложил ему сделать все это прямо сейчас и внести на счета фирмы его биржевые операции. К счастью, он не согласился, потому что в противном случае я сделался бы бухгалтером игрока и на меня бы легла гораздо большая ответственность. Теперь же события продолжали разворачиваться так, словно меня не было. Он отказался от моего предложения по соображениям, которые, на мой взгляд, имели смысл: слишком быстро разделаться с долгами – это плохая примета. За игорными столами широко бытует это поверье – будто бы чужие деньги приносят счастье. Я предрассудкам не верю, но, когда играю, тоже не пренебрегаю ни одной из предосторожностей. Потом я долго упрекал себя в том, что выслушал все, сказанное Гуидо, без единого возражения. Но когда я увидел, что точно так же ведет себя и синьора Мальфенти, поведавшая мне, что ее муж тоже умел заработать биржевой игрой, а потом и сама Ада, которая, оказывается, считала биржевую игру просто одним из видов коммерции, я понял, что не смогу сказать ему ни слова упрека. Чтобы остановить движение Гуидо по наклонной плоскости, недостаточно было моего

протеста: он не оказал бы никакого действия, не будучи поддержан ни одним из членов семьи.

Таким образом, Гуидо продолжал играть, и вся его семья вместе с ним. И даже я участвовал в партии, ибо наладил дружеские, хотя и немного странные отношения с Нилини. Разумеется, я по-прежнему его не выносил и считал невежественным и самодовольным, но ради Гуидо, который рассчитывал на его советы, я скрывал так хорошо свои истинные чувства, что он и в самом деле поверил, будто я его верный друг. Не буду отрицать, что я был любезен с ним также и потому, что хотел избежать неприятного ощущения, которое вызывала у меня его враждебность: она действовала на меня особенно сильно из-за иронической ухмылки, не сходившей с его уродливого лица. Правда, моя любезность не простиралась дальше протягивания ему руки при встрече и приветствия, когда он приходил и уходил. Зато он был сама любезность, и я не сумел отказаться от его услуг, принимая их с благодарностью, которая и есть, в сущности, самая большая любезность, на какую только можно рассчитывать в этом мире. Он доставал для меня контрабандные сигареты и брал с меня столько, сколько они стоили ему, то есть очень немного. Если бы он был мне симпатичнее, он, пожалуй, мог бы побудить меня платить ему той же монетой: я не сделал этого только потому, что не хотел видеть его еще чаще.

Я и так видел его слишком часто! Он сидел в нашей конторе часами, хотя – как это было легко заметить – вовсе не был влюблен в Кармен. Он приходил сюда ради моего общества. По-видимому, он задался целью просветить меня в области политики: благодаря бирже он стал в ней великим знатоком. Он рассказывал мне про великие державы, про то, как сегодня они пожимают друг другу руки, а завтра обмениваются пощечинами. Не могу сказать, предугадал ли он, как развернутся события, потому что из-за антипатии, которую он у меня вызывал, я никогда его не слушал. Я только улыбался ему идиотской, стереотипной улыбкой. Видимо, недоразумение между нами возникло именно потому, что он неправильно истолковал эту улыбку, приняв ее за улыбку восхищения. Но тут уж я ни при чем.

Я запомнил только то, что он повторял ежедневно. Так, например, я заметил, что он был весьма сомнительным итальянцем, так как считал, что Триесту лучше оставаться австрийским. Он обожал Германию, а особенно немецкие поезда, ходившие с такой точностью. Он был по-своему социалистом: так, он желал, чтобы одному лицу было запрещено владеть более чем сотней тысяч крон. И я не засмеялся в тот день, когда в разговоре с Гуидо он признался, что имеет ровно сто тысяч, и ни гроша больше. Я не засмеялся и не спросил, не захочется ли ему изменить свою теорию, если ему удастся заработать еще. Наши отношения были поистине странными. Я не мог смеяться ни с ним, ни над ним.

Когда он выкладывал какую-нибудь сентенцию, он так выпрямлялся, сидя в своем кресле, что глаза его уставлялись в потолок, а ко мне была обращена только та его щель, которую я называл челюстной. Но он видел этой щелью! Как-то я захотел воспользоваться этой его позой для того, чтобы подумать о чем-то постороннем, но он тут же призвал меня ко вниманию, осведомившись:

– Ты слушаешь или нет?

После того своего симпатичного приступа откровенности, Гуидо долгое время ничего не говорил мне о своих делах. Кое-что поначалу сообщал мне Нилини, но и он потом стал сдержаннее. О том, что Гуидо продолжает играть, я узнал от самой Ады.

Когда она вернулась, я нашел ее еще более подурневшей. Она не столько растолстела, сколько отекала. У нее снова появились щеки, но они, как и раньше, были не на месте и делали ее лицо почти квадратным. Глаза по-прежнему вылезали из орбит. Каково же было мое удивление, когда от Гуидо и всех, кто ее навещал, я услышал, что она с каждым днем делается все крепче и здоровее. Но ведь здоровье женщины – это прежде всего ее красота!

И еще один сюрприз ждал меня по возвращении Ады. Она поздоровалась со мной сердечно, но не более сердечно, чем с Аугустой. Между нами не было больше никакой тайны, и, конечно, она уже забыла о том, как плакала, вспоминая о страданиях, которые когда-то мне причинила. Тем лучше! Наконец-то она забыла о своих на меня правах! Я был просто ее добрый шурин, и она любила меня только потому, что нашла не изменившимися те наши любовные отношения с женой, которые составляли предмет восхищения всей семьи Мальфенти.

Однажды я сделал открытие, которое очень меня удивило. Ада до сих пор считала себя красивой! Там, далеко от дома, на озере, за ней много ухаживали, и было видно, что она очень довольна своим успехом. По всей вероятности, она его преувеличивала: во всяком случае, мне казалось, что не стоило утверждать, будто она уехала с дачи только для того, чтобы избавиться от преследований одного влюбленного! Очень может быть, что нечто подобное и имело место, так как она, вероятно, казалась не такой уж некрасивой тем, кто не знал ее прежде. Но уж и красивой показаться она тоже не могла – с этими-то глазами, этим цветом кожи, этим овалом лица! Мы же находили ее более уродливой, чем другие, потому что помнили, какой она была прежде, и нам были заметнее разрушения, произведенные в ней болезнью.

Однажды мы пригласили ее и Гуидо провести у нас вечер. Это была очень милая вечеринка, по-настоящему семейная. В ней словно бы получила продолжение пора нашего двойного жениховства. Только вот на волосы Ады свет теперь почему-то не падал.

Уже когда они уходили, я, помогая надеть Аде пальто, остался на некоторое время с ней наедине. У меня сразу же возникло несколько иное ощущение наших отношений. Теперь мы были одни и, вероятно, могли сказать друг другу то, на что не рискнули бы в присутствии посторонних. Подавая ей пальто, я поразмыслил и наконец сообразил, что именно я должен ей сказать:

– Ты знаешь, что он стал играть? – сказал я озабоченно. Мне кажется иногда, что этим вопросом я хотел ей напомнить нашу последнюю встречу, не желая допустить, чтобы она была совершенно забыта.

– Да, знаю, – сказала она. – И хорошо делает! Говорят, у него это стало недурно получаться!

Я рассмеялся вместе с ней, громко. У меня было такое чувство, будто с



меня сняли всякую ответственность! Уходя, она прошептала:

– Эта Кармен все еще у вас работает?

Я не успел ответить, потому что она убежала. У нас не было больше общего прошлого. Была лишь ее ревность. Вот она-то была жива, жива так же, как в нашу последнюю встречу.

Сейчас, обдумывая все прошедшее, я нахожу, что должен был гораздо раньше, до того, как меня откровенно предупредили, заметить, что Гуидо начал проигрывать. С его лица исчезло выражение торжества, которое так долго его освещало, и он снова стал выражать беспокойство по поводу нашего баланса.

– Чего ты тревожишься? – спрашивая я наивно. – Ведь у тебя уже в кармане то, что должно сделать наши записи абсолютно соответствующими действительности. С такими деньгами в тюрьму не садятся!

В ту пору, как я узнал позднее, в кармане у него уже не было ровно ничего.

Но я настолько твердо уверовал в то, что ему удалось приручить фортуна, что совершенно пренебрегал множеством красноречивых признаков, которые в ином случае заставили бы меня обо всем догадаться.

Однажды августовским вечером он снова потащил меня с собой на рыбную ловлю. Было очень маловероятно, что при ярком свете почти полной луны нам удастся подцепить что-нибудь на крючок. Но он все-таки настоял на своем, уверив меня, что, во всяком случае, мы найдем в море избавление от жары. Это мы и в самом деле там нашли. Но больше ничего. Сделав одну попытку, мы перестали наживлять крючки и оставили лески волочиться следом за лодкой, которую Лучано медленно выводил в открытое море. Лунные лучи наверняка проникали до самого дна, обостряя зрение как крупных обитателей морских глубин, осторожно обходивших западню, так и маленьких, которые получили возможность, не задевая крючка своим крохотным ртом, понемногу отщипывать от наживки. Так что наша наживка была не чем иным, как подарком, предложенным нами рыбьей мелочи.

Гуидо разлегся на корме, а я на носу. Спустя некоторое время он прошептал:

– Какую тоску наводит лунный свет!

Наверное, он сказал это потому, что лунный свет мешал ему заснуть. И я ничего на это не возразил: во-первых, для того, чтобы сделать ему приятное, а во-вторых, чтобы не нарушить дурацким спором всего этого торжественного покоя, среди которого мы медленно продвигались вперед. Однако Лучано возразил, что кому как, а ему этот свет очень нравится. Так как Гуидо ничего не ответил, я решил сам заставить Лучано замолчать и сказал, что, конечно же, свет – грустная вещь, раз при нем все становится видно! А кроме того, он мешает нам ловить рыбу. Лучано рассмеялся и замолчал.

Долгое время все молчали. Я несколько раз зевнул прямо в лицо луне. Я уже жалел, что дал затащить себя в эту лодку.

Внезапно Гуидо спросил:

– Вот ты химик. Скажи, что эффективнее: чистый веронал или веронал с натрием?

А я даже и не знал, что бывает веронал с натрием! Но нельзя же требовать,

чтобы химик знал все на память! Я знаю химию настолько, чтобы суметь сразу же разыскать в своих книгах необходимую справку, а также поддержать беседу о предметах мне неизвестных, как это и было в данном случае.

С натрием? Так нам же всегда говорили, что натриевые соединения легче всего усваиваются! И я даже вспомнил и более или менее точно воспроизвел для Гуидо гимн, который произнес во славу этого элемента один из наших профессоров. Эта его вводная лекция была единственной, на которой я присутствовал. Так вот: натрий – это экипаж, в который садятся все прочие элементы для того, чтобы быстрее передвигаться. Профессор напомнил нам о том, как натрий хлор переходит от организма к организму и как благодаря высокому удельному весу он собирается в самой глубокой впадине земли – океане. Не знаю, удалось ли мне в точности передать мысль профессора, но в тот момент перед лицом огромных пространств, заполненных натрием хлором, я говорил о натрии с величайшим уважением.

Немного поколебавшись, Гуидо спросил:

– То есть если кто-нибудь захочет умереть, он должен принять веронал с натрием?

– Да, – ответил я.

Потом, вспомнив, что бывают случаи, когда нужно только симулировать самоубийство, и не сразу сообразив, что таким образом я напоминаю Гуидо неприятный эпизод из его жизни, добавил:

– А тот, кто не хочет умереть, тот должен принять чистый веронал.

Изыскания, предпринятые Гуидо в связи с вероналом, должны были бы заставить меня задуматься. Но я ничего не понял, весь поглощенный натрием. В ближайшие дни я уже мог представить Гуидо новые доказательства тех его свойств, о которых я говорил: чтобы ускорить образование амальгам, которые есть не что иное, как страстные объятия двух тел, объятия, во время которых два эти тела сливаются или одно поглощает другое, к ним добавляют натриевую ртуть. Натрий служил как бы сводником при золоте и ртути. Но Гуидо более не интересовался вероналом, и теперь я думаю, что, должно быть, в ту пору дела его на бирже пошли лучше.

В течение одной недели Ада заходила в контору целых три раза. Но только после второго ее прихода я сообразил, что ей надо со мной поговорить.

В первый раз она нарвалась на Нилини, который был занят очередной попыткой меня просветить. Она просидела целый час, ожидая, когда он уйдет, но совершила грубую ошибку, заговорив с ним, в результате чего он решил, что ему следует остаться. Представив их друг другу, я вздохнул с облегчением: челюстная щель Нилини была теперь обращена не ко мне. В их разговоре я не участвовал. Нилини был даже остроумен и удивил Аду сообщением, что в Тержестео так же любят позлословить, как и в салоне светской дамы. Разница же, по его мнению, была только в том, что на бирже люди информированы гораздо лучше, чем где-либо. Ада нашла, что он клеветает на женщин. Она сказала, что не знает даже, что это такое – злословие. Тут вмешался я, заявив, что за долгие годы нашего знакомства я ни разу не слышал из ее уст ни одного слова, хотя бы отдаленно напоминающего сплетни. Говоря это, я улыбнулся,

потому что мне показалось, что таким образом я ее упрекаю. Она не сплетничала просто потому, что дела других людей ее не интересовали. Сначала, когда она была здорова, она думала о своих делах, когда же ее одолела болезнь, в ней осталось одно крохотное свободное местечко, но и его заняла ревность. Она была самой настоящей эгоисткой! Тем не менее она приняла мое свидетельство с искренней признательностью.

Нилини сделал вид, будто не верит ни ей, ни мне. Он сказал, что знает меня много лет и считает, что я очень наивен. Это заявление меня позабавило, да и Аду тоже. Но мне стало весьма неприятно, когда он – в первый раз в присутствии третьего лица – заявил, что я один из лучших его друзей, и потому он знает меня как облупленного. Я не осмелился возразить, но это наглое заявление задело мою стыдливость, словно я был девушкой, которую публично обвинили в распутстве.

Я был так наивен, продолжал рассказывать про меня Нилини, что Ада с хитростью, свойственной всем женщинам, могла злословить в моем присутствии, а я этого просто не понимал. Мне показалось, будто Аду забавляют эти сомнительные комплименты, и лишь потом узнал, что она не прерывала его, надеясь, что, выговорившись, он наконец уйдет. Долго же ей пришлось бы дожидаться!

Придя второй раз, Ада застала меня с Гуидо. Именно тогда я прочел на ее лице выражение нетерпения и догадался, что ей нужен я. И покуда она не пришла третий раз, я тешил себя обычными иллюзиями. Она, конечно, не просила меня о любви, но слишком уж часто желала остаться со мной наедине. Мужчинам нелегко понять, чего хотят женщины, тем более что они и сами часто этого не понимают.

Однако ее слова отнюдь не свидетельствовали о том, что у нее возникло ко мне новое чувство. Едва она со мной заговорила, как голос у нее прервался от волнения, но я тут был ни при чем. Она просто хотела узнать, почему Кармен до сих пор не уволена. Я рассказал ей все, что мне было известно, включая и нашу попытку пристроить ее к Оливи.

Она сразу немного успокоилась, потому что все, что я говорил, в точности соответствовало тому, что сообщил ей Гуидо. Потом я узнал, что приступы ревности находили на нее полосами. Они возникали без видимых причин и проходили иногда от одного слова, кажущегося ей убедительным.

Она задала мне еще два вопроса: вправду ли женщине так трудно найти место и действительно ли семья Кармен зависит от ее заработка.

Я объяснил, что в Триесте женщине действительно трудно устроиться на службу в конторе. Что же касается второго вопроса, то я ничего не могу ей сообщить, потому что не знаю никого из членов семьи Кармен.

– Зато Гуидо знает весь дом! – гневно прошептала Ада, и слезы вновь потекли по ее щекам.

Потом она, прощаясь, пожала мне руку и поблагодарила. Улыбаясь сквозь слезы, она сказала, что знает, что может на меня положиться. Эта ее улыбка мне понравилась, потому что, конечно же, была обращена не к шурина, а к тому, кто был связан с нею общей тайной. Мне захотелось доказать ей, что я заслужил эту

улыбку, и я прошептал:

– То, чего я больше всего боюсь, – это не Кармен, нет, это его игра на бирже!

Она пожала плечами.

– Ну, это неважно. Я говорила с мамой. Папа тоже играл на бирже и заработал там кучу денег.

Сбитый с толку ее ответом, я все-таки продолжал настаивать:

– Мне не нравится этот Нилини. Это неправда, что мы с ним друзья.

Она удивленно на меня посмотрела.

– Мне он показался вполне приличным человеком. И Гуидо он нравится. И потом, я думаю, Гуидо теперь стал осмотрительнее вести свои дела.

Я твердо решил не говорить ей о Гуидо ничего худого и замолчал. Когда же я остался один, я думал уже не о Гуидо, а о себе самом. Может, это было и хорошо, что Ада наконец-то стала мне просто сестрой, и только. Она не сулила любви и не грозила любовью. Несколько дней я бегал по улицам встревоженный и растерянный. Я не понимал сам себя. Почему я чувствовал себя так, словно меня только что бросила Карла? Ведь ничего нового не произошло! Сказать по правде, я просто думаю, что во мне всегда жила жажда приключений или какого-нибудь осложнения, напоминающего приключение. Мои же отношения с Адой не были теперь осложнены ничем.

Однажды Нилини из своего кресла прочитал нам проповедь более длинную, чем обычно: на горизонте собирались тучи – должно было произойти вздорожание денег. Биржа внезапно насытилась и не могла больше впитать ничего.

– Подбросим туда натрия! – предложил я.

Замечание ему не понравилось, но, не желая со мной связываться, он пропустил его мимо ушей; внезапно денег на рынке стало мало, и потому они вздорожали. Его несколько удивляет, что это случилось сейчас: он предсказывал это на месяц позже.

– Не иначе, как их отослали на луну! – сказал я.

– Все это очень серьезно, и смеяться тут нечего, – промолвил Нилини, все так же глядя в потолок. – Вот сейчас станет ясно, у кого душа настоящего борца и кто, наоборот, при первом же ударе ляжет на обе лопатки.

И так же, как я не понял, почему это вдруг денег в мире стало мало, точно так же я не догадался, что Нилини имел в виду Гуидо, когда говорил о борцах, чьи силы должны сейчас подвергнуться испытанию. Я так привык защищаться от его проповедей невниманием, что и эту тоже, хоть я ее и услышал, я пропустил мимо ушей.

Но всего несколько дней спустя Нилини заговорил иначе. Случилось нечто новое. Он обнаружил, что у Гуидо есть еще один биржевой маклер. Вздвинченным тоном он заявил, что никогда и ничем не погрешил против Гуидо, в том числе и в вопросе соблюдения тайны. Он потребовал, чтобы я это подтвердил. Разве не скрывал он состояние его дел даже от меня, который был его лучшим другом? Но теперь он считал себя свободным от этой обязанности и мог во всеуслышанье заявить, что Гуидо разорен до нитки! Что касается сделок,

совершенных при его посредничестве, то он уверен – первое же небольшое улучшение, и крушение можно будет приостановить и спокойно ждать лучших времен. Однако просто неслыханно, что при первом же затруднении Гуидо подложил ему такую свинью!

Что там Ада! Вот чья ревность была поистине неукротима! Мне хотелось узнать от него суть дела, а он меж тем распался все больше и больше, твердя о совершенной по отношению к нему несправедливости. Поэтому, вопреки своему намерению, он так ничего мне толком и не рассказал.

После полудня я нашел Гуидо в конторе. Он лежал на диване в странном состоянии, это было нечто среднее между сном и отчаянием. Я спросил:

– Ты что же, окончательно разорился?

Он ответил не сразу. Сначала он убрал согнутую в локте руку, которой прикрывал свое помятое лицо, и спросил:

– Видел ли ты когда-нибудь человека несчастнее меня?

Затем снова прикрыл лицо рукой и переменял позу, перевернувшись на спину. Потом закрыл глаза и, казалось, забыл о моем присутствии.

Мне нечем было его утешить. Сказать по правде, меня задело то, что он считал себя самым несчастным человеком на свете. Это было даже не преувеличение – это была просто самая настоящая ложь. Если бы я мог что-то сделать, я бы ему помог, но утешать его – это было выше моих сил. На мой взгляд, даже куда более несчастные и куда менее виноватые люди, и те не заслуживают утешения, потому что в противном случае в жизни не осталось бы места ни для каких других чувств и это было бы довольно-таки скучно. Закон природы не предоставляет нам права на счастье, больше того – он предписывает нам несчастья и страдания. Стоит выставить пищу, как со всех сторон к ней начнут сбегаться паразиты, и если их мало, то они поспешат размножиться. Но часто добычи едва хватает, а вскоре – уже не хватает совсем, потому что природа не рассчитывает, а экспериментирует. Когда пищи становится недостаточно, число ее потребителей уменьшается благодаря смерти, которой обязательно предшествует страдание, и, таким образом, равновесие на некоторое время восстанавливается. Так чего же жаловаться? И тем не менее все жалуется! Те, которые ничего не урвали от добычи, умирают, крича о несправедливости, а те, которые получили свою долю, считают, что они имели право на большее. Почему они не хотят жить и умирать молча? И наоборот, до чего же все-таки приятно выглядит радость тех, кто сумел овладеть львиной долей добычи и является среди аплодисментов в солнечных лучах. Единственный приемлемый вопль – это вопль торжества!

А Гуидо! У него не было никаких данных для того, чтобы суметь приобрести или хотя бы удержать богатство. Он приходил из-за игорного стола и плакал оттого, что проиграл. Он не умел даже держаться как подобает, на него было тошно смотреть. Поэтому, и только поэтому, в тот самый момент, когда Гуидо было так необходимо мое сочувствие, я не сумел его в себе обнаружить. Не помогли даже многократно данные самому себе обещания.

Тем временем дыхание Гуидо становилось все более ровным и шумным. Он спал! До чего же не по-мужски вел он себя в несчастье! У него отняли

добычу, а он закрывал глаза, видимо, для того, чтобы хоть во сне увидеть, что она принадлежит ему. И это вместо того, чтобы раскрыть их пошире и поглядеть, а нельзя ли урвать от нее хотя бы немного?

Мне вдруг стало интересно, знает ли Ада о постигшем его несчастье. Я громко его об этом спросил. Он вздрогнул, и ему понадобилось некоторое время, чтобы вновь освоиться со своим несчастьем, которое он внезапно осмыслил во всей его полноте.

– Нет, – прошептал он. Потом снова закрыл глаза.

Ну да, конечно, все, кого постиг страшный удар, склонны ко сну. Сон возвращает силы. Я постоял некоторое время, глядя на него в нерешительности. Но как я мог ему помочь, если он спал? Спать было не время, Я грубо схватил его за плечо и встряхнул:

– Гуидо!

Он и в самом деле спал. Он посмотрел на меня, не узнавая, глазами, еще мутными ото сна. Потом спросил:

– Чего тебе? – И уже со злобой повторил свой вопрос: – Чего тебе надо, я спрашиваю?

Я хотел ему помочь, иначе у меня, конечно, не было никакого права его будить. Я тоже разозлился и заорал, что сейчас не время спать, потому что нужно поскорее решить, как мы будем поправлять дело. Нужно было все рассчитать и обсудить совместно со всей нашей и всей его семьей – той, что в Буэнос-Айресе.

Гуидо сел. Он еще не совсем пришел в себя после того, как его разбудили. Затем горько скатал:

– Было бы лучше, если б ты меня не будил. Кто, по-твоему, станет мне сейчас помогать? Разве ты не помнишь, до чего меня довели прошлый раз, прежде чем я вырвал у них те жалкие гроши, которые были необходимы мне для спасения? А ведь сейчас речь идет о суммах весьма значительных. К кому же мне, по-твоему, обращаться?

Без всякого сочувствия, а наоборот, даже со злобой – оттого, что я оказался вынужден давать ему деньги и тем самым подвергать лишениям себя и свою семью, я воскликнул:

– А я что, не существую, по-твоему?

Но затем скупость заставила меня с самого начала уменьшить размеры приносимой мною жертвы.

– А Ада? А наша теща? Разве мы все не можем объединиться и спасти тебя?

Он поднялся с дивана и направился ко мне с явным намерением заключить меня в объятия. Но как раз этого я и не хотел. Предложив ему свою помощь, я получил право его упрекать и широко им воспользовался. Я упрекнул его в том, что сейчас он проявляет такую слабость, а раньше был так самонадеян, что это привело его к разорению. Он действовал, полагаясь лишь на собственный ум, и ни с кем не хотел советоваться. Сколько раз я пытался узнать, как идут его дела, чтобы удержать его от игры и спасти, но он не желал мне отвечать, доверяя одному лишь Нилини.

Здесь Гуидо улыбнулся – именно улыбнулся, несчастный! Он сказал, что уже две недели не работает с Нилини, так как ему кажется, что его рожа приносит ему несчастье.

В том, что он заснул, и в этой его улыбке был весь Гуидо: он портил жизнь всем, кто был рядом с ним, и при этом улыбался. Я вел себя как суровый судья, потому что если я хотел спасти Гуидо, я должен был его перевоспитать.

Я пожелал узнать, сколько он потерял, и меня разозлило, когда он сказал, что точно не знает. Но я разозлился еще больше, когда он назвал относительно небольшую цифру, а потом оказалось, что это только то, что предстоит заплатить при первой ликвидации, пятнадцатого числа, до которой оставалось всего два дня. Что же касается конца месяца, то Гуидо уверял меня, что времени еще много и все еще может измениться. Нехватка денег на рынке не может продолжаться вечно!

– Если на земле не хватает денег, ты что же, надеешься, что они с неба свалятся? – заорал я и добавил, что играть нельзя больше ни одного дня. Нельзя было подвергать себя риску увеличить и без того огромный убыток. Еще я сказал, что потерянную им сумму мы разделим на четыре части, которые покроем я, он (то есть его отец), синьора Мальфенти и Ада, что затем мы вновь займемся коммерцией, не сопряженной ни с каким риском, и что я не желаю больше видеть в нашей конторе ни Нилини, ни каких-либо других биржевых маклеров.

Он робко попросил меня не кричать, так как нас могли услышать соседи.

Я сделал усилие, чтобы успокоиться, и это мне удалось, хотя я и продолжал отчитывать его шепотом. Его проигрыш – это настоящее преступление. Нужно было быть полным идиотом, чтобы попасть в такую переделку. Я считаю, что ему просто необходимо извлечь из случившегося все возможные уроки.

Тут Гуидо робко мне возразил. Кто из нас не играл на бирже? Возьмем хоть нашего тестя, такого солидного коммерсанта, у которого дня не проходило без сделки. Или я – Гуидо же знает, что я тоже играл на бирже.

Я заявил, что игра бывает разная. Он рисковал всем своим состоянием, я – месячным доходом.

На меня произвело очень неприятное впечатление то, что Гуидо совсем по-детски попытался свалить всю ответственность на другого. Он принялся меня уверять, что это Нилини заставлял его играть, когда он уже не хотел, посулив ему крупный выигрыш.

Я поднял его на смех. Нечего валить на Нилини – Нилини преследовал свои цели. А кроме того, расставшись с Нилини, разве не бросился он увеличивать ставки при посредстве другого маклера? Он мог бы похвалиться новым знакомством только в том случае, если бы благодаря ему он тайком от Нилини начал играть на понижение. Чтобы поправить дело, недостаточно было сменить маклера: ведь действовал-то он по-старому, преследуемый все тем же невезением. Но тут он попросил меня оставить его в покое и со слезами в голосе признал, что был виноват.

Я прекратил свои упреки. Вот сейчас он действительно внушал мне сочувствие, и я бы даже обнял его, если бы он захотел. Я сказал, что сразу же

займусь изысканием для него денег и могу взять, на себя также переговоры с тещей. Он же пускай займется Адой.

Мое сочувствие возросло еще более, когда он признался, что охотно бы поговорил вместо меня с тещей, но что мысль о необходимости разговора с Адой приводит его в ужас.

– Ты же знаешь, каковы женщины! Они ничего не желают понимать. Они понимают только те сделки, которые увенчались успехом.

И он решил, что не будет говорить с ней вовсе и сообщить ей о случившемся попросит синьору Мальфенти.

Покончив с этой проблемой, он почувствовал значительное облегчение, и мы вместе вышли из конторы. Я смотрел, как он идет рядом, низко опустив голову, и раскаивался, что обошелся с ним так сурово. Но разве я мог поступить иначе, если я его любил? Он должен был образумиться, если не хотел погибнуть окончательно! Но каковы же должны были быть у них отношения с Адой, если он так боялся простого разговора!

Однако он тем временем снова умудрился меня разозлить. По дороге он принялся вносить усовершенствование в тот план действий, который и без того ему так понравился. Он не только не будет говорить с женой, но устроит так, что вообще не увидит ее нынче вечером, потому что прямо сейчас уедет на охоту. После того, как он принял это решение, его настроение стало совсем безоблачным. Казалось, ему достаточно было одной только перспективы оказаться на свежем воздухе, вдали от всех забот, чтобы сразу приобрести вид человека, который уже там, на воздухе, и всю им наслаждается. Я пришел в негодование. Он держался и выглядел так, что вполне мог снова отправиться на биржу и возобновить игру, в которой ставил на карту состояние и своей и моей семьи.

Он сказал:

– Я хочу в последний раз позволить себе развлечься и приглашаю тебя со мной, но с условием, что ты ни еловом не заикнешься о том, что произошло сегодня.

До сих пор он говорил улыбаясь. Но, увидев, как я серьезен, тоже посерьезнел и добавил:

– Ты и сам видишь, что мне нужно отдохнуть после всего пережитого. Потом мне будет легче занять свое место в борьбе.

Его голос исказило волнение, в искренности которого я не мог сомневаться. Потому я сумел сдержать свой гнев; во всяком случае, если он и проявился, то только в отказе принять его приглашение. Я сказал, что должен остаться в городе, чтобы раздобыть необходимую сумму. Уже это было ему упреком! Я, ни в чем не виноватый, оставался на своем посту, в то время как он, который был всему виною, позволял себе развлекаться!

Мы дошли до дверей дома синьоры Мальфенти. Гуидо уже не выражал радости по поводу предстоящего ему через несколько часов развлечения, и куда он оставался со мной, с его лица не сходило выражение страдания, которое вернул на него я. Но прежде чем мы расстались, он нашел способ облегчить душу, выказав независимость и, как мне показалось, досаду. Он



сказал, что поистине удивлен, обнаружив во мне такого друга. Он еще не уверен – следует ли ему принимать жертву, которую я желал ему принести, и надеется (именно надеется!), что я понимаю, – он вовсе не считает меня связанным этим обязательством. Я по-прежнему волен решать, дать ему эти деньги или не дать. Наверное, я покраснел. Стараясь побороть замешательство, я сказал:

– С чего ты взял, что я пойду на попятный, когда всего несколько минут назад я сам предложил тебе свою помощь, не дожидаясь, пока ты меня об этом попросишь?

Он посмотрел на меня, словно колеблясь, а потом сказал:

– Раз ты этого хочешь, я, разумеется, принимаю твою помощь и благодарю тебя. Но мы заключим контракт на совершенно новых условиях, при которых каждый из нас будет иметь то, что ему причитается. Если мы возобновим работу и ты захочешь принять в ней участие, ты должен будешь получать жалованье. Мы создадим новое товарищество на совершенно новых началах, и, таким образом, сможем уже не бояться неприятностей, которыми грозило нам сокрытие убытков, понесенных фирмой в течение первого года существования.

Я ответил:

– Та растрата не имеет теперь никакого значения, выбрось ее из головы. Попытайся лучше привлечь на свою сторону тещу. Сейчас это самое важное.

На этом мы расстались. Мне кажется, я улыбнулся наивности, с которой Гуидо выдавал свои самые потаенные чувства. Всю свою длинную речь он произнес для того, чтобы, принимая мой дар, не быть обязанным высказывать благодарность. Но я на нее и не претендовал. Мне достаточно было знать, что благодарить он должен именно меня.

Впрочем, расставшись с ним, я тоже почувствовал облегчение, словно вырвался наконец на свежий воздух. Я как бы снова ощутил свободу, которой лишала меня необходимость его воспитывать и направлять на истинный путь. В сущности, наставник связан еще в большей степени, чем его ученик. Я твердо решил раздобыть для него эти деньги. Разумеется, я не могу твердо сказать, делал я это из любви к нему или к Аде; может, мне просто хотелось снять с себя ту небольшую долю ответственности, которая лежала на мне в связи с тем, что я все-таки работал в его конторе. В общем, я решил пожертвовать какой-то частью своего состояния, и до сей поры вспоминаю этот день своей жизни с огромным удовлетворением. Эти деньги спасали Гуидо, а мне обеспечивали спокойную совесть.

Чувствуя себя совершенно успокоившимся, я прогулял весь день до самого вечера и таким образом потерял время, необходимое для того, чтобы разыскать на бирже Оливи, без которого я не мог раздобыть такую крупную сумму. Но потом я подумал, что это не так уж и срочно. У меня было некоторое количество денег, и их хватало на то, чтобы я мог принять участие в выплате, которая должна была состояться пятнадцатого. Деньги же, которые понадобятся к концу месяца, я мог достать и позже.

И в тот вечер я не думал больше о Гуидо. Позже, когда дети уже были уложены, я несколько раз порывался рассказать Аугусте о финансовом крахе

Гуидо и убытке, который должен был частично лечь на меня, но потом решил не отравлять себе жизнь неизбежными спорами и отложил уговаривание Аугусты до той поры, когда этот вопрос будет уже решен всей семьей. И потом, раз уж Гуидо позволил себе развлечься, с моей стороны было бы просто странно так себя изводить!

Я прекрасно провел ночь, а утром, с карманом, не слишком отягощенным деньгами (там был конверт, когда-то возвращенный Карлой, который я до сих пор благоговейно сохранял – либо для нее самой, либо для какой-нибудь ее преемницы, а также небольшая сумма, которую я сумел раздобыть в банке), отправился в контору. Утро я провел за чтением газет, в обществе Кармен, которая шила, и Лучано, который упражнялся в сложении и умножении.

Вернувшись домой к завтраку, я нашел Аугусту растерянной и подавленной. На ее лице была та необыкновенная бледность, которая появлялась в тех случаях, когда страдать заставлял ее я. Она робко заметила:

– Мне сказали, что ты решил пожертвовать частью своего состояния, чтобы спасти Гуидо. Я понимаю, что не имею права на то, чтобы меня предупреждали...

Она так сомневалась в своем праве, что даже поколебалась, прежде чем продолжать. Но потом снова принялась упрекать меня за мое молчание:

– Ведь я же не Ада, я никогда не противилась твоей воле!

Прошло немало времени, прежде чем я понял, что произошло. Аугуста пришла к Аде в тот момент, когда та обсуждала с матерью дела Гуидо. При виде Аугусты Ада разрыдалась и рассказала ей о моей щедрости, которой она ни в коем случае не хотела воспользоваться. Она даже попросила Аугусту, чтобы та уговорила меня взять назад свое предложение.

Я сразу же заметил, что Аугуста мучается своей старой болезнью, то есть ревностью к сестре, но не придавал этому значения. Меня удивила позиция, занятая Адой.

– Она что, выглядела рассерженной? – спросил я, вытаращив от изумления глаза.

– Да нет же, нет, она нисколько не сердится! – искренно воскликнула Аугуста. – Она поцеловала меня и обняла... может, для того, чтобы я обняла тебя?

Такой способ выражать свои чувства показался мне довольно-таки смешным. Аугуста смотрела на меня недоверчивым, изучающим взглядом.

Я запротестовал:

– Уж не думаешь ли ты, что Ада в меня влюблена? Что это тебе взбрело в голову?

Но мне не удалось успокоить Аугусту, и ее ревность ужасно меня раздражала. То, что Гуидо сейчас уже не развлекался, а вынужден был выдерживать неприятные объяснения с женой и тещей – было мне приятно, но ведь и мне порядком досталось, и я считал, что, учитывая полную мою невиновность, на мою долю выпало слишком много неприятностей.

Я попытался успокоить Аугусту, приласкав ее. Она отодвинула свое лицо от моего, чтобы лучше меня видеть, и робко и нежно произнесла слова упрека,

искренно меня взволновавшие.

– Я знаю, что меня ты тоже любишь, – сказала она.

Видимо, ее беспокоили мои, а не Адины чувства, и тут меня осенило, как доказать ей свою невиновность.

– Так, значит, Ада в меня влюблена? – спросил я смеясь.

Потом, отодвинувшись от Аугусты, чтобы она лучше меня видела, я слегка надул щеки и выпучил глаза, изображая Аду такой, какой она сделалась после болезни. Сначала Аугуста смотрела на меня в изумлении, но вскоре догадалась, что я хотел изобразить. Она не смогла удержаться от смеха, хотя тут же его устыдилась.

– Нет, – сказала она. – Прошу тебя, не надо над ней смеяться. – Потом, все еще смеясь, она признала, что мне прекрасно удалось передать те припухлости, которые придавали лицу Ады такой странный вид. Это я знал и сам, потому что когда я изображал их, мне казалось, что я обнимаю Аду. А когда я остался один, я несколько раз повторил эту гримасу, чувствуя желание и одновременно отвращение.

После полудня я отправился в контору в надежде застать там Гуидо. Подождав некоторое время, я решил пойти к нему домой. Должен же я был знать – просить мне у Оливи деньги или нет! Я обязан был выполнить свой долг несмотря на то, что меня совсем не прельщала перспектива видеть Аду еще в одном обличье – Аду, преображенную чувством благодарности. Кто знает, какие еще сюрпризы может преподнести мне эта женщина!

На лестнице я столкнулся с синьорой Мальфенти, которая с трудом поднималась наверх. Она рассказала мне во всех подробностях, что они порешили насчет Гуидо. Накануне вечером они почти сошлись на том, что необходимо спасти этого человека, потерпевшего такое жестокое поражение. О том, что я тоже должен был участвовать в покрытии долга, Ада узнала только утром и решительно отказалась принять мое предложение. Синьора Мальфенти ее оправдывала:

– Что ты хочешь? Она не желает мучиться угрызениями совести из-за того, что разорила любимую сестру.

На площадке синьора остановилась, чтобы отдышаться, а также чтобы поговорить еще, и, смеясь, сказала, что дело наверное кончится таким образом, что не пострадает никто. Еще до завтрака Гуидо и Ада сходили на консультацию к адвокату – старому другу семьи, который был сейчас опекуном маленькой Анны. Адвокат сказал, что платить было не обязательно, потому что нет такого закона, по которому Гуидо можно было бы заставить платить. Гуидо живо воспротивился, говоря о чести и долге, но, вне всякого сомнения, раз уж все, включая Аду, решили не платить, ему придется с этим смириться.

– Но его фирма будет объявлена на бирже обанкротившейся! – сказал я в растерянности.

– Вероятно, – ответила синьора Мальфенти и со вздохом принялась одолевая последний марш лестницы.

После завтрака Гуидо имел привычку отдыхать, так что нас приняла одна Ада в той самой маленькой гостиной, которая была мне так знакома. Увидев

меня, она на мгновение смутилась, всего только на мгновение, но я уловил это смущение и запомнил – оно было так ясно, так очевидно, как если бы она сама мне о нем сказала. Затем, оправившись, она протянула мне руку решительным мужским жестом, который должен был перечеркнуть то чисто женское замешательство, которое ему предшествовало.

Она сказала:

– О том, как я тебе благодарна, тебе расскажет Аугуста. Сама я не могу сейчас говорить о своих, чувствах: я слишком взволнована. И больна. Да, да, совсем больна. Мне надо бы снова съездить в Болонью.

У нее вырвалось рыдание.

– Сейчас я прошу тебя только об одном одолжении: пожалуйста, скажи Гуидо, что ты тоже не можешь дать ему эти деньги. Так нам будет легче заставить его сделать то, что следует сделать.

Первое рыдание вырвалось у нее при мысли о ее болезни, потом она всхлипнула снова, прежде чем начать говорить о муже.

– Он ребенок, и обращаться с ним нужно как с ребенком. Если он узнает, что ты даешь ему эти деньги, он еще больше заупрямится, отстаивая свое решение бессмысленно пожертвовать и всеми остальными деньгами. Я говорю бессмысленно, потому что теперь-то мы точно знаем, что банкротство на бирже разрешено. Нам сказал это адвокат.

Она сообщила мне мнение столь высокого авторитета, даже не справившись о моем, хотя мое мнение – мнение старого завсегдатая биржи – могло иметь вес даже рядом с мнением этого адвоката. Однако я о своем мнении даже не вспомнил, хотя оно у меня и было. Я помнил только о том, что поставлен в очень трудное положение. Я не мог взять назад обещание, которое дал Гуидо: ведь я счел себя вправе наорать на него и сказать ему столько грубостей лишь потому, что считал это как бы компенсацией за взятое мною обязательство. И теперь, после того, как я уже положил в карман проценты на одолженный ему капитал, я не мог не дать ему эти деньги!

– Ада! – начал я неуверенно. – Как же я могу сегодня говорить одно, а завтра другое! Не лучше ли будет, если ты сама уговоришь Гуидо поступить так, как считаешь нужным?

Синьора Мальфенти, проявляя ко мне, как обычно, большую симпатию, заявила, что прекрасно понимает особенность моего положения и что даже если в распоряжении Гуидо и окажется четверть необходимой суммы, он все равно будет вынужден принять их требования.

Но Ада все еще не выплакалась. Закрывая лицо платком и всхлипывая, она сказала:

– Ты поступил плохо, очень плохо, сделав это поистине неслыханное предложение. Теперь ты видишь сам, как плохо ты поступил!

У меня было такое ощущение, будто она разрывается между признательностью и досадой. Потом она добавила, что не желает больше слышать о моем предложении, и просила не доставать нужную сумму, потому что она все равно либо не позволит мне отдать ее Гуидо, либо не позволит Гуидо взять ее у меня.

Я был так растерян, что в конце концов не удержался от лжи. Я сказал, что уже достал эти деньги, и показал при этом на нагрудный карман, где лежал тот весьма легковесный конверт. На этот раз Ада взглянула на меня с выражением настоящего восхищения, которое доставило бы мне удовольствие, если бы мне не было известно, что я его совсем не заслужил. Так или иначе, именно эта моя ложь, которую я могу объяснить только тем, что мне хотелось казаться Аде лучше, чем я был, лишила меня возможности дожидаться Гуидо и погнала прочь из их дома. Ведь могло случиться, что в какой-то момент – вопреки всем ожиданиям – у меня попросят эти деньги, которые якобы были при мне, и хороший бы я тогда имел вид! Сказав, что в конторе меня ждет срочное дело, я поспешил удалиться.

Ада проводила меня до дверей и заверила, что непременно пришлет ко мне Гуидо: он поблагодарит меня, но воспользоваться моей добротой откажется. Она заявила это с такой решимостью, что я вздрогнул. Мне показалось, что это твердое решение частично бьет и по мне. Нет! В этот момент она меня не любила. Моя доброта была слишком велика. Она придавила тех, на кого пала, и ничего нет удивительного в том, что облагодетельствованные запротестовали. Идя в контору, я попытался стряхнуть неприятное чувство, вызванное поведением Ады, напомнив себе, что эту жертву я приносил Гуидо и никому другому. При чем тут была Ада? И я дал себе слово объяснить это Аде при первом удобном случае.

Я пошел в контору только потому, что не хотел мучиться потом угрызениями совести из-за того, что еще раз соврал. Никаких дел у меня там не было. В тот день с самого утра моросил мелкий, настырный дождичек, который заметно охладил дыхание и без того робкой весны. Я был всего в двух шагах от дома, в то время как для того, чтобы добраться до конторы, мне предстоял куда более длинный путь, и это было не очень-то приятно. Но я считал, что должен быть на уровне взятых мною обязательств.

Некоторое время спустя туда пришел Гуидо и отослал Лучано, чтобы остаться со мной наедине. У него был тот растерзанный вид, который, должно быть, помогал ему в сражениях с женой и который был мне так хорошо знаком. Судя по всему, недавно он много кричал и плакал.

Он спросил, что я думаю о планах его жены и тещи, которые, насколько он знал, были мне уже известны. Я заколебался. Мне не хотелось сообщать ему своего мнения, которое не могло совпасть с мнением женщин, но с другой стороны, я знал, что если встану на их точку зрения, Гуидо устроит мне сцену. А потом это было бы слишком уж неприятно – предстать перед ним колеблющимся, когда речь идет о помощи: в конце концов, мы же договорились с Адой, что решение должно принадлежать не мне, а Гуидо. Я сказал, что нужно все хорошенько взвесить, обдумать, послушать, что скажут другие люди. Я не настолько сведущ в коммерции, чтобы давать ему советы в таком важном деле. И, желая выиграть время, спросил, не хочет ли он, чтобы я посоветовался с Оливи.

Этого было достаточно, чтобы он взорвался.

– Этот идиот! – заорал он. – Прошу тебя, оставь ты меня в покое со своим

Оливи!

И хотя я вовсе не был склонен горячиться и защищать Оливи, моего спокойствия оказалось недостаточно для того, чтобы успокоить Гуидо. Сложившаяся ситуация во всем походила на вчерашнюю, только теперь кричал он, а молчать приходилось мне. Это все вопрос настроения. Сегодня я был в замешательстве, которое меня сковывало.

Но он решительно требовал, чтобы я высказал свое мнение. Осененный внезапным вдохновением, которое, я считаю, было ниспослано мне богом, я заговорил, и говорил так хорошо, что если бы мои слова возымели хоть какое-нибудь действие, катастрофы, которая вскоре последовала, можно было бы избежать. Я сказал, что за это время я разделил его проблему на два вопроса: вопрос о ликвидации пятнадцатого числа и вопрос о ликвидации в конце месяца. В сущности, пятнадцатого требовалось заплатить не такую уж большую сумму, и сейчас он должен заставить женщин примириться с этой относительно небольшой тратой. А потом у нас еще останется время, чтобы придумать что-нибудь и со второй ликвидацией.

Гуидо прервал меня вопросом:

– Ада сказала, что деньги уже у тебя в кармане. Они у тебя с собой?

Я покраснел. Но сразу же придумал еще одну ложь, которая меня спасла:

– Так как твои не захотели взять эти деньги, я только что положил их в банк. Но мы можем взять их оттуда, когда пожелаем, хоть завтра же утром.

Тут он упрекнул меня за то, что я переменял мнение. Разве не я днем раньше заявил, что не желаю ждать второй ликвидации для того, чтобы привести дела в порядок? И здесь его одолел такой приступ гнева, что он без сил повалился на диван. Он вышвырнет из конторы и Нилини и всех прочих маклеров, которые вовлекли его в игру. О господи! Играя, он, конечно же, учитывал возможность разорения, но оказаться в зависимости от ничего не смысливших женщин – этого он предвидеть не мог!

Я пожал ему руку и, если бы он позволил, обнял бы его. Только того я и хотел, чтобы он пришел наконец к этому решению. Никакой игры, и каждодневный будничные труд.

В этом наше будущее и его независимость. Теперь речь шла только о том, чтобы пережить этот короткий неприятный период, а потом все станет легко и просто.

Подавленный, но немного успокоившийся, он вскоре ушел. Даже он при всей своей слабости проникся твердым решением.

– Пойду снова к Аде! – пробормотал он, улыбнувшись горькой, но исполненной решимости улыбкой.

Я проводил его до дверей и охотно проводил бы и до самого дома, если бы его не ждал экипаж.

Но Гуидо преследовала Немезида. Полчаса спустя после его ухода я подумал, что с моей стороны было бы благоразумно пойти к нему домой и побыть с ним. Не то чтобы я считал, что он подвергается там какой-либо опасности, просто я был теперь целиком на его стороне и мог бы ему помочь, убеждая Аду и синьору Мальфенти прийти ему на помощь. Банкротство на

бирже – это мне совсем не нравилось, а между тем растроченная сумма, если ее поделить между нами четверьмя, хоть и была не так уж мала, однако никого из нас не разоряла.

Потом я вспомнил, что главный мой долг состоял не в том, чтобы находиться при Гуидо, а в том, чтобы завтра же иметь наготове сумму, которую я ему обещал. И я отправился искать Оливи, приготовившись к новому сражению. Я придумал такую комбинацию: я беру на свое имя на несколько лет крупную сумму, причем через несколько месяцев вношу в счет ее погашения то, что осталось у меня от материнского наследства. Я надеялся, что Оливи не станет чинить мне препятствий, потому что до сих пор я ни разу не просил у него ничего, кроме того, что причиталось мне с прибылей и процентов, и мог пообещать впредь не беспокоить его подобными просьбами. Кроме того, мы, очевидно, могли надеяться, что Гуидо вернет хотя бы часть взятой суммы.

В тот вечер мне не удалось найти Оливи. Он ушел из конторы буквально перед моим приходом. Предполагали, что он отправился на биржу. Но там я его не застал. Зайдя к нему домой, я узнал, что он находится на заседании одного экономического общества, в котором состоял почетным членом. Я мог бы пойти и туда, но уже стемнело, а кроме того, не переставая лил сильный дождь, превративший улицы в ручьи.

Это был настоящий потоп, который длился всю ночь и о котором вспоминали еще много лет спустя. Дождь падал спокойно, строго перпендикулярно, не утихая ни на минуту. С окружающих город холмов стекала грязь, которая, смешавшись с городскими отбросами, закупорила наши немногочисленные каналы. Я тщетно пытался переждать дождь в каком-то укрытии, но вскоре мне стало ясно, что он заладил надолго и перемен ждать не приходится. Когда наконец я решил отправиться домой, вода покрывала уже самые высокие части мостовой. Я бежал домой, промокший до костей, и не переставал ругаться. Я ругался еще и потому, что потерял столько времени, разыскивая следы Оливи. Очень может быть, что мое время не так уж драгоценно, но меня всегда ужасно огорчает, когда мне приходится констатировать, что я старался впустую. На бегу я думал: «Отложим все до завтра, когда будет ясно, светло и сухо. Завтра я схожу к Оливи и завтра же явлюсь к Гуидо. Лучше я поднимусь пораньше, лишь бы было ясно и сухо». Я был так уверен в правильности принятого мною решения, что сказал Аугусте, будто окончательное решение вопроса отложено на завтра. Я вытерся, переоделся и в теплых, удобных домашних туфлях на натруженных ногах сначала поужинал, а потом отправился в постель, чтобы проспать крепким сном до самого утра, в то время как по стеклам хлестали струй дождя, толстые как канаты.

Таким образом, события этой ночи стали мне известны довольно поздно. Сначала мы узнали о том, что в некоторых районах города дождь вызвал наводнение, а потом – что Гуидо умер.

Еще позже я узнал, как это произошло. Около одиннадцати вечера, когда синьора Мальфенти ушла, Гуидо сообщил жене, что принял огромную дозу веронала. Потом он попытался убедить ее в том, что он обречен. Он обнял ее,

поцеловал и попросил прощения за то, что причинил ей столько страданий.

Потом, перед тем, как его речь превратилась в неразборчивое бормотание, он заверил ее, что она была единственной его любовью. Она не поверила ни этому заявлению, ни тому, что он принял такую дозу веронала, что может умереть. Не поверила она и в то, что он лишился чувств, думая, что он опять притворяется, чтобы вырвать у нее деньги.

Но потом, когда прошел почти час, а сон его становился все глубже, она испугалась и написала записочку врачу, жившему неподалеку от их дома. В записке она сообщила, что ее муж нуждается в срочной помощи, так как принял большую дозу веронала.

До сих пор в доме не замечалось никакого волнения, и поэтому служанка, старая женщина, поступившая к ним недавно, не могла и представить себе, насколько серьезна была порученная ей миссия.

Остальное сделал дождь. Очутившись по колени в воде, служанка потеряла записку. Она заметила это только у доктора. Однако она все-таки объяснила ему, что дело срочное, и сумела привести его с собой.

Доктор Мали, мужчина лет около пятидесяти, был врачом, весьма далеким от гениальности, но опытным и выполнявшим свой долг, насколько он мог, старательно. У него не было обширной собственной клиентуры, он работал от одного общества с бесчисленным количеством членов, которое вознаграждало его труды весьма скромно. В тот день он вернулся домой незадолго до прихода служанки и только успел добраться до огня, чтобы обсушиться и согреться. Можно себе представить, с каким чувством покидал он свой теплый уголок! Когда я принялся выяснять причины смерти своего бедного друга, я постарался познакомиться и с доктором Мали. От него я узнал только следующее. Когда он вышел на улицу и почувствовал, как дождь льется на него сквозь зонт, он вспомнил о том, что крестьяне в плохую погоду сидят дома, и пожалел, что занялся медициной, а не сельским хозяйством.

Добравшись наконец до постели Гуидо, он нашел Аду уже совершенно успокоившейся. Сейчас, когда рядом с ней был врач, она снова вспомнила о том, как обманул ее Гуидо месяц назад, симулировав самоубийство. Теперь ответственность лежала не на ней, а на докторе, которому следовало знать все, в том числе и то, почему она подозревает здесь симуляцию. И все до последнего было изложено доктору, который продолжал прислушиваться к тому, как хлещут по улицам волны дождя, смывая все на своем пути. Так как его не предупредили, что речь идет об отравлении, он не захватил с собой необходимых инструментов. Он посетовал на это, пробормотав несколько слов, которые Ада не разобрала. Хуже всего было то, что за всеми этими инструментами, необходимыми для промывания желудка, он не мог послать никого, а должен был идти сам. То есть ему предстояло дважды проделать путь от своего дома до дома Ады. Он пощупал пульс Гуидо и нашел, что он превосходен. Тогда он спросил Аду, всегда ли Гуидо спит так крепко. Ада ответила, что да, но все же не настолько. Доктор исследовал глаза Гуидо: они прекрасно реагировали на свет. И он ушел, распорядившись давать больному время от времени ложечку крепчайшего черного кофе.



Я узнал также, что, выйдя на улицу, он злобно пробормотал:

– Следовало бы запретить симулировать самоубийство в такую погоду.

Я, когда мы уже с ним познакомились, не осмелился упрекнуть его в небрежном отношении к своим обязанностям, но он угадал мой упрек и сделал попытку оправдаться: он сказал, что известие о смерти Гуидо, которое он получил утром, настолько его поразило, что он даже подумал, что тот проснулся и принял еще дозу веронала. К этому он добавил, что несведущие в медицинском искусстве люди даже представить себе не могут, как часто врачу приходилось защищать свою жизнь от пациентов, которые только и думают, что о своей собственной.

Прошло чуть больше часа, и Ада устала вливать кофе Гуидо между зубов. К тому же, видя, что во рту кофе у него остается все меньше и меньше, а остальное проливается на подушку, она снова испугалась и попросила служанку сбегать за доктором Паоли. На этот раз служанка отнеслась к записке внимательнее. Но добиралась она до дома врача больше часа. Ведь это так естественно, что во время дождя то и дело возникает желание забежать под арку и переждать. Такой дождь не только мочит, но буквально хлещет своими струями.

Доктора Паоли не было дома. Его недавно вызвали к больному, и, уходя, он сказал, что надеется скоро вернуться. Однако потом он, видимо, предпочел переждать дождь в доме у пациента. Его экономка, милейшая пожилая дама, усадила служанку Ады у огня и позаботилась о том, чтобы подкрепить ее силы. Адреса больного доктор не оставил, и, таким образом, женщинам пришлось провести вместе у камина несколько часов. Доктор вернулся, лишь когда перестал дождь. Когда он со всем инструментарием, который однажды он уже опробовал на Гуидо, прибыл к Аде, уже светало. У постели Гуидо его ждала только одна задача: скрыть от Ады, что Гуидо уже мертв, и вызвать синьору Мальфенти до того, как Ада это заметит, чтобы та была с ней при первом взрыве отчаяния.

Вот почему новость дошла до нас так поздно и в таком нечетком виде.

Поднявшись с постели, я в последний раз почувствовал вспышку гнева против бедного Гуидо: любое несчастье он умел усложнить своими комедиями. Я вышел из дому без Аугусты, которая не могла так сразу оставить малыша, и, когда очутился на улице, заколебался. Может, лучше было подождать, когда откроются банки, а Оливи придет в контору, чтобы явиться к Гуидо с обещанной суммой? Вот как мало я верил в то, что положение его серьезно.

Правду я узнал от доктора Паоли, с которым столкнулся на лестнице. Я был так потрясен, что чуть не упал. Гуидо с тех пор, как мы стали жить с ним бок о бок, занял в моей жизни очень важное место. Покуда он был жив, я видел его в определенном свете – в этом свете проходила часть каждого моего дня. Когда он умер, этот свет неожиданно изменился, словно пройдя через призму. Именно это поначалу меня словно ослепило. Да, он совершил ошибку, но я сразу же понял, что, раз он умер, от его ошибок не осталось и следа. Тот шутник, который на кладбище, заставленном хвалебными эпитафиями, спросил, где же в этом городе хоронят грешников, был, на мой взгляд, просто

идиотом. Мертвые не бывают грешниками. Гуидо отныне был чист. Его очистила смерть.

Доктор был очень взволнован, так как был свидетелем того, как мучается Ада. Он рассказал мне кое-что о проведенной ею ужасной ночи. Ему удалось убедить ее в том, что количество яда, принятого Гуидо, было так велико, что ему уже ничто не могло помочь. Будет просто ужасно, если она узнает, что это не так.

– На самом деле, – сокрушенно добавил доктор, – если бы я пришел на несколько часов раньше, он был бы жив. Вот, я нашел пустые пузырьки из-под яда.

Я взглянул на них. Сильная доза, по значительно менее сильная, чем в прошлый раз. На некоторых пузырьках я разобрал название. Веронал. Значит, просто веронал, а не с натрием. Как никто другой, я теперь мог быть уверен в том, что Гуидо не хотел умереть. Я никогда никому об этом не сказал.

Потом Паоли оставил меня, сказав, что я не должен сейчас пытаться увидеть Аду. Он дал ей сильное успокаивающее и не сомневается, что вскоре оно окажет свое действие. В коридоре из комнатки, где меня два раза принимала Ада, до меня донесся ее тихий плач. Она говорила какие-то слова, которые я не разобрал, но полные печали. Часто повторялось слово «он», и я представил себе, что она могла говорить. Она реконструировала свои отношения с бедным умершим. Они не должны были походить на те, которые она имела с живым. Для меня было совершенно ясно, что с живым она совершила ошибку. Он умер из-за преступления, в котором были повинны все: ведь он играл на бирже с общего согласия. Когда же настал час расплаты, они оставили его одного. И он поспешил расплатиться. Из всего его окружения один я был тут ни при чем, и тем не менее только я считал своим долгом ему помочь.

Бедный Гуидо лежал всеми покинутый, накрытый простыней, в своей супружеской спальне. Уже прочно затвердевшие черты выражали не силу, а глубокое изумление по поводу того, что он умер, хотя вовсе этого не хотел. На его лице, красивом и смуглом, застыл упрек. Разумеется, он был адресован не мне.

Я вернулся домой, чтобы поторопить Аугусту отправиться к сестре. Я был очень взволнован, и Аугуста, обняв меня, тоже заплакала.

– Ты был для него братом, – прошептала она. – И теперь я с тобой совершенно согласна: мы пожертвуем частью своего состояния, чтобы память о нем осталась незапятнанной.

Я позаботился о том, чтобы воздать моему бедному другу все необходимые почести. Для начала я повесил на дверь конторы записку, уведомлявшую, что контора закрыта по случаю смерти владельца. Затем сам составил траурное объявление. Но только на другой день с согласия Ады были сделаны распоряжения насчет похорон. Тогда же я узнал, что Ада решила сопровождать гроб на кладбище. Она хотела дать ему все, какие только могла, доказательства своей любви. Бедняжка! Я знал, какая это мука – угрызения совести на могиле! Я сам столько страдал после смерти отца.

Вторую половину дня я провел в конторе вместе с Нилини. Мы составили

примерный баланс финансового положения Гуидо. Обнаружилось нечто ужасное. Был потерян не только весь капитал фирмы: если бы Гуидо пришлось отвечать за все, он должен был бы вернуть ей еще столько же.

Я бы с удовольствием поработал – именно поработал – на благо моего бедного усопшего друга, но ведь я умел только мечтать. Первой моей мыслью было посвятить всю свою жизнь его конторе, работая на Аду и ее детей. Но мог ли я быть уверен, что сумею делать это хорошо?

В то время как я заглядывал так далеко, Нилини, по обыкновению, болтал. Он тоже ощущал необходимость радикально переменить свои отношения с Гуидо. Теперь-то он понимал все! Когда бедный Гуидо обошелся с ним так несправедливо, он уже был болен той болезнью, которая довела его до самоубийства. Поэтому отныне все должно быть забыто. И он долго разглагольствовал о том, что так уж он создан. Он ни на кого не мог долго таить зла. Он всегда любил Гуидо и любит его до сих пор.

Кончилось тем, что мечтания Нилини присоединились к моим и слились с ними. Искать спасения от подобной катастрофы следовало не в каждодневной торговле, а на самой бирже. И Нилини рассказал мне об одном человеке, его друге, который сумел спастись в последнюю минуту, удвоив ставку.

Мы говорили с ним несколько часов, но предложение продолжить игру, начатую Гуидо, возникло последним, незадолго до полудня, и я сразу же его принял. Я принял его с такой радостью, словно оно могло воскресить моего бедного друга. И в конце концов я купил на имя Гуидо еще некоторое количество акций со странными названиями *Rio Tinto*, *South French* и т. п.

Так начались для меня пятьдесят часов самой напряженной работы, которая когда-либо выпадала мне в жизни. Сначала я до вечера мерил нашу контору большими шагами, ожидая сообщений о том, что мое распоряжение выполнено. Я боялся, что о самоубийстве Гуидо уже стало известно на бирже и имя его теперь уже не годится ни для каких сделок. Но еще несколько дней никто не подозревал, что он умер, покончив с собой. Потом, когда Нилини наконец сообщил мне, что все мои распоряжения выполнены, для меня начался период волнений, которые еще более усилились, когда я, получив котировки, выяснил, что на всех акциях я уже потерял значительную часть.

Я вспоминаю то свое волнение как самую настоящую работу. Вспоминая, я испытываю странное чувство, будто все эти пятьдесят часов я просидел за игорным столом, занятый обдумыванием ходов. Я не знаю никого, кто сумел бы выдержать подобное напряжение в течение пятидесяти часов! Каждое движение цены было мною отмечено, прослежено, а потом (почему бы этого не сказать?) продвинуто вперед или удержано так, как есть, в зависимости от того, что было нужно мне, а точнее – моему бедному другу. Я даже перестал спать по ночам.

Боясь, что кто-нибудь из семьи вмешается и не даст мне довести до конца начатую мною операцию по спасению, я никому не сказал о первой ликвидации, когда наступила середина месяца. Заплатил все я: разве мог кто-нибудь помнить об этих обязательствах, находясь подле трупа, еще ожидавшего погребения. Впрочем, заплатить пришлось меньше, чем мы думали, так что мне и тут благоприятствовала фортуна. Боль, которую я

испытывал в связи со смертью Гуидо, была так сильна, что мне казалось, будто я ее облегчаю, рискуя своим именем и деньгами. Меня продолжала вести та мечта о доброте, которую я столько времени вынашивал еще подле Гуидо. Но меня так измучили все эти волнения, что я уже никогда не играл на бирже для себя.

Однако моя погруженность в обдумывание ходов (это было тогда моей главной заботой) привела в конце концов к тому, что я не попал на похороны. Произошло это так. Именно в тот день наши акции резко подскочили. Мы с Нилини сидели и подсчитывали, какую часть потерянной суммы нам удалось таким образом вернуть. Состояние старого Шпейера оказалось теперь уменьшенным только наполовину. Великолепный результат наполнил меня гордостью. Случилось именно то, что предсказывал Нилини: правда, тогда он говорил это тоном, исполненным сомнения, но теперь, когда он повторял сказанные им слова, сомнения в них уже не слышалось, и Нилини представал всезнающим провидцем. По моему-то мнению, он предвидел не только это, но и прямо противоположное, так что не ошибся бы в любом случае. Однако ему я этого не сказал: мне было нужно, чтобы он с его тщеславием продолжал участвовать в деле. Его желание доказать свою правоту тоже могло повлиять на цены.

Мы вышли из конторы в три часа и побежали бегом, потому что только тогда вспомнили, что похороны назначены на два сорок пять.

Когда мы были уже около арок Кьоща, я увидел вдали похоронную процессию, и мне даже показалось, что я узнал экипаж одного нашего друга, присланный им на похороны для Ады. Вскочив в одну из колясок, стоявших на площади, мы приказали кучеру следовать за процессией, а сами, усевшись, снова вернулись к обдумыванию ходов. Мы были так далеки от мысли о бедном усопшем, что время от времени сетовали на медленное продвижение экипажа. Ведь кто знает, что может случиться на бирже, пока нас нет! Потом Нилини посмотрел на меня не ротовой щелью, а глазами и спросил, почему бы мне не сыграть на бирже и для себя?

– Сейчас, – сказал я, покраснев сам не знаю почему, – я работаю только для моего бедного друга.

Затем, слегка поколебавшись, добавил:

– О себе я подумаю потом. – Мне хотелось оставить ему надежду вовлечь меня когда-нибудь в игру, так как я старался сохранить в нем друга. Но я произнес про себя слова, которые не осмелился сказать ему: «Я никогда не дамся тебе в руки!» Он же тем временем принялся разглагольствовать:

– Кто знает, выдаться ли еще такой случай! – Он забыл, что сам меня учил, что случаи на бирже представляются ежечасно.

Когда мы добрались до места, где обычно останавливаются экипажи, Нилини высунулся из окошка, и у него вырвался изумленный возглас. Наш экипаж продолжал следовать за процессией, которая сворачивала к греческому кладбищу.

– Разве синьор Гуидо был грек? – спросил он удивленно.

И в самом деле, процессия проследовала мимо католического кладбища и

направлялась теперь к какому-то другому – еврейскому, греческому, протестантскому или сербскому.

– Может, он был протестант, – сказал я, но потом вспомнил, что присутствовал на его венчании в католической церкви.

– Это какая-то ошибка! – воскликнул я, хотя сначала подумал, что его хотят похоронить за пределами кладбища.

Вдруг Нилини разразился безудержным смехом, разевая рот, такой огромный на его маленьком личике, и в изнеможении откидываясь вглубь кареты.

– Мы ошиблись! – воскликнул он.

Когда же ему наконец удалось побороть смех, он начал осыпать меня упреками. Я должен был смотреть, куда мы едем, я должен был знать час погребения, я должен был узнать тех, кто будет сопровождать гроб, и так далее. В общем, то были другие похороны.

Я был так рассержен, что не присоединился к Нилини, когда тот смеялся, а теперь с трудом сдерживался, слушая его упреки. А почему, собственно, он сам не рассмотрел все как следует? Своего недовольства я не выказал только потому, что биржа была для меня важнее похорон. Мы вышли из экипажа, чтобы сориентироваться, и направились к входу на католическое кладбище. Экипаж ехал следом за нами. Я заметил, что провожавшие того покойника смотрели на нас с удивлением, не понимая, почему мы, почти беднягу до этого крайнего предела, вдруг бросили его на самом интересном месте!

Нетерпеливый Нилини бежал впереди меня. Немного поколебавшись, он спросил у привратника:

– Похороны синьора Гуидо Шпейера уже прибыли?

Привратник, по-видимому, не был удивлен этим вопросом, который мне показался комичным. Он ответил, что не знает. Он мог только сказать, что за последние полчаса в ограду вошли две похоронные процессии.

Мы в растерянности посоветовались. По-видимому, узнать, на кладбище ли уже процессия, или еще нет, было невозможно. И что касается меня, я принял решение: я не мог позволить себе явиться, когда церемония уже началась, и прерывать ее. Значит, на кладбище я не пойду. С другой стороны, не мог я и рискнуть столкнуться с процессией, возвращаясь. В результате я решил, что не буду присутствовать при погребении, а в город вернусь, сделав большой крюк, через Серволу. Экипаж я оставил Нилини, который не захотел отказаться от присутствия на церемонии из уважения к Аде, с которой был знаком.

Быстро, чтобы ни с кем не встретиться, я поднялся на проселочную дорогу, ведущую в деревню. Я уже несколько не огорчился тем, что перепутал похоронные процессии и не воздал последние почести бедному Гуидо. Я не мог терять время на религиозные церемонии. На мне лежал другой долг: я должен был спасти честь моего друга и спасти его состояние для вдовы и детей. Когда я скажу Аде, что мне удалось вернуть три четверти того, что было потеряно (и я вновь мысленно прикинул то, что, уже подсчитывал много раз: Гуидо потерял сумму, равную двум состояниям его отца, а после моего вмешательства потеря свелась лишь к половине этого состояния. Так что я был совершенно точен. Я

вернул три четверти потерянной суммы), она, конечно, простит мне отсутствие на похоронах.

В тот день погода переменилась к лучшему. Сверкало великолепное весеннее солнце, и воздух в полях, еще сырых после дождя, был чистым и бодрящим. Мои легкие расширялись от движения, которого я был лишен последние дни. Я весь был здоровье и сила. Здоровье познается только в сравнении. Я сравнивал себя с бедным Гуидо и все поднимался и поднимался вверх по холму, чувствуя себя победителем в борьбе, в которой он потерпел поражение. И вокруг меня тоже все дышало здоровьем и силой. Даже это поле с его молодой травой. Долгое и обильное омовение, весь этот потоп, что произошел накануне, приносило сейчас свои благодетельные плоды, а сияющее солнце дарило тепло, по которому так истосковалась еще мерзлая земля. Конечно, чем дальше мы будем отходить от катастрофы, тем меньше мы станем дорожить этим голубым небом, если оно не сумеет вовремя нахмуриться снова. Но такое предвидение дается опытом, и тогда мне это в голову не пришло: я сообразил это только сейчас. В тот же момент в моей душе не было ничего, кроме гимна моему здоровью и здоровью всей природы – вечному здоровью.

Я ускорил шаг. Я наслаждался, чувствуя, как он легкий. С холма Серволы я спускался почти бегом. У Сант-Андреа, где местность стала ровной, я снова пошел медленно, но чувство необыкновенной легкости осталось. Я не шел, а словно летел.

Я совершенно забыл о том, что возвращаюсь с похорон моего самого близкого друга. У меня был шаг и дыхание победителя. Но моя радость победителя была подарком моему бедному другу, ради которого я и вступил в борьбу.

Я пошел в контору, чтобы узнать, каковы были курсы перед закрытием биржи. Они слегка понизились, но это меня не смутило. Я не сомневался в том, что, хорошенько обдумав все ходы, я все-таки добьюсь поставленной цели.

Теперь наконец я должен был пойти к Аде. Открыла мне Аугуста. Она сразу же спросила:

– Как ты мог не прийти на похороны, ты, единственный мужчина в нашей семье?

Я положил зонтик и шляпу и, немного растерявшись, сказал, что хочу сразу же поговорить и с Адой, чтобы не повторять много раз одно и то же. Я сумею убедить ее в том, что причины, которые не позволили мне явиться на похороны, были весьма основательны. Но сам я уже не был в этом уверен, и внезапно у меня заболел бок, – может быть, от усталости. Видимо, из-за этого замечания Аугусты я вдруг усомнился в том, что мое отсутствие можно будет оправдать. Должно быть, оно вызвало настоящий скандал: я так и видел перед собой всех участников печальной церемонии и то, как они отвлекаются от своих грустных мыслей, чтобы спросить друг у друга, куда я мог запропасться.

Ада ко мне не вышла. Потом я узнал, что ей даже не сказали, что я ее жду. Меня приняла синьора Мальфенти, которая заговорила так сердито, как не говорила со мной никогда. Я начал оправдываться, но уже далеко не чувствовал той уверенности, с которой летел с кладбища в город. Я лепетал что-то

неразборчивое. В придачу к правде – то есть к моей героической борьбе за интересы Гуидо – я добавил еще кое-что, уже менее соответствующее действительности. Я сказал, что незадолго до похорон я отправил в Париж одну телеграмму и не мог уйти из конторы, не дождавшись ответа. Нам с Нилини и вправду пришлось телеграфировать в Париж, но это было два дня назад, и тогда же, два дня назад, мы получили и ответ. Так или иначе, я понимал, что одной правды мне будет мало, чтобы оправдаться, мало хотя бы потому, что я не мог сказать ее целиком, то есть рассказать о той важнейшей операции, осуществить которую я собирался в ближайшие дни, а именно – воздействовать на мировую торговлю в нужном мне направлении. Однако синьора Мальфенти простила меня сразу же, едва только услышала цифру, в которой выражались теперь убытки Гуидо. Она поблагодарила меня со слезами на глазах. Я снова был не только единственным, но и лучшим мужчиной семьи.

Она попросила, чтобы мы с Аугустой пришли к Аде вечером, а она тем временем обо всем ей расскажет. Сейчас Ада была не в состоянии никого принимать. И я очень охотно ушел вместе с женой. Надо сказать, что и она тоже не изъявила желания перед уходом попрощаться с Адой, которая то отчаянно рыдала, то впадала в полную прострацию и не замечала обращающихся к ней людей.

У меня мелькнула надежда:

– Так, может, она не заметила и моего отсутствия?

И тут Аугуста призналась, что она сначала даже не хотела мне об этом говорить, – настолько несоразмерным показался ей гнев Ады по поводу моего отсутствия. Ада потребовала от нее объяснений, и когда Аугусте пришлось сказать, что она ничего не знает, так как с утра меня не видела, она снова впала в бурное отчаяние, крича, что, конечно же, Гуидо должен был так кончить, раз его ненавидела вся семья.

Мне казалось, что долг Аугусты состоял в том, чтобы защитить меня, напомнив Аде, что из всех них один только я выразил готовность помочь Гуидо в той степени, в какой это было нужно. Если бы меня послушались, у Гуидо не было бы оснований снова симулировать самоубийство.

Но Аугуста промолчала. Она была так потрясена отчаянием Ады, что побоялась ее задеть, вступив с ней в спор. Впрочем, она была уверена, что объяснения, которые приведет ей сейчас синьора Мальфенти, убедят Аду в том, что она была ко мне несправедлива. Должен сказать, что я и сам теперь в этом не сомневался; скажу также, что с этого момента уверенно предвкушал изумление Ады и изъявления благодарности с ее стороны. Теперь ведь у нее из-за базедовой болезни все чувства выражались в преувеличенном виде.

Я зашел в контору, где узнал, что на бирже вновь наблюдаются признаки повышения, правда, небольшого, но все же дающего основания надеяться, что завтра при открытии курсы будут такие же, как сегодня утром.

После ужина мне пришлось отправиться к Аде одному, так как Аугуста не могла меня сопровождать из-за нездоровья девочки. Меня приняла синьора Мальфенти, которая сказала, что ее присутствие требуется на кухне, а потому она вынуждена оставить нас с Адой одних. Потом она мне призналась, что это

Ада попросила ее оставить нас одних, так как хотела сказать мне что-то такое, чего никто не должен был слышать. Прежде чем оставить меня одного в той маленькой гостиной, в которой я уже дважды разговаривал с Адой, синьора Мальфенти с улыбкой сказала:

– Ты знаешь, она еще не совсем расположена простить тебя за то, что ты не пришел на похороны. Не совсем, но почти...

У меня всегда сильно билось сердце, когда я оказывался в этой комнатке. Но на этот раз не из-за страха обнаружить, что я любим женщиной, которую я не люблю. Всего лишь несколько минут назад и только после слов синьоры Мальфенти я наконец понял, что проявил огромное неуважение к памяти бедного Гуидо. Ведь Ада не простила меня, даже узнав о том, что в оправдание своего отсутствия я предоставляю ей целое состояние! Я сел и принялся рассматривать портреты родителей Гуидо. Лицо старого *Cada* выражало удовлетворение, которое я отнес за счет проведенной мною операции, но зато мать Гуидо, худая женщина в платье с пышными рукавами и шляпке, чудом примостившейся на верхушке высоченного шиньона, смотрела весьма сурово. Да ладно, чего там! Перед фотоаппаратом мы все принимаем не свойственный нам вид. И я отвел взгляд от портретов, сердясь на себя самого за то, что так серьезно изучал эти лица. В самом деле, ведь не могла же мать Гуидо знать, что я не приду на похороны ее сына!

И все же меня болезненно поразил тон, которым заговорила со мной Ада. Должно быть, она долго готовила то, что хотела мне сказать, а потому пропускала мимо ушей все мои объяснения, возражения и опровержения, которых она не могла предвидеть и к которым, следовательно, не подготовилась.

Словно испуганный конь – рванув, она уже мчалась, не останавливаясь, по выбранной ею дороге.

Она вышла ко мне в простом черном капоте, растрепанная. Волосы были не только спутаны: было видно, что их рвала рука, которая не знает, что бы еще сделать, чтобы утишить сердечную боль. Она подошла к столику, за которым я сидел, и оперлась на него руками, чтобы лучше меня видеть. Ее личико снова похудело – с него исчезло то странное здоровье, которое округляло его не там, где следует. Она была, не так красива, как в ту пору, когда ее покорила Гуидо, но, глядя на нее, уже никто не подумал бы о болезни. Ее не было! Вместо нее было страдание, которое преображало ее всю. Я так хорошо понял глубину этого страдания, что не мог ничего сказать. Я глядел на нее и думал: «Разве есть на свете слова, способные сделать столько же, сколько может сделать простое братское объятие, которое заставило бы ее выплакаться?» Потом, почувствовав, что на меня нападают, я возразил, но так слабо, что она не стала меня слушать.

Она говорила и говорила, и я просто не в силах повторить здесь все ее слова. Если не ошибаюсь, начала она с того, что серьезно, но без особого жара поблагодарила меня за то, что я столько сделал для нее и детей. За этим сразу же последовал упрек:

– И вот, благодаря тебе стало ясно, что он умер из-за пустяка, из-за которого вовсе не стоило умирать.



Потом она понизила голос, словно желая сказать мне что-то по секрету, и в нем появилось больше теплоты – теплоты, которая шла от ее любви к Гуидо, а также (или это мне показалось?) – ко мне.

– И я прощаю тебя за то, что ты не пришел на его похороны. Ты не мог этого сделать, и я тебя прощаю. Он тоже простил бы тебя, если бы был жив. В самом деле, что бы ты делал на его похоронах? Ты, который его не любил? Ты так добр, что мог бы плакать надо мной, над моими слезами, но не над ним, которого ты... ненавидел! Бедный Дзено! Бедный мой брат!

Это было чудовищно, что мне могли сказать подобную вещь и так исказить истину. Я запротестовал, но она меня не слушала. Тогда я, видимо, закричал, – во всяком случае, я почувствовал, как у меня напряглось горло:

– Ты ошибаешься, это ложь, клевета! Как ты могла такое подумать!

Но она продолжала все так же шепотом:

– Но и я тоже не умела его любить. Я не изменила ему даже помыслом, но моя любовь к нему была такой, что уберечь его я не могла. Я смотрела на твои отношения с женой и завидовала вам. Мне казалось, что это лучше, чем то, что дает мне он. Я благодарна тебе за то, что ты не присутствовал на похоронах, потому что иначе я бы даже сегодня так ничего и не поняла. Теперь же я вижу и понимаю все. В том числе и то, что сама его не любила: иначе как бы я могла ненавидеть даже его скрипку, самое полное выражение его большой души!

Вот тогда-то я положил голову на руки и спрятал в них лицо. Обвинения, которые она выдвигала, были настолько несправедливы, что их нельзя было оспаривать, к тому же их бессмысленность была смягчена ее ласковым тоном, так что реагировать на ее слова резко, как это следовало бы делать, если я хотел одержать над ней верх, я не мог. Впрочем, Аугуста уже подала мне пример почтительного молчания, которое не хочет оскорбить и усилить боль. Когда же я наконец открыл глаза, то я увидел в темноте, что ее слова создали совершенно другой мир, как всегда бывает, когда слова неверны. Мне показалось, что и я тоже понял, что всегда ненавидел Гуидо и что не расставался с ним только потому, что выжидал момента, когда смогу вернее нанести ему удар. К тому же она спутала Гуидо с его скрипкой! Если б я не знал, что в своем страдании и угрызениях совести она бредет на ощупь, я мог бы подумать, что эта скрипка была вынута из футляра и предъявлена мне как часть Гуидо, специально для того, чтобы убедить меня в справедливости ее обвинений.

Потом в темноте я вновь увидел труп Гуидо и навсегда застывшее на его лице удивление по поводу того, что он уже там, бездыханный. Испугавшись, я поднял голову. Чем смотреть в темноту, уж лучше опровергать обвинения Ады, которые, я ведь знал, были несправедливы.

Она продолжала говорить обо мне и о Гуидо.

– И ты, бедный Дзено, продолжал жить рядом с ним, ненавидя его и сам этого не зная. Делая ему добро, ты делал его из любви ко мне. Это не могло продолжаться долго! Это должно было кончиться так! Однажды я было поверила в то, что сумею воспользоваться любовью, которую, я знала, ты ко мне питал, чтобы окружить его заботой, в которой он так нуждался. Но ему не могли помочь те, кто его не любил, а среди нас его не любил никто.

– Что я мог еще для него сделать? – спросил я и заплакал горячими слезами, чтобы дать почувствовать и ей и себе самому свою полную невиновность. Слезы иногда заменяют крик. Я не хотел кричать и поэтому не был уверен, что мне следует говорить. Но мне надо было как-то ее разубедить – и вот я заплакал.

– Спасти его, дорогой брат! Я, ты, мы все должны были его спасти. Я была с ним рядом и не смогла этого сделать, оттого что не любила его по-настоящему, а ты так и остался вдали от него, ты отсутствовал, все время отсутствовал, куда его не похоронили. Вот тогда ты появился – спокойный, вооруженный всем своим сочувствием. Но до этого ты о нем не подумал! А ведь он оставался с тобой до самого вечера. И если бы ты действительно о нем беспокоился, ты мог бы догадаться, что должно произойти что-то очень серьезное.

Слезы мешали мне говорить, но я пробормотал что-то насчет того, что предыдущую ночь Гуидо провел на болоте, развлекаясь охотой, так что никто на свете не мог бы догадаться, на что он собирается употребить следующую!

– Ему была необходима охота, необходима, – упрекнула она меня уже во весь голос. И потом, словно усилие, сделанное ею при этом выкрике, оказалось для нее чрезмерным, внезапно рухнула на пол, лишившись чувств.

Помню, что некоторое время я колебался – звать ли синьору Мальфенти. Мне казалось, что этот обморок мог обнаружить перед всеми кое-что из того, что она мне сказала.

Прибежали синьора Мальфенти и Альберта. Поднимая Аду, синьора Мальфенти спросила:

– Она что, говорила с тобой об этих проклятых биржевых операциях? – и потом: – Это уже второй обморок за сегодня!

Она попросила меня на минутку выйти, и я вышел в коридор и стал ждать, позовут ли меня обратно, или велют уйти. Ожидая, я готовился к заключительному объяснению с Адой.

Она упустила из виду то, что несчастье наверняка не произошло бы, если бы все было сделано так, как предлагал я. Стоит мне это ей сказать, как она сразу же согласится, что была ко мне несправедлива.

Вскоре ко мне вышла синьора Мальфенти и сказала, что Ада пришла в себя и хочет со мной попрощаться. Ада лежала на диване, на котором до этого сидел я. При виде меня она заплакала, и это были первые ее слезы, которые я видел. Она протянула мне свою маленькую руку, влажную от пота:

– Прощай, дорогой Дзено! Прошу тебя, помни об этом! Помни всегда! Не забывай этого!

Вмешалась синьора Мальфенти, спрашивая, что я должен помнить, и я сказал, что Ада желает, чтобы мы ликвидировали все дела Гуидо на бирже. Я покраснел, говоря эту ложь, ибо боялся разоблачения со стороны Ады. Но вместо этого она вдруг закричала:

– Да! да! Все должно быть ликвидировано! Я не хочу больше слышать об этой проклятой бирже.

Она снова побледнела, и, желая ее успокоить, синьора Мальфенти пообещала, что все тотчас же будет сделано так, как она желает.

Потом синьора Мальфенти проводила меня до дверей и попросила не торопить события: пускай сначала я сделаю все, что считаю нужным для пользы дела. Но я ответил, что больше в себя не верю. Риск был слишком велик, и я не мог больше себе позволить так обращаться с чужими деньгами. И в биржевую игру я больше не верил: во всяком случае, у меня не было прежней уверенности в том, что, обдумывая ходы, я могу как-то регулировать происходящее. Так что я должен был ликвидировать все прямо сейчас, удовлетвоваввшись тем, что сумел получить.

Я не стал пересказывать Аугусте то, что сказала мне Ада. К чему было ее огорчать? Но ее слова, наверное, именно потому, что я никому их не передал, продолжали звучать у меня в ушах долгие годы. И вот сейчас они снова звучат в моей душе. Я до сих пор часто о них думаю. Я не могу сказать, что любил Гуидо, но ведь это только потому, что он был очень странным человеком. Однако держал я себя с ним по-братски и помогал ему как мог. Так что упреков Ады я все-таки не заслужил.

С ней мне больше ни разу не удалось остаться наедине. Она не испытывала потребности сказать мне что-либо еще, а я не осмелился ни на какое объяснение, может быть, потому, что не хотел растревлять ее рану.

На бирже все кончилось так, как я и ожидал, и отцу Гуидо, уже получившему первую нашу телеграмму, извещавшую его о потере всего состояния, было, конечно, приятно узнать, что оно наполовину цело. Дело моих рук, правда, оно не доставило мне того удовольствия, на которое я рассчитывал.

Ада до самого своего отъезда в Буэнос-Айрес, куда она ехала вместе с детьми, держалась со мной очень дружески. Ей нравилось бывать в нашем с Аугустой обществе. И иногда я даже думал, что те ее слова породил взрыв отчаяния, доведший ее буквально до безумия, а сейчас она о них даже не помнит. Но однажды, когда у нас зашла речь о Гуидо, она в двух словах повторила все то, что сказала мне в тот день:

– Бедный, его никто не любил.

Перед тем как взойти на палубу, Ада, держа на руках слегка занемогшего ребенка, поцеловала меня. Потом, выбрав момент, когда около нас никого не было, сказала:

– Прощай, Дзено, прощай, брат. Я всегда буду помнить, что недостаточно его любила. И ты должен это знать. Я охотно покидаю свою страну. Мне кажется, что я убегаю от угрызений совести.

Я упрекнул ее за то, что она так отчаивается. Я сказал, что она была прекрасной женой, я могу это подтвердить. Не знаю, удалось ли мне ее убедить. Она ничего мне больше не сказала, так как ей помешали слезы. Потом, много позже я понял, что этими словами она, уже прощаясь, хотела возобновить свои упреки. Но я-то знаю, что она была ко мне несправедлива. Я уверен, что могу не упрекать себя за то, что плохо относился к Гуидо.

День был туманный и пасмурный. Казалось, все небо заволочла одна огромная, хотя и ничем не угрожавшая туча. Из порта пытался выйти на веслах большой баркас, паруса которого безжизненно обвисли на мачтах. Гребцов было всего двое, и частыми гребками они едва приводили в движение тяжелую

лодку. Может, в открытом море им еще и удастся поймать подходящий ветер.

Ада с верхней палубы корабля махала нам платком. Потом повернулась к нам спиной. Она, конечно, глядела в сторону Сант-Анны, туда, где покоился Гуидо. Ее элегантная фигурка делалась все стройнее по мере того, как она от нас удалялась. Слезы застлали мне глаза. Вот она и уехала, и теперь уже никогда не смогу я доказать ей свою невиновность.

## VIII. Психоанализ

*3 мая 1915 г.*

С психоанализом покончено. Целых полгода я усердно им лечился, а чувствую себя хуже, чем раньше. Доктору я еще не отказал, но мое решение бесповоротно. Вчера я послал ему сказать, что я занят; пускай подождет несколько дней. Если б я был вполне уверен, что не поддамся раздражению и просто над ним посмеюсь, я бы, пожалуй, заставил себя к нему пойти. Но боюсь, что мне захочется его прибить.

В нашем городе, с тех пор как разразилась война, стало еще тоскливее, чем прежде, и вот, чтобы занять себя чем-то вместо психоанализа, я вновь сажусь за дорогие мне страницы. Уже год, как я не написал в своей тетради ни строчки, послушный в этом, как и во всем остальном, указаниям врача, который требовал, чтобы в период лечения я сосредоточивался на своих воспоминаниях только в его присутствии, потому что сосредоточение без его контроля только укрепит те тормоза, которые мешают мне быть непосредственным и чистосердечным. Но последнее время я чувствую себя больным и расстроенным еще более, чем обычно, и мне кажется, что если я снова начну писать, это поможет мне излечиться от болезни, возникшей в результате лечения. Во всяком случае, я уверен, что это верный способ вернуть значительность прошлому, которое уже не причиняет страданий, и заставить течь быстрее мрачное настоящее.

Я с таким доверием относился к доктору, что, когда он объявил о моем выздоровлении, я безоговорочно поверил ему, а не боли, которая продолжала терзать меня по-прежнему. Я говорил ей: «Нет, нет, это не ты!» Но теперь сомневаться не приходится: это она! Кости ног у меня превратились в вибрирующие зубья, которые раздирают мне плоть и мускулы.

Но как раз это не так уж и важно, и не из-за этого я бросаю лечение. Если бы часы, которые я проводил, сосредоточившись, в обществе доктора, по-прежнему приносили мне интересные открытия и ощущения, я бы от них не отказался, а если бы и отказался, то не раньше, чем кончится война, которая лишает меня возможности заниматься чем-либо другим. Но сейчас, когда я уже знаю все, а именно, что речь идет всего лишь об иллюзии, дурацком трюке, способном взволновать разве что какую-нибудь истеричную старушку, — как могу я выносить общество этого смешного господина, с этим его взглядом, претендующим на проницательность, с этой его самонадеянностью, позволяющей ему группировать все на свете явления вокруг своей великой теории! Я употреблю все свое свободное время на то, чтобы писать. Я опишу

всю историю своего лечения, ничего не опуская, – откровенничанью моему с доктором пришел конец, и теперь я могу свободно вздохнуть. Никто больше не требует от меня никаких усилий. Я не должен ни заставлять себя верить, ни притворяться, что верю. Именно для того, чтобы скрыть от доктора свои истинные мысли, я считал необходимым относиться к нему с самой рабской почтительностью, а он пользовался этим и, что ни день, преподносил мне одну небылицу за другой. Лечение мое должно было вот-вот закончиться, потому что наконец-то выяснилось, чем я болен. Это была та самая болезнь, которую покойник Софокл некогда обнаружил у бедного Эдипа: я любил свою мать и хотел убить своего отца.

И я не только не рассердился – я слушал его как зачарованный. Должно быть, она была незаурядна, эта болезнь, до которой наши предки додумались еще в эпоху античных мифов! И я не сержусь даже и сейчас, когда пишу эти строки. Я просто смеюсь от всей души. Лучшим доказательством того, что я не был болен этой болезнью, является тот факт, что я не излечился. Это доказательство должно убедить и доктора. И пусть он будет спокоен: его слова не смогли испортить мне воспоминаний юности. Я закрываю глаза, и сразу же передо мной предстает моя детская наивная и чистая любовь к матери, уважение и глубокая привязанность, которые я испытывал к отцу.

Доктор слишком доверяет моим пресловутым признаниям, которые он не захотел мне вернуть для пересмотра. Бог мой! Он не знает ничего, кроме медицины, а потому и представить себе не может, что значит для нас, говорящих и пишущих только на диалекте, писать по-итальянски. Мы лжем каждым нашим тосканским словом! Если бы он знал, что мы всегда предпочитаем говорить то, для чего у нас уже заготовлены фразы, и избегаем всего, что вынуждает нас обратиться к словарю! Именно по этому принципу мы и выбираем из нашей жизни достойные внимания эпизоды. Наша жизнь, вне всякого сомнения, выглядела бы совсем иначе, если бы мы рассказали ее на диалекте!

Доктор признался мне, что за всю свою долгую практику он не наблюдал волнения более сильного, чем мое волнение в тот момент, когда я натолкнулся на образы, которые он – так он, во всяком случае, считал – сумел вызвать из моего прошлого. Именно поэтому он так быстро провозгласил меня выздоровевшим.

И я не симулировал это волнение! Это было одно из самых глубоких волнений, которые я когда-либо испытывал. Оно истекало по том, пока я конструировал эти образы, и слезами, когда они наконец передо мной предстали. Я уже давно благоговейно лелеял эту надежду – надежду вновь пережить один день из той поры, когда я был еще невинен и наивен. Эта надежда меня поддерживала и воодушевляла в течение многих месяцев. Ведь это было то же самое, как если бы одной только силой воспоминаний суметь получить в разгар зимы живые майские розы! Доктор уверял, что воспоминание будет яркое и полное, – оно как бы добавит к моей жизни еще лишний день. Розы сохраняют все свое благоухание, но шипы они сохраняют тоже.

И вот благодаря тому, что я изо всех сил гнал за этими образами, я их

догнал. Правда, сейчас я знаю, что я их просто придумал. Однако выдумка – это уже не ложь, это творчество. Мои выдумки были такого рода, какими бывают образы, рожденные лихорадкой, – они расхаживают по комнате словно для того, чтобы вы рассмотрели их со всех сторон, они даже до вас дотрагиваются! Они обладают плотностью, цветом, дерзостью реально существующих вещей. Одной только силой желая я сумел спроецировать образы, существовавшие лишь в моей голове, в пространство, в которое я вглядывался и свет и воздух которого я ощущал так же ясно, как и выступления, о которые можно ушибиться и без которых не обходится ни одно пройденное нами пространство.

Когда я впал в оцепенение, которое должно было способствовать рождению иллюзии и которое я сам ощущал как сочетание огромного усилия с огромной же инертностью, я и впрямь поверил, что явившиеся мне картины были подлинным воспроизведением давно прошедших дней. Хотя я мог бы сразу заподозрить, что это не так, потому что, едва они исчезли, я стал вспоминать их без всякого волнения или возбуждения. Я вспоминал их так, как вспоминаешь событие, о котором рассказал человек, сам при нем не присутствовавший. Если бы увиденные мною картины воспроизводили действительность, они и потом продолжали бы вызывать у меня смех и слезы, как это было, когда я увидел их впервые. А доктор, тот все регистрировал. «Мы получили то, – говорил он. – Мы получили это». На самом же деле мы не получили ничего, кроме графических обозначений – скелетов образов.

Я поверил, что мне и в самом деле удалось воскресить свое детство, только потому, что первая из картин перенесла меня в относительно недавнюю эпоху, о которой я и раньше имел кое-какие бледные воспоминания, и то, что я увидел, им, в общем, соответствовало. Был в моей жизни один год, когда я уже ходил в школу, а мой брат еще нет. По всей вероятности, именно к этому году и относится час, который мне удалось воскресить в памяти. Я видел солнечное весеннее утро и себя: вот я выхожу из дома, прохожу через сад и спускаюсь в город – все ниже и ниже, – держась за руку нашей старой служанки Катины. Мой брат, хотя и не участвовал в привидевшейся мне сцене, был, однако, ее героем. Я почти видел, как сидит он сейчас дома, свободный и счастливый, а я вынужден идти в школу, Я шел, упираясь и глотая слезы, затаив в душе огромную обиду. Мне привиделся только один из этих походов, но обида в моей душе говорила о том, что я ходил в школу каждый день, и каждый день брат оставался дома. И так до бесконечности, хотя на самом деле я полагаю, что довольно скоро брат, который был моложе меня всего на год, пошел в школу тоже. Но в первый момент я ни на мгновение не усомнился в истинности пригрезившейся мне картины: я был навечно приговорен ходить в школу, в то время как брату было позволено оставаться дома. Идя рядом с Катиной, я подсчитывал, сколько времени продлится эта пытка: до полудня! А он сидит дома! К тому же я вспомнил, что недавно мне пришлось пережить там несколько неприятных минут из-за какого-то выговора, и я тогда еще подумал: а вот его они не смеют тронуть! Видение отличалось поразительной отчетливостью. Катина, которая, я помнил, была маленького роста, предстала передо мной очень высокой, и это, разумеется, потому, что сам я был

маленький. Показалась она мне и крайне дряхлой, но ведь известно, что существам крайне юным пожилые люди всегда кажутся старыми! А на улице, по которой мы шли, я заметил странные столбики: в ту пору такими столбиками огораживали в нашем городе тротуары. Правда, я родился достаточно давно для того, чтобы застать эти столбики на наших центральных улицах, уже будучи взрослым. Но на улице, по которой мы шли с Катиной в тот день, их не было уже тогда, когда я едва вышел из пеленок.

Вера в подлинность возникшей передо мной картины продолжала жить некоторое время даже после того, как подстегнутая этим видением память хладнокровно выдала мне кое-какие другие детали, относящиеся к той же эпохе. Главная из них: брат тоже мне завидовал, но только потому, что я ходил в школу. Я уверен, что заметил эту деталь, но ее оказалось недостаточно для того, чтобы моя вера в подлинность видения была подорвана сразу же. Лишь позднее она лишила его всякого правдоподобия: зависть существовала в самом деле, только в моем видении она была передана не тому, кому следовало.

Вторая картина тоже перенесла меня в раннюю пору моей жизни, значительно предшествующую той, которая отразилась в первой: какая-то комната в моей вилле, но не знаю, какая именно, потому что она просторнее всех действительно существующих. Странно, что, увидев себя запертым в этой комнате, я сразу же догадался об одной подробности, которую только лишь из этой картины вывести было никак нельзя: комната была далеко от той, где находились тогда мать и Катина. И вторая деталь: в ту пору я еще не ходил в школу.

Комната была вся белая, я никогда не видел такой белой, такой залитой солнцем комнаты. Может быть, в те времена солнце проходило сквозь стены? Вне всякого сомнения, оно уже стояло высоко, но я все еще был в постели и держал в руке чашку: весь кофе с молоком, который в ней был, я уже выпил и сейчас всю работал ложечкой, выскребая со дна оставшийся сахар. Настал момент, когда ложечкой уже нельзя было выцарапать ничего, и я попытался достать дно чашки языком. Но не сумел. И так и остался сидеть с чашкой в одной руке и ложечкой в другой, глядя, как брат, кровать которого стояла рядом с моей, с опозданием допивал свой кофе, уткнувшись носом в чашку. Когда он поднял наконец голову, я увидел, что он морщится от солнечных лучей, бивших ему прямо в лицо, в то время как мое лицо (бог знает почему) оставалось в тени. Лицо у брата было бледное, и его немного портила слегка выступающая нижняя челюсть. Он сказал:

– Может, дашь мне свою ложечку?

И как только я понял, что Катина забыла принести ему ложечку, я сразу же и без всяких колебаний, ответил:

– Дам! Но только если за это ты дашь мне немножко твоего сахару!

Я высоко поднял ложечку, чтобы подчеркнуть ее ценность. И в этот момент в комнате раздался голос Катины:

– Как тебе не стыдно! Ты что, ростовщик?

Страх и стыд вытолкнули меня обратно в настоящее. Я собирался возразить Катине, но она, мой брат и я, такой, каким был я тогда – маленький

невинный ростовщик, – исчезли, словно провалившись в пропасть.

Я пожалел о том, что благодаря слишком острому чувству стыда я сам уничтожил видение, которое добыл с таким трудом. Было бы лучше, если бы я послушно и *gratis*<sup>34</sup> одолжил брату ложечку и не стал бы препираться по поводу своего дурного поступка, который был, должно быть, первым дурным поступком в моей жизни. А Катина, может быть, призвала бы маму для того, чтобы та определила мне наказание, и я наконец смог бы ее увидеть.

Я все же увидел ее спустя несколько дней, или, точнее, поверил в то, что увидел. Правда, я мог бы сразу догадаться, что и это всего лишь иллюзия, потому что мать, в том образе, в котором она передо мной предстала, слишком уж походила на портрет, который висит у меня над кроватью. Хотя должен признать, что вела она себя в этом моем видении совершенно как живой человек.

Много, ужасно много солнца, так много, что впору ослепнуть! Столько солнца пробивалось ко мне из той дали, которую я считал своим детством, что, пожалуй, можно было не сомневаться в том, что это действительно детство. Наша столовая в послеполуденные часы. Отец уже вернулся домой и сидит на диване рядом с мамой. Перед ней на столе лежит ворох белья, и она ставит на нем метки несмываемыми чернилами. Я под столом играю какими-то шариками. При этом я все ближе и ближе подвигаюсь к маме. Возможно, я хочу, чтобы и она тоже участвовала в игре. Затем я пытаюсь встать, хватаюсь за белье, свисающее со стола, и тут происходит катастрофа. Пузырек с чернилами опрокидывается мне на голову, заливает лицо и одежду, мамину юбку и сажает небольшое пятно на папиных брюках. Отец заносит ногу, чтобы дать мне пинка...

Но я успеваю вовремя вернуться из своего далекого путешествия: я снова здесь, в безопасности, взрослый и старей. И я должен признаться в следующем: какой-то миг я испытывал неприятное ощущение из-за угрожавшего мне наказания, но сразу же после мне стало ужасно жалко, что я так и не увидел того жеста защиты, который, несомненно, должен был исходить от мамы. Но разве можно остановить образы, когда они пускаются бежать сквозь время, которое еще никогда не было до такой степени похоже на пространство? Такова была моя концепция до тех пор, пока я верил в подлинность этих образов. Сейчас, к сожалению (о, как я об этом жалею!), я больше в них не верю. Теперь я знаю, что это не образы от меня убегали: просто у меня прояснилось в глазах, и они теперь снова видели реально существующее пространство, в котором не было места призракам.

Расскажу еще о видениях, которые явились мне в другой раз и которым доктор придал такое значение, что провозгласил меня выздоровевшим.

Погрузившись в полудрему, я увидел сон, который отличала неподвижность кошмара. Я увидел во сне, что я снова стал ребенком – и все только для того, чтобы увидеть, как этот ребенок тоже, в свою очередь, спит. Ребенок лежал, весь во власти безмолвного восторга, пронизывавшего все его



крохотное тело. Ему казалось, что он наконец-то осуществил свое давнее желание. Хотя лежал он один и всеми покинутый, однако он видел и слышал с отчетливостью, с которой во сне видишь и слышишь то, что творится далеко от тебя. Ребенок лежал в одной из комнат моей виллы и видел (бог знает каким образом), что в той же комнате на кровати стоит клетка на толстых ножках. Стенки у нее были глухие – без окон и без дверей, и тем не менее откуда-то в нее проникало приятное для глаз освещение и свежий воздух. Ребенок знал, что проникнуть в эту клетку может один только он, и для этого ему даже не надо двигаться, потому что клетка придет к нему сама. В этой клетке был только один предмет – кресло, а в этом кресле сидела прекрасная, стройная женщина в черном, белокурая, с большими голубыми глазами, белоснежными руками и маленькими ножками в лаковых туфельках, которые угадывались по легкому блеску из-под подола. Добавлю еще, что женщина казалась мне единым целым с ее черным платьем и лаковыми туфельками. Все это была она! И ребенку снилось, будто он обладает этой женщиной, но самым странным образом: он знал, что может съесть ее по кусочку всю – с головы до пят.

Сейчас, когда я об этом думаю, меня поражает, как мог доктор, который прочел – и, по его словам, очень внимательно – всю мою рукопись, не вспомнить сна, который приснился мне перед тем, как я отправился к Карле? Что до меня, то мне, после того как я некоторое время спустя внимательно его обдумал, стало казаться, что это был тот же самый сон, только слегка видоизмененный, более детский. Но доктор только тщательно все записал и спросил меня с довольно идиотским видом:

– Ваша мать была красивой блондинкой?

Меня удивил его вопрос, и я ответил, что красивой блондинкой была и моя бабушка. Но для него я уже излечился, совершенно излечился. Я открыл рот, чтобы порадоваться этому вместе с ним, и приготовился к тому, что должно было произойти дальше: с поисками, исследованиями, раздумьями было покончено, и теперь начиналась наконец работа по перевоспитанию – упорная и неуклонная.

С тех пор наши встречи стали для меня настоящим мучением, и я не прекратил их только потому, что мне всегда трудно остановиться, раз уж я пришел в движение, так же, впрочем, как и прийти в движение из неподвижного состояния. Иногда, когда мой доктор нес уже совсем бог знает что, я осмеливался ему возражать. Это неправда, что каждое мое слово и каждая мысль были, как ему казалось, мыслями и словами преступника! В ответ он широко раскрывал глаза. Я выздоровел и не желал этого замечать! Это была самая настоящая слепота: как это так – узнать, что хотел увести жену – то есть свою мать – у собственного отца, и не почувствовать себя выздоровевшим? Неслыханное упрямство! Однако доктор допускал, что я окончательно выздоровею тогда, когда завершится мое перевоспитание, иными словами, когда я начну смотреть на все эти вещи (то есть на то, что я желал убить отца и целовать собственную мать) как на нечто совершенно невинное, не стоящее угрызений совести, ибо подобное часто случалось даже в самых лучших домах. В сущности, что я теряю? Однажды он мне сказал, что я сейчас словно

выздоровливающий, который еще не привык жить без температуры. Итак: я должен был просто подождать, пока привыкну.

Но он чувствовал, что я все-таки не полностью в его власти, и, занимаясь перевоспитанием, возвращался временами к лечению. Он снова пытался добыть у меня сны, но мне не удалось больше увидеть ни одного. Устав дожидаться, я в конце концов просто придумал для него один сон. Я бы не стал этого делать, если бы мог заранее вообразить всю трудность подобного притворства. Это оказалось совсем нелегко – бормотать, словно бы в полусне, покрываться потом или бледнеть, то делаться багровым от напряжения, то ни в коем случае не краснеть – и ничем не выдать себя. Из моих речей явствовало, что я снова вернулся к этой женщине из клетки: я будто бы заставил ее протянуть мне через щель, неожиданно открывшуюся в стене клетки, свою ногу, которую принялся сосать. «Левую! Левую!» – бормотал я, внося в свое видение курьезную деталь, которая должна была придать ему сходство с моими прежними видениями. К тому же это был способ показать доктору, что я прекрасно понял болезнь, которую он от меня требовал. Младенец Эдип был именно таков: он сосал левую ногу матери, предоставив правую отцу. Я так старался представить все это как можно реальнее (тут нет никакого противоречия!), что мне удалось обмануть даже самого себя: я почувствовал вкус этой ноги. Меня чуть не стошнило.

Не только доктор, я и сам желал, чтобы мне еще раз явились дорогие видения моей юности – подлинные или не совсем подлинные, но, во всяком случае, не выдуманные. Увидев, что в присутствии доктора они больше не появляются, я попытался вызвать их без него. Правда, будучи один, я рисковал тут же их позабыть, но ведь я больше не собирался лечиться! Мне просто снова захотелось майских роз в декабре. Однажды я их получил: почему бы мне не получить их еще раз?

В одиночестве это занятие тоже оказалось довольно скучным, но затем вместо видений я обрел нечто такое, что на какое-то время мне их полностью заменило. Я даже подумал, что сделал важное научное открытие! Я решил, что именно я призван завершить создание физиологической теории цвета. Мои предшественники Гёте и Шопенгауэр даже представить себе не могли, чего можно добиться, умело маневрируя дополнительными цветами.

Нужно сказать, что все это время я проводил, лежа у себя в кабинете на диване, который стоял напротив окна и с которого были видны кусок моря и горизонт. Однажды вечером, когда на небе, испещренном облаками, пылал яркий закат, я долго любовался великолепным цветом, окрасившим свободную от облаков полосу неба, – зеленым, нежным и чистым. В небе было много и красного, пущенного по краям облаков на западе, но это был еще бледный красный, выцветший под белыми прямыми лучами солнца. Вскоре я, ослепленный, закрыл глаза, и тут стало ясно, что все мое внимание и симпатия были отданы зеленому цвету, потому что у меня на сетчатке возник его дополнительный цвет: ослепительный красный, не имевший ничего общего с ясным, но бледным красным цветом, окрасившим облака. Я долго любовался этим цветом, созданным мною самим. И когда я вновь открыл глаза, я с

изумлением увидел, что этот пылающий красный затопил все небо, так плотно закрыв изумрудно-зеленый, что мне долго не удавалось его разглядеть. Но выходит, я открыл способ окрашивать природу в разные цвета! Разумеется, я повторил этот эксперимент несколько раз. Самое интересное, что окрашивание происходило постепенно. Когда я вновь открывал глаза, небо не сразу принимало цвет моей сетчатки. Был момент колебания, когда я мог еще разглядеть изумрудно-зеленый, породивший тот самый красный, которым он впоследствии будет вытеснен. Красный неожиданно возникал из глубины зеленого и распространялся по всему небу, словно чудовищный пожар.

Когда я удостоверился в точности своих наблюдений, я сообщил о них доктору, надеясь оживить с их помощью наши скучные сеансы. Но доктор сразу же меня осадил, заявив, что из-за никотина у меня просто повышена чувствительность сетчатки. Я чуть было не сказал, что в таком случае и те видения, которые мы считали воспроизведением событий, случившихся со мной в юности, тоже могли быть порождены тем же самым ядом. Но таким образом я проговорился бы ему о том, что вовсе не излечился, и он заставил бы меня начать все сызнова.

А между тем этот дурак далеко не всегда считал меня таким уж отравленным! Это следует из того, как он меня перевоспитывал, желая вылечить от болезни, которую назвал курительной. Вот что он сказал: само по себе курение не причиняет мне вреда, и едва я сумею убедить себя в том, что оно безвредно, как оно действительно таким и станет. И еще: теперь, когда мы выяснили мои отношения с отцом и представили их на мой суд, суд взрослого человека, я должен бы уже понять, что обзавелся своим пороком, чтобы вступить с отцом в соперничество, а вредное действие я приписывал табаку только потому, что мое внутреннее нравственное чувство требовало, чтобы я был наказан за это соперничество.

В тот день я ушел от доктора, дымя как турок. Речь шла об опыте, и я охотно себя для него предоставил. Весь день я непрерывно курил. За этим последовала ночь совершенно без сна. Ожил мой хронический бронхит, и сомнений в этом быть не могло, потому что его последствия легко было различить в плевательнице.

На следующий день я рассказал доктору, что курил очень много, но что теперь я уже не придаю этому значения. Доктор взглянул на меня улыбаясь, и я понял, что его распирает от гордости. Затем он снова спокойно взялся за мое перевоспитание. Он делал это с уверенностью человека, убежденного, что всюду, куда он ни ступит, земля расцветает.

Из перевоспитания я мало что помню. Я терпеливо всему подчинялся, а выйдя от врача, отряхивался, словно пес, вышедший из воды; как и пес, я был весь мокрый, но, увы, не отмывшийся.

Но что я до сих пор вспоминаю с негодованием, так это уверения моего воспитателя в том, что доктор Копросич был прав, когда сказал мне слова, которые так меня рассердили. В таком случае я, значит, заслужил и пощечину, которую дал мне отец перед смертью? Не помню, утверждал ли он также и это. Но я точно знаю, что он уверял меня, будто я ненавидел и старика Мальфенти,

поместив его на место отца. Множество людей на свете считают, что они не могут жить без какой-либо привязанности, я же, по его мнению, терял душевное равновесие, если у меня не было объекта для ненависти. На какой бы из сестер я ни женился – это не имело значения: все дело было в том, чтобы их отец занял такое место, где бы его могла достать моя ненависть. А когда их дом сделался моим, я замарал его, как только мог. Я изменил жене, и было совершенно ясно, что, будь это в моих силах, я соблазнил бы и Аду и Альберту. Разумеется, я и не думаю этого отрицать; больше того – мне смешно, когда доктор, говоря это, напускает на себя вид Христофора Колумба, открывающего Америку. Думаю, что он единственный человек на свете, который, узнав, что вы не прочь переспать с двумя очаровательными женщинами, способен задаться вопросом: а теперь посмотрим, почему такой-то хотел бы спать с такими-то?

Но еще труднее было мне перенести то, что он позволил себе сказать о моих отношениях с Гуидо. Из моих собственных слов он усвоил, что в начале нашего знакомства я чувствовал к Гуидо антипатию. По его мнению, эта антипатия так никогда и не прошла, и Ада была права, когда увидела ее последнее проявление в моем отсутствии на похоронах. Он, видимо, позабыл, что я был занят тогда благотворительной деятельностью, направленной на спасение состояния Гуидо, а я не снизошел до напоминаний.

По-видимому, доктор предпринял кое-какое расследование и в отношении Гуидо. Он утверждает, что раз Ада его выбрала, он не мог быть таким, каким описываю его я. Он обнаружил, что огромный склад лесоматериалов, находившийся неподалеку от дома, где мы занимались психоанализом, принадлежал прежде фирме «Гуидо Шпейер и К<sup>о</sup>». Почему я ничего об этом не сказал?

Если б я завел речь еще и об этом, это только затруднило бы и без того трудно дающееся мне изложение. Данный пропуск доказывает только то, что признания, сделанные мною по-итальянски, не могут быть ни исчерпывающими, ни чистосердечными. На всяком складе лесоматериалов хранится товар самых различных видов, и для каждого вида у нас в Триесте есть свое варварское название, заимствованное из хорватского, немецкого, а то даже и французского (например, цапин, который не имеет ничего общего с *sapin*<sup>35</sup>). Где я возьму необходимые термины? Не идти же мне, старому человеку, на выучку к какому-нибудь тосканскому торговцу дровами! Впрочем, склад лесоматериалов принес фирме «Гуидо Шпейер и К<sup>о</sup>» одни лишь убытки. И потом, мне просто нечего было бы о нем рассказать, потому что этот склад никогда не обнаруживал никаких признаков жизни, если не считать случая, когда в него проникли воры и все лесоматериалы с варварскими названиями исчезли, проявив такую прыть, словно были предназначены для изготовления движущихся спиритических столиков.

Я предложил доктору навести справки о Гуидо у моей жены, Кармен или Лучано, который сделался крупным, широко известным коммерсантом. Насколько я знаю, ни к кому из них он не обратился, и мне остается думать, что

он воздержался от этого потому, что боялся, как бы не рухнуло все воздвигнутое им здание, сложенное из направленных против меня обвинений. Кто знает, откуда у него ко мне столько ненависти? У него у самого, наверное, истерия, оттого что когда-то он тщетно желал свою мать, и вот теперь он мстит за это людям, которые совершенно тут ни при чем.

В конце концов я ужасно устал от необходимости вести непрестанную борьбу с доктором, которому я же еще и платил. Думаю, что и все эти видения были мне отнюдь не полезны, а разрешение сколько угодно курить окончательно подорвало мое здоровье. И тут у меня родилась прекрасная мысль: я пошел к доктору Паоли.

Я не видел его много лет. Он слегка поседел, но его гренадерская фигура с возрастом не согнулась и не округлилась. И по-прежнему он смотрел на все своим характерным «глядящим» взглядом. На этот раз я понял, почему от его взгляда возникало такое ощущение. Видимо, ему было просто приятно смотреть, и он смотрел и на красивые и на уродливые предметы с таким же удовольствием, с каким другие люди их глядят.

Я шел к нему за советом – продолжать мне психоанализ или бросить. Но, почувствовав на себе его ясный, испытующий взгляд, я струсил. Наверное, это было бы смешно – признаться, что я, в моем-то возрасте, поверил в такое шарлатанство. Неприятно, конечно, что мне не пришлось с ним посоветоваться: если бы Паоли запретил мне психоанализ, все стало бы значительно проще, но мне было бы еще неприятнее ощутить на себе слишком долгую ласку его больших глаз.

И я рассказал ему о своей бессоннице, о хроническом бронхите, о мучившей меня тогда сыпи на щеках, о стреляющих болях в ногах и, наконец, о моей странной забывчивости.

Паоли исследовал мою мочу прямо в моем присутствии. Смесь окрасилась в черный цвет, и врач задумался. Вот он, наконец, настоящий анализ, а не какой-то там психо! С волнением и симпатией я вспомнил свое далекое химическое прошлое: настоящий анализ – это я, пробирка и реагент. Мой собеседник, то бишь анализируемый, дремлет до тех пор, пока реагент его не разбудит. Содержимое пробирки либо вообще не оказывает сопротивления, либо уступает при минимальном подъеме температуры. Ни о какой симуляции не может быть и речи. То, что происходило в пробирке, не имело ничего общего с тем, как вел себя я, когда, желая угодить доктору С., придумывал все новые подробности о своем детстве, призванные подтвердить софокловский диагноз. Здесь все делалось по-честному. Исследуемое вещество заключалось в пробирку, где, будучи всегда неизменным, оно дожидалось реагента. Когда же реагент появлялся, оно отвечало ему всегда одно и то же. Не то что в психоанализе, где никогда не повторяются ни слова, ни видения. Психоанализ следовало бы назвать иначе, скажем, психологическое приключение. Приступая к психоанализу, вы чувствуете себя как человек, который отправляется в лес, не зная, кого он там встретит – разбойника или друга. И, когда приключение кончается, вы все равно знаете не больше, чем раньше. В этом психоанализ схож со спиритизмом.

Но Паоли все-таки не думал, что дело тут в сахаре. Он сказал, чтобы я пришел завтра, а он тем временем исследует жидкость путем поляризации.

И я ушел, торжествуя, обремененный диабетом. Я чуть было не отправился к доктору С., чтобы спросить его: а как насчет такой вот болезни? Возьмется ли он проанализировать ее причины таким образом, чтобы болезнь прошла? Но я был уже сыт им по горло, этим типом, и не желал его видеть даже для того, чтобы поднять на смех.

Должен признаться, что диабет был для меня великой отрадой. Я рассказал о нем Аугусте, и у нее на глазах сразу же выступили слезы.

– Ты за всю свою жизнь столько говорил о болезнях, что в конце концов хотя бы одну ты должен был подцепить, – сказала она, а потом попыталась меня утешить.

Я любил свою болезнь. Я с симпатией вспоминал бедного Коплера, который предпочитал реальную болезнь воображаемой. Теперь я был с ним согласен. Реальная болезнь – ведь это так просто: достаточно предоставить ей развиваться! В самом деле, когда я прочел в одной медицинской книге описание моей болезни – это было все равно, что получить программу жизни (не смерти!) на разных ее этапах! Прощайте, все мои твердые решения, наконец-то я от вас избавился. Все должно было идти своим чередом, без всякого моего участия.

Я узнал также, что моя болезнь протекает всегда или почти всегда очень спокойно. Больной много ест и много пьет и, если ему удастся избежать опухолей, не испытывает сильных страданий. Потом умирает в сладостнейшей коме.

Вскоре мне позвонил Паоли. Он сообщил, что не обнаружил никаких следов сахара. Я пошел к нему на следующий день, и он прописал мне диету, которую я соблюдал всего несколько дней, и какую-то смесь, на которую он мне выписал совершенно неудобочитаемый рецепт и которую заставил меня принимать в течение целого месяца.

– Что, испугались? Думали, диабет? – спросил он улыбаясь. Я запротестовал, но не сказал, что сейчас, когда диабет меня покинул, чувствую себя ужасно одиноким. Он все равно не поверил бы.

В тот период мне в руки попало знаменитое сочинение доктора Биэрда о неврастении. Я последовал его совету и стал менять лекарства каждую неделю, списывая его рецепты ясным, разборчивым почерком. В течение нескольких месяцев лечение, на мой взгляд, шло прекрасно. Даже Коплер не утешался в свое время таким количеством лекарств, каким утешался в ту пору я. Правда, потом я разочаровался и в этом лечении, но возвращение к психоанализу откладывал со дня на день.

Однажды я встретил доктора С. Он спросил, уж не вздумал ли я бросить лечение. При этом он был очень любезен, куда любезнее, чем в ту пору, когда я еще был в его лапах. Видимо, он хотел заполучить меня обратно. Я сказал, что меня одолели срочные дела – всякие домашние заботы, которые причиняют мне множество хлопот и отнимают массу времени, но едва меня оставят в покое, как я тут же к нему приду. Мне хотелось попросить его вернуть мне рукопись, но я не решился: это было бы все равно, что сказать, что ни о каком лечении я не

хочу больше и слышать. И я отложил эту попытку до того времени, когда он заметит, что я не помышляю более о лечении, и примирится с этим.

Прежде чем мы расстались, он сказал мне несколько слов, с помощью которых он, видимо, надеялся завладеть мною снова:

– Если вы заглянете себе в душу, вы увидите, что она изменилась. Вот посмотрите – вы сразу же вернетесь ко мне, как только поймете, насколько я приблизил вас к здоровью за этот сравнительно короткий срок.

Но мне-то, честно говоря, кажется, что, копаясь с его помощью в собственной душе, я заронил в нее новые болезни.

Я хочу излечиться от последствий его лечения. Я избегаю мечтаний и воспоминаний. Это из-за них моя бедная голова перестала чувствовать себя уверенно на собственной шее. Я стал ужасающе рассеянным. Я разговариваю с человеком и, пока говорю ему одно, невольно пытаюсь вспомнить другое – то, что я незадолго до этого сказал или сделал и что успел уже позабыть, или какую-то свою мысль, которая кажется мне необыкновенно значительной – такой значительной, какой казалась отцу мысль, пришедшая ему в голову накануне смерти и которую он так и не смог вспомнить.

Если я не хочу оказаться в сумасшедшем доме, пора кончать с этими забавами.

*15 мая 1915 г.*

Два дня праздника мы провели в Лучинико, на нашей вилле. Мой сын Альфио должен оправиться после гриппа и поэтому останется здесь на несколько дней вместе с сестрой. А мы с женой приедем сюда снова к троицному дню.

Наконец-то мне удалось вернуться к своим милым привычкам: я снова бросаю курить. Мне стало гораздо легче уже с тех пор, как я ограничил свободу, которую предоставил мне этот дурак доктор. Сейчас середина месяца, и я испытываю то самое затруднение, которое доставляет наш календарь всякому, кто хочет принять четкое и упорядоченное решение. Во всех месяцах разное число дней. Чтобы придать вес своему решению, надо бросить курить вместе с концом чего-нибудь – месяца, например. Но если не считать июля – августа и декабря – января, то нет в году двух месяцев, следующих друг за другом, в которых было бы одинаковое число дней. Во времени творится страшный беспорядок.

Желая собраться с мыслями, на второй день нашего приезда я совсем один отправился после полудня на берег Изонцо. Ничто так не способствует размышлению, как вид бегущей воды. Вы стоите на месте, а вода доставляет вам все новые и новые впечатления, так как ежеминутно меняет цвет и очертания.

Это был странный день. Где-то высоко, по-видимому, дул сильный ветер, потому что облака все время меняли форму, но внизу воздух был неподвижен. Время от времени солнце, уже по-весеннему теплое, находило щелочку среди мчавшихся туч и заливало ярким светом то кусок долины, то горную вершину, вырывая лоскут нежной майской зелени из тени, покрывшей весь пейзаж.

Температура была умеренной, и в этом беге облаков тоже чувствовалось что-то весеннее. Вне всякого сомнения, погода пошла на поправку!

Мне удалось по-настоящему сосредоточиться, и я пережил одно из тех мгновений подлинной и глубокой объективности, редко предоставляемых нам скупой жизнью, в которые мы наконец-то перестаем чувствовать и считать себя жертвами. Глядя на всю эту зелень, так очаровательно подчеркнутую вспышками солнца, я нашел в себе силы взглянуть и на свою жизнь и на свою болезнь с улыбкой. Огромную роль в моей жизни и болезни играли женщины. Пускай не целиком, пускай частями – ножками, талией, ртом, они заполняли все мои дни. И, окинув взглядом свою жизнь и свою болезнь, я их полюбил – и понял. Насколько прекраснее была моя жизнь жизни так называемых здоровых людей, которые колотят своих женщин, а если не колотят, то, во всяком случае, хотели бы их колотить, – и это всегда, не считая отдельных редких моментов. Меня же никогда не покидала любовь. Я думал о своей жене, даже когда переставал о ней думать: мне хотелось, чтобы она простила мне то, что я думаю не о ней. Другие, бросая женщину, чувствуют разочарование и отчаиваются. А в моей жизни не было дня, когда бы я не чувствовал желания: после каждого очередного крушения иллюзия полностью возрождалась вновь, когда я начинал мечтать о еще более прекрасном голосе, теле, позе.

Тут я вспомнил, что вместе со множеством моих выдумок проницательный доктор С. проглотил и ту, в соответствии с которой я после отъезда Ады якобы никогда не изменял жене. На этом вранье он тоже выстроил какую-то теорию. Но, стоя тогда на берегу реки, я неожиданно и со страхом вспомнил, что вот уже несколько дней – может быть, с того дня, как я бросил лечение, – я не искал общества других женщин! А что, если я действительно выздоровел, как утверждает доктор С? Ведь я теперь стар, и женщины уже давно не обращают на меня внимания. Если и я перестану обращать на них внимание, всякие отношения между нами будут прерваны.

Одолей меня подобные сомнения в Триесте, я разрешил бы их сразу же; здесь это было гораздо сложнее.

Несколько дней назад в руки мне попала книга мемуаров да Понте – авантюриста, жившего во времена Казановы. Он тоже, конечно, бывал в Лучинико, и я представил себе его напудренных дам с бедрами, скрытыми под кринолином. Боже мой! Как умудрялись эти женщины сдаваться так быстро и так часто, будучи так надежно защищены всеми своими тряпками?

Мне показалось, что воспоминание о кринолинах, несмотря на все лечение, подействовало на меня возбуждающе. Но это было возбуждение в некотором смысле искусственное, а потому оно не могло меня успокоить.

Вскоре мне представилась возможность проделать опыт, которого я так жаждал: его оказалось достаточно, чтобы я успокоился, но он обошелся мне недешево. Ради него я замутил и испортил самые чистые отношения, которые когда-либо знал в своей жизни.

Мне встретилась Терезина, старшая дочка арендатора, участок которого находился поблизости от моей виллы. Ее отец уже два года как овдовел, и его многочисленное потомство нашло вторую мать в лице Терезины, крепкой



девушки, поднимающейся утром, чтобы работать, и перестававшей работать, чтобы лечь в постель и набраться сил для того, чтобы завтра вновь приняться за работу.

В тот день она погоняла ослика, обычно доверяемого заботам младшего брата: ослик был запряжен в тележку, нагруженную свежескошенной травой, а сама девушка шла рядом, потому что небольшое животное не одолело бы и самого легкого подъема, если б ему пришлось везти еще и ее.

Год назад Терезина казалась, мне совсем девочкой, и я не испытывал к ней ничего, кроме благодушной отеческой симпатии. Да и вчера, когда я впервые увидел ее в этом году, я хотя и нашел, что она подросла, что смуглое личико ее повзрослело, что у нее раздались плечи и округлилась грудь, свидетельствуя о робком расцвете всего ее маленького натруженного тела, я все равно продолжал видеть в ней незрелую девчушку, в которой я, правда, не мог не восхищаться редкостным трудолюбием и материнским инстинктом, столь благодетельными для ее братьев. И если бы не проклятое лечение и не необходимость срочно проверить, как далеко зашла моя болезнь, я бы и в этот раз уехал из Лучинико, не смутив всей этой невинности.

Она не носила кринолина. И пухленькое улыбающееся личико не знало пудры. Она была босиком, и я мог видеть ее ноги до колен. Но ни личико, ни ноги, ни колени не смогли меня воспламенить. Лицо и доступная взглядам часть ног были одного и того же цвета: и то и другое принадлежало воздуху, и не было ничего зазорного в том, что их ему подставляли. Может, именно поэтому они не смогли меня воспламенить? Тем не менее моя холодность меня испугала. Что, если в результате лечения я не смогу обойтись без кринолина?

Я начал с того, что погладил ослика, которому выхлопотал таким образом возможность немного отдохнуть. Затем сделал попытку обратиться к Терезине, вложив ей в руку ни больше ни меньше, как десять крон! Это была первая атака! Годом раньше, желая выразить свои отеческие чувства, я совал в руки ей и ее братишкам только чентезимы. Но ведь известно, что отеческие чувства – это совсем другое дело. Терезина была поражена богатым подарком. И аккуратно приподняла юбочку, чтобы спрятать уж не знаю, в каком потайном кармане, драгоценную бумажку. Это дало мне возможность увидеть оставшуюся часть ноги, но и эта часть была такой же смуглой и невинной, как и все остальное.

Я вновь вернулся к ослику и поцеловал его в голову. Моя чувствительность вызвала ответные чувства. Ослик вытянул шею и испустил свой оглушительный любовный вопль, которому я всегда внимаю с большим уважением. Как легко он преодолевает расстояния, и как он выразителен, этот вопль, который все повторяется, постепенно стихая, и кончается отчаянным рыданием. Но на этот раз он прозвучал так близко, что у меня заболели уши.

Терезина засмеялась, и ее смех придал мне храбрости. Я опять обернулся к ней, взял ее за руку повыше локтя и стал медленно взбираться вверх: так я дошел до самого плечика. Все это время я не переставал анализировать свои ощущения. Благодарение небу – я не успел излечиться! Я вовремя прекратил лечение!

Но тут Терезина хлестнула ослика, чтобы заставить его вновь двинуться в путь и, отправившись следом, оставить меня одного.

От души смеялся, ибо я чувствовал себя очень довольным, несмотря на то, что маленькая крестьяночка меня отвергла, я сказал:

– А жених у тебя есть? Пора завести! Куда же это годится, чтоб у девушки не было жениха!

По-прежнему удаляясь, она ответила:

– Если я и решу завести себе жениха, то, уж конечно, он будет помоложе вас!

Это не испортило моего хорошего настроения. Мне захотелось прочесть ей небольшую нотацию, и я попытался вспомнить, как у Боккаччо «маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую пристыдить его любовью к ней». Но рассуждение маэстро Альберто не произвело желаемого действия, потому что мадонна Мальчериде де Гисольери сказала ему: «Ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека; потому свободно располагайте мною как своей собственностью – лишь бы соблюдена была моя честь».

Я попытался добиться большего.

– А когда же ты займешься старичками? – громко крикнул я, желая, чтобы она, уже ушедшая далеко вперед, меня услышала.

– Когда сама буду старая! – прокричала она в ответ, весело смеясь и по-прежнему не останавливаясь.

– Но тогда ты будешь им уж не нужна. Поверь мне! Уж я-то стариков знаю!

Я прокричал это все очень громко, радуясь своему остроумию, которое рождалось непосредственно в недрах моего пола.

В этот момент облака в одном месте расступились и пропустили солнечные лучи, которые упали на Терезину, ушедшую от меня метров на сорок вперед и метров на десять вверх. Она была маленькая, смуглая, но вся облитая светом.

Меня солнце не осветило. Когда человек стар, он остается в тени при всем своем остроумии.

*26 июня 1915 г.*

Вот и до меня добралась война. Я, относившийся к разговорам о войне так, словно речь шла о событиях прошлых времен, о которых интересно поговорить, но из-за которых глупо беспокоиться, – я вдруг с изумлением увидел себя среди военных действий, изумляясь в то же время тому, что какое-то время серьезно думал, будто останусь от них в стороне. Я совершенно спокойно жил в доме, в первом этаже которого бушевал пожар, и не догадывался о том, что рано или поздно рухнет, охваченное огнем, все здание.

Война схватила меня, встряхнула как тряпку и в один миг лишила и семьи и управляющего. За один день я сделался совершенно другим человеком, то есть, если говорить точнее, ни один час из теперешних моих двадцати четырех часов ничем не напоминает прежние. Со вчерашнего дня я почувствовал себя немного спокойнее, потому что после целого месяца ожидания я наконец-то получил первые известия о семье. Оказывается, они все в Турине, живы и

здоровы, а я уже было потерял всякую надежду их увидеть.

Я теперь вынужден целыми днями сидеть у себя в конторе. Работы у меня нет никакой, но дело в том, что отцу и сыну Оливи, как итальянским гражданам, пришлось уехать, а мои лучшие служащие отправились сражаться – кто на той, кто на другой стороне. И вот я сижу в конторе как сторож, а вечером отправляюсь домой, нагруженный тяжелыми ключами от склада. Сейчас, когда я немного успокоился, я принес в контору и эту рукопись, которая поможет мне скоротать время. Она и в самом деле доставила мне восхитительные четверть часа, когда я понял, что были все-таки на свете такие тихие и такие спокойные времена, когда можно было всерьез заниматься подобными пустяками.

Вот бы сейчас кто-нибудь предложил мне впасть в забытие ради того, чтобы воскресить какой-то час из моей прошлой жизни. Я засмеялся бы ему в лицо! Как можно бросить такое настоящее ради того, чтобы отправиться на поиски вещей, не имеющих решительно никакого значения! Мне кажется, что я только сейчас перестал наконец думать о здоровье и о болезнях. Я хожу по улицам нашего несчастного города, чувствуя себя привилегированным человеком, который может не идти на фронт и у которого каждый день есть чем утолить голод. В сравнении со всеми я чувствую себя таким счастливым – особенно с той поры, как получил известия о своих, – что, мне кажется, я накликал бы на себя божий гнев, если бы ко всему еще и физически чувствовал себя безупречно.

Я и война – мы встретились очень бурным и, как мне кажется сейчас, несколько смешным образом.

Мы с Аугустой вернулись в Лучинико, чтобы провести троицу вместе с детьми. Двадцать третьего мая я поднялся рано. До утреннего кофе я должен был принять карлсбадскую соль и немного пройтись. Именно тогда, в Лучинико, проводя этот курс лечения, я заметил, что натошак сердце более успешно занимается починочными работами, оказывая на весь организм благотворное воздействие. Этой моей теории суждено было получить завершающие штрихи в тот самый день, ибо весь тот день я провел голодным, и это пошло мне только на пользу.

Аугуста, желая мне доброго утра, приподняла с подушки совсем уже белую голову и напомнила, что я обещал дочери розы. Наш единственный розовый куст завял, и, следовательно, я должен был раздобыть цветы где-то в другом месте. Моя дочь выросла и стала красивой девушкой, очень похожей на Аду. И настал момент, когда я забыл, что должен вести себя с ней как ворчливый наставник, и стал держаться как рыцарь, уважающий женственность даже в собственной дочери. Она сразу же заметила свою надо мной власть и стала ею всячески злоупотреблять, что очень забавляло нас с Аугустой. Она желала роз: следовательно, я должен был их достать.

Я решил часа два погулять. Светило яркое солнце, и так как я не собирался ни к кому заходить, я не взял с собой ни пиджака, ни шляпы. К счастью, я вспомнил, что за розы придется платить, и поэтому не оставил дома вместе с пиджаком также и кошелек.

Прежде всего я направился по соседству, к отцу Терезины: я решил

попросить, чтобы он нарезал мне роз, а я прихвачу их на обратном пути. Войдя в просторный двор, огороженный разрушающейся стеной, я не обнаружил там ни души. Тогда я окликнул Терезину. На крик из дома вышел младший из детей, которому было лет шесть. Я вложил ему в ладошку несколько мелких монеток, и он сказал мне, что вся семья рано утром отправилась на тот берег Изонцо окучивать картошку.

Это меня несколько не огорчило. Я знал это поле и знал, что для того, чтобы до него добраться, понадобится около часа. И так как я все равно решил гулять два часа, мне даже понравилось, что моя прогулка обрела, таким образом, определенную цель. Теперь можно было не опасаться, что я вернусь, если на меня вдруг нападет лень. Я шел по дороге, лежавшей ниже уровня полей, и поэтому видел только самый их край да кроны цветущих деревьев. Я был ужасно доволен: вот так, без шляпы, с засученными рукавами, я чувствовал себя необычно легко. Я вдыхал свежий утренний воздух и, как уже привык с некоторых пор, делал на ходу дыхательную гимнастику Нимейера, которой научил меня один приятель-немец, – полезнейшая вещь, особенно для человека, ведущего сидячий образ жизни.

Дойдя до поля, я увидел Терезину, которая работала у самого края дороги. Подойдя к ней, я заметил, что чуть подальше работают вместе с отцом двое братьев Терезины, которым было что-то между десятью и четырнадцатью. Работа доводит старых людей буквально до изнеможения, но благодаря тому, что она их возбуждает, они все-таки молодеют в сравнении с теми стариками, которые не работают. Смеясь, я подошел к Терезине:

– У тебя еще есть время, Терезина! Не откладывай!

Она не поняла, и я не стал объяснять. Это было ни к чему. Раз она все забыла, мы могли вернуться к нашим прежним отношениям. Тем более что я уже повторил эксперимент и снова получил благоприятный результат. Дело в том, что, обращаясь к ней с этими словами, я приласкал ее не только взглядом.

Я быстро столкнулся с отцом Терезины насчет роз. Он разрешил мне нарезать их сколько нужно, а о цене мы как-нибудь договоримся. Затем он снова вернулся к работе, а я уже пустился было в обратный путь, но тут он вдруг раздумал и бросился меня догонять. Догнав, спросил шепотом:

– Вы ничего не слышали? Говорят, началась война.

– Еще бы! Кто же об этом не знает! Уже почти год как началась, – ответил я.

– Я не о той... – сказал он нетерпеливо. – Я говорю о войне с... – И он показал в сторону ближайшей итальянской границы<sup>36</sup>. – Вы ничего не знаете? – Он смотрел на меня с тревогой, ожидая, что я отвечу.

– Пойми же, – сказал я ему уверенно, – раз я ничего не знаю, значит, ничего не произошло. Я прямо из Триеста, и последнее, что я слышал, это то, что война окончательно предотвращена. В Риме сместили министерство,

---

<sup>36</sup> Австро-Венгрия вступила в войну в 1914 году, Италия же соблюдала нейтралитет, к которому ее обязывали условия Тройственного Союза (1882). 24 мая 1915 года Италия нарушила это соглашение и вступила в войну на стороне Антанты.

которое хотело войны, и сейчас там сидит Джолитти<sup>37</sup>.

Он сразу успокоился:

– Так, значит, картошка, которую мы окучиваем и которая обещает в этом году уродиться, будет наша! Сколько же пустобрехов на этом свете!

Рукавом рубахи он вытер пот со лба.

Увидев, как он доволен, я попытался сделать его еще довольнее. Я так люблю счастливых людей! Поэтому я добавил к сказанному несколько фраз, о которых теперь стараюсь не вспоминать. Я сказал, что если война даже и начнется, то вестись она, конечно, будет не здесь. Во-первых, на то есть море, а кроме того, в Европе хватает полей сражения, если уж они кому-нибудь очень понадобятся. Там есть Фландрия и множество французских департаментов. А потом, не помню от кого, по я слышал, что людям так нужен картофель, что они старательно убирают его даже на полях сражений. В общем, я говорил много и при этом не сводил глаз с Терезины: маленькая и хрупкая, она присела на корточки, чтобы пощупать землю, прежде чем вонзить в нее лопату.

Совершенно успокоившись, крестьянин вернулся к своей работе. Я же, напротив, почувствовал, что у меня уверенности поубавилось после того, как я ею поделился. Это верно, что в Лучинико мы были слишком близко к границе. Надо будет сказать об этом Аугусте. Может, лучше всего было бы уехать обратно в Триест или еще дальше, чтобы оказаться по ту или другую сторону границы. Джолитти, правда, вернулся к власти, но кто знает, будет ли он, очутившись у власти, по-прежнему видеть вещи в том свете, в каком он их видел, пока у власти был кто-то другой!

Я встревожился еще больше, когда нагнал взвод солдат, маршировавший по дороге в направлении Лучинико. Солдаты были немолоды и очень плохо обмундированы и вооружены. За плечами у каждого торчало то, что у нас в Триесте называется дурлиндана, – длинный штык, который в Австрии летом 1915 года можно было раздобыть разве что на складе старого оружия.

Некоторое время я шел следом за ними, озабоченный одной только мыслью – поскорее добраться домой. Но потом меня стал раздражать исходивший от них запах мокрой шерсти. И я замедлил шаг. Глупо было спешить и тревожиться из-за случайно повстречавшегося мне взвода солдат. Точно так же глупо было волноваться только лишь потому, что волнуется какой-то крестьянин. Я уже видел вдали свою виллу, а взвод с дороги куда-то исчез. Я пошел быстрее, чтобы добраться в конце концов до своего кофе с молоком.

Здесь и началось мое приключение. На одном из поворотов меня остановил окрик часового.

– *Zuruck* !<sup>38</sup> – крикнул он и даже сделал вид, что целится. Я попытался

---

37 Джолитти Джованни (1842–1928) – итальянский политический и государственный деятель, противник вступления Италии в войну. Решение о вмешательстве Италии в европейский конфликт было принято после того, как с одобрения короля Умберто II министр иностранных дел Сидней Соннино провел в Лондоне переговоры со странами Антанты.

обратиться к нему по-немецки, так как окликнул он меня по-немецки, но он по-немецки знал одно только это слово, которое и повторял все более и более угрожающим тоном.

1

Итак, следовало повернуть *zuruck*, и я, поминутно оглядываясь, из страха, что солдат для большей ясности все-таки выстрелит, стал отступать с выражением почтительной готовности, не покинувшим мое лицо даже тогда, когда солдат скрылся из виду.

Однако я не отказался от мысли добраться до своей виллы. Мне пришло в голову, что если я перевалю через холм, находившийся справа от меня, я оставлю угрожавшего мне часового далеко позади. Подъем оказался нетрудным, тем более что высокая трава была примята множеством ног, которые, судя по всему, прошли здесь незадолго до меня. Видимо, проход по дороге был действительно запрещен.

Ко мне вновь вернулось самообладание, и я подумал, что, придя в Лучинико, сразу же заявлю протест мэру по поводу такого со мной обращения. Если он будет позволять, чтобы с дачниками обращались подобным образом, сюда никто больше не приедет!

Но на вершине холма меня ждал неприятный сюрприз: я увидел, что она занята тем самым взводом солдат, от которых исходил запах мокрой шерсти. Некоторые из них отдыхали в тени крестьянского домика, который был мне знаком с давних пор, а сейчас пустовал, трое других, видимо, стояли на часах, но не у того склона, по которому поднялся сюда я, а остальные полукругом столпились перед офицером: тот что-то им объяснял, прибегая для иллюстрации к топографической карте, которую держал в руке.

У меня не было даже шляпы, которой я мог бы воспользоваться при приветствии. Отвесив несколько поклонов и изобразив на лице самую лучшую свою улыбку, я направился к офицеру, который при виде этого перестал говорить со своими солдатами и уставился на меня. И пятеро стоявших вокруг него мамелюков тоже подарили мне все свое внимание. Под этими взглядами, да еще в гору, идти было весьма нелегко.

Офицер заорал:

– *Was will der dumme Kerl hier?* Что нужно здесь этому идиоту?

Пораженный тем, что он без всякого повода так меня оскорбил, я решил быть мужчиной и показать, что обиделся, но так как обстоятельства требовали от меня сдержанности, я просто свернул в сторону и попытался выйти к склону, который должен был привести меня в Лучинико. Офицер заорал, что еще один шаг, и он пристрелит меня на месте. Тогда я снова сделался очень любезным и с той поры и до сегодняшнего дня, когда пишу эти строки, продолжаю оставаться все таким же любезным. Конечно, это было ужасно, что мне пришлось иметь дело с таким самодуром, но тут было хотя бы то преимущество, что он бойко говорил по-немецки. Это было такое преимущество, что, вспоминая о нем, становилось гораздо легче говорить кротким тоном. Было бы гораздо хуже, если бы такой идиот, как он, да еще и не понимал бы ни слова по-немецки. Тогда бы

я погиб!

Очень жаль, что я недостаточно бегло говорю на этом языке, потому что тогда мне было бы легче рассмешить этого хмурого господина. Я сказал ему, что в Лучинико меня ждет мой кофе с молоком и что нас разделяет только взвод его солдат.

Он рассмеялся, клянусь богом, он рассмеялся! Смех он перемешал все с теми же проклятиями и не имел терпения дослушать меня до конца. Он сказал, что кофе с молоком, ожидавший меня в Лучинико, выпьют другие, а когда узнал, что кроме кофе там ждала меня еще и жена, проорал:

– *Auch Ihre Frau wird von anderen gegessen werden!* И вашу жену тоже съедят другие!

Теперь у него настроение сделалось гораздо лучше, чем у меня. Но потом, видимо, он пожалел о своих словах, которые, будучи поддержаны громким хохотом пяти мамелюков, могли показаться мне оскорбительными. Сделавшись серьезным, он объяснил, что я должен оставить надежду увидеть Лучинико в ближайшие дни, и дружески посоветовал мне никого больше об этом не просить, потому что одной этой просьбы было достаточно, чтобы я оказался под подозрением!

– *Haben Sie verstanden?* Вы меня поняли?

Я понял, но мне было нелегко привыкнуть к мысли, что я должен отказаться от кофе с молоком, находившегося от меня не более чем в полукилометре. И свой уход я оттягивал только потому, что мне было ясно: спустись я только с холма, в свою виллу в тот день я больше никак уж не попаду. Желая выиграть время, я робко осведомился у офицера:

– Но к кому я должен обратиться, чтобы получить возможность вернуться в Лучинико и взять там хотя бы свой пиджак и шляпу?

Мне следовало бы и самому заметить, что я слишком оттягиваю момент, когда офицер получит наконец возможность остаться один на один со своими людьми и картой, но я никак не ожидал, что это вызовет такой гнев.

Он заорал так, что я чуть не оглох – он кричал, что он уже сказал мне, что я не должен об этом спрашивать! Потом он высказал пожелание, чтобы меня унесли черти (*wo der Teufel Sie tragen will*). Не могу сказать, что мне не понравилась сама эта идея, чтобы меня кто-то понес, – я чувствовал себя очень усталым, но я все еще колебался. Офицер же тем временем все больше распалялся от собственного крика. Тонем, полным угрозы, он подзвал к себе одного из окружавших его пятерых солдат и, называя его синьор капрал, приказал свести меня с холма и последить, покуда я не исчезну из виду на дороге, ведущей в Горицию. В случае же неповиновения – стрелять мне в спину.

В связи со всем этим я стал спускаться с холма очень охотно.

– *Danke schon*<sup>39</sup>, – сказал я даже без всякой иронии.

Капрал был славянин и довольно прилично говорил по-итальянски. Он, видимо, считал, что в присутствии офицера обязан быть со мной грубым;

приказывая мне идти впереди, он крикнул: «*Marsch!*»<sup>40</sup> Однако стоило нам чуть-чуть отойти в сторону, как он тут же сделался мягким и приветливым. Он спросил, что я слышал о войне, и правда ли, что вот-вот в нее вступит Италия. Он смотрел на меня в тревоге, ожидая ответа.

Значит, даже они, воевавшие, не знали, началась война или нет! Мне захотелось сделать его как можно счастливее, и я сообщил ему все те сведения, которые доверчиво проглотил отец Терезины. Потом эти слова легли тяжелым камнем на мою совесть. Во время ужасной грозы, которая вскоре все-таки разразилась, все люди, которых я успокоил, наверно, погибли. И какое, наверно, удивление застыло на их лицах, скованных смертью! Мой оптимизм был непреодолим. Как мог я не почувствовать войны в словах офицера, а еще более в его тоне?

Капрал очень обрадовался и, чтобы отплатить мне добром за добро, дал, в свою очередь, совет не пытаться больше проникнуть в Лучинико. Учítывая все, что я ему сообщил, он считал, что запрет, мешавший мне вернуться домой, будет снят завтра же. Пока же он советовал мне отправиться в Триест, в *Platzkommando*<sup>41</sup>, где мне могут дать специальный пропуск.

– В Триест? – спросил я испуганно. – В Триест – без шляпы, без пиджака, без кофе с молоком?

Насколько было известно капралу, в то время, пока мы с ним разговаривали, плотный кордон пехоты перекрывал все пути в Италию, создавая новую непреодолимую границу. С улыбкой превосходства он объяснил мне, что, по его мнению, самый короткий путь в Лучинико пролегает теперь через Триест.

Послушавшись его совета, я смирился и зашагал к Гориции, рассчитывая сесть в двенадцатичасовой поезд и доехать до Триеста. Я был взволнован, но, должен признаться, чувствовал себя превосходно. Курил я в этот день мало и ничего не ел. Во всем теле у меня была такая легкость, какой я давно уже не испытывал. Меня совсем не огорчало то, что мне пришлось пройти больше, чем я рассчитывал. У меня немного болели ноги, но я считал, что смогу дойти до Гориции, таким глубоким и таким свободным было мое дыхание. После того как ноги у меня разогрелись от быстрой ходьбы, идти стало совсем легко. И вот так, блаженствуя, печатая шаг, чувствуя радость от необычно быстрой ходьбы, я постепенно вернулся к своему оптимизму. Угрозы раздавались и с той и с другой стороны, но до войны все-таки дойти не должно. И, придя в Горицию, я даже заколебался – может быть, мне следовало снять в гостинице номер и, переночевав, вернуться на следующий день в Лучинико, чтобы высказать все мои претензии мэру?

Пока же я побежал на почту, чтобы позвонить Аугусте. Но моя ви́лла не отвечала.

Почтовый служащий, маленький человечек с редкой бородкой (это

---

40 Марш! (нем. ).

41 Комендатура (нем. ).



единственное, что мне в нем запомнилось: она была коротенькая и в то же время жесткая, что вместе создавало впечатление комического упрямства), – так вот, этот почтовый служащий, услышав, как я в ярости сыплю проклятиями в безмолвствующий телефон, подошел ко мне и сказал:

– Это уже в четвертый раз сегодня Лучинико не отвечает.

Когда я обернулся к нему, в его глазах сверкнуло злорадство (нет, значит, я ошибся – еще и это мне в нем запомнилось!). Своим сверкающим взглядом он пытался заглянуть мне в душу, чтобы понять, насколько я изумлен и рассержен. Прошло минут десять, прежде чем я наконец понял. И тогда у меня исчезли последние сомнения. Лучинико уже был – или вот-вот должен был оказаться – на линии огня. Когда я до конца понял, что означает этот красноречивый взгляд, я направился в кафе, чтобы в ожидании завтрака выпить чашку кофе, причитавшуюся мне еще утром. Но по дороге свернул в сторону и направился к вокзалу. Мне хотелось быть как можно ближе к семье, и, следуя указаниям моего приятеля капрала, я отправился в Триест.

И как раз во время этого моего короткого путешествия разразилась война.

Желая поскорее оказаться в Триесте, я даже не выпил на вокзале в Гориции вожденной чашки кофе, хотя время у меня было. Я сразу вошел в вагон и, оставшись наконец один, мысленно устремился к своим близким, от которых меня отрезали таким странным образом. Поезд шел нормально до Монтефальконе.

Видимо, сюда война еще не добралась, и я успокоился, решив, что, по-видимому, и в Лучинико события разворачиваются так же, как по эту сторону границы. В этот час Аугуста с детьми, наверное, уже находится в пути, направляясь в центральные области Италии. И это спокойствие вместе с тем поразительным, глубочайшим спокойствием, которое является обычно следствием голода, погрузили меня в длительный сон.

Но тот же голод, по всей вероятности, меня и разбудил. Поезд стоял посреди так называемой триестинской Саксонии. Моря, хотя оно должно было быть совсем близко, не было видно: легкий туман ничего не давал разглядеть. В майском Карсо есть своя прелесть, но понять ее может только тот, кто не избалован другими веснами – веснами, сверкающими красками и жизнью. Камни, которые здесь на каждом шагу выступают из земли, окружены робкой зеленью, в которой, однако, нет ничего жалкого, поскольку скоро она должна будет стать доминирующей нотой пейзажа.

В другое время меня бы страшно рассердило то, что мне, такому голодному, нечем утолить голод. Но в тот день мне внушало почтение величие исторического события, свидетелем которого я был, и я смирился. Я подарил кондуктору несколько сигарет, но он не смог раздобыть мне даже куска хлеба. Я никому не сказал о том, что мне пришлось пережить в это утро. Я решил, что расскажу об этом в Триесте какому-нибудь близкому человеку. Я прислушался, но с границы, которая была рядом, не доносилось звуков сражения. Мы остановились только для того, чтобы пропустить не то восемь, не то девять железнодорожных составов, которые, извиваясь, сползали с гор к Италии. Гангренозная рана, как в Австрии сразу стали называть итальянский фронт,

открылась и требовала материала для того, чтобы питать свой гнойник. И несчастные солдаты ехали туда, злобно смеясь и распевая песни. Из всех поездов доносились одни и те же звуки, свидетельствующие о пьяном веселье.

Когда я приехал в Триест, на город уже опустилась ночь. Она была освещена огнем множества пожаров, и один мой приятель, который увидел, как я иду себе без пиджака и в рубашке с засученными рукавами, крикнул:

– Ты что, никак мародерствовал?

Наконец-то я смог что-то съесть и отправиться спать.

Глубокая, настоящая усталость толкала меня в постель. Наверное, я устал от борьбы, которую вели у меня в голове надежды и сомнения. Чувствовал же я себя по-прежнему хорошо, и в тот короткий предшествующий сну период, образы которого я научился удерживать в памяти с помощью психоанализа, мне пришла в голову последняя в этот день, детски-оптимистическая мысль: на границе пока никто не убит, а значит, мир еще можно спасти.

Сейчас, когда я знаю, что семья моя жива и здорова, я не могу сказать, что мне не нравится жизнь, которую я веду. Дел у меня не много, но и утверждать, что я ничего не делаю, тоже нельзя. Мне не приходится ни покупать, ни продавать. Торговля оживет только тогда, когда восстановится мир. Оливи прислал мне из Швейцарии кое-какие указания. Если бы он знал, каким диссонансом звучат его советы среди окружающей меня жизни, такой непохожей на прежнюю! Покуда я не делаю ничего.

*24 мая 1916 г.*

С мая прошлого года я не притрагивался к этой книжечке. И вдруг из Швейцарии приходит письмо от доктора С., который просит меня прислать все, что я написал еще. Это весьма странная просьба, но я ничего не имею против того, чтобы послать ему и эту книжечку, из которой ему станет ясно, что я думаю о нем и о его лечении. Раз уж он владеет всеми моими признаниями, пусть получит и эти страницы и еще несколько, которые я охотно добавляю к возводимому им зданию. У меня мало времени, потому что теперь я целый день занят торговлей. Но господину С. я все-таки скажу все, что я о нем думаю. Я столько обо всем этом размышлял, что у меня сложилось на этот счет совершенно определенное мнение.

Он, конечно, ждет от меня новых признаний в болезнях и слабостях, а вместо этого получит описание здоровья – здоровья настолько безупречного, насколько это позволяет мой возраст. Я выздоровел! Я не только не хочу больше заниматься психоанализом, теперь мне это просто даже и не нужно. И здоровьем своим я обязан не тому, что ощущаю свое привилегированное положение среди бесчисленного множества страдальцев.

Я чувствую себя здоровым не потому, что сравниваю себя с другими. Я просто и в самом деле совершенно здоров. Я уже давно понял, что мое здоровье не может быть ничем иным, как моим убеждением в собственном здоровье, и то, что я пытался лечиться, вместо того чтобы попросту убедить себя в этом, было глупостью, на которую способен лишь легко внушаемый мечтатель. Меня и сейчас порой мучают боли, но им не пошатнуть моего прочного здоровья. Я

могу поставить припарку туда или сюда, но все остальное должно находиться в борьбе и движении и никогда не застывать в гангренозной неподвижности. Нельзя же рассматривать боль, любовь и вообще жизнь как болезни только потому, что они причиняют страдания!

Я должен признать, что для того, чтобы я уверовал в свое здоровье, понадобились серьезные перемены в моей судьбе, которые разогрели мой организм с помощью борьбы, а главное, победы. Меня излечила коммерция, и я хочу, чтобы доктор С. знал об этом. Я в полной растерянности и ничего не делая созерцал развороченный мир вплоть до начала августа прошлого года. В августе я начал *покупать*. Я подчеркиваю этот глагол потому, что теперь он имеет смысл более высокий, чем до войны. Раньше этот глагол в устах коммерсанта означал лишь то, что он склонен купить какой-то определенный товар. Но когда его произнес я, то он означал, что буду покупать любые товары, какие мне только предложат. Как всякая сильная личность, я оставил в голове одну только эту мысль, только ею и жил, и она принесла мне удачу. Оливи тогда в Триесте не было, но он, конечно, не пошел бы на подобный риск, предоставив рисковать другим. Я же не видел в этом никакого риска. Я был совершенно уверен в результате. Сначала в соответствии с давним обычаем военных времен я принялся обращать свое состояние в золото, но покупка и продажа золота была в ту пору связана со значительными трудностями. Золотом, если так можно выразиться, жидким – так как более ходким – были товары, и я занялся скупкой. Время от времени я устраиваю и распродажи, но продаю всегда меньше, чем покупаю. Так как начал я свою деятельность как раз в нужный момент, то и продавал и покупал я так удачно, что вырученных от продажи денег мне всегда хватало на то, чтобы продолжать покупать.

С чувством гордости я вспоминаю, что моя первая покупка была с виду совершенно пустячной, предпринятой единственно лишь для того, чтобы опробовать на практике мою новую идею: то была небольшая партия ладана. Продававший его коммерсант перевозносил ладан как заменитель смолы, нехватка которой уже начинала ощущаться. Однако я, будучи химиком, с достоверностью знал, что ладан никак не может заменить смолу, от которой был отличен *toto genere*<sup>42</sup>. Мой расчет заключался в том, что мир должен будет докатиться до такой грани нищеты, что вынужден будет принять ладан как заменитель смолы. И я его купил! Через несколько дней я продал небольшую его часть и получил сумму, равную той, которую заплатил за всю партию. В тот момент, когда я инкассировал эти деньги, грудь у меня ширилась от сознания своего могущества и здоровья.

Получив эту последнюю часть моей рукописи, доктор должен будет мне вернуть всю рукопись целиком. Я ее переделаю, внося в нее необходимую ясность, потому что разве мог я разобраться в своей жизни, покуда еще не знал этого ее последнего периода? Да, может, все прожитые мною годы были только подготовкой к этому периоду!

Я, разумеется, не так наивен и извиняю доктора за то, что он видит в самой

---

42 По сути (*лат.* ).

моей жизни проявление болезни. Жизнь вообще напоминает болезнь, потому что развивается от кризиса к кризису, и в ней бывают временные ухудшения и улучшения. В отличие от других болезней, жизнь всегда смертельна. Она не поддается лечению. Это то же самое, как если бы мы решили закупорить все отверстия своего тела, считая их ранами. Мы умерли бы, задохнувшись, как только лечение было бы завершено.

Современная жизнь подточена в самых своих корнях. Человек вытеснил из нее деревья и животных, отравил воздух, занял все свободное пространство. Но может произойти и худшее. Человек, это грустное и деятельное животное, может открыть и поставить себе на службу другие силы. Угроза этого носится в воздухе. За ней последует невероятное изобилие... в том, что касается численности населения. Каждый квадратный метр будет занят человеком. Кто тогда поможет нам излечиться от нехватки воздуха и пространства? При одной только мысли об этом я задыхаюсь!

Но это не все, это еще не все.

Всякая попытка сделать нас здоровыми тщетна. Здоровье – это достояние животных, которые знают только один прогресс: прогресс собственного организма. Как только ласточка поняла, что единственная возможность выжить состоит для нее в миграции, она нарастила мускул, который управляет крыльями, и он стал самой важной частью ее организма. Крот зарылся в землю, и к этому приспособилось все его тело. Лошадь сделалась крупнее и изменила форму ноги. В некоторых животных мы не замечаем прогресса, но их здоровье всегда с ними и никогда им не изменяет.

И только нацепивший очки человек, вместо того чтобы совершенствовать свое тело, придумывает всякие приспособления, которые его дополняют, и, если здоровье и благородство еще живет в тех, кто изобретает все эти приспособления, то уж у тех, кто ими пользуется, как правило, нет ни того, ни другого. Приспособления продаются, покупаются и крадутся, и человек становится все более хитрым и все более слабым. Больше того – его хитрость возрастает пропорционально его слабости. Первые приспособления были как бы продолжением человеческой руки, эффективность их зависела от ее силы, зато теперешние уже никак не связаны с органами нашего тела. Именно приспособления в конце концов и породили болезни, ибо благодаря им оказался предан забвению закон, согласно которому создалось все сущее. С исчезновением этого закона – закона выживания сильнейшего, мы лишились спасительного естественного отбора. Совсем не психоанализ нужен людям: под сенью закона, согласно которому выживает тот, кто владеет наибольшим количеством приспособлений, всегда будут процветать болезни и больные.

Может, лишь в результате неслыханной катастрофы, вызванной все теми же приспособлениями, мы вновь обретем здоровье. Когда людям станет мало даже отравляющих газов, какой-нибудь человек, ничем не отличающийся от прочих, в уединении своей комнаты, каких тоже множество на земле, изобретет небывалое взрывчатое вещество, в сравнении с которым все, что существует сейчас покажется детской игрушкой. И другой человек, тоже ничем не отличающийся от прочих, разве что чуть более больной, украдет это вещество и

поместит в самом центре земли, где его действие окажется наиболее разрушительным. Последует чудовищный взрыв, которого никто не услышит, и земля, вновь обретшая форму туманности, снова пустится блуждать в небесах, избавленная от болезней и паразитов. ■